ГЕЛЬДЕРЛИН

ГИПЕРИОН



ФРИДРИХ ГЕЛЬДЕРЛИН.

Рисунок карандашом И. Г. Наста. 1788.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



FRIEDRICH HÖLDERLIN



HYPERION
GEDICHTE
BRIEFE



SUSETTE GONTARD
BRIEFE DER DIOTIMA



ФРИДРИХ ГЕЛЬДЕРЛИН



ГИПЕРИОН
СТИХИ
ПИСЬМА

СЮЗЕТТА ГОНТАР
ПИСЬМА ДИОТИМЫ



Издание подготовила
Н. Т. БЕЛЯЕВА

МОСКВА
«НАУКА»
1988

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Н. С. ПАВЛОВА

Г $\frac{4703000000—236}{042(02)—88}$ без объявления

ISBN 5—02—012638—1

ФРАГМЕНТ «ГИПЕРИОНА»

Есть два идеала нашего бытия: состояние величайшей простоты, когда наши потребности взаимно согласуются между собой, а также с нашими силами и всем тем, с чем мы приходим в соприкосновение, лишь *благодаря организации самой Природы*, без всякого усилия с нашей стороны, и состояние высочайшей образованности, где то же самое происходит при бесконечно более разветвленных и умноженных потребностях и силах *благодаря той организации, которую мы в состоянии сами для себя создать*. Эксцентрический путь, который человек вообще и в частности проходит от одной точки (более или менее чистой простоты) до другой (более или менее совершенной образованности), по-видимому,— *если принимать во внимание существенные направления* — всегда один и тот же. Некоторые из таковых, помимо того что на них будет указано, представлены в письмах, фрагменты из коих следуют ниже.

Человеку свойственно желание быть *во* всем и *надо* всем, и эпитафия Лойоле:

Non coerceri maximo, contineri tamen a minimo *[1] — может равно обозначать и всевожде-

* Не иметь себе предела в великом, и притом содержаться в самом малом (*лат.*).

леющую, всепорабощающую, опаснейшую сторону человека, и наивысочайшее, прекраснейшее из всех достижимых для него состояний. В каком смысле воспринимает ее каждый [отдельный человек] — должна решить его свободная воля.

Занте[2].

И снова влечет меня домой, в мою Ионию, напрасно покинул я родину *в поисках Истины*.

Могла ли удовольствоваться моя жаждущая душа словами?

Слова были повсюду; облака — но без Юноны[3].

Как смертельно ненавижу я их, эти жалкие вещи, порождения Нечто и Ничто. Вся душа моя противится несущественному.

Что мне не *всё* и вечно *всё — ничто* для меня.

Мой Беллармин![4] Где найти нам Одно, что успокоит нас? Где зазвучит она вновь, мелодия нашего сердца в блаженные дни детства?

Ах, когда-то искал я ее в *братованье с людьми*. Мне казалось, обернется богатством бедность нашей сути, если несколько таких бедняков станут *одним* сердцем, *одной* неразрывной жизнью, ибо все страдание нашего бытия происходит из-за того, что разорвано нечто, чему надлежит быть соединенным.

С радостью и печалью вспоминаю я дни, когда всем существом устремлялся я туда, лишь туда, где бывал я встречаем сердечной улыбкой, где приносил себя в жертву ради

тени любви, где унижался. Ах! Сколь часто чудилось мне, что я нашел то, чему нет названья, то, что будет моим — моим! Потому что я дерзнул отречься от себя во имя предмета мною любимого! Сколь часто чудилось мне, священная мена уже готова свершиться, я спрашивал цену, спрашивал — и видел перед собой несчастное созданье, в растерянности и смущенье, порой даже в злобе: оно рассчитывало лишь на легкую забаву, не более!

Я был ослепленным ребенком, милый Беллармин! Жемчуг желал я купить у нищих, что были еще беднее меня,— так бедны они были, так погрязли в своей нищете, что даже не знали, как бедны они, и чувствовали себя уютно в лохмотьях, которые их облекали.

Но каждое такое разочарование новым гнетом ложилось мне на душу.

Я уже думал, что погибаю. Это ни с чем не сравнимая мука — постоянное чувство разрушения, когда твое существование полностью утрачивает для тебя всякий смысл. Неизъяснимое уныние духа овладело мною. Я не смел поднять глаза на людей. Я пугался детского смеха. Но притом я часто бывал очень тих и прилежен и часто питал поистине странную, суеверную веру в целебную силу различных вещей. Часто я втайне ожидал обретения желанного от покупки маленького имения, от путешествия в челноке, от долины, скрытой от взора горой.

Вместе с духом таяли видимо и мои силы.

Мне стало трудно собирать воедино оскол-

ки некогда думанных мыслей; живой мой ум одряхлел; я чувствовал, как его небесный свет, только что мне воссиявший, постепенно тускнеет.

И все же порой, когда, как мне казалось, еще оставалось что-то от моей погибшей жизни, когда еще была жива моя гордость,— тогда я был сама энергия и всесилие отчаявшегося было во мне; или когда [моя] ссохшаяся жаждущая натура впитывала в себя каплю радости,— тогда силой врывался я к людям и говорил вдохновенно и блаженные слезы наполняли мои глаза; или когда внезапная мысль или образ героя озаряли лучом ночь моей души,— тогда дивился я и радовался, будто бог посетил оскудевший удел, тогда казалось мне, что во мне рождается новый мир; но, чем яростнее подстегивались дремлющие силы, с тем большей усталостью упадали они потом, и ненасытившаяся природа возвращалась к удвоенной муке.

Благо тому, Беллармин! благо тому, чье сердце выдержало это испытание огнем, кто научился понимать этот вздох сотворенного, это чувство утраченного рая. Чем выше Природа возносится над животным началом, тем более велика опасность изнемочь в стране бренности.

Но еще одно должен я рассказать тебе, братское сердце!

Когда мы встретились с тобою случайно на развалинах древнего Рима, я страшился еще некоторых воспоминаний. Наш дух так легко выбивается из привычной колеи; но

ведь нам случается уходить и от шелеста листа, чтобы не помешать ему в его тихой работе!

Теперь мне можно порою поиграть с призраками минувших дней.

Мой старый друг Весна застала меня врасплох посреди моего мрака. Иначе я бы давно уловил ее приближение, когда тронулись соки в закоченевших ветвях и нежное дуновенье коснулось моей щеки. Иначе с надеждой ждал бы я от нее облегчения всяческой боли. Но все надежды и упования постепенно утратились моей душой.

И вот она пришла, во всей славе своей юности.

Мне показалось, что я опять способен на радость. Я растворил все окна, и я оделся как на праздник. Должно быть, она посетит и меня, небесная гостья, чужестранка.

Я видел, как все устремилось на волю, к приветливому морю Смирны [5] и на его берега. Странные предчувствия теснились во мне. Я тоже вышел из дому.

Природа всюду выказывала свое всесилие, всякое лицо казалось сердечней; повсюду слышались шутки, и, где прежде лишь церемонно раскланивались, там теперь взаимно пожимали руки. Всех сделала юными и воодушевила приветливая нежная Весна.

Гавань кипела ликующими кораблями, на мачтах реяли венки, искрилось хиосское, беседки из мирт звенели веселыми мелодиями,

игра и танец волновали листву ильмов и платанов.

Ах! Мне надобно было более, чем это. *Это* не спасало от смерти. Погруженный в свои черные думы, я нечаянно забрел в сад Горгонды Нотары [6], моего знакомца.

Шорох у бокового входа заставил меня вздрогнуть.

И тут мне — мне! с моим мучительным сознанием одиночества, с моим безрадостным, кровоточащим сердцем,— явилась *она*: вся прелесть и святость, будто весталка стояла она там передо мной; будто соткана из аромата и света, так нежна и так прозрачна; над улыбкой, исполненной тишины и ангельской кротости, в божественном величии царил ее вдохновенный взор, и, как облака перед рассветом, играли в весеннем ветре золотистые кудри, обрамляющие чело.

Мой Беллармин! если б я мог передать тебе полно и живо то несказанное, что произошло во мне! Куда девалась мука моей жизни, ее тьма, ее нищета, вся ее жалкая бренность!

Да, из всего, что вмещает в себя неисчерпаемая Природа, такой миг освобождения — высочайший и блаженнейший дар! Он сто́ит эонов нашего растительного существования! Моя земная жизнь прервалась, время застыло, мой дух восстал из мертвых, и разорвал оковы, и понял, откуда он родом и кто ему родня.

Много лет прошло с тех пор; вёсны сменяли друг друга; не раз прекрасные картины

природы, драгоценные реликвии твоей Италии, сотворенные небесной фантазией, радовали мой взгляд; но почти все исчезло, стертое временем; лишь *ее* образ остался во мне и все то, что сродни ему. Все стоит она передо мною, как в тот священно-пьянящий миг, когда я обрел ее; я прижимаю к пылающему сердцу этот сладостный призрак, я внимаю ее голосу, лепету ее арфы,— будто мирная Аркадия, где цветы и зеленые всходы нежатся в вечно спокойном воздухе, где без полдневного жара зреет урожай и сладко плодоносит виноградная лоза, где страх не окружает стеной защищенную землю, где в мыслях у всех — лишь весна без конца и края, лишь безоблачное небо, и его солнце, и его дружелюбные созвездия,— так стоит это все, раскрытое, передо мной, святая святых ее сердца и духа.

Мелите, о Мелите![7] Неземное создание! Хотел бы я знать, вспоминает ли она хоть изредка про меня. Быть может, она меня жалеет. Но я найду ее; в какой-нибудь период вечно текущего бытия[8] я снова увижу ее. Да! То, что сродни себе, не может бежать своего вечно.

Да, бог, пребывающий в нас, всегда одинок и беден. Как собрать ему всех своих? Тех, что были некогда здесь и когда-нибудь будут. Когда произойдет великая встреча всех духов? Ибо некогда были мы все, я думаю, вместе.

Доброй ночи, Беллармин, доброй ночи!

Завтра я спокойнее продолжу свой рассказ.

Занте

Вечер того дня моих дней со всем, что я еще мог воспринять в своем опьянении, для меня незабвенен. То был бесценнейший дар из всех, что земле дарует весна, и небо, и его свет. Сияющим ореолом окружила ее вечерняя заря, и нежные золотистые облачка в вышнем эфире улыбались ей, как небесные гении, что радуются своей сестре на земле, а она шла среди нас во всем обаянии своей духовности — и притом как добра, как приветлива была она ко всему, что было с ней рядом! [9]

И все стремилось к ней. Будто каждому уделила она частицу своего существа. На всех опустился новый дух нежности, снизошла атмосфера сладкой доверительности, в которой забываешь себя.

Без расспросов узнал я, что она родилась на брегах Пактола, в уединенной долине Тмола [10], куда отец ее, удрученный нынешним состоянием греков, переселился много лет назад из Смирны, чтобы там предаться мрачному унынию, а что мать ее, некогда краса и гордость Ионии, доводится родственницей Горгонде Нотаре.

Нотара пригласил нас провести вечер у него под деревьями, а нам всем, в нашем тогдашнем настроении, и думать не хотелось о том, чтоб расходиться по домам.

Постепенно одушевление все больше овладевало нами. Мы много говорили о прекрасных детях древней Ионии, Сапфо и Алкее, и Анакреоне [11], но более всего о Гомере, его

могиле на Нио[се], о недалеком гроте в скалах на берегу Мелеса[12], где божественный проводил праздничные часы вдохновенья, и о многом другом; и так же, как обступившие нас приветно деревья сада, с которых, освобожденные дуновеньем весны, слетали на землю лепестки, наши души, каждая на свой лад, раскрылись навстречу друг другу; и даже самые бедные внесли свою лепту. Несколько ангельских слов промолвила Мелите — безыскусно, бесхитростно, в чистейшей святости простоты. Я слушал ее речи, и мне припомнились картины Дедала, о которых Павсаний[13] говорит, что при всей простоте в их облике было нечто божественное.

Долго сидел я молча, впивая небесную красоту, что проникала в мою душу, как лучи утреннего света, и возвращала к жизни омертвевшие ростки моего существа.

Под конец речь зашла о чудесных примерах дружбы древних греков — о Диоскурах[14], об Ахилле и Патрокле[15], о фаланге спартанцев, о всех тех любящих и любимых, что пришли в мир и ушли из него согласно, как вечные светильники неба.

И тут я очнулся. «Об этом нельзя говорить!» — вскричал я.

«Такое великолепие убивает нас, бедных. Да, то были дни золотого века, когда люди обменивались оружием и любили друг друга до гроба, когда в опьянении любовью и красотой зарождались бессмертные дети и подвиги во имя отчизны, небесные песнопения и вечные слова мудрости,— ах, это тогда египет-

ский жрец упрекнул Солона: „Вы, греки,— вечные юноши!“ Мы же стали старцами, мы мудрее, чем все те блистательные, давно ушедшие; жаль только, что и сила оскудела в этой чуждой стихии!»

«Позабудь об этом хотя бы сегодня, Гиперион!» — воскликнул Нотара, и я признал его правоту.

Взгляд Мелите остановился на мне, серьезен и открыт. Кто бы не позабыл все на свете!

По дороге в город я шел с нею рядом. С силой прижимал я рукой свое трепещущее сердце, подавляя нараставшее смятение, чтобы быть в силах говорить.

О Беллармин! Как понимал я ее и как она тому радовалась! Целый мир рождало во мне случайное ее словечко! Подлинное торжество духа над всем малым и мелким была она, безмолвное соединение нашей мысли и нашей поэзии.

У дома Нотары мы простились. Мне казалось, я упаду под напором неистовой радости, я бранил себя и смеялся над малодушием своего сердца в минувшие дни и с несказанным высокомерием взирал на свои недавние страдания.

Когда же возвратился я домой и подошел к распахнутым окнам, то увидел, что мой сад в запустенье, а цветы зачахли, и взглянул вдаль, где в сумеречном свете лежали развалины Смирненской крепости[16], — как странно отозвалось во мне все это!

Ах, как часто стоял я здесь глубокой пол-

ночью, не находя сна на своем одиноком ложе, и жаловался этим руинам, знававшим лучшие времена, на свою судьбу!

Теперь она возвратилась, весна моего сердца. Теперь со мною то, что я искал. Я обрел его вновь в небесной грации Мелите. В моей душе вновь забрезжил рассвет. Высшее существо вызвало мой дух из его могилы.

Но то, чем я стал, я стал только благодаря ей. По своей доброте она радовалась свету, сиявшему во мне, не мысля, что он — лишь отражение ее собственного. И я очень скоро почувствовал, что стану беднее тени, если она не будет жить во мне, рядом со мной, ради меня, если она не будет моей; что я стану ничем, если она отступится от меня. Иначе и быть не могло, этот смертельный страх сопровождал меня теперь повсюду, с ним вопрошал я каждый ее жест, каждый взгляд, каждый звук, и казалось, жизнь моя готова была отлететь и уделом будет ей то ли небо, то ли земля; о боже! вестником смерти могла стать для меня каждая ее улыбка, полная святого покоя, каждое ее небесное слово, говорившее мне о том, что ей довольно ее собственного сердца. Да, на меня неизбежно должно было опуститься отчаяние: прекрасное, любимое мною, было столь прекрасно, что не нуждалось во мне. Да простит мне святая: часто я проклинал день и час, когда я обрел ее, и в мыслях негодовал на божественную, призвавшую меня к жизни лишь для того, чтобы вновь низвергнуть силой своего величия. Как много нечеловеческого вмещает в себя душа человека!

Пирго в Морее[17]

Сонливость и тревога и прочие странные явления, сменявшие друг друга, мешали мне до сих пор продолжить свой рассказ. Порой выпадают мне и погожие дни. Тогда я выпускаю свой дух на волю, чтобы он насладился мечтой и мыслью; я живу по большей части под открытым небом, и священные горы и долины Мореи часто вторят согласно чистым тонам моей души.

Все должно быть так, как оно есть. Всё благо. И мне не надо было вызывать к жизни прошлое. Мы не созданы для отдельного, для ограниченного — не так ли, мой Беллармин? И Аркадия не возросла для меня лишь потому, что то скудное, что живет и мыслит во мне, должно было расшириться и охватить бесконечное.

Да, я хотел бы, о, как хотел бы я этого! Уничтожить эту бренность, что тяготеет над нами и смеется над нашей сокровенной любовью; как заживо погребенный рвется мой дух из оков и мрака.

Я хотел рассказать. И я хочу это сделать. Ничто внешнее не препятствует моим воспоминаньям. Море с землею спят в полдневном жаре, и даже источник, что прежде журчал здесь у моих ног, теперь иссяк. Ни один ветерок не тронет ветвей. Только тихий стон земли слышу я порой, когда пылающий луч рассекает почву. Но это не мешает мне. К тому же кипарисы, что печалятся надо мной, дают довольно тени.

Вечер — тот вечер, когда я пришел от нее,— сменился ночью, и ночь сменилась днем; но не для меня [18]. В моей жизни больше не было ни сна, ни пробужденья. Все стало *одним* сном — про нее, блаженно-мучительным сном; единоборством страха и надежды. Наконец я отправился к ней.

Испуг охватил меня, когда я увидел ее перед собой. Она была совсем иная, нежели в моем воображении: так спокойна и свята, так независима в своей божественности. Я пришел в смятение, я лишился дара речи. Мой дух отлетел.

Мне думается, она этого даже не заметила, ибо при всей своей небесной доброте не очень-то обращала внимание на то, что происходит вокруг.

Ей стоило труда припомнить мне тему разговора, который мы вели в тот вечер. Наконец во мне шевельнулись какие-то мысли и радостно присоединились к ее.

Она и не подозревала, как бесконечно много заключено в ее словах и как безмерно прекрасна становится она, когда на челе ее изображается высота помыслов, а царственный дух сочетается с прелестью простодушного вселюбящего сердца. Будто солнце всходило в благосклонном эфире, будто бог нисходил к наивному народу, когда это святое и суверенное проступало сквозь ее очарование.

Пока я был с ней и ее вдохновенное существо поднимало меня над всей нищетой человеческой, я забывал заботы и желания моего бедного сердца. Но стоило мне уйти, и я уже не

мог скрыть этого от себя, оно громко кричало во мне: она тебя не любит! Я сердился, я противился. Но страдание не отступало от меня. Тревога моя росла день ото дня. Чем выше и ярче сиял надо мной образ Мелите, тем угрюмей и одичалей становилась моя душа.

Мне показалось, что она начинает избегать меня. Я тоже решился больше с ней не видеться и в самом деле, преодолевая нестерпимую боль сердца, выдержал без нее несколько дней.

Однажды по дороге домой из пустыни Коракс [19], куда я отправился еще до света, мне повстречались Нотара и его жена. Он сказал мне, что их пригласили к себе в гости родные, живущие по соседству, и что к вечеру они будут назад; Мелите, добавил он мимоходом, осталась дома; кроткая дочь пишет письма отцу и матери.

И все мои подавленные желания вновь во мне проснулись. Через мгновенье, однако, я овладел собою и сказал буре, бушевавшей во мне, что мне вовсе не надо видеть сейчас именно Мелите, и я прошел мимо ее дома, ничего не соображая и в дрожи, будто нося в сердце убийство. Я принудил себя возвратиться домой, запер дверь на засов, сбросил одежду, взял, после довольно длительного колебания в выборе, «Аякса-Мастигофороса» [20] и попытался читать. Но ни единого слога не впитал в себя мой ум. Куда бы я ни обращал взгляд, всюду был ее образ. Каждый шаг смущал меня. Непроизвольно, без всякого смысла произносил я обрывки речей, услышанных мною

из ее уст. Часто я простирал ей вослед руки и часто бежал ее, когда она мне являлась.

Наконец, в гневе на свое безумие, я стал серьезно думать, как бы мне искоренить его дотла, это убийственное мечтание. Но мой ум отказался мне в том споспешествовать. И к тому же стали льнуть ко мне лживые демоны, предлагая волшебные зелья, чтобы вконец испортить меня своими адскими снадобьями.

Обессиленный яростной борьбой, я наконец сдался и поник. Мои глаза закрылись, сердце забилось ровней, и, будто радуга мира после грозы, взошло во мне вновь ее небесное существо.

Святой мир ее сердца, который она часто на мгновенье сообщала мне речью и взглядом, от чего мне казалось, будто я вновь брожу по райским тропинкам ушедшего детства, ее кроткая деликатность по отношению ко всему, что хотя бы отдаленно было связано с Красотой и Добром, и она опасалась осквернить это легкомысленной шуткой или всерьез, ее безупречное обхождение, ее дух с его царственными идеалами, к которым она питала столь сильную, но притом молчаливую любовь, что не нуждалась ни в чем и не боялась ничего на свете; все эти прекрасные, вдохновенные вечера, которые я провел с нею вместе, ее голос, ее игра на арфе, прелесть движений, отмечавшая — где бы она ни находилась, куда бы ни шла — ее кротость и ее величие, — ах! все это и больше, чем это, вновь ожило во мне.

И этому небесному созданию был адресован мой гнев? И за что же я гневался на нее? За

то, что она не была нищей, как я, за то, что носила еще в сердце небо и не утратила себя, как я, и не нуждалась в другом существе, ни в чужом богатстве, чтобы заполнить пустоты, за то, что она не боялась погибнуть, как я, и в страхе смерти не хотела прилепиться к другому, как я; ах! именно наибожественнейшее в ней — это спокойствие, эту небесную сосредоточенность в себе я оскорбил своим недовольством, в неблагородном гневе позавидовал ее безмятежности. Разве могла она иметь дело с таким растерзанным существом? Разве не должна была бежать меня? Да, конечно: ее гений остерег ее передо мной[21].

Все это как мечом пронзило мне душу[22].

Я захотел стать другим. О! Я захотел стать, как она. Уже я слышал, как ее уста произносят небесное слово прощенья, и чувствовал в упоении, как она преобразует меня.

И я поспешил к ней. Только с каждым шагом становился я неспокойней. Мелите побледнела, когда я вошел. Это совершенно лишило меня равновесия. Но полное молчание с обеих сторон, сколь кратко оно ни было, было мне слишком мучительно, чтобы я не попытался как-нибудь прервать его.

— Я должен был прийти,— сказал я.— Я в долгу перед тобой, Мелите! — Сдержанность в моем тоне, кажется, ее успокоила, однако она спросила слегка удивленно, почему я прийти был *должен*.

— Я должен за многое просить у тебя прощения, Мелите! — вскричал я.

— Ты ничем меня не обидел.

— О Мелите! Как жестоко карает меня эта небесная доброта! Мое недовольство ты не могла не заметить.

— Но оно не обидело меня, ведь ты не хотел этого, не так ли, Гиперион? Почему бы мне не сказать тебе это? Я очень печалилась из-за тебя. Мне так хотелось бы сообщить тебе немного мира. Мне часто хотелось просить тебя быть поспокойней. Ты становишься совсем другим в хороший час. Уверяю тебя, я страшусь, когда вижу тебя таким резким и мрачным. Не правда ли, милый Гиперион, ты больше не будешь таким?

Я не мог вымолвить ни слова. Ты чувствуешь вместе со мной, брат души моей, каково мне было тогда? Ах, небесное волшебство было в том, как она это говорила, невыразима была моя мука.

«Я не раз размышляла над тем,— продолжала она,— откуда происходит эта твоя странность. Это мучительная загадка, что дух, подобный твоему, должен находиться под гнетом таких страстей. Без сомнения, было время, когда он был свободен от этого беспокойства. Это время для тебя теперь стало прошедшим? Ах, если б я могла возвратить его тебе, этот безмолвный праздник, этот святой покой внутри тебя, где внятен малейший шорох, приходящий из глубины духа, и едва слышимый зов извне, с небес, и шелест ветвей и цветов,— я не умею выразить, что происходит часто со мной, когда я стою перед лицом божественной природы и все земное замолкает во мне,— тогда Невидимый стоит рядом с нами!».

Она умолкла и словно стыдилась, как если бы выдала тайну.

«Гиперион! — начала она снова. — Ты имеешь власть над собою, да, я знаю. Скажи своему сердцу, что напрасно искать мира вне себя, если ты сам не можешь дать его себе[23]. Я всегда высоко ценила и ценю эти слова. Это слова моего отца, плод его страданий, как он говорит. Дай его себе, этот мир, и будь радостен! Ты сделаешь так. Это моя первая просьба. Ты не откажешь мне в ней».

«Все что хочешь и как ты хочешь, ангел с небес!» — вскричал я и, не осознавая, что делаю, схватил ее руку и с силой прижал к моему сердцу, исходящему болью.

Будто внезапно пробудившись ото сна, она высвободилась — с максимальной деликатностью, но величие в ее взоре повергло меня ниц.

«Ты должен стать другим», — воскликнула она с чуть большей горячностью, чем обычно. Отчаяние нахлынуло на меня. Я почувствовал, как я мал, и тщетно рвался ввысь. Ах, лучше бы мне было погибнуть! Подобно подлым душам, я искал утешения своему ничтожеству в том, что пытался умалить великое, что я небесное... Беллармин! Ни с чем не сравнимая мука знать, что несешь на себе столь позорное пятно. Она хочет избавиться от тебя, думал я, вот и все! «Хорошо, я стану другим!» — так сказал я, несчастный, прикрываясь вымученной улыбкой, и поспешил прочь.

Будто гонимый злыми духами, бросился я

бежать и метался по лесу, пока не упал на редкую траву. Бесконечной ужасной пустыней лежало передо мною прошлое, и в адской злобе я истребил без остатка все, что некогда лелеяло и превозносило мое сердце.

Потом вновь злобно и презрительно хохотал над собой и надо всем и с наслаждением вслушивался в отголоски эха, и вой шакалов, со всех сторон стекавшийся ко мне из ночи, отдавался отрадой в моей растерзанной душе.

Глухая, страшная тишина последовала за этими убийственными часами, поистине мертвая тишина! Я больше не искал спасенья. Все стало мне безразлично. Я был будто скотина под рукой мясника.

«И Она! И Она тоже!» Это был первый звук, спустя долгое время произнесенный моими губами, и слезы навернулись на глаза.

«Она не может поступить иначе; она не может взять себе то, что ей невозможно иметь,— твою нищету, твою любовь!» И это тоже сказал я себе под конец. Постепенно я стал спокоен и кроток, как дитя. Я уже точно ничего не хотел искать, можно ведь просто перебиваться со дня на день, как бог на душу положит, я стал ничем для себя, но уже и не требовал, чтобы другие меня почитали за что-то, и бывали мгновенья, когда мне казалось возможным видеть Единственную и ничего не желать.

Так жил я некоторое время, пока однажды не явился ко мне Нотара, сопровождаемый неким юношей с острова Тине́[24], побранил меня за мою непонятную склонность к уединению и

просил быть вечером следующего дня у грота Гомера: он хочет показать нечто особенное тиниоту, который всей душой предан Древней Греции и сейчас совершает путешествие по Эолийскому побережью[25] в намерении посетить и древнюю Трою; для меня было бы целительно, добавил он, если бы я отправился вместе с его другом, ему помнится, я когда-то высказывал желание увидеть эту часть Малой Азии. Тиниот присоединился к его просьбе, и я согласился, как согласился бы на что угодно в безвольной своей податливости.

Следующий день прошел за сборами, а вечером Адамас[26] — так звался тиниот — зашел за мной и мы отправились к гроту.

«Нет ничего удивительного в том (так начал я, чтобы не дать простора другим движениям души, когда мы вышли к берегу Мелеса и прогуливались под миртами и платанами), что столько городов спорят о чести быть родиной Гомера[27]. Так радостно волнует мысль, что на этом песке играл прелестный ребенок, что здесь получил свои первые впечатления тот, в ком впоследствии развился могучий и прекрасный дух».

«Ты прав, — отвечал Адамас, — и вы, жители Смирны, не должны поступаться своей отрадной верой. Для меня они святы, эти воды и берега. Кто знает, насколько эта земля, вместе с морем и небом, причастна к бессмертию Мэонида![28] Незамутненный взор ребенка открывает понятия и чувства в созерцании мира, которые могут посрамить многое из того, что позднее наш ум открывает путем усилий».

В таком духе продолжал он, пока не подошли к нам Нотара с Мелите и некоторыми другими.

Я собрался с силами. Я смог приблизиться к ней, не ощущая движения в крови. Как хорошо, что я не был предоставлен самому себе непосредственно перед этой встречей.

Она тоже страдала. Это было заметно. Но — боже мой! — насколько же больше!

В область Добра и Истины удалилось ее сердце. Безмолвное страдание, никогда мною прежде в ней не замечавшееся, наложило отпечаток на живое выражение ее лица; но не на ее дух. Так же тихо лучился им ее небесный взор, и ее печаль приникла к нему, как к божественному утешителю.

Адамас возобновил свою прерванную речь, Мелите поддержала разговор; и я порой вставлял словечко.

Так пришли мы к гроту Гомера.

Тихие скорбные аккорды доносились сверху, со скалы, под которую мы вступили; эти звуки пролились над моей душой, как весной проливается теплый дождь над мертвой землей. Внутри, в таинственном сумраке грота, смягчаемом лишь светом, проникавшим сквозь разломы в скале, и листьями и ветвями, возвышался мраморный бюст божественного певца, с улыбкой встречавшего смиренных потомков.

Мы расселись вокруг него, как несовершеннолетние дети вокруг отца, и прочли несколько песен из «Илиады», каждый выбирая отрывок на свой вкус, потому что всем нам была она знакома.

А потом мы пропели нению, от которой затрепетало все мое существо, погребальную песнь милой тени слепого старца и его временам. Все были глубоко тронуты. Мелите почти неотрывно глядела на Гомера, и глаза ее блистали слезами печали и восхищения.

Настала тишина. Никто не говорил ни слова, мы не касались друг друга и не смотрели друг на друга — в ту минуту все души являли собой полную гармонию, то, что в них жило сейчас, превосходило речь и любое внешнее выражение.

Это было чувство прошедшего, отходная всему, что некогда было здесь.

Наконец Мелите, зардевшись, наклонилась к Нотаре и что-то шепнула.

Нотара улыбнулся, с радостью глядя на милую деву, взял ножницы, протянутые ею, и срезал у себя прядь волос.

«Кому, как не тебе?» — вскричал тиниот, протягивая свою прядь навстречу Гомеру.

И прочие также, увлеченные нашей серьезностью, принесли свою жертву мертвым.

Мелите собрала наши пряди, присоединив их к своей, связала все вместе и возложила на постамент, мы же опять пропели нению.

Все это привело лишь к тому, что душа моя была исторгнута из состояния покоя, в который она только что погрузилась. Взгляд мой вновь прильнул к ней, и моя любовь и мое страдание охватили меня еще сильнее, чем прежде.

Напрасно пытался я овладеть собой. Я должен был уйти. Мое горе было поистине без-

гранично. Я вышел на берег Мелеса, бросился на землю и громко плакал [29]. Часто я тихонько повторял ее имя, что как будто облегчало мою муку. Но она отступала лишь для того, чтобы воротиться с еще большей силой. Ах, не было мне нигде покоя, нигде во всем мире. Быть с нею рядом или быть далеко от нее, той, которую я так неизреченно любил и так неизреченно, так невыразимо постыдно терзал, — это было одно и то же! То и другое стало мне адом, я не мог оторваться от нее и не мог оставаться!

Сквозь мое смятение ко мне вдруг донесся шорох в миртах. Я встрепенулся — боже мой! То была Мелите!

Она, должно быть, испугалась, видя перед собой столь жалкое, потерянное существо. В отчаянии я бросился к ней, ломая руки, моля о едином слове снисхождения. Она побледнела и едва могла говорить. Потом с ангельскими слезами стала молить меня опереться на лучшую, сильную сторону моего естества, которая ей известна, устремить взор на суверенное, невынужденное, божественное, что, как во всем, есть и во мне, — что не исходит из этого источника, ведет к смерти, что из него исходит и в него возвращается — вечно; объединенное нуждой и необходимостью распадается, едва пропадает нужда; соединенное в том и во имя того, что единственно свято, велико и неколебимо, пребудет вовеки, как то вечное, через что и во имя чего оно возникло, и таким образом... Здесь пришлось ей остановиться. Вслед за ней подошли остальные. Тысячу жизней

отдал бы я в тот миг, лишь бы ее дослушать! Я так и не услышал конца. Быть может, над звездами узнáю я остальное.

Возле грота, куда мы опять возвратились, заговорила она о моем путешествии, просила поклониться от нее берегам Скамандра, Иде и всей старой троянской земле[30]. Я заклинал ее не говорить больше ни слова об этом ненавистном путешествии и уже хотел просить Адамаса возвратить мне данное ему слово. Но со всей силой своего очарования просила Мелите не делать этого; она уверена, ничто, как это путешествие, восстановит мир и радость между ней и мною; ей мнится, будто жизнь и смерть зависят от того, расстанемся ли мы на краткий срок, она уверяла меня, что и сама не понимает, почему просит меня о том столь настоятельно, но так надо, даже если то будет стоить ей жизни, так надо.

Я глядел на нее, пораженный, и молчал. Мне казалось, что я слышу жрицу в Додоне[31]. Я решился ехать, даже если и мне это будет стоить жизни. Было уже темно, и звезды появились на небе.

Грот был освещен. Фимиам облаками поднимался из глуби скалы, и вдруг после нескольких несозвучных аккордов хлынула торжественная, ликующая музыка.

Мы пели священные гимны о том, что пребывает вовеки, что продолжает жить в тысячах видоизменений, о том, что было, и есть, и будет[32], о неразлучаемости духов, ибо они есть *единое* искони и во веки веков, как бы ни разделяла их ночь и облака,— и все мы

испытывали восторг при мысли об этом родстве и бессмертии.

Все во мне вдруг переменилось. «Пусть пройдет то, что проходит, — воскликнул я, обращаясь к моим воодушевленным спутникам, — оно проходит, чтобы возвратиться, оно старится, чтобы вновь стать молодым, оно разлучается, чтобы соединиться более глубоко, умирает, чтобы ожить еще более живым».

«Так должны пройти, — отозвался после недолгого молчания тиниот, — предчувствия детства, чтобы возродиться истиной в уме взрослого мужа. Так оцветают прекрасные мирты[33] юности мира, поэзия Гомера и его времени, пророчества и откровения, но зародыш, таившийся в них, обернется по осени спелым плодом. Простота и невинность первых веков умирает, чтобы возвратиться в совершенном творении, и святой мир эдема гибнет, чтобы вновь расцвело как завоеванное достояние человечества то, что было лишь даром природы».

«Прекрасно! Прекрасно!» — вскричал Нотара.

«Но совершенное приидет только в дальней стране, — промолвила Мелите, — в стране Встречи и вечной юности. Здесь же остаются лишь сумерки. Но где-то непременно оно воссияет для нас, это священное утро; я с радостью думаю о нем; тогда и мы все обретем друг друга — при великом Соединении всего разлученного».

Мелите была необычайно взволнована. Мы говорили очень мало на возвратном пути.

У дома Нотары она протянула мне руку; «прощай, милый Гиперион!» были ее последние слова, и она удалилась.

Прощай, прощай, Мелите! Я не смею думать о тебе часто. Мне надо остерегаться боли и радости воспоминаний. Я словно больное растение, что не выносит лучей солнца. Прощай и ты, мой Беллармин! Приблизился ли ты за это время немного к святилищу Истины? Если б я мог спокойно искать его, как ты!..

Ах, если б хоть раз побывать мне там, все было бы со мной иначе. Глубоко под нами шумит река забвения, неся и обкатывая обломки, и мы уже не вздыхаем, как если бы стоны тех, кого она увлекает с собой вниз, растворялись в безмолвных высотах Истинного и Вечного.

Кастри у Парнаса[34]

О нынешней моей жизни в другой раз! И о моем путешествии с Адамасом, может быть, в другой раз! Особенно памятна мне ночь перед нашим отъездом, когда мы на берегах древнего Илиона, среди могильников, быть может насыпанных Ахиллу, и Патроклу, и Антилоху[35], и Аяксу Теламону[36], говорили о прошлом и будущем Греции и о многом другом, что исходило из глубин наших душ и в глубины их возвращалось. Сердечное прощание Мелите, сильный дух Адамаса, героические фантазии и мысли, что, подобно звездам в ночи, указывали нам путь из руин и могильников старого мира, тайная сила природы, изливающаяся на нас повсюду, где свет и

земля и небо и море вокруг, — все это укрепило меня, и я чувствовал в себе еще какие-то движения, кроме боли моего жаждущего сердца; «Мелите будет радоваться тебе!» — говорил я себе тайно с внутренним удовольствием, и тысяча золотых надежд присоединялась к этой мысли. Потом на меня вновь нападал какой-то странный страх, увижу ли я ее, вернувшись, но я выбросил эту мысль из головы, приписав ее возникновение моей прежней мрачной жизни.

У Сегейских предгорий я нашел корабль, уже поднимавший паруса в Смирну, и мне было приятно, что мой обратный путь пролегает по морю через Тенедос и Лесбос [37].

Спокойно плыли мы к порту Смирны. В нежном мире ночи парили над нами герои звездного неба. Чуть рябила морская волна в лунном свете. В моей душе не было столь мирно. Правда, под утро я забылся легким сном. Меня разбудил веселый щебет ласточек и говор на пробуждающемся корабле. Со всеми своими надеждами устремилось мое сердце навстречу дружелюбным берегам своей родины, навстречу утреннему свету, что уже занялся над вершиной сумеречного Пагуса и его ветшающей крепостью, над минаретами мечетей и темными рощами кипарисов, и с чистым сердцем я улыбался домишкам на берегу — подобно волшебным замкам смотрели они своими светящимися окнами из-за пальм и олив.

Радостно играл инбат [38] моими волосами. Радостно резвясь, бежали перед кораблем мелкие волны к берегу.

Я смотрел, и чувствовал все это и улыбался.

Как прекрасно, что больной не имеет предчувствий, когда смерть уже подступила к его сердцу.

Из порта я поспешил к дому Нотары. Мелите там не было. Ее внезапно увезли по приказу отца, сказал мне Нотара, и никто не знает куда. Отец ее покинул области Тмола, и ему не удалось узнать ни места его нынешнего пребывания, ни причины переселения. Не знала того, видимо, и сама Мелите. Впрочем, в день отъезда она почти не говорила. Только попросила его передать мне привет.

Мне будто вынесли смертный приговор. Однако я встретил его спокойно. Я пошел домой, уладил мелкие свои дела и внешне был совсем как другие. Я убрал все, что могло бы мне напомнить о прошлом; обходил стороной сад Нотары и берег Мелеса. Я бежал всего, что могло задеть мою душу, а к тому, к чему был равнодушен, стал еще равнодушнее. *Отъединение от всего живущего* — вот чего искал я теперь. Дни и ночи напролет корпел я над достопочтенными плодами древнегреческого глубокомыслия. Я искал прибежища в их отъединенности от всего живущего. Постепенно все, бывшее у меня перед глазами, стало мне столь чуждо, что порой я смотрел вокруг чуть ли не с удивлением. Часто, когда я слышал голоса людей, мне казалось, они меня призывают бежать из страны, к кото-

рой я не принадлежу, и я чувствовал себя словно дух, пропустивший полночный час и слышащий крик петуха.

В течение всего этого времени я не выходил в город. Но сердце мое билось в груди еще слишком молодо: еще не погибла во мне мать всякой жизни, непостижимая любовь.

Загадочная сила влекла меня наружу. Я вышел из дому.

Стоял тихий осенний день. Странно обрадовал меня нежный воздух, пощадивший увядшие листья, позволив им побыть еще немного на материнском стволе.

Купа платанов, откуда за скалами берега было видно открытое море, навсегда для меня свята.

Там сидел я или прогуливался.

Вот настал вечер, и ни единый звук не долетал сюда.

И тогда стал я тем, что я есть. Из темноты рощи окликнуло меня что-то, из глубин земли и моря позвало меня: почему ты не любишь меня?

С той поры я уже не мог думать так, как прежде, мир стал для меня священней, но и таинственней. Новые мысли, потрясшие мое существо, воспламенили мою душу. Мне уже было невозможно задержать их бег, размышлять спокойно.

Я покинул отчизну, чтобы найти Истину по ту сторону моря.

Как билось мое сердце, полное больших юношеских надежд!

Я не нашел ничего, кроме тебя. Так гово-

рю я тебе, мой Беллармин! И ты тоже не нашел ничего, кроме меня.

Мы ничто; то, что мы ищем,— всё.

На Кифероне[39]

Я все еще полон предчувствиями, но ничего не обрел.

Я вопрошаю звезды — но они молчат, я вопрошаю день и ночь — но они не отвечают. Когда я вопрошаю себя, то слышу, как во мне звучат мистические формулы, сны без значения.

Мое сердце часто чувствует себя уютно в этом сумеречном свете. Я не знаю, что происходит со мной, когда я созерцаю эту непостижимую природу; но слезы, проливаемые мною перед закутанной в покрывало возлюбленной, святы и чисты. Все мое существо замирает и вслушивается, когда меня овевает таинственный вечерний ветер. Взор теряется в бескрайней синеве, я гляжу то в небесный эфир, то вниз, в священное море, и мне чудится: отворяются ворота в Невидимое и я исчезаю со всем, что есть вокруг меня; но тут вдруг шорох в кустах пробуждает меня от блаженной смерти и против моей воли вновь призывает меня на то место, которое я покинул.

Мое сердце чувствует себя уютно в этом сумеречном свете. Наша ли это стихия, эти сумерки или рассвет? Почему мне нельзя в них успокоиться?

Вот недавно я видел ребенка, лежащего при дороге. Сидящая над ним мать заботли-

во покрыла его одеяльцем, чтоб ему сладко дремалось в тени и солнце не слепило глаза. Но ребенок не хотел так лежать и срывал прочь одеяло, и я видел, как он пытается взглянуть в лицо приветливому свету, он пытался все снова и снова, пока не стало больно глазам, и он с плачем отвернулся к земле.

«Бедный мальчик! — думал я. — Но и другим приходится не лучше»; и я, было, уже решился отказаться от своего дерзкого любопытства. Но я не могу! Мне нельзя отступиться!

Великая тайна должна быть раскрыта, и она даст мне жизнь или смерть.

[ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ]

ПРЕДИСЛОВИЕ

С самой ранней юности я живу, предпочитая эти места всем другим, на берегах Ионии и Аттики и на прекрасных островах Архипелага[1], и моей самой сокровенной мечтой было когда-нибудь на самом деле побывать там, у священных могил юности человечества.

Греция была моей первой любовью, и не знаю, надо ли мне говорить, что будет она и последней.

Этой любви я обязан сим моим малым достоянием, которое я приобрел, еще не зная, что и другие обогатились, видимо, подобным же образом и более успешно, чем я.

Но в надежде, что оно, быть может, позволит мне снискать хотя бы *одного* друга, я решился поделиться им с людьми.

Я не хотел, чтобы оно было оригинально во что бы то ни стало. Оригинальность — новшество у нас; а мне ничто так не мило, как то, что старо как мир.

Для меня оригинальность — это внутренняя сосредоточенность, глубина сердца и духа. А об этом именно сейчас, по крайней мере в искусстве, никто и знать не желает; и ежели не победит другая сторона, то скоро наиновейшей модой будет говорить о природе как жеманница говорит о мужчинах, и обращаться со своим материалом как присяжный газетчик; так что к концу читатель будет точно знать, что дорогу перебежал заяц

и никакое другое животное, но этим ему и придется удовольствоваться. Впрочем, было бы грубой ошибкой думать, что я говорю здесь о тех превосходных людях, что рисуют нам прекрасные картины природы с любовью, в коей нельзя усомниться. —

Возвращаясь к моим письмам, прошу читателя рассматривать эту первую часть лишь как необходимую преамбулу и утешаться благой надеждой, если придется зевать над текстом, где так мало внешнего действия, а то немногое, что будет удовлетворительно по этой части, покажется ему бессистемным и ненатуральным. То, что нравится в частностях, не обязательно понравится как целое, и наоборот. —

И много непонятного, маловероятного, обманчивого найдет читатель в этих письмах. Он, может быть, даже будет сердиться на этого Гипериона со всеми его противоречиями и заблуждениями, с сильными и слабыми сторонами его характера, с его гневом и с его любовью. Но надобно придти соблазнам[2].

Мы все пробегаем по эксцентрическому пути, и нет другой дороги от детства к совершенству.

Блаженное единство, бытие в единственном смысле этого слова потеряно для нас, и нам до́лжно было его утратить, если мы хотели его достичь и добиться. Мы вырываемся из мирного ῞Εν καὶ πᾶν[3] мира, чтобы вновь восстановить его, через себя самих. Мы отделились от природы, и то, что некогда, как можно полагать, было *едино*, теперь

противостоит одно другому, и господство и рабство сменяются с обеих сторон. Часто сдается нам, что мир — это *всё*, а мы — *ничто*, и часто также, что мы — это *всё*, а мир — *ничто*. И Гиперион разрывался между этими двумя крайними точками.

Покончить с этим вечным противостоянием между нашим Я и миром, восстановить высший мир, который превыше всякого разума[4], соединиться с природой в *одном* бесконечном целом — вот цель всякого нашего стремления независимо от того, согласны мы в том или нет.

Однако ни наше знание, ни наши действия не приводят ни в какой период бытия (Dasein) туда, где прекращается всякое противостояние, где *все* становится *одним*; определенная линия[5] соединяется с неопределенной лишь в бесконечном приближении.

И мы не имели бы никакого понятия о том бесконечном мире и покое, о том бытии, в единственном смысле слова, мы не стремились бы к соединению с природой, мы не думали и не действовали бы, это было бы вообще ничто (для нас), мы сами были бы ничто (для себя), если бы все же не существовало то бесконечное соединение, то бытие, в единственном смысле слова. Оно существует — и это есть Красота; нас ждет, если сказать словами Гипериона, новое царство, где царит королева Красота. —

Пожалуй, мы все в конце скажем: «О святой Платон, прости нам! Мы тяжко согрешили перед тобой».

Издатель



ГИПЕРИОН,
ИЛИ
ОТШЕЛЬНИК В ГРЕЦИИ



HYPERION

oder

der Eremit in Griechenland

von

Friedrich Hölderlin.

Erster Band.

Tübingen 1797.

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

Гиперион. Первое издание

ТОМ ПЕРВЫЙ

Non coercer i maximo, contineri minimo, divinum est *



ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне бы очень хотелось думать, что эту книгу ждет любовь немцев. Но боюсь, одни будут читать ее как компендий, стремясь постичь только fabula docet **, а прочие воспримут слишком поверхностно, так что ни те, ни другие ее не поймут.

Кто лишь вдыхает аромат взращенного мною цветка, еще его не знает, а кто сорвет его лишь для того, чтобы чему-то научиться, тоже его не познает.

Разрешение диссонансов в некоем человеческом характере не должно быть ни предметом бесплодных умствований, ни предметом пустой утехи.

Место действия, где произошло все нижеизложенное, не ново, и, признаться, я однажды — довольно наивно — попробовал, было, заменить его другим в своей книге, но убедился, что место это — единственно подходящее для элегического характера Гипериона, и устыдился своей чрезмерной податливости перед судом читающей публики.

Сожалею, что сейчас еще не каждый может составить себе мнение о замысле моего труда. Однако второй том последует в самом недалеком будущем.

* Не знать меры в великом, хоть твой земной предел и безмерно мал,— божественно (*лат.*).
** Чему учит сия история (*лат.*).

КНИГА ПЕРВАЯ

Гиперион к Беллармину

Милая земля отчизны снова дарует мне радость и скорбь.

Теперь я провожу каждое утро на горных склонах Истма, и душа моя часто устремляет полет, будто пчела над цветами, то к одному, то к другому морю, что справа и слева овевают прохладой подножия раскаленных от жара гор.

Но как бы любовался я одним из этих морских заливов, когда бы стоял здесь тысячелетием раньше! [1]

Между райской равниной Сикиона и величаво пустынными Геликоном и Парнасом [2], где поутру на ста снеговых вершинах горной гряды играет заря, нес тогда этот блещущий залив, подобно победителю-полубогу, свои волны к городу радости, юному Коринфу, рассыпая добытые им сокровища всех поясов земли перед своим любимцем.

Но что с того? Меня пробуждает от грез вой шакала, поющего на развалинах древнего мира свою дикую надгробную песнь.

Благо тому, в чье сердце вливает радость и силы процветающее отечество! А у меня всякий раз, когда кто-нибудь упомянет о моей родине, такое чувство, будто меня бросили в трясину, будто надо мною забивают

крышку гроба: а ежели кто назовет меня греком, мое горло сжимается, словно его стянули собачьим ошейником.

И знаешь, Беллармин, когда порой у меня вырывалось хоть слово об этом или на глазах закипали слезы гнева, вот тогда-то являлись эти многоумные мужи — а их немало развелось среди вас, немцев,— ничтожные люди, для которых страждущая душа только повод для нравоученья, и, прикидываясь добренькими, позволяли себе говорить мне: не жалуйся, действуй!

О, если б я никогда не действовал, насколько богаче я был бы надеждами!

Так забудь же о том, что есть на свете люди, о мое обездоленное, мятущееся, столько раз уязвленное сердце, и возвратись туда, откуда ты вышло: в объятья природы, неизменной, спокойной и прекрасной.

Гиперион к Беллармину

У меня нет ничего, о чем бы я мог сказать: это мое.

Милые сердцу далеко или умерли, и ничей голос не принесет мне вестей о них.

Свое земное дело я совершил. С самыми добрыми намерениями принимался я за работу, отдал ей все силы — и ни на грош не обогатил мир.

Безвестен и одинок возвратился я сюда и скитаюсь по отчизне, раскинувшейся вокруг, как царство мертвых, и меня, быть может, подстерегает нож охотника, которому мы,

греки, точно лесная дичь, отданы на заклание.

Но ты еще светишь, солнце в небесах! Ты еще зеленеешь, святая земля! Еще катятся с шумом реки к морям и шелестят в полдень тенистые деревья. Пленительная песнь весны убаюкивает мои бренные мысли. Полнота вселенской жизни утоляет и пьянит мою алчущую душу.

О благостная природа! Сам не знаю, что творится со мной, когда я подъемлю взор на твою красоту, но наивысшее блаженство испытываю я, когда лью пред тобою слезы, как влюбленный перед возлюбленной.

Все во мне замирает и вслушивается, когда легкое дуновение ветерка нежит мою грудь. Утопая в бескрайней лазури, я то вскидываю глаза ввысь, в эфир, то гляжу вниз, в святое море, и тогда кажется, будто некий родственный дух раскрывает предо мною объятья и моя скорбь одиночества растворяется в жизни божества.

Слиться со всею вселенной — вот жизнь божества, вот рай для человека!

Слиться воедино со всем живущим, возвратиться в блаженном самозабвении во всебытие природы — вот вершина чаяний и радостей, вот священная высота, место вечного отдохновения, где полдень нежарок, и гром безгласен, и бурлящее море подобно бесшумно волнующейся ниве.

Слиться воедино со всем живущим! При этих словах добродетель бросает свои бранные доспехи, а дух человеческий — свой ски-

петр и все мысли отступают перед образом вечно единого мира, равно как все правила творящего в муках художника — перед его Уранией; непреклонная судьба отрекается от власти, из круга живых исчезает смерть, и неразрывная связь всего сущего и вечная юность делают мир счастливей и прекрасней.

Я часто поднимаюсь на эти высоты, мой Беллармин! Но стоит лишь начать рассуждать, как я стремглав падаю вниз. Поразмыслив, я открываю, что по-прежнему один со всеми горестями смертного, что нет больше приюта моего сердца, вечно единого мира; природа больше не раскрывает мне свои объятья, и я стою перед ней как чужой, не понимая ее.

Ах, лучше бы я никогда не ходил в ваши школы! Наука, вслед за которой я проникал в самые глубины познания, ожидая по своему юношескому простодушию, что она укрепит меня в моей чистой радости, только все испортила.

Я стал у вас до того рассудительным, до того основательно приучился отделять себя от всего окружающего, что теперь отрешен от прекрасного мира, изгнан из сада природы, где я рос и расцветал, и ныне иссыхаю под полуденным солнцем.

О, когда человек мечтает — он бог, но когда рассуждает — он нищий; и когда его восторг прошел, он стоит, словно непутевый сын, выгнанный отцом из дому, и разглядывает скудные гроши, которые кто-то из милости подал ему на дорогу.

Гиперион к Беллармину

Благодарю тебя за то, что ты просишь меня рассказать о себе и воскрешаешь в моей памяти минувшее.

Меня и привело снова в Грецию желание жить поближе к тем местам, где проходили дни моей юности.

Как труженик погружается в живительный сон, так и я подчас погружаюсь истомленной душой в свое безгрешное прошлое.

Спокойствие детства! Небесное спокойствие! Как часто я безмолвно стою, любуясь тобой, и так хочу тебя постигнуть! Но мы ведь имеем представление лишь о том, что некогда было плохо и затем стало хорошо; о детстве же, о былой безгрешности мы не имеем никакого понятия.

Когда я был еще кротким ребенком и ничего не знал обо всем, что нас окружает, разве я не был совершеннее, чем теперь, после всех сердечных мук, раздумий и борьбы?

Да, дитя человеческое — это божественное создание, пока оно еще не погрязло в скверне людского хамелеонства.

Ребенок всегда таков, каков он есть, и потому так прекрасен.

Гнет закона и рока не властен над ним; он — сама свобода.

В нем царит мир; ребенок еще в ладу с самим собою. Он еще богат, он знает свое сердце, а убожество жизни ему неведомо. Он бессмертен, ибо ничего не знает о смерти.

Однако люди не могут этого стерпеть. Божественное должно уподобиться им, должно

узнать, что они тоже существуют, и, еще прежде, чем природа успеет изгнать дитя человеческое из своего рая, люди уже всячески стараются выманить его оттуда и завлечь на проклятую богом ниву труда, чтобы дитя трудилось, как они, в поте лица своего.

Но прекрасно и время нашего пробуждения, если только нас не разбудят преждевременно.

О, это святое время, когда наша душа впервые расправляет крылья, когда мы, всецело во власти стремительного, бурного роста, стоим, окруженные великолепием мира, как молодое растение, которое распускается под лучами утреннего солнца и тянет ручонки ввысь, навстречу бездонному небу!

Как влекло меня тогда в горы и на берег моря! Ах, как часто сидел я с бьющимся сердцем на холмах Тине, провожая глазами соколов и журавлей и отважные веселые корабли, исчезавшие за горизонтом[3]. «Туда, вдаль! Когда-нибудь и ты уплывешь туда»,— повторял я и чувствовал себя как человек, истомленный зноем, который бросается в прохладную воду и освежает чело пенистой влагой.

Вздыхая, возвращался я домой. «Скорей бы миновали годы ученья», — часто думалось мне.

Бедный юнец! Они еще далеко не миновали.

И не странно ли, что человеку в юности цель кажется такой близкой? Этим прекраснейшим из всех обманов и пользуется приро-

да, чтобы помочь нам преодолеть нашу слабость.

И когда я, бывало, лежал среди цветов, согретый ласковым весенним солнцем[4], и глядел в ясную лазурь, объемлющую теплую землю, когда я сидел в горах под ивами и вязами после живительного дождя, и ветви еще трепетали от прикосновений небес, и над окропленным влагой лесом шли золотые облака или когда мирно всходила вечерняя звезда вместе с древними Близнецами[5] и другими героями[6], населяющими небо, и я видел, как протекает их жизнь в эфире, следуя извечному, неизменно действующему порядку, тогда я трепетно внимал окружающему меня спокойствию вселенной, безотчетно ему радуясь, и тихо спрашивал: «Ты любишь меня, отец небесный?». И сердце мое с блаженной уверенностью предчувствовало ответ.

О ты, к кому я обращался, словно ты и впрямь был над звездами, кого я называл творцом неба и земли[7], ласковый кумир моего детства, ты ведь не станешь гневаться за то, что я забыл тебя!.. Зачем наш мир не настолько несовершенен, чтобы это давало право искать за пределами его мир иной? *

Но если прекрасная природа — дочь своего отца, разве сердце дочери не его сердце? Разве ее сокровенная сущность не он сам?

Но постиг ли я ее? Знаю ли ее?

* Разумеется, излишне напоминать, что подобные речи, которые просто отражают свойственные человеку настроения, не должны никого смущать.— *Примеч. автора.*

Мне чудится, будто я что-то вижу, но я тотчас же пугаюсь, словно увидел свой собственный образ; мне чудится, будто я прикоснулся к мировому духу, как к теплой руке друга, но, очнувшись, я понимаю, что это моя собственная рука.

Гиперион к Беллармину

Знаешь ли ты, как любили друг друга Платон и его Стелла?[8]

Так любил и я, так был я любим. О, я был счастливцем!

Радостно, когда равный общается с равным, но божественно, когда великий человек поднимает до себя малых.

Ласковое, прямодушное слово отважного мужа, улыбка, которая таит в себе всепоглощающее величие духа, — это и мало и так много; это точно волшебное слово заклятья, таящее жизнь и смерть в своем простом звучанье; это точно живая вода, которая бьет из недр гор и кропит нас своими хрустальными брызгами, приобщая к сокровенной земной силе.

Но как ненавижу я всех этих варваров, считающих себя мудрецами на том основании, что у них нет сердца, этих жестоких извергов, которые непрестанно мертвят и губят красоту юности своей мелочной и тупой муштрой!

Боже праведный! Да ведь это же сова тщится вывести из гнезда орлят, тщится указать им путь к солнцу!

Прости мне, дух моего Адамаса[9], что я упоминаю об этих людях. Но жизненный опыт обогатил нас именно тем, что мы не в состоянии представить себе совершенство без его безобразной противоположности.

О скорбный полубог, мой Адамас! Если бы ты и все тебе родное было вечно со мной! Пусть тот, на кого нисходит твое спокойствие и сила, о воин и победитель, кому ты явишь свою любовь и мудрость, либо обратится в бегство, либо и сам станет как ты! Неблагородному и слабому нет места рядом с тобой.

Как часто был ты со мной, хоть уже давно находился вдали, как часто исходивший от тебя свет освещал и грел меня, и мое окоченелое сердце оживало вновь, словно затянутый льдом ручей, когда его касается солнечный луч! И тогда мне хотелось взлететь к звездам в своем блаженстве, чтоб его не осквернило все то, что меня окружало.

Я рос, как растет виноградная лоза без подпоры, буйные побеги которой своевольно раскинулись над землей. Ты ведь знаешь, как часто гибнут здесь, у нас, благородные силы, не найдя себе применения. Я бродил как неприкаянный, словно блуждающий огонек; хватался за все на свете, и все меня захватывало, но лишь на миг, и мои неокрепшие силы уходили напрасно. Я чувствовал себя всегда неудовлетворенным и все же не мог обрести себе цель. Таким я был, когда он впервые меня увидел.

Он положил немало терпенья и искусства

на обработку своего материала, на так называемых культурных людей; но материал этот был и остался только камнем и деревом, хотя бы даже и принимал иногда благородный с виду облик человека; но не это нужно было моему Адамасу, ему нужны были люди, и он пришел к выводу, что у него не хватает мастерства для их создания. Те, кого он искал, люди, для создания которых ему не хватало мастерства, некогда существовали — это ему было ясно. И он знал, где они существовали. Его потянуло туда, он хотел разыскать их гений среди праха, коротать с ним свои одинокие дни. Он приехал в Грецию. Таким он был, когда я впервые его увидел.

Я и сейчас еще мысленно вижу, как он подходит, разглядывая меня с улыбкой, я и сейчас еще слышу его приветствие и расспросы.

Он стоял передо мной, и от него веяло покоем, как от зеленеющей купины, которая успокаивает мятущийся дух, возвращает сердцу наивную невзыскательность.

А я, разве я не был эхом низошедшего на него тихого вдохновения? Разве не повторялись во мне мелодии его души? То, что я видел, было божественно, и я сам становился тем, что я видел.

Как немощно, однако, самое искреннее усердие человека по сравнению с безраздельным могуществом вдохновенья! Вдохновение не скользит по поверхности, не воздействует только на одну или другую сторону нашей души; для него не требуется ни времени, ни особых средств; его не вызовешь ни прика-

зом, ни понуждением, ни уговорами; оно охватывает нас мгновенно и всеобъемлюще — от глубочайших тайников до высочайших высот нашей души,— и, прежде чем мы его осознали, прежде чем успели спросить себя, что с нами, оно уже полностью преображает нас своей красотой и блаженством.

Счастлив тот, кому в ранней юности довелось встретить благородный дух человеческий!

О, золотые, незабвенные дни, наполненные радостями любви и увлекательной работой!

Мой Адамас вводил меня то в мир героев Плутарха, то в волшебное царство греческих богов; с помощью числа и меры он внес покой и порядок в мои юношеские стремления, он взбирался со мною на горы — то днем, чтобы любоваться полевыми и лесными цветами или дикими мхами утесов, то ночью, чтобы мы видели над собой святые созвездия и учились понимать их смысл и порядок.

Какое редкостное наслаждение испытываем мы, когда наша душа черпает таким образом силы, познает себя, обретает свою целостность и наш разум постепенно предстает во всеоружии.

Но трижды проникновенней постигал я и его и себя, когда мы, как тени минувшего [10], проникнутые то гордостью и радостью, то гневом и печалью, взбирались на Афон [11], затем плыли по морю в Геллеспонт, а оттуда — вниз, к берегам Родоса и к горным пропастям Тенарума, мимо тихих островов; когда же

стремление вдаль увлекало нас в мрачные глубины древнего Пелопоннеса, к пустынным берегам Эврота, к обезлюдевшим, увы, долам Элиды, к немейским и олимпийским долинам, когда мы, прислонившись к колонне храма забытого Юпитера[12], среди олеандров и вечнозеленой листвы глядели на заброшенное русло реки, и весенняя жизнь и вечно юное солнце напоминали нам, что некогда и здесь жил человек, а теперь его нет, что прекрасная природа человеческая ныне почти не оставила следа, разве что в виде обломка храма или же сохранилась в памяти, как образ усопшего, — тогда я сидел возле Адамаса, предаваясь грустным забавам: обрывал мох с пьедестала полубога, раскапывал в куче щебня мраморное плечо героя или срезал терновник и вереск с наполовину ушедшего в землю архитрава. Тем временем Адамас рисовал ландшафт, который, ласково утешая, открывался за руинами: холм, засеянный пшеницей, оливы, стадо коз, расположившееся на уступах горы, вязовый лес, сбегавший с крутизны в долину; а у наших ног резвилась ящерица, и в полдневной тишине жужжали мухи... Милый Беллармин! Как хотелось бы мне поведать тебе обо всем так же досконально, как Нестор[13]. Я бреду по былому, словно собиратель колосьев по жнивью, где хозяин уже снял урожай, — ведь тут подбирают каждую соломинку. Хотелось бы мне рассказать и о том, как я стоял бок о бок с Адамасом на вершинах Делоса, и о том, какая это была заря, что занималась передо

мной, когда я всходил с учителем по древним мраморным ступеням на гранитную стену Кинфа[14]. Некогда здесь жил бог солнца и устраивались великолепные празднества, на которых он представал окруженный, как золотым облаком, блеском всей Греции. Здесь греческие юноши погружались в волны радости и вдохновения, точно Ахилл в воды Стикса, и, подобно этому полубогу, выходили неодолимыми. В рощах, в храмах пробуждались и звенели слиянно их души, и каждый свято берег эти чарующие аккорды.

Но зачем я говорю об этом? Разве мы еще сохранили представление о тех временах? Ах, да ведь никакой светлой мечте не расцвесть под гнетом тяготеющего ныне над нами проклятья! Точно пронзительный северный ветер дохнет современность на первые цветы нашего духа и опалит их, едва они распустятся. И все же то был лучезарный день, что я провел на Кинфе! Еще не рассвело, когда мы поднялись наверх. И вот он взошел, вечно юный древний бог солнца; бессмертный титан[15], как всегда беспечный и неутомимый, воспарил, неся с собой несчетные радости, улыбаясь своей опустелой земле, своим алтарям, колоннам своих храмов, которые судьба разбросала перед ним, словно сухие лепестки роз, мимоходом бездумно сорванные с куста ребенком и рассеянные по земле.

«Будь подобен ему», — воскликнул Адамас, схватил меня за руку и поднял ее навстречу светлому богу, и мне показалось, что

утренние ветерки вот-вот унесут нас, превратив в спутников святого солнца, которое сейчас всходило под купол небосвода, величавое и ласковое, наполняя нас и Вселенную, как по волшебству, своей силой и своим духом.

Душа еще ликует и скорбит над каждым словом, сказанным мне тогда Адамасом, и я не в силах понять, чего же еще мне надо, если я часто чувствую себя так, как, наверное, чувствовал себя тогда он. Что нам утрата, если человек таким образом обретает себя в своем собственном мире? Ведь в нас заключено все. Зачем же так печалится человек, когда с головы его падает хоть волос? Почему так стремится к рабству, когда мог бы стать богом?

«Ты будешь одинок, друг мой, — говорил мне тогда Адамас, — ты будешь как журавль, которого покинули братья с наступлением холодов, и сами ищут весну в дальних краях».

Так оно и есть, милый! Оттого-то мы и бедны при всем нашем богатстве, что не в силах остаться одни, что любовь не умирает в нас, покуда мы живы. Верни мне Адамаса, приведи всех, кто мне близок, чтобы прекрасный древний мир мог возродиться вокруг нас, чтобы мы могли вновь собраться и соединиться в объятиях нашего божества — природы, вот тогда увидишь, я позабуду обо всех невзгодах.

Но никто не вправе утверждать, что нас разлучает судьба! Нет, в этом мы, мы сами повинны! Мы испытываем наслаждение, бросаясь во мрак неизвестности, на холодную

чужбину какого-нибудь нового мира, и, будь это возможно, покинули бы царство солнца и вырвались за пределы планет. Ах, для вольного сердца человеческого не существует родины; и, как луч солнца опаляет им же вызванные к жизни земные растения, так человек сам губит прелестные цветы, распустившиеся в его сердце, — радости родства и любви.

Стало быть, я сержусь на Адамаса за то, что он меня покинул? Нет, не сержусь. Ведь он хотел вернуться!

Говорят, где-то далеко в Азии скрывается народ редкостных душевных качеств; туда и отправился Адамас, окрыленный надеждой.

Я провожал его до Нио [16]. То были горестные дни. Я привык терпеть боль, но на такое расставанье у меня недостало сил.

С каждым мгновеньем, приближавшим нас к часу разлуки, становилось все ясней, сколько нитей связывало меня с этим человеком. Как умирающий силится удержать угасающее в нем дыхание жизни, так и моя душа силилась удержать Адамаса.

Мы провели еще несколько дней на могиле Гомера, и отныне Нио дороже мне всех островов Греции.

Наконец мы оторвались друг от друга. Мое сердце изнемогло в борьбе. Но в последнюю минуту я стал спокойней. Я преклонил колена перед ним, и мои руки обняли его в последний раз. «Благослови меня, отец!» — тихо попросил я, подняв на него глаза. А он величаво улыбнулся, морщины на его челе, об-

ращенном к утренним звездам, разгладились, и, окидывая взглядом небесные просторы, он воскликнул: «Сохраните его для меня, духи грядущих лучших времен, и приобщите к своему бессмертию, а вы все, благосклонные силы небес и земли, не оставьте его!»

«Есть в нас бог,— добавил он спокойнее,— который управляет судьбой, как течением ручья, и все в мире ему подвластно. Да будет он с тобою всегда!».

Так мы расстались. Прощай и ты, Беллармин!

Гиперион к Беллармину

Где бы нашел я спасенье, когда б у меня не было милых дней моей юности?

Точно душа усопшего, не находящая себе покоя на берегах Ахерона[17], я возвращаюсь в покинутые мною края моей жизни. Все старится и молодеет опять. Почему же мы изъяты из прекрасного круговорота природы? А может, мы все-таки включены в него?

Я бы поверил в это, не будь у нас одной *особенности*: чудовищной жажды быть *всем*, которая, подобно титану Этны, яростно рвется наружу из тайников нашей души.

Однако кто же не предпочтет ощущать в себе постоянно, словно кипящее масло, эту внутреннюю жажду, чем признаться, что рожден для кнута и ярма? Кто благороднее: горячий боевой конь или понурая кляча?

Дорогой мой, было время, когда и мою грудь согревал жар великих надежд, когда я всем своим существом ощущал радость бес-

смертия, когда я блуждал меж различных прекрасных замыслов, точно между деревьями в чаще леса, когда я, счастливый, как вольные рыбы океана, стремился все дальше и дальше в безбрежное будущее.

Как весело выпрыгнул юноша из твоей колыбели, благостная природа! Как радостно надел он еще не испытанные доспехи! Лук был натянут, гремели в колчане стрелы, бессмертные, великие души древних увлекали его вперед, и его Адамас был с ними.

Куда бы я ни шел и где бы ни находился, всюду меня сопровождали прекрасные образы; как языки пламени, сплетались в моем воображении подвиги всех времен, и, как в одной ликующей грозе сливаются тучи-исполины, так слились в моем представлении, стали одной бесконечной победой неисчислимые победы Олимпийских игр.

Кто устоит перед этим? Кого не повергнет в прах подавляющее величие древности, как ураган повергает молодой лес, особенно если это величие захватит человека целиком, как меня, и если, как и я, он лишен условий, в которых мог бы обрести поддерживающее его чувство собственного достоинства?

Величие древних, как буря, заставляло меня склонять голову, срывало цвет юности с моих щек, и я не раз лежал не видимый никем, утопая в слезах, точно поваленная ель, что лежит у ручья, уронив в воду свою увядшую крону. С какой радостью заплатил бы я кровью за то, чтоб хоть единый миг жить жизнью великого человека!

Но что с того? Ведь я никому не был нужен.

О, какое это унижение — сознавать свое ничтожество, и, если кто не способен это понять, пусть не задает вопросов и возблагодарит природу, создавшую его, как мотылька, только для наслаждений; пусть он идет своим путем, не вспоминая никогда в жизни о страданиях и несчастиях.

Я любил твоих героев — так мошкара любит свет; я искал их опасной близости, бежал от нее и снова искал.

Как раненый олень бросается в реку, так и я не раз бросался в водоворот наслаждений, чтоб охладить пылающую грудь и утопить в нем свои непокорные, прекрасные мечты о величии и славе. Но что с того?

И часто, когда пылкое сердце увлекало меня полуночной порой в сад, под росистые деревья, когда баюкающая песня ручья, нежный ветерок и лунный свет укрощали мою душу, тогда надо мной так свободно и мирно проплывали серебряные тучки, а издалека доносился замирающий голос прибоя, — как ласково шутили тогда с моим сердцем любимые им великие призраки!

«Прощайте, небесные! — мысленно говорил я им подчас, едва надо мною зазвучит тихая мелодия рассвета.— О прекрасные мертвецы, прощайте! Хотел бы я пойти вслед за вами, хотел бы отряхнуть с себя все, чем наделило меня нынешнее столетье, и переселиться в свободное царство теней!»

Но я томлюсь в оковах и с горькой ра-

достью хватаюсь за жалкую чашу, из которой мне дано утолять свою жажду.

Гиперион к Беллармину

Мой остров стал мне тесен с тех пор, как ушел Адамас. Много лет проскучал я на Тине. Мне захотелось повидать свет.

— Поезжай поначалу в Смирну,— сказал отец.— Изучи там военное дело и мореходство, языки просвещенных народов, их законы, взгляды, нравы и обычаи, испытай все и выбери лучшее! [18] А тогда, пожалуй, делай, что хочешь.

— Не мешает тебе поучиться терпенью! — добавила мать, и я с благодарностью принял и это напутствие.

Какой восторг испытываешь, впервые переступая порог юности! Когда я вспоминаю день своего отъезда с Тине, мне кажется, что это день моего рождения. Надо мной взошло новое солнце, и я, будто впервые, наслаждался землей, морем и воздухом.

Усердие, с которым я принялся в Смирне за учение, и достигнутые мною быстрые успехи внесли покой в мое сердце. И немало счастливых праздничных вечеров осталось у меня в памяти с той поры. Как часто гулял я под вечнозелеными деревьями на берегах Мелеса, на родине моего Гомера, собирал цветы и приносил ему жертву, бросая их в священный поток! Затем, увлекаемый безмятежными мечтами, я тут же входил в грот, где, как внушали мне мечты, пел свою Илиаду старец. И я находил его там. Все во мне за-

мирало в его присутствии. Я раскрывал его божественную поэму, и мне казалось, что я никогда раньше не читал ее, настолько по-новому она звучала теперь во мне.

Так же охотно я вспоминаю свою прогулку в окрестностях Смирны. Это прекрасные края, и с той поры я тысячу раз мечтал обрести крылья, чтобы хоть раз в году улетать в Малую Азию.

От Сардской равнины[19] я поднялся вверх по утесам Тмола.

Я ночевал у подошвы горы в приветливой хижине, среди миртов и благовонных кустов ладанника, где передо мной в золотых волнах Пактола[20] резвились лебеди и сквозь вязы робко, словно пугливый дух, глядел на яркое сияние луны древний храм Кибелы[21]. Пять изящных колонн грустили над прахом, а у их подножья лежал повергнутый царственный портал[22].

Моя тропинка вилась в чаще цветущих кустарников, уводя наверх. С крутого откоса склонялись лепечущие деревья и осыпали мне голову своими нежными пушинками. Я вышел утром. К полудню я был на вершине горы. Я стоял, радостно глядя вдаль, впивая чистое дыхание неба. То были блаженные часы.

Передо мной, словно море[23], простиралась местность, откуда я всходил на гору, сияющая юностью, оживленная радостью; чудесная нескончаемая игра красок, то весна посылала привет моему сердцу, и, как солнце на небе вновь и вновь узнает себя в бесчислен-

ных превращениях света, отражаемого землей, так и мой дух постигал себя в полноте жизни, которая окружала его со всех сторон, захлестывала его.

Слева низвергался сквозь леса, шумно ликуя, поток-исполин с нависшего надо мной мраморного утеса, где орел играл с орлятами, а в голубом эфире сияли снеговые вершины; справа клубились грозовые тучи над лесами Сипила[24]; я не чуял грозы, что несла их, я чувствовал лишь, как ветерок шевелит мои кудри, но я слышал гром, как слышат голос будущего, и видел вспышки зарниц, как далекий свет предчувствуемого божества. Я повернул на юг и двинулся дальше. И вот она открылась передо мной, райская страна, где протекает Каистр[25], замедляя свой путь столькими восхитительными излучинами, словно никак не может расстаться со всем этим изобилием и прелестью, которые его окружают. Легче зефиров переносилась моя душа от красот к красотам, от мирной, неведомой деревушки под самой горой до тех далей, где виднеется в дымке горная цепь Мессогина[26].

Я вернулся в Смирну, как хмельной после пира. На душе у меня было так хорошо, что я не мог не поделиться своим богатством со смертными. Я был настолько счастлив, проникшись красотой природы, что не мог не попытаться заполнить ею пустоты человеческой жизни. Моя восторженность преобразила убогую Смирну, она предстала передо мной приукрашенная, словно невеста. Мне понра-

вились ее общительные жители. Нелепость их обычаев забавляла меня, как дурачества ребенка, и, будучи от природы чужд всяких принятых форм общения и условностей, я обратил все это для себя в игру и относился к этим вещам как к маскарадному костюму, который то надевал, то сбрасывал.

Правда, несколько сдабривали пресный вкус моих будней добрые, приветливые лица — их иногда еще посылает нам сострадательная природа, точно звезды во время затмения.

Как искренне я им радовался! С какой верой толковал эти благосклонные иероглифы! Но это дало мне не больше, чем березовый сок однажды весной: я был наслышан о его целебных свойствах и вообразил, будто изящный ствол березки содержит в себе чудесный бальзам. Но ни сил, ни бодрости у меня от него не прибыло.

И, увы, мало способно было исцелить и все остальное, что я слышал и видел!

Порой, когда я встречался с так называемыми образованными людьми, мне поистине казалось, что человеческая природа принимает многообразные обличья животного царства. Особенно распущенными и растленными были здесь, как и всюду, мужчины.

Есть звери, которые начинают выть, услышав музыку. А мои благовоспитанные ближние смеялись, когда речь заходила о духовной красоте и юности сердца. Волки уходят, если развести огонь. А эти люди, заметив хоть искру разума, как воры, кажут спину.

Если же я с похвалой отзывался о Древней Греции, они, зевая, отвечали, что, мол, и в наш век жить можно; да и тонкий вкус не совсем еще перевелся, спесиво добавлял кто-нибудь.

И они это доказывали по-своему: один отпускал остроты под стать галерному кандальнику, другой с важным видом читал пошлую мораль.

А иной корчил из себя просвещенного человека и, бросая вызов небесам, дерзко восклицал: «Что мне журавль в небе, дайте синицу в руки!». Однако, когда при нем упоминали о смерти, задора его как не бывало и мало-помалу он договаривался до того, что теперь духовенство у нас совсем не пользуется авторитетом, а это весьма опасно.

Единственные люди, с которыми я порой общался, были рассказчики, живые каталоги иноземных городов и стран, говорящие волшебные фонари, в которых можно увидеть монархов на конях, колокольни церквей и рынки.

Наконец мне надоело унижаться, ища виноградные лозы в пустыне, а цветы среди льдов.

Отныне я жил совершенно один, и нежный дух юности почти бесследно исчез из моей души. Неисцелимый недуг нашего столетия открылся мне из многого, о чем я тебе рассказываю и о чем не рассказываю вовсе; но мне не дано было даже прекрасного утешения — обрести в одной душе целый мир, обнять все человечество в образе друга.

Милый! Чем была бы жизнь без надежды? Искрой, вылетающей из раскаленных углей и сразу гаснущей? Или порывом ветра сумрачной осенью, который вдруг засвистит и внезапно смолкнет?

Ведь и ласточка улетает на зиму в теплые страны, ведь и зверь в полуденный зной мечется, ища глазами источник. Кто внушил ребенку, что мать не откажет ему в своей груди? Но все-таки видишь, он ее ищет.

Ничто сущее не могло бы жить, если бы оно не надеялось. Мое сердце замкнуло в себе свои сокровища, но лишь до лучших времен, во имя того Единственного, Святого и Верного, что должно было повстречаться моей алчущей душе в один из периодов ее бытия.

Сколь часто в часы, когда я это предчувствовал, предавался я этой мечте, которая кротко, подобно лунному свету, озаряла мое умиротворенное сознание! Я знал тебя уже тогда, уже тогда ты смотрела на меня, словно добрый гений с облаков, ты, что вышла однажды из мутной житейской пучины, представ предо мною в своей мирной красе! Отныне сердце мое не ведало ни борьбы, ни жгучих мук.

И, как во время затишья чуть-чуть колышется лилия, так и моя душа незаметно погружалась в свою стихию, в завораживающие мечты о тебе.

Гиперион к Беллармину

Смирна мне опостылела. Да и сердце мое постепенно охватила усталость. Правда, под-

час во мне вспыхивало желание отправиться в кругосветное путешествие или на какую-нибудь войну или разыскать моего Адамаса и выжечь его духовным огнем свое уныние, но дальше желаний дело не шло, и в моей ненужной, вяло влачившейся жизни никак не наступало обновления.

Лето кончалось; я предчувствовал недалекие уже хмурые, ненастные дни, свист ветра, шумные потоки дождя, и природа, жизнь которой била раньше кипучим ключом в каждом цветке и дереве, теперь представлялась мне в моем мрачном настроении духа такой же, как я сам: чахнущей, замкнутой и ушедшей в себя.

Я хотел унести с собой, что можно, из этой угасающей жизни, спасти в себе все, что успел полюбить, ибо хорошо знал, что новая весна уже не застанет меня среди этих деревьев и гор; вот почему я совершал теперь чаще обычного прогулки то пешком, то верхом по окрестностям.

Но больше всего побуждало меня к этому тайное желание увидеть человека, которого я последнее время ежедневно встречал под деревьями у городских ворот.

Прекрасный незнакомец шагал, как молодой титан среди племени карликов, которые боязливо-восторженно взирали на его красоту, отдавая должное его силе и росту, и украдкой, словно запретным плодом, любовались римским профилем его обожженного солнцем лица; когда же настойчиво ищущий взгляд этого человека, которому, быть может,

показался бы тесен весь вольный эфир, отбросив гордость, встречался вдруг с моим взглядом, то бывала чудесная минута; но мы, вспыхнув, смотрели друг на друга и шли своей дорогой.

Однажды поздно вечером я возвращался с дальней прогулки в Мимас[27]. Спешившись, я вел лошадь в поводу крутой и дикой тропинкой вниз по корням и каменьям, и, когда я пробирался сквозь кусты, передо мной открылась пещера; тут на меня напали двое караборнийских разбойников[28], и мне сперва было нелегко отражать удары двух сабель; однако разбойники, видно, где-то уже потрудились и устали, так что я все же от них отбился. Я спокойно сел в седло и стал спускаться.

У подножия горы я выехал на маленькую лужайку в самой гуще лесов, среди нагроможденья скал. Стало светлей. Луна как раз вышла из-за темных деревьев. В некотором отдалении я увидел коней, лежавших на земле, а на траве, рядом с ними, — людей.

— Кто здесь? — крикнул я.

— Да это Гиперион! — с радостным изумлением отозвался чей-то богатырский голос.— Ты меня знаешь,— продолжал он,— мы встречаемся каждый день у ворот под деревьями.

Мой конь полетел к нему как стрела. Луна ярко осветила знакомое лицо. Я спрыгнул с коня.

— Здравствуй же! — сказал добрый великан, окинул меня ласковым и смелым взгля-

дом, и его сильная рука так крепко стиснула мою, что смысл этого рукопожатия дошел до самого моего сердца.

О, теперь моя никому не нужная жизнь обрела цель!

Алабанда [29] — так звали моего нового знакомца — рассказал мне, что на него и его слугу напали разбойники; он прогнал тех двоих, на которых я наткнулся, но заблудился в лесу и потому был вынужден переждать на том месте, где я нашел его.

— Я потерял при этом друга,— добавил он, указав на своего павшего коня.

Я отдал свою лошадь слуге Алабанды, и мы с ним пошли пешком дальше.

— Так нам и надо,— сказал я, выходя рука об руку с ним из лесу,—зачем мы столько времени медлили, избегая друг друга, пока нас не свел несчастный случай.

— А все-таки должен тебе заметить, что ты виноват больше меня, что ты холоднее,— ответил Алабанда.— Ведь я сегодня ехал вслед за тобой.

— Ты бесподобен,— воскликнул я,— но взгляни на меня! По силе любви к тебе не превзойти меня никогда.

Мы становились все радостней и откровенней.

Близ города мы заметили постоялый двор, красиво расположенный среди журчащих источников, плодовых деревьев и душистых лужаек.

Мы решили там переночевать. Долго еще сидели мы вдвоем при открытых окнах. Нас

окружала величавая, торжественная тишина. Земля и море блаженно безмолвствовали, как и застывшие над нами звезды. Изредка залетал к нам в комнату морской ветерок, чуть колыша пламя свечи, или доносились звуки отдаленной музыки, а между тем в тишине время от времени раздавался глухой рокот: это, прерывисто дыша, ворочалась в своей колыбели, в эфире, грозовая туча, как спящий исполин, которому снятся страшные сны.

Наши души особенно сближало еще и то, что они помимо своей воли так долго томились в одиночестве. Мы встретились с ним, как два ручья, что катятся с гор, раскидывая землю, камни и гнилые деревья — весь застывший хаос, мешающий им проложить путь друг к другу и достичь того места, где они, увлекая все кругом и влекомые с одинаковой силой, сливаются воедино в величественной реке и начинают свой совместный путь к безбрежному морю.

Он, изгнанный судьбой и людским варварством из родного дома, вынужденный скитаться по чужим краям, смолоду узнавший горечь и отчуждение, но вопреки этому таивший в сердце жажду любви, жажду пробиться из жесткой, сковывающей его оболочки в дружественную стихию; я, от всего уже отрешившийся, одинокий и всем складом души чужой окружающим меня людям; я, чьи самые дорогие сердцу песни глумливо искажало эхо молвы; я, предмет ненависти всех слепых и убогих разумом, хоть и сам себе противен всем тем, что роднит меня с мудрецами

и умниками, варварами и остряками, и вопреки этому преисполненный надежд, преисполненный ожидания лучших времен.

Как же могли эти двое юношей не броситься радостно друг другу в объятья?

О мой друг и соратник, мой Алабанда, где ты? Я почти готов поверить, что ты ушел в неведомую страну, обретя там покой, и стал снова таким, как некогда, в пору нашего детства.

Подчас, когда надо мною проносится гроза, щедро оделяя своей божественной силой леса и нивы, или когда играют друг с дружкой валы морского прибоя, или стаи орлов реют надо мной среди недоступных горных вершин, мое сердце вдруг начинает громко биться, словно Алабанда где-то неподалеку; но еще зримей, явственней, непреложней живет он в моей памяти — точь-в-точь такой, каким он когда-то предстал передо мною: страстный и суровый, грозный обличитель, бичевавший пороки своего времени. И как пробуждался тогда мой дух и какие громовые слова неумолимого правосудия находил мой язык! Наши мысли, точно посланцы Немезиды, облетали всю землю, чтобы очистить ее, пока не останется и следа от тяготеющего над ней проклятья.

Мы призывали прошлое предстать перед нашим судом, и даже великолепие гордого Рима не могло устрашить нас, и даже цветущая молодость Афин нас не подкупала.

Точно буря, которая, ликуя, безудержно несется вперед через леса и горы, вырыва-

лись на волю из наших душ гигантские замыслы: однако ж мы вовсе не создавали себе как по волшебству возникший собственный мир — ведь это недостойно мужчины — и не воображали, как неопытные юнцы, что не встретим препятствий,— у Алабанды хватало с избытком ума и отваги. Но подчас и внезапно осенившее нас вдохновение таит в себе пыл воина и прозорливость мудреца.

Один день особенно мне памятен.

Как-то мы с Алабандой пошли погулять и, непринужденно усевшись плечом к плечу в тени вечнозеленого лавра, читали вместе тот отрывок из нашего Платона [30], где он с такой поразительной проникновенностью говорит о старении и омоложении; мы отдыхали душой, любуясь немыми, безлиственными рощами и небывало прекрасной игрой облаков и солнечного света в небе, над дремлющими осенними деревьями.

Затем мы много говорили о нынешней Греции, и оба — с болью в сердце, потому что эта поруганная земля была родиной и Алабанды.

Алабанда был против обыкновения очень взволнован.

— Когда я вижу ребенка,— воскликнул он,— и думаю о том, какое постыдное и тлетворное иго он будет нести на себе, о том, что он будет прозябать, как мы, и так же искать настоящих людей, жаждать, как мы, красоты и истины, а умрет бесплодно, потому что будет одинок, как мы, что он... о люди, хватайте ваших сыновей и бросайте их из колыбели

в реку, чтобы спасти хотя бы от этого позора, какой постиг вас!

— Ну что ты, Алабанда! — сказал я.—Все будет иначе.

— Отчего же? — возразил он.— Ведь герои лишились славы, мудрецы — учеников. Совершать подвиги, о которых не услышит благородный народ,— все равно что биться головой о стену, а возвышенное слово, не нашедшее отклика в возвышенном сердце,— это прелый лист, падающий в навоз. Ну что ты с этим поделаешь?

— А вот что: возьму лопату и сгребу навоз в яму,— ответил я.— Народ, в котором пример силы духа и величия не пробуждает больше ни величия, ни силы духа, не имеет ничего общего с теми, которые еще остались людьми, он потерял все свои права, и, когда этакому безвольному трупу воздают почести, словно в нем еще живет дух римлян, это пустая комедия, попросту суеверие. Ему не место здесь, этому гнилому, высохшему стволу, он отнимает свет и воздух у молодой жизни, которая созревает для нового мира.

Алабанда порывисто обнял меня и от души расцеловал.

— Брат по оружию! — воскликнул он.— Милый мой брат по оружию! О, теперь я в сто раз сильнее!

— Вот эта песня по мне,— продолжал он, и его голос, как боевой клич, заставил встрепенуться мое сердце,— больше мне ничего и не надо! Ты молвил прекрасное слово, Гиперион! Что ж это? Бог ли будет зависеть от

червя? Бог, который живет внутри нас, перед которым открывается путь в бесконечность, должен неподвижно ждать, пока червь уступит ему дорогу? Нет, нет! Вас не спрашивают, хотите ли вы! Да вы никогда и не захотите сойти с дороги, рабы и варвары! Мы и не попытаемся вас исправлять, это бессмысленно! Мы только сделаем так, что вы очистите путь для победного шествия человечества. О, был бы у меня горящий факел, и я выжег бы плевелы на поле! О, если б я мог заложить заряд и взорвать гнилые пни!

— Где можно, их спокойно обходят,— заметил я. Алабанда помолчал.

— Одна моя отрада — будущее,— сказал он затем и пылко сжал мои руки.— Слава богу, мне не уготован заурядный конец. Быть счастливым на языке рабов означает мирно дремать. Быть счастливым! Да мне претят ваши речи о счастье, как безвкусная каша и жидкая похлебка! До чего же глупо и гадко все, на что вы меняете ваши лавровые венки, ваше бессмертие.

О благостное светило, ты, что без устали движешься там, в вышине, в своем необъятном царстве, наделяя и меня частицей своей души, посылая лучи, которые я впиваю! Хотел бы я быть счастлив по-твоему!

Сынов солнца питают их подвиги. Они живут победой, черпают бодрость в собственной душе и радость в своей мощи.

Порой дух этого человека так властно подчинял меня себе, что невольно становилось

стыдно: уж слишком легко, словно пушинку, ты позволил ему тебя увлечь.

— Боже великий! — воскликнул я.— Вот она, радость! Вот они, новые времена! Это уж не лепет моего недозрелого столетья, не та страна, где у человека надрывается сердце от муки под плетью надсмотрщика. Да, да! Клянусь твоей прекрасной душой, друг мой, мы с тобой спасем отчизну!

— Спасем,— ответил он,— или погибнем.

С этого дня мы стали еще больше уважать и любить друг друга. В наших отношениях появилась какая-то глубокая серьезность, которую не выразить словами. Но мы от этого чувствовали себя счастливей. Каждый жил, сообразуясь с постоянной тональностью своей натуры, и мы достигали полной гармонии, ничем не приукрашая ее, всякий раз на новой, высшей ступени. Наша совместная жизнь была исполнена прекрасной суровости и отваги.

— Что же ты стал так немногословен? — улыбаясь, спросил меня как-то Алабанда.— В теплых странах,— ответил я,— там, где солнце ближе к земле, птицы тоже ведь не поют.

Но все на земле приходит и уходит в свой черед, и при всей своей исполинской мощи человек не в силах ничего удержать. Я видел раз, как ребенок ловил ручонками свет луны, но свет спокойно продолжал свой путь. Так вот и мы тщимся удержать превратную судьбу.

Но разве может кто-нибудь следить за

ней безмятежно и задумчиво, как следят за движением звезд?

Чем ты счастливей, тем проще тебя погубить, и блаженные дни, проведенные с Алабандой, напоминают вершину крутого утеса; стоит твоему спутнику ненароком чуть коснуться тебя, и ты срываешься вниз и летишь по острым уступам в мглистую пропасть.

Мы совершили великолепную прогулку по морю на Хиос[31] и получили бесконечное удовольствие. Добрые чары природы нежили нас, как ветерки, витающие над морской гладью. Мы глядели друг на друга без слов, с радостным изумлением, но наши глаза говорили: «Таким я тебя еще никогда не видел!». Так чудесно преобразили нас силы земли и неба.

После, когда мы плыли обратно, между нами завязался веселый и горячий спор; я, как всегда, и в этот раз наслаждался, следя за смелым и прихотливым полетом его ума, за тем, как Алабанда так своеобычно, с такой непринужденной веселостью и все же так уверенно прокладывал путь своей мысли. Высадившись на берег, мы поспешили остаться наедине.

— Тебе незачем убеждать,— с искренней любовью сказал я.— Ты уговариваешь, подкупаешь человека с первого же слова; слушая тебя, невозможно сомневаться, а если мы не сомневаемся, стало быть, незачем нас убеждать.

— Гордый льстец,— воскликнул он,— ты лжешь! Но хорошо, что ты меня предостере-

гаешь! Слишком часто я бываю из-за тебя безрассуден! Ни за какие блага мира я не решился бы порвать с тобою, но меня часто пугает мысль о том, что ты стал для меня необходим, что я неразрывно с тобою связан. И вот,— продолжал он,— раз я всецело твой, ты должен узнать обо мне все! Упоенные всей этой красотой и радостью, мы до сих пор не помышляли о том, чтобы оглянуться на прошлое.

И он поведал мне о своей судьбе; казалось, я вижу юного Геркулеса в схватке с Мегерой [32].

— Ну а теперь ты будешь прощать мне мою частую грубость, мои дикие выходки мой непереносимый характер, теперь ты будешь относиться к этому спокойней? — спросил в заключение Алабанда, закончив повесть о своих несчастьях.

— Замолчи, замолчи же! — с глубоким волнением ответил я.— Только будь со мной, береги себя для меня!

— Ну, конечно же, для тебя! — воскликнул он.— Я от души рад, что ты все же коекак меня перевариваешь. А если у тебя иной раз бывает от меня оскомина, как от дикого яблока, возьми меня в работу, пока не получишь доброго вина.

— Перестань, перестань! — вырвалось у меня. Но напрасно я противился; этот человек превращал меня в малого ребенка. Я и не скрывал этого; он видел мои слезы, и горе ему, если бы он посмел их не увидеть!

— Мы моты,— сказал после паузы Ала-

банда,— мы убиваем время в безумствах.

— Это медовый месяц нашей дружбы,— пошутил я. Оставалось только добавить, что мы живем в Аркадии.— Но вернемся к нашему разговору. Ты все-таки предоставляешь государству слишком большую власть. Оно не вправе требовать того, к чему не в силах принудить. Но то, что достигается любовью и духовным воздействием, нельзя вынудить. Так пусть государство к этому не прикасается [33], иначе придется пригвоздить все его законы к позорному столбу. Клянусь, тот, кто хочет сделать государство школой морали, не ведает, какой он совершает грех. Государство всегда оттого и становилось адом, что человек хотел сделать его для себя раем.

Государство — жесткая скорлупа, облекающая зерно жизни, и только. Оно — каменная стена, ограждающая сад человечества, где растут цветы и зреют плоды.

Но зачем ограждать сад, в котором высохла почва? Здесь поможет одно: дождь с неба [34].

О дождь с неба, животворящий! Ты возвратишь народам весну. Государство не может приказать тебе явиться. Только бы оно не мешало, и ты будешь, будешь, одаришь нас своим всемогущим блаженством, окутаешь золотыми облаками и вознесешь над всем смертным, и мы изумимся и спросим, мы ли это,— убогие, вопрошавшие звезды, не там ли расцветет для нас весна... Ты хочешь знать, когда это будет? Тогда, когда любимица века, самая юная, самая прекрасная его

дочь, новая церковь[35], сбросит свои запятнанные, ветхие ризы, когда пробудившееся чувство божественного возвратит человеку божество и сердцу его — прекрасную юность. Когда это произойдет — не берусь предсказать, я могу только догадываться, но это будет, будет. Смерть — это предвестница жизни, и то, что мы томимся сейчас в нашей больной плоти, говорит о близком здоровом пробуждении. Тогда, лишь тогда обретем мы себя и родную нам стихию духа!

Некоторое время Алабанда молчал, рассматривая меня с изумлением. Я был окрылен нескончаемыми надеждами; божественные силы уносили меня ввысь, точно облачко.

— Идем! — воскликнул я, схватив Алабанду за одежду.— Идем! Кто же еще в состоянии сидеть в этой мрачной темнице?[36]

— Куда, мечтатель? — сухо ответил Алабанда, и тень насмешки скользнула по его лицу. Я точно упал с неба.

— Оставь меня! — сказал я.— Ничтожный ты человек!

В эту минуту в комнату вошли какие-то незнакомцы, с примечательной внешностью, бледные и худые и, насколько я мог разглядеть при свете луны, спокойные; но было в их лицах что-то такое, что пронзало душу как меч и походило на всеведение; правда, можно было бы и подумать, что у них просто внешность, присущая ограниченным натурам, если бы на их лицах не оставили своего следа умерщвленные страсти.

Один из вошедших особенно поразил меня [37]. Спокойствие его лица было спокойствием покинутого поля брани. Некогда в этом человеке бушевали гнев и любовь, а ныне в развалинах его души разум светился, как око ястреба, сидящего на разрушенном дворце. Глубокое презрение залегло в складках у его губ. Нетрудно было догадаться, что этот человек задается отнюдь не малыми целями.

Другой был обязан своим спокойствием скорее природной черствости сердца. На нем не оставили следов ни произвол рока, ни произвол страстей.

Третий, вероятно, силой внутреннего убеждения выработал в себе холодность и, наверное, еще часто вынужден был бороться с самим собой, ибо в его поведении чувствовалось тайное противоречие, и мне казалось, что ему все время приходится держать себя в узде. Он говорил меньше всех.

Когда они вошли, Алабанда стремительно вскочил с места — так распрямляется согнутая сталь.

— Мы искали тебя,— крикнул один из них.

— Вы нашли бы меня, даже если бы я спрятался в центре земли,— сказал он, смеясь.— Мои друзья,— добавил он, обращаясь ко мне.

Они, кажется, довольно пристально меня разглядывали.

— Вот еще один человек, который хочет, чтобы на свете стало лучше,— объявил после паузы Алабанда, указывая на меня.

— И всерьез? — спросил меня один из троих.

— Улучшать мир — дело нешуточное,— отвечал я.

— Сказано коротко, но много! — воскликнул другой.

— Ты наш! — провозгласил третий.

— Вы думаете так, как я?

— Спроси лучше, что мы делаем!

— И если спрошу?

— Мы ответим, что живем для того, чтоб очищать землю, что мы убираем с полей камни, что мы разбиваем мотыгой твердые комья, вспахиваем землю плугом, подрезаем сорные травы под корень, вырываем их с корнем, чтобы они иссохли под знойным солнцем.

— Но не для того, чтобы снять для себя урожай,— вставил другой,— для нас награда приходит слишком поздно; не для нас поспеет урожай.

— Мы на закате наших дней. Мы часто заблуждались, на многое надеялись и мало сделали. Мы не столько раздумывали, сколько дерзали. Мы хотели скорее кончить свое дело и шли на риск. Мы много говорили о радости и стремлении, но и любили и ненавидели — и то и другое. Мы играли судьбой, а она — нами. Она возносила нас от нищенского посоха до царского скипетра, а потом швыряла обратно. Она раскачивала нас — взад и вперед, как горящее кадило, и мы пылали, пока горящие угли не превратились в пепел. Мы перестали говорить о счастье и не-

удачах. Мы перевалили через гребень жизни, когда пригревает солнце и все зеленеет. Но пережить свою юность еще не самое страшное зло. Из горячего металла выковывается холодный меч. К тому же, говорят, на выгоревших, потухших вулканах недурна бывает виноградная лоза.

— Мы говорим это не ради себя,— несколько поспешно перебил его другой,— а ради вас. Мы не вымаливаем сердце человека, как милостыню. Мы не нуждаемся в его сердце, в его воле. Ведь человек никоим образом не может быть против нас, потому что все на свете за нас: глупые и умные, простаки и мудрецы,— все пороки и все добродетели невежества и просвещения служат нам безо всякой мзды и слепо помогают идти к нашей цели. Однако нам хотелось бы, чтоб это доставляло кому-нибудь удовольствие; вот почему из тысячи слепых помощников мы выбираем себе лучших, чтобы превратить их в зрячих помощников; если же никто не захочет жить в построенном нами здании, то это не наша вина, да и не беда; мы свое дело сделали. Если никто не захочет собрать урожай[38] там, где мы пахали, кто нас за это осудит? Кто проклянет яблоню[39], если яблоко с нее упадет в болото? Я не раз говорил себе: «То, что ты делаешь, станет добычей тлена»,— и все же я каждый день выполнял заданный себе урок.

«Они обманщики![40]» — вопияли стены этого дома, и это слышал мой чуткий внутренний слух. Я чувствовал себя как человек, кото-

рый угорел и, пытаясь спастись, вот-вот вышибет двери и окна; меня тянуло на волю, на воздух.

Они быстро заметили, что мне не по себе, и замолчали. Уже брезжил день, когда я вышел из постоялого двора, где мы сидели. Я ощущал дуновение утреннего ветерка, как бальзам на пылающей ране.

Я был и без того уже раздражен насмешками Алабанды, поэтому загадочные незнакомцы окончательно вывели меня из себя.

— Он плохой человек,— воскликнул я,— да, плохой; втерся ко мне в доверие, а за моей спиной связывается с такими людьми, да еще скрывает.

Я был оскорблен, как невеста, узнавшая, что ее возлюбленный в тайной связи с потаскухой.

Нет, это было не такое страдание, которое лелеешь в себе, вынашиваешь под сердцем, словно ребенка, и баюкаешь соловьиными трелями.

Страдание это сжало меня в своих страшных объятьях, как разъяренная змея, которая беспощадно стискивает сначала колени и бедра, обвивается вокруг всего тела, а затем вонзает ядовитое жало в грудь и затылок. Я призвал на помощь все свое мужество, старался думать о чем-нибудь возвышенном, чтобы успокоиться; мне это удалось лишь на несколько секунд, затем гнев снова вспыхнул, погасив, как разгорающийся огонь, последнюю искру любви.

Я думал: ведь это его товарищи, наверное,

он в сговоре с ними, они против тебя! Чего же он хотел от тебя? Чего он мог искать в тебе, в мечтателе? О, если бы он прошел мимо! Но у таких людей есть особое свойство: их привлекает противоположность. Им нравится держать у себя в хлеву диковинного зверя.

И все же я был с ним несказанно счастлив; как часто я забывался в его дружеских объятьях, а потом, очнувшись, становился неодолимым, как часто я очищался и закалялся в его огне точно сталь!

Однажды, в ясную ночь, я указал ему на Близнецов; Алабанда положил мне на сердце руку и сказал:

— Это только звезды, Гиперион, только буквы, из которых складывается начертанное на небесах прозвище братьев-героев; но сами герои — внутри нас, живые и неизменные, равно как и их мужество, их божественная любовь; а ты, ты сын богов и делишь со смертным Кастором свое бессмертие! [41]

Когда мы блуждали по лесам Иды [42], а после спускались в долину, вопрошая безмолвные курганы о том, кто в них погребен, и я говорил Алабанде, а что если в одном из таких курганов покоится Ахилл и его любимец [43], Алабанда признавался, как он часто по-детски мечтает, что мы когда-нибудь вместе падем на поле битвы и тоже будем покоиться вместе под деревом... А теперь? Ну кто бы мог тогда такое подумать?

Я размышлял, напрягая все силы еще оставшегося во мне разума, обвиняя Алабанду, оп-

равдывал и вновь обвинял еще ожесточенней; я противился своему чувству, стараясь отвлечься, и от этого все больше впадал в мрачность.

Ах! Ведь меня столько раз били кулаком прямо по глазам, они едва только начали заживать — мог ли я смотреть на мир незамутненным взглядом?

Алабанда явился ко мне на другой день. Все во мне кипело, когда он вошел, но я сдержался, как ни раздражало и ни бесило меня его спокойствие и гордость.

— Погода отличная,— вымолвил он наконец,— и вечер будет прекрасный. Пойдем погуляем у акрополя! [44]

Я пошел. Мы долго не говорили ни слова.

— Чего ты хочешь? — вырвалось у меня.

— И ты еще спрашиваешь? — сказал этот странный человек с такой горечью, что у меня сжалось сердце.

Я был поражен, смятен.

— Что я должен о тебе думать? — спросил я снова.

— То, что есть,— отвечал он невозмутимо.

— Тебе нужно извиниться,— сказал я, переменив тон, и гордо взглянул на него. Проси же прощенья! Оправдывайся!

Тут уж он не стерпел.

— Чем я дал повод этому человеку,— в негодовании воскликнул он,— подчинять меня своему произволу, гнуть меня в дугу? Правда, я слишком рано бросил ученье, но я изведал и разорвал все оковы, и вот объявились новые; остается разбить еще и эти,

я еще не давал помыкать собой фантазеру... Посмей только пикнуть! Я и так слишком долго молчал!

— О Алабанда, Алабанда! — воскликнул я.

— Молчи,— сказал он. — Не прибегай к моему имени, как к кинжалу.

Тут уж и я не совладал с гневом, и мы не унимались до тех пор, пока возврат к прошлому не стал почти невозможным. Мы яростно разрушали вертоград нашей любви. Часто мы останавливались, наступало молчание; нам так хотелось броситься друг другу на шею, но проклятая гордыня подавляла малейшее слово любви, пробуждавшееся в сердце.

— Прощай! — крикнул я наконец и бросился прочь. Но против воли я оглянулся, и так же против воли пошел за мной Алабанда.

— Алабанда,— обратился я к нему,— ну не чудак ли этот нищий? Бросает в болото свой последний грош!

— Раз так, пускай издыхает с голоду,— крикнул он в ответ и ушел.

Я бессмысленно поплелся дальше, добрел до моря и взглянул на волны... Туда, ах туда, в пучину, влекло меня мое сердце, и мои руки тянулись навстречу вольному прибою; но вскоре на меня нисшел, как с неба, дух утешенья и успокоил мою непомерно страждущую душу своим умиротворяющим жезлом; я размышлял уже хладнокровней о своей судьбе, о своей вере в мир, о своих горестных испытаниях; я анализировал натуру человека, которую мне довелось узнать и почувст-

вовать с ранних лет, натуру человека, воспитанного в различных условиях, и неизменно обнаруживал в нем скрытую или кричащую дисгармонию; и только в простодушной прямолинейности детства мне открывалась чистая мелодия... Что ж, сказал я себе, лучше быть пчелой, строящей свой дом в невинности, чем разделять власть с властителями мира и выть с ними по-волчьи, чем повелевать народами и марать руки в нечистом деле; и мне захотелось домой, на Тине, захотелось пожить среди родных садов и полей.

Смейся! Мне было совсем не до смеха. Ведь вся жизнь состоит из смены расцвета и увядания, подъема и спадов; стало быть, сердце человека тоже этому подвержено?

Правда, новое миропонимание давалось мне туго, правда, я неохотно расставался с заблуждениями юности; кому приятно обрывать себе крылья? Но ведь это было необходимо!

Так я и поступил. Я действительно сел на корабль. Свежий ветер с прибрежных гор уносил меня из гавани Смирны. С удивительным спокойствием, и впрямь как дитя, не думающее о завтрашнем дне, лежал я на палубе и смотрел на деревья и мечети этого города, на исхоженные мною зеленые дорожки у берега, на мою тропинку к акрополю, смотрел на это и плыл все дальше и дальше; когда же мы вышли в открытое море и мало-помалу все кануло в нем, как в могиле, во мне словно оборвалось сердце.

— Боже! — воскликнул я, и все живое во мне восстало и силилось удержать ускользавшее настоящее. Но оно уже прошло, прошло!

Как сквозь дымку представал предо мной чудесный край, где я, точно серна на вольном пастбище, блуждал по горам и долам, и все в моем сердце находило отзвук: родники и реки, дали и глуби земные.

Вон там восходил я на Тмол[45] в своем чистом одиночестве; вон туда я спускался, где когда-то знавали счастливые дни юности Эфес, Теос и Милет[46]; вон там поднимались мы с Алабандой в святую скорбную Трою — с Алабандой и я, словно бог, повелевал им и, словно дитя, доверчиво и нежно повиновался единому его взгляду; душа моя радовалась, я искренне им восхищался и был неизменно счастлив, когда держал под уздцы его лошадь или когда, превзойдя себя самого, состязался с ним в возвышенных стремлениях, смелых помыслах и пламенных речах.

И вот все погибло; я стал ничем, безвозвратно все утратил и сам не понимал, как это я вдруг сделался самым бедным человеком на земле.

«О вечный самообман,— думал я,— когда же человек освободится от твоих пут?»

Мы говорим «наше сердце», «наши планы», как будто они и впрямь наши; а между тем есть некая чуждая сила, которая швыряет нас куда попало, затем укладывает нас в гроб, а мы о ней ничего не знаем: ни откуда она явилась, ни куда она стремится.

Мы стремимся расти ввысь и раскинуться в вышине всеми своими сучьями и ветками, но, что из этого выйдет, решают почва и погода, и если в твою макушку ударила молния, бедное дерево, расщепив тебя до самых корней, то что тебе стремление ввысь?

Так думал я. Ты сердишься, мой Беллармин? Ты еще и не то услышишь.

Вот это-то и печально, мой милый, что наш разум так легко отражает состояние смятенного сердца, так легко предается мимолетной печали, что мысль, которая должна бы исцелять боль, сама заболевает; так садовник, сажая розу, зачастую ранит себе руку о ее шипы; увы, немало людей прослыли из-за этого глупцами в глазах других, хотя должны были бы подчинить их своей власти, подобно Орфею[47]; как часто самый благородный человек становился из-за этого посмешищем уличной толпы; в том-то и заключается камень преткновения для любимцев неба, что любовь их сильна и хрупка, как их дух, что даже трезубец, которым морской бог укрощает вздымающиеся волны, не поспевает за внезапными и бурными треволнениями их сердец, и вот почему, милый друг, никто не должен много о себе мнить.

Гиперион к Беллармину

Можешь ли ты меня выслушать, поймешь ли меня, когда я расскажу тебе о моей долгой и мучительно-болезненной печали?

Прими меня таким, каким я предаю себя в твои руки, и знай: лучше умереть, потому что

ты жил, чем жить, потому что никогда еще не жил! Не завидуй не знающим скорби, тем, кто не страдал, этим истуканам, которым ничего не нужно, ибо они нищи душой; они не спросят, идет ли дождь, светит ли солнце, ибо у них нет ничего, что надо бы возделывать.

Да, да! С пустым сердцем и ограниченным умом, право же, очень легко быть счастливым, спокойным. Предоставим вам этот удел, если угодно; кого волнует, что дощатая мишень не стонет, когда в нее вонзается стрела, или что пустой горшок издает лишь глухой звук, когда хватишь им об стенку?

Однако же довольствуйтесь этим, люди добрые, вы должны только изумляться в полном молчании, если вам не дано понять, что другие не столь же счастливы, не столь самодовольны, как вы; остерегайтесь возводить в закон вашу премудрость, иначе, когда бы мы вас послушались, пришел бы конец свету.

Я жил теперь очень тихо, очень скромно на Тине. События внешнего мира проходили мимо меня, как осенние туманы; порой я сквозь слезы смеялся над своим сердцем, когда оно улетало в прошлое, чтобы усладиться им, как птица, клюющая нарисованную гроздь винограда[48]; но я оставался спокойным и к тому же любезным.

Теперь я охотно прощал любому человеку его взгляды, его невежество. Меня уже вразумили, а сам я никого больше не хотел вразумлять, мне становилось только грустно,

когда я видел, как люди воображают, будто я потому не мешаю им ломать комедию, что свято и глубоко ее чту наравне с ними. А я и не помышлял поддаваться их глупости, я только старался по мере возможности быть терпимым. В этом ведь их радость, думал я, они ведь этим живут!

Нередко я позволял себе показывать даже, что я заодно с ними, и, хотя я делал это совершенно неискренне, без всякого внутреннего побуждения, никто этого не замечал, все бывали довольны. А если бы я попросил у них за это прощенья, они были бы ошеломлены, изумились бы и спросили: «Да что ты нам сделал?». До чего же снисходительные люди.

Нередко, когда я стоял утром у окна и хлопотливый день спешил мне навстречу, случалось и мне на мгновенье забыть обо всем, оглянуться вокруг, словно и я не прочь заняться делом, которое было бы мне по душе, как встарь, но я тотчас же укорял себя за это, тотчас спохватывался, как человек, у которого вырвалось слово на родном языке в чужой стране, где его не понимают... «Куда ты рвешься?» — благоразумно говорил я себе и покорялся.

«Зачем человеку так много нужно? [49] — не раз спрашивал я.— Зачем его сердцу бесконечность? Бесконечность? Но где она? Кто ее постиг? Человек хочет больше, чем может! Пожалуй, это верно. Ты и сам испытывал это достаточно часто. Все должно быть так, как оно есть. Оттого у нас и возникает сладост-

ное, фантастическое ощущение силы, что она не расточается впустую. Именно это и рождает прекрасные сны о бессмертии и все гигантские упоительные мечты, несчетное число раз увлекавшие людей, это и создает человеку его Элизий и его богов, что его линия жизни не представляет собой прямую, что он не мчится как стрела и стремительный путь его постоянно преграждает некая чуждая сила».

Пенный вал души не вздымался бы во всей красе в нашем сердце, если бы ему не противостояла древняя, немая скала — судьба.

И все же стремления в нашей груди умирают, а с ними и наши боги и их небеса.

Гурьбой веселых видений выбегает огонь из темной колыбели, где он спал, и пламя его взмывает и падает, дробится и радостно сливается снова, пока не поглотит свою пищу; и вот оно уже чадит, и трепещет, и гаснет; все остальное — лишь пепел.

Так бывает и с нами. В этом вся суть того, о чем повествуют нам мудрецы в пленительно страшных мистериях.

А ты? Зачем ты все спрашиваешь себя? Если порой в тебе что-то пробуждается и твое сердце, подобно устам умирающего, на одно мгновение судорожно приоткроется, чтобы тут же замкнуться,— это недобрый знак.

Будь же нем и пусть все идет своим чередом! Не мудрствуй. Не пытайся, как ребенок, стать хоть на локоть выше. Это все равно что пытаться создать еще одно солнце и новых его питомцев, создать еще один земной шар и луну.

Так я думал тогда. Постепенно и терпеливо прощался я со всем на земле. О мои современники! Не обращайтесь ни к врачам, ни к священникам, если вашу душу снедает недуг!

Вы потеряли веру во все великое; следовательно, вы должны, должны погибнуть, если эта вера не возвратится, как комета из чужих небес.

Гиперион к Беллармину

Бывает полное забвение бытия, безмолвие души, когда нам кажется, будто мы все обрели.

Бывает безмолвие и полное забвение бытия, когда нам кажется, будто мы все потеряли, и в душе нашей — ночь, когда ни мерцанье звезды, ни даже гнилушка не освещают нам путь.

Я стал спокойней. Теперь ничто уже не поднимало меня в полуночный час. Теперь я уже не обжигался своим собственным пламенем.

Отныне я глядел покорно и отрешенно перед собой и не заглядывал ни в прошлое, ни в будущее. Далекое и близкое не теснилось больше в моем воображенье; людей, если они не заставляли меня их видеть, я не видел.

А прежде перед моим воображением часто возникало, как вечно порожняя бочка Данаид, наше столетье, и моя расточительная душа изливалась потоками любви, стремясь заполнить собой пустоты; теперь я не видел больше пустот, скука жизни уже не тяготила меня.

Я больше не говорил цветку: «Ты брат мне!» — и ручьям: «Мы с вами одного племени!». Теперь я добросовестно, словно эхо, называл каждую вещь данным ей именем.

Обесцвеченный мир проносился мимо меня, как река вдоль пустынных берегов, где даже листик ивы не отразится в воде.

Гиперион к Беллармину

Ничто живое не способно так бурно расти и так безвременно увянуть, как человек. С тьмою бездны часто сравнивает он свое страдание и с эфиром — свое блаженство, но как мало этим сказано!

Однако ничего нет прекрасней той поры, когда после длительной смерти в нем снова брезжит заря и скорбь, как сестра, идет навстречу брезжущей вдали радости.

О, с каким чудесным предчувствием я приветствовал наступающую весну! В моем сердце звучали ее тихие мелодии, словно пение струн под руками возлюбленной в застывшем воздухе, когда все спит: до меня доносились, как из Элизия, ее шаги, едва зашевелились мертвые ветви, и легкое дуновение коснулось моей щеки.

Дивное небо Ионии! Никогда еще не тянуло меня так к тебе и никогда еще мое сердце не было так подобно тебе, как тогда, в своих чистых и нежных утехах.

Кто не мечтает о радостях любви и о подвигах, когда в лучах небес и в груди земли возрождается весна?

Я приходил в себя, как после болезни, тихо и медленно, но от тайных надежд сердце трепетало так радостно, что я даже забывал спросить, что бы это значило.

Прекрасные видения обступали меня теперь во сне, когда я просыпался, они оставались в сердце, как след поцелуя на щеке у влюбленного. Утренний свет и я — мы стремились друг к другу, точно помирившиеся друзья,— они еще немного дичатся, но уже предчувствуют близкое и бесконечное мгновение объятья.

Теперь мои глаза поистине открылись вновь: правда, мой взгляд не был, как прежде, во всеоружии и не был проникнут сознанием собственной силы; он стал просительным, он молил о жизни, но где-то глубоко во мне жила вера, что все еще будет как прежде, а может, и лучше.

Я снова смотрел на людей так, будто и мне предстоит жить и радоваться вместе со всеми. Теперь уж я искренне искал их общества.

Небо! Как злорадствовали, что гордый чудак стал-таки похож на них! Как они издевались над тем, что голод пригнал лесного оленя к ним на птичий двор!

Ах, я искал Адамаса, искал Алабанду, но не находил их ни в ком.

Наконец я написал в Смирну, вложив в письмо всю нежность, на какую был способен; я писал трижды — никакого ответа; я молил, угрожал, заклинал былыми часами любви и дерзаний; никакого ответа от того,

кто был для меня незабвенен, любим до гроба.

— Алабанда,— повторял я,— о Алабанда! Ты осудил меня навек. А ведь ты был мне опорой, последней надеждой моей юности! Теперь мне уже ничего не надо! Теперь это конец — твердо и бесповоротно!

Мы жалеем мертвых, как будто они чувствуют смерть, а ведь мертвые покоятся в мире. Но такое страданье не имеет себе равного; это непреходящее ощущение полнейшей ничтожности, когда наша жизнь совершенно теряет смысл, когда сердце твердит: ты сгинешь и от тебя ничего не останется; ты не взрастил ни одного цветка, не построил ни одной хижины, чтоб ты мог хотя бы сказать: я оставляю след на земле. Ах, отчего душа способна быть и всегда полной стремлений, и такой робкой!

Я по-прежнему продолжал чего-то искать, но не решался поднять глаза на людей. Подчас я пугался смеха ребенка.

Но обычно я был при этом очень спокоен и терпелив; правда, у меня появилась какая-то странная суеверная черта; я часто приписывал некоторым вещам целительные свойства. Так, я верил, что мне принесет утешение голубь, которого я купил, прогулка на лодке или поход в неведомую мне долину, скрытую за горами.

Но довольно, довольно! Если бы я воспитывался с Фемистоклом[50] или жил среди Сципионов[51], моя душа, право же, никогда бы не обнаружила этой особенности.

Гиперион к Беллармину

Временами во мне еще пробуждалась способность мыслить. Правда, лишь разрушительная!

«Что есть человек? — так начинал я рассуждать. — Как случилось, что в мире есть нечто, что либо находится в вечном брожении, точно хаос, либо тлеет, точно гнилое дерево, да так и не успевает созреть? Как терпит природа этот недозрелый виноград наравне с лозами, усыпанными сладчайшими ягодами?

Растениям он говорит: «И я был некогда, как вы!» — а чистым звездам: «Я буду, как вы, но только в ином мире!». Между тем он разрушается, да еще проделывает над собой всякие кунштюки, словно он способен сложить распавшееся живое существо заново, как кирпичную стену; его ничуть не смущает, что все эти усилия ни к чему не приводят, ведь то, что он проделывает, все равно только кунштюк».

О мои бедные ближние, те, кому все это понятно, кому тоже не хочется говорить о назначении человека, теми тоже владеет царящее над нами Ничто; вы ведь ясно сознаете, что цель нашего рождения — Ничто, что мы любим Ничто, верим в Ничто, трудимся, не щадя себя, чтобы обратиться постепенно в Ничто... Виноват ли я, если у нас подкашиваются ноги, когда мы серьезно над этим задумываемся? Я и сам не раз падал под бременем этих мыслей, восклицая: «Зачем ты

хочешь подсечь меня под корень, безжалостный разум!» И все-таки я еще жив!

О мои угрюмые братья, когда-то все было иначе. Высь над нами была так прекрасна, а даль — так маняще радостна; тогда наши сердца тоже кипели стремлением к далекому блаженному миражу; наши души, ликуя, тоже дерзко рвались ввысь, сокрушая преграды; когда же они оглядывались,— о горе! — кругом была бесконечная пустота.

Я готов пасть на колени, ломать руки и молить — да только не знаю кого — послать мне иные мысли. Но мне не осилить ее, эту вопиющую истину. Разве я не убедился в этом дважды? Когда я обозреваю жизнь, то что есть конец всего? Ничто. Когда же я возношусь духом, то что есть вершина всего? Ничто.

Но молчи, сердце! Ведь ты расточаешь последние силы! Последние? И ты, ты хочешь брать приступом небо? Где же твои сто рук, титан [52], где твои Пелион и Осса, где твоя лестница к твердыне отца всех богов, по которой ты сможешь подняться и низвергнуть и бога, и его стол пиршеств, обрушить бессмертные вершины Олимпа, дабы проповедовать смертным: оставайтесь внизу, дети мгновенья! Не стремитесь на эти высоты, ибо здесь, наверху, нет ничего.

Можешь не заботиться о том, чему подвластны другие люди. У тебя есть твое новое миропонимание. Высь над тобою и даль пред тобою, конечно, мертвы и пустынны, потому что мертво и пусто внутри тебя.

Правда, если вы, другие люди, богаче, чем я, вы могли бы хоть немного помочь мне. Если ваш сад полон цветов, почему бы и мне не насладиться их благоуханием? Если вы так упоены божеством, дайте и мне испить из этой чаши. Ведь на пирах никого не обходят, даже самого бедного. Но лишь одна гостья пирует среди нас: смерть.

Нужда, страх и тьма — вот ваши владыки. Они разъединяют вас, пинками гонят вас, натравливая друг на друга. Голод вы называете любовью, а там, где вы ничего уже не видите, живут ваши боги. Боги и любовь? О, поэты правы: нет такой малой и ничтожной вещи, которой нельзя было бы вдохновиться.

Так думал я. Откуда взялись все эти мысли, не понимаю доныне.

КНИГА ВТОРАЯ

Гиперион к Беллармину

Я живу теперь на острове Аякса, на бесценном Саламине[53].

Эта Греция мила мне повсюду. Она носит цвета моего сердца. Куда ни взглянешь, везде могила радости.

И все же какое очарование и величие окружают здесь человека!

Я сделал себе на мысу шалаш из ветвей мастикового дерева, насадил вокруг него мох, деревья, тимиан и всякие кустарники.

Здесь провожу я свои лучшие часы, сижу все вечера, не сводя глаз с Аттики, пока сердце не начнет биться слишком бурно; тогда я беру свои рыбачьи снасти, спускаюсь в бухту и ловлю рыбу.

Иногда я читаю у себя на горе рассказ о великолепном морском бое, который разыгрался в древности у Саламина, об этой ожесточенной, мудро управляемой схватке; я восхищаюсь умом[54], который нашел способ направлять и смирять, точно всадник коня, бушующий хаос соратников и врагов, и с глубоким стыдом вспоминаю столь скудную битвами собственную историю.

А иногда я смотрю в морскую даль, раздумывая над своей жизнью, с ее подъемами и спадами, счастьем и горестями; и былое нередко звучит во мне, подобно рокоту струн,

по которым пробегает искусная рука мастера, подчиняя дисгармонию и гармонию своим сокровенным законам.

Сегодня здесь, в горах, особенно хорошо. Два дня благодатных дождей освежили воздух и истомленную почву.

Зеленей стала земля и чище поле. Без конца и без края, вперемешку с веселыми васильками, стоит золотая пшеница, и радостно и светло вырастают из сумрака рощи тысячи что-то сулящих вершин. Нежно и величественно вырисовываются вдали их тающие очертания; ступенями поднимаются горы, одна за другой, до самого солнца. В небе ни пятнышка. Только эфир залит белым сиянием, и при свете дня, точно серебряное облачко, робко крадется луна.

Гиперион к Беллармину

Мне давно не было так хорошо, как сейчас.

Я прислушиваюсь к чудесной, нескончаемой гармонии в себе, как орел Юпитера прислушивается к пению муз. Спокойный душой и телом, сильный и радостный — полушутя, полусерьезно, — я играю в воображении с судьбой и тремя сестрами, священными парками[55]. Все мое существо, божественно юное, радуется себе и всему мирозданию. Я, как звездное небо, недвижен и полон движения.

Я долго ждал этого праздника, чтобы наконец написать тебе снова. Теперь у меня достанет силы; так позволь же рассказать о себе все.

Как-то, в самые мои мрачные дни, меня

пригласил погостить к себе знакомый с Калаврии. «Непременно приезжай к нам в горы,— писал он,— у нас живется привольней, чем где-либо; среди сосновых лесов и быстротекущих рек цветут лимонные рощи, растут пальмы, прелестные травы, мирты и благословенный виноград». Мой знакомец завел себе в горах сад и дом; густые деревья осеняют его кров, и в знойный летний день его овевают прохладой легкие ветерки, и ты смотришь оттуда вниз, как птица с вершины кедра, на села и зеленые холмы, на безмятежные стада, которые пасутся на острове и, как малые ребята, то все сразу улягутся вокруг царственной горы, то вместе пьют из ее пенистых ручьев[56].

Это письмо несколько меня расшевелило. Однажды, в ясный голубой апрельский день, я собрался в путь. Море было необыкновенно прекрасным и чистым, а воздух легким, точно на горных высотах. На зыбком суденышке оставляли мы землю — так оставляют вкусное яство, когда уже подано святое вино.

Перед воздействием моря и воздуха не устоит никакой, даже мрачно настроенный человек. Я покорился им: не спрашивал ничего, ни о себе, ни о других, не искал ничего, не размышлял ни о чем и в полудреме отдался качанию лодки, воображая, будто лежу в челне Харона. Пить из чаши забвения так сладостно...

Веселый лодочник охотно поговорил бы со мною, но я был очень немногословен.

Показывая пальцем то направо, то налево на какой-нибудь синеющий вдали остров, он обращал на него мое внимание, но я бросал туда лишь беглый взгляд и вновь возвращался к своим мечтам.

Наконец, когда он указал на немые вершины вдали, объявив, что мы скоро пристанем к Калаврии[57], я стал внимательней и душа моя покорилась чудесной силе, игравшей мною так бережно, ласково и загадочно. Радуясь и изумляясь, я пристально вглядывался в таинственную даль; легкий трепет пронизал мое сердце, а рука сама собой торопливо и дружески коснулась плеча лодочника.

— Как, это Калаврия?

И, когда он в ответ только посмотрел на меня, я от радости просто растерялся. С необыкновенной нежностью я приветствовал встречавшего меня друга. Меня томила сладостная тревога.

После обеда я решил сейчас же осмотреть хоть часть острова. Леса и неведомые долины несказанно привлекали меня, да и благодатная погода манила всех на волю.

И стало так ясно, что не единого хлеба алчет все живое, что даже у птицы, даже у зверя бывает праздник.

Это было восхитительное зрелище! Как дети, которые, услышав ласковый оклик матери: «А где мое самое любимое дитятко?», все до одного бросаются к ее коленям и даже малютка протягивает ручонки из колыбели, так все твари живые взлетали, прыгали, устремлялись ввысь, в божественный эфир; жуки,

ласточки, голуби и аисты подняли веселую возню, взапуски кружась то совсем низко, то взмывая ввысь; а у тех, кому не дано оторваться от земли, каждый шаг был что взлет: вихрем мчался через рвы конь, и одним прыжком переносилась через изгородь серна, и даже рыбы, всплывая со дна морского, выскакивали наружу. В сердце каждого проникал материнский зов эфира, он всех возносил и притягивал.

И люди выходили из домов и чувствовали волшебное дуновение, которое чуть-чуть шевелило пряди волос надо лбом, умеряло жар солнечных лучей; люди распахивали одежды, открывали грудь этому дуновению, дышали вольней, нежней отзывались на прикосновение тихого, прозрачного, ласкового воздушного моря, в котором они дышали и жили.

О брат могучего огнеподобного духа, что живет в вас, — священный эфир! Какое благо, что ты сопутствуешь мне, вездесущий, бессмертный, куда бы я ни шел!

Но чудесней всего преображала великая стихия детей: кто беспечно мурлыкал что-то себе под нос, у кого срывалась с губ нескладная песенка, у кого — крик ликованья; один потягивался, другой весело прыгал, третий бродил, о чем-то задумавшись.

И все это было выражением единой для всех благодати, единым ответом на ласку пленительного дуновения.

Я был полон неописуемого томленья и покоя. Неведомая сила владела мной. «Благо-

склонный дух, — мысленно вопрошал я, — куда ты зовешь меня? В Элизий или в иные края?»

Я шел лесом, в гору, вдоль журчащего потока, который струился со скал, беззаботно скользя по гальке; долина понемногу сужалась, превращаясь в ущелье, и в молчащем сумраке играл одинокий полуденный луч...

Здесь... ах, если бы я мог говорить, Беллармин! Если бы я мог спокойно писать об этом!

Говорить? Что ж, я не искушен в радости, я хочу говорить!

Правда, страна блаженных — это обитель тишины, и над звездами сердце забывает и свое горе, и свой язык [58].

Я носил в себе, я преданно хранил, как палладий [59], то божественное, что явилось тогда передо мной; и, если даже судьба станет бросать меня из одной пучины в другую, утопит в них все мои силы и все мои мысли, даже тогда это божественное виденье будет тем единственным во мне, что переживет меня самого, будет неугасимо светить в моей душе и царить в ней вечно.

И вот я увидел тебя, моя дорогая, ты лежала, свободно раскинувшись; и вот ты взглянула на меня, приподнялась и встала, стройная и сильная, божественно спокойная, и твои небесные черты еще не успели утратить выраженье чистого восторга, который я нарушил своим приходом!

Может ли тот, кто хоть раз заглянул в тишину ее глаз, для кого проронили хоть сло-

во ее прелестные уста, может ли этот человек говорить о чем-либо другом?

Покой красоты, божественный покой! Что нужно еще тому, кто, хоть раз приобщившись к тебе, укротил свои мятежные порывы и сомневающийся во всем ум?

Я не в силах говорить о ней, но есть же такие минуты, когда лучшее и прекраснейшее предстает как из-за рассеянных туч, и небо совершенства открывается перед любовью, которая его только предчувствовала; вообрази же себе эту девушку, Беллармин, и, преклонив вместе со мною колена, вообрази мое блаженство! Но не забудь: мне было дано то, что ты пока лишь предчувствуешь, я воочию видел то, что тебе предстает только в покрове туч.

И люди смеют иногда говорить: «Мы радовались!». О, поверьте, вы и не подозреваете, что такое радость! Вам не дано было увидеть даже ее тени! О, ступайте прочь, не вам судить о голубизне эфира, слепцы!

И все же мы можем еще стать как дети, и вернется еще золотой век чистоты, век свободы и мира, и есть еще на земле радость, есть место отдохновения!

Разве человек не старится, не увядает, разве не похож он на опавший лист, которому нет возврата к родимой ветке, который ветер будет кружить, пока не завеет прахом?

И все-таки весна для него приходит опять!

Не плачьте над тем, что совершенное отцветает: вскоре оно возродится. Не печальтесь, что умолкает мелодия вашего сердца:

скоро найдется рука, которая заставит его звучать снова!

А чем был я? Разве я не был подобен звуку надорванных струн? Они еще звенели во мне, но то был предсмертный стон. Я пел свою мрачную лебединую песню! Я бы сплел себе венок на могилу, да у меня были только зимние сухоцветы.

А где теперь кладбищенская тишина, мрак и пустота моей жизни, вся ее жалкая бренность?

Правда, жизнь скудна и одинока. Мы живем здесь, в этом подлунном мире, точно алмаз, запрятанный в пещере. Мы тщетно вопрошаем, как мы сюда попали, ведь мы хотим снова выбраться наружу!

Мы словно огонь, что дремлет в сухом куске дерева или в кремне: мы мечемся и ежечасно ищем выхода из тесной темницы. Но они приходят, вознаграждая нас за столетья борьбы, долгожданные минуты освобождения, когда божественное разрывает свои оковы, когда пламя, отделившись от мертвого дерева, победно взмывает над пеплом, когда, увы, только мнится, что наш освободившийся дух, позабыв о страданьях, о рабстве, с триумфом возвращается в чертоги солнца.

Гиперион к Беллармину

Я был некогда счастлив, Беллармин! Ну а сейчас разве нет? Разве я не был бы счастлив, даже если бы тот священный миг когда я впервые увидел ее, оказался последним?

Лишь однажды увидел я то Единствен-

ное, чего искала моя душа, и при жизни познал совершенство, осуществление которого мы отдаляем в надзвездные выси, отодвигаем до скончания века. Оно было тут, высочайшее его воплощение, тут, в этом кругу, очерченном человеческой природой и обстоятельствами.

Я больше не спрашиваю, где оно; оно было здесь, в этом мире, оно еще может вернуться сюда, оно сейчас лишь глубже в нем сокрыто. Я больше не спрашиваю, какое оно; я его видел и узнал.

О вы, ищущие высшего совершенства и высшего блага в глубинах знания, в суете житейских дел, во мраке минувшего, в лабиринте грядущего, в могилах или над звездами! Знаете ли вы его имя? Имя того, что представляет собой и Отдельное и Всеобщее?

Имя его — Красота.

Знаете ли вы, чего вы хотите? Я еще не знаю, но предчувствую новое царство нового божества, я спешу ему навстречу, увлекая за собой других, как река, стремящаяся к океану, увлекает за собой свои притоки.

И это ты, ты указала мне дорогу. Начало положено тобой. Те дни, когда я еще не знал тебя,—не в счет.

О Диотима, Диотима[60], посланница небес!

Гиперион к Беллармину

Забудь, что существует время, и не веди счет дням своей жизни!

Что значат столетия перед мигом такого откровения и сближения двух существ?

Как сейчас, помню тот вечер, когда Нотара впервые привел меня к ней в дом.

Она жила совсем недалеко от нас, у подножья горы.

Ее мать была благоразумная, кроткая женщина, брат — простой, веселый юноша, и оба искренне доказывали словом и делом, что признают Диотиму царицей дома.

Ах, ее присутствие освящало и украшало все! Куда бы я ни глянул, к чему бы ни притронулся — к коврику ли, к подушечке или столику Диотимы,— все было связано с ней сокровенными узами. А когда она в первый раз назвала меня по имени, когда она подошла так близко, что меня коснулось ее чистое дыхание...

Мы очень мало говорили. В такие минуты стыдишься обыденных слов. Вот если бы стать музыкой и слиться в ней в едином небесном гимне!

Да и о чем стали бы мы говорить? Мы лишь глядели друг на друга. Говорить о себе нам было неловко.

Наконец мы заговорили о жизни земли. Никто никогда еще не славил ее с таким детским пылом.

Нам было приятно изливать свое сердце перед доброй матушкой Диотимы [61]. От этого нам становилось легче, как становится легче деревьям, когда летний ветер колеблет их отягченные плодами ветви и сладкие яблоки дождем сыплются на траву.

Мы называли землю цветком неба [62], а небо — бескрайним садом жизни. Как розы

наслаждаются золотистой пыльцой, говорили мы, так мужественный солнечный свет услаждает своими лучами землю; она дивное живое существо, равно божественное и когда ее сердце извергает лютый огонь, и когда источает кроткую, прозрачную воду; она всегда счастлива: и когда утоляет свою жажду каплей росы, и когда пьет из грозовых туч, наслаждаясь даром небес; она — неизменно любящая бога солнца, разлученная с ним его половина и, возможно, была сначала связана с ним еще более тесными узами, но всевластная судьба разделила их, чтобы она стремилась к нему, то приближаясь, то удаляясь, и созрела в радости и страдании, достигнув высшей красоты.

Вот о чем мы говорили. Я передаю тебе содержание, сущность нашей беседы. Но что она без живого слова?

Смеркалось, и мы должны были расстаться. «Доброй вам ночи, ангельские глаза! — мысленно твердил я ей.— И явись поскорее снова, прекрасное, божественное виденье, с присущими тебе щедростью и покоем!»

Гиперион к Беллармину

Через несколько дней они пришли к нам на гору. Мы гуляли все вместе в саду. Диотима и я, задумавшись, ушли вперед; порой у меня на глазах выступали слезы счастья при мысли, что моя святыня так скромно идет рядом со мной.

И вот мы стоим впереди, на самом гребне горы, и глядим на восток, в бескрайние дали.

Глаза Диотимы расширились, милое лицо тихо, как распускающийся бутон, раскрылось под легким дуновением ветерка, став подлинным выражением души, и все ее тело, изящное и царственное, мягко распрямилось и едва касалось ногами земли, будто вот-вот взлетит в облака.

Как мне хотелось взять ее на руки и, словно орел с Ганимедом [63], полететь над морем и окрестными островами!

Вот она подошла к самому краю и глянула вниз с отвесной скалы. Ей нравилось измерять взглядом страшную глубину, созерцать темные леса и озаренные светом верхушки деревьев, которые вырисовывались внизу, между утесами и пенистыми ручьями.

Ограда, на которую она оперлась, была довольно низка. Поэтому я отважился поддержать ее, очаровательную, когда она наклонилась вперед. Жаркое, трепетное блаженство пронизало все мое существо, и меня охватило бурное смятение, и мои руки горели, как раскаленные угли, когда я ее коснулся.

А какой отрадой было стоять возле этой прекрасной девушки и по-детски нежно заботиться, чтобы она не упала, и радоваться ее восторгу!

Все, что делали и думали люди на протяжении тысячелетий, что́ все это перед единым мгновением любви? Ведь она самое счастливое, божественно прекрасное создание природы, к ней ведут все ступени у преддверия жизни! Оттуда мы пришли, туда мы идем.

Гиперион к Беллармину

Только бы забыть ее пенье, только бы этот голос души никогда больше не звучал в моих нескончаемых снах.

Не узнать горделиво плывущего лебедя в сонной птице, сидящей на берегу.

Так и душу моей любящей молчальницы, столь неохотно прибегавшей к словам, узнавал я только, когда она пела.

Тогда, лишь тогда, за ее небесной строгостью открывалось ее величавое и ласковое обаяние; тогда с ее нежных цветущих губ слетало слово, порой такое робкое и застенчивое, порой — непреклонное, как веленье богов. А как отзывалось мое сердце на этот божественный голос! Величие и убожество, житейские радости и печали — все смягчалось благородством этих звуков.

Как ласточка на лету хватает пчелу, так ее голос неизменно захватывал нас всех.

Мы испытывали не радость, не изумление, а небесное спокойствие.

Тысячу раз говорил я ей и себе: «Высшая красота — это и высшая святыня». И таким было все в ней: и ее песня, и ее жизнь.

Гиперион к Беллармину

Ее сердце чувствовало себя как дома среди цветов, словно оно им сродни.

Она называла их всех по имени, любя, придумывала им новые, лучшие имена и в точности знала, когда наступает для каждого цветка радостная пора его жизни.

Когда мы гуляли по лугу или по лесу, глаза и руки моей молчаливой спутницы были вечно заняты; она казалась блаженно-рассеянной, словно старшая сестра, навстречу которой из каждого уголка дома выбегает кто-нибудь из младшеньких и каждый хочет, чтобы она поздоровалась с ним первым.

И все это в ней было вовсе не напускное, не надуманное, а естественное.

Есть вечная истина, и она повсеместно подтверждается: чем чище, прекрасней душа, тем дружнее живет она с другими счастливыми существами, о которых принято говорить, что у них души нет.

Гиперион к Беллармину

Тысячу раз я от всего сердца смеялся над людьми, которые воображают, что натуре возвышенной отнюдь не положено знать, как готовится овощное блюдо. Диотима же умела вовремя и попросту упомянуть об очаге, и нет, разумеется, ничего благородней, чем благородная девушка, которая поддерживает полезный для всех огонь в очаге и, подобно самой природе, готовит приятное яство.

Гиперион к Беллармину

Чего стоят все мнимые знания нашего мира, чего стоит гордая своей зрелостью человеческая мысль по сравнению с безыскусственной речью этого ума, который не знал, что он знает и чтó представляет собой?

Кто не предпочтет сочный и свежий, пря-

мо с куста сорванный виноград засохшим, давно сорванным ягодам, которыми купец набивает ящики и рассылает по свету? Что мудрость книги перед мудростью ангела?

Казалось, она всегда говорит так мало, однако ж так много умеет сказать.

Однажды, поздно вечером, я провожал ее домой; тени тающих тучек, как сны, скользили по лугу; точно подслушивающие нас духи, глядели сквозь ветви радостные звезды.

Редко можно было услышать из ее уст: «Как хорошо!» — хотя ни шепот былинки, ни журчанье ручья не ускользали от ее чуткого сердца.

На сей раз она все же проговорила:

— Как хорошо.

— А может быть, это все ради нас и создано! — сказал я наобум, как говорят дети — не всерьез и не в шутку.

— Я понимаю, о чем ты говоришь,— ответила она,— но больше всего я люблю представлять себе мир единой семьей [64], где каждый, не задумываясь, почему он так поступает, ладит со всеми и живет на утешение и на радость другим просто потому, что это ему по сердцу.

— Светлая, высокая вера! — воскликнул я.

Она промолчала.

— Стало быть, мы тоже дети этой семьи,— сказал я после паузы,— были ими и будем.

— Будем навеки,— отвечала она.

— Будем ли? — спросил я.

— Я доверяюсь в этом природе, как доверяюсь ей каждодневно.

О, хотел бы я быть Диотимой в тот миг, когда она это сказала! Но ты ведь не знаешь, что́ она сказала, мой Беллармин! Ведь ты не видел ее и не слышал.

— Ты права,— воскликнул я.— Вечная красота, природа, не потерпит изъяна, равно как не терпит и ничего лишнего. Ее убранство завтра будет иным, чем сегодня, но без того, что есть лучшего в нас, без нас она обойтись не может, особенно без тебя. Мы верим, что мы вечны, ибо наша душа чувствует красоту природы. Но природа станет ущербной, перестанет быть божественной и совершенной, если когда-нибудь утратит тебя. Она недостойна твоего сердца, если не оправдает твоих надежд.

Гиперион к Беллармину

Такой нетребовательности, такой божественной скромности я не встречал ни в ком.

Мое мятежное сердце льнуло к спокойствию этой чудесной девушки, как волна океана к берегам блаженных островов.

Мне нечего было дать ей, кроме души, полной яростных противоречий, полной еще кровоточащих воспоминаний; мне нечего было ей дать, кроме безграничной любви с ее несчетными тревогами и буйными надеждами, а она стояла передо мной в своей неизменной красоте, беспечная в своем улыбающемся совершенстве, и все страстные стремления, все мечты смертных — ах! — все, о чем в златой утренний час пророчествует гений, нашепты-

вая об иных мирах,— все воплотилось в одной этой кроткой душе.

Говорят, только на небесах утихает борьба, и только в будущем, когда муть, поднятая нами со дна, осядет, сулят нам благородное вино радости, которое образуется из перебродившей жизни. А на земле теперь никто уже не стремится к душевной безмятежности праведников. Мне известно другое. Я шел более коротким путем. Я стоял перед ней, я слышал и видел небесную тишину, и в ропоте хаоса мне явилась Урания.

Как часто перед этим созданием утихали мои жалобы! Как часто смирялись страсти и мятежный дух, когда я, погрузившись в блаженное созерцание, глядел в ее сердце, как глядят в источник, когда по воде его пробегает тихо рябь от прикосновений неба, которое кропит его серебристой капелью!

Она была моей Летой, моей священной Летой, эта душа, из которой я пил забвение бытия; вот почему я становился при ней подобным бессмертному и, словно очнувшись от тяжелого сна, радостно укорял себя и невольно смеялся над всеми отягощавшими меня прежде цепями.

О, с нею я стал бы счастливым и достойным человеком!

С нею! Но этого не случилось, и вот я мечусь меж тем, что предо мной, что во мне и что вне меня, да так и не знаю, что делать с собою и со всем прочим.

Моя душа — словно рыба, выброшенная из родной стихии на прибрежный песок, и тре-

пещет, и бьется, пока не иссохнет в полуденном зное.

Ах, когда б для меня нашлось хоть какое-нибудь дело на белом свете! Хоть какая-нибудь работа, пускай даже война, — я бы ожил!

По преданию, двух мальчуганов, которых оторвали от матери и бросили в пустыне, выкормила волчица.

Мое сердце не столь счастливо.

Гиперион к Беллармину

Я могу только изредка обмолвиться о ней словом. Я должен совсем забыть, какая она, когда решаюсь о ней говорить. Я должен обманывать себя, будто она жила давным-давно и я знаю о ней по рассказам других, иначе ее живой образ завладеет мною совсем, и я изойду восторгом и мукой, умру, радуясь ей и скорбя о ней.

Гиперион к Беллармину

Напрасно все. Я не в силах скрыть это от себя. Куда бы я ни бежал с моими неотвязными мыслями — в небесные ли выси или в бездну, к началу или концу времени, даже в объятья того, кто был моим последним прибежищем, кто прежде снимал с меня все заботы, кто пламенем, в котором он открывается нам, выжигал во мне прежде все радости и страдания,— даже в его объятиях, в объятиях прекрасного и таинственного мирового духа, в чьи глубины я погружаюсь, словно в бездонный океан,— все равно и там, и там меня тоже настигнет этот сладостный ужас, сла-

достно дурманящий, смертельный ужас оттого, что могила Диотимы так близко[65].

Ты слышишь, слышишь? Могила Диотимы.

А ведь мое сердце стало таким смиренным, и любовь моя погребена вместе с умершей возлюбленной.

Ты ведь знаешь, Беллармин, я давно не писал тебе о ней, а когда писал, то писал, кажется, спокойно.

— А что же теперь?

А теперь вот что: я хожу на берег и смотрю вдаль, на Калаврию, где она покоится.

О, пусть даже никто не захочет дать мне челн, пусть никто не сжалится, не предложит мне свое весло, не поможет к ней переправиться.

Пусть даже благостное море никогда не успокоится и не даст мне сколотить плот и доплыть до нее; я все равно брошусь в бурный поток, я буду молить волну, чтобы вынесла меня к Диотиме.

Милый брат мой! Я утешаю свое сердце всевозможными фантазиями, прибегаю к различным снотворным зельям; правда, было бы достойней освободиться навеки, чем поддерживать себя временно облегчающими средствами; но с кем не бывает того же? Я всетаки доволен и этим.

Доволен! Да это было бы благом! Это значило бы спастись, когда никакой бог не в силах спасти.

Но будет, будет! Я сделал все, что мог! Я требую, чтобы судьба вернула мне мою душу.

Гиперион к Беллармину

Разве она не была суждена мне, о сестры судьбы, разве она не была суждена мне? Я призываю в свидетели чистые ключи и невинные деревья, внимавшие нам, дневной свет и эфир! Разве она не была моей, сливаясь со мной в каждом звучании жизни? [66]

Где есть еще существо, которое бы так хорошо ее знало, как я? В каком зеркале отражались так полно, как во мне, лучи ее света? Разве не испытала она радостного испуга перед собственной красотой, которая впервые открылась ей в моем восторге? Ах, есть ли еще сердце, которое было бы ей во всем так близко, как мое, заполняло бы ее и так было заполнено ею, служило бы обрамлением ее сердца, как ресницы служат обрамлением глаз?

Мы были с ней *одним* цветком, и наши души черпали жизнь друг в друге, подобно цветку, который в пору любви прячет на дне чашечки свои хрупкие радости.

Так неужели, неужели она, эта единственная предназначенная мне корона, сорвана с меня и брошена в прах?

Гиперион к Беллармину

Прежде чем мы успели это понять, мы уже принадлежали друг другу.

Когда я стоял перед ней, в блаженной покорности, боготворя ее всем сердцем, и слово замирало на устах, и вся моя жизнь сосредоточивалась в сияющих глазах, которые видели лишь ее одну, лишь одну ее узнавали;

когда она разглядывала меня с нежным недоумением, не понимая, где же витают мои мысли; когда я, бывало, опьяненный восторгом и красотой, наблюдал ее за каким-нибудь прелестным рукоделием и моя душа, как пчела вокруг колеблющихся веток, кружила и носилась над ней, ловя малейшее ее движение; когда она в безмятежной задумчивости вдруг оборачивалась и, застигнутая врасплох моей радостью, пыталась скрыть ее от себя, вернуть себе покой и вновь обретала его в милой ей работе.

Когда она с поразительной мудростью открывала каждое гармоничное созвучие, но и каждый диссонанс в глубине моей души, едва они возникали, открывала их раньше, чем я сам их слышал; когда она замечала малейшее облачко на моем лице, малейшую тень уныния или гордыни, промелькнувшую в усмешке, малейшую искру, вспыхнувшую в моих глазах; когда она прислушивалась к приливам и отливам моего сердца и заботливо предупреждала часы хандры, между тѐм как я, не зная удержу, так расточительно истощал свой ум в выспренних речах; когда моя милая правдивей зеркала указывала на малейшие изменения моего лица и часто, дружески озабоченная моим непостоянным нравом, предостерегала меня и корила, как ребенка...

Ах! Когда ты простодушно считала на пальцах ступени лестницы, которая вела с нашей горы к твоему дому, когда ты показывала мне тропинки, где ты гуляла, места, где

любила сидеть, и рассказывала, как ты проводишь там время, а потом говорила, что тебе кажется, будто я всегда был с тобою...

Разве тогда мы давно уже не принадлежали друг другу?

Гиперион к Беллармину

Я строю склеп своему сердцу, чтобы оно отдохнуло; я прячусь в кокон, потому что вокруг зима; в блаженстве воспоминаний я ищу приюта от бури.

Однажды мы с Нотарой — это тот друг, у которого я жил,— и с его приятелями, прослывшими на Калаврии, подобно нам, чудаками, сидели в саду Диотимы, под цветущими миндальными деревьями. Зашла речь о дружбе.

Я почти не принимал участия в разговоре, с некоторых пор я остерегался распространяться о том, что слишком близко затрагивало сердце,— Диотима научила меня быть немногословным.

— Когда жили Гармодий и Аристогитон [67], вот тогда еще была дружба на свете! — воскликнул один из собеседников.

Это до того меня обрадовало, что я не мог промолчать и ответил ему:

— Честь и хвала тебе за эти слова! Но сам-то ты имеешь понятие, имеешь хоть какое-нибудь представление о дружбе Аристогитона с Гармодием? Прости меня, но, клянусь эфиром, нужно быть Аристогитоном, чтобы почувствовать, как любил Аристогитон, а тот, кто желал бы на себе испытать любовь Гар-

модия, не должен бояться ни грома, ни молнии; потому что, если только я хоть что-нибудь смыслю, этот ужасный юноша в любви был неумолим, как Минос. Немногие могли устоять в таком испытании, ведь быть в дружбе с полубогом ничуть не легче, чем сидеть с богами за пиршественным столом, как Тантал [68]. Но нет на земле и ничего прекраснее, чем эта пара гордецов, столь покорных друг другу.

И в том моя надежда, мое утешение в часы одиночества, что такие благородные, а может, и более благородные созвучия когда-нибудь снова зазвучат в симфонии бытия. Тысячелетня, богатые жизнедеятельными людьми,— порождение любви, а нынче их возродит дружба. Из гармонии детства произошли когда-то народы, гармония духа станет началом новой истории мира. Сначала люди изведали счастье растительной жизни; из него они выросли и росли, пока не достигли зрелости; с тех пор они находятся в постоянном брожении, как внутри, так и вовне, и род человеческий, дойдя до беспредельного распада, представляет собою хаос, так что у всех, кто еще способен видеть и понимать, голова кругом идет; но красота бежит от обыденной жизни ввысь, в царство духа; что было природой, становится идеалом, и, пусть даже дерево снизу высохло и дало трещины, его свежая верхушка уцелела и еще зеленеет под лучами солнца, как все дерево когда-то, в дни юности; что было природой, стало идеалом. В нем, в этом идеале, в этом обновленном бо-

жестве, познают себя немногие избранные, и они едины, ибо в них есть *единое*, и они, они-то и положат начало новому веку... я сказал достаточно, чтобы стало ясно, что я имею в виду.

Видел бы ты Диотиму,— она вскочила и протянула мне обе руки, восклицая:

— Я все поняла, дорогой, что ты хотел сказать!

Любовь родила мир, дружба должна его возродить.

О, тогда вы, грядущие новые Диоскуры, замедлите шаг, проходя мимо места, где спит Гиперион, помедлите, вдохновленные свыше, над прахом забытого человека и скажите: «Он был бы как мы, будь он сейчас среди нас».

Вот что я слышал, мой Беллармин, вот что я испытал... И все-таки я еще не наложил на себя руки.

Да, да! Я получил свою плату вперед, я свое прожил. Бóльшая радость была бы по силам богу, но не мне, смертному.

Гиперион к Беллармину

Ты спрашиваешь, как я тогда себя чувствовал? Как человек, поставивший на карту все, чтобы все выиграть.

Правда, я часто возвращался от купы деревьев возле дома Диотимы как триумфатор и часто я спешил уйти от нее, чтобы не выдать своих мыслей, так переполняло меня бурное ликование, и гордость, и всепоглощающая, восторженная вера в любовь Диотимы.

И тогда я забирался на самые высокие

горы, к горным ветрам: мой дух, словно орел, у которого зажило раненое крыло, парил на просторе над видимым миром, от края до края, как над собственными владениями; и — чудо! — меня охватывала такая пламенная радость, что мне подчас чудилось, будто в моем огне очищается и сливается воедино, подобно золоту, все сущее на земле, превращаясь вместе со мной в некий божественный сплав; с какой нежностью брал я на руки детей [69], прижимал их к своему бьющемуся сердцу, как ласково приветствовал растения и деревья! Мне хотелось стать чародеем, чтобы пугливые олени и все робкие птицы лесные собрались дружной семьей у моих щедрых рук — так блаженно-бездумно я любил все живое.

Но не долго длилось все это и угасало во мне, как зажженный на миг свет, и я сидел печальный и немой, точно призрак, и звал свою исчезнувшую жизнь. Жаловаться я не хотел, но и утешать себя — тоже. Надежду я отбрасывал, она надоела мне, как калеке костыль; плакать стыдился; я стыдился того, что вообще существую. И в конце концов сломленная гордость разрешалась слезами, и страдание, в котором я прежде ни за что б не признался, теперь было мне дорого, и я прижимал его, как младенца, к груди.

Нет, твердило мое сердце, нет, Диотима, мне не больно! Пребудь в мире, а я пойду своей дорогой. Пусть ничто не нарушает твоего покоя, светлая моя звезда, даже если здесь, на земле,— тлен и мрак.

Пусть не блекнет цветущая роза твоей счастливой, божественной юности! Пусть среди земных горестей не старится твоя красота! Жизнь моя! Ведь в том моя отрада, что ты таишь в себе безмятежное небо. Ты не должна стать беднее, нет, нет! Ты не должна обнаружить в себе оскуденье любви.

А когда я затем снова спускался к ней с гор, я был готов вопрошать ветерки, гадать по движению облаков, что меня ждет через час! А как я радовался, если у встречного было приветливое лицо, если прохожий не слишком сухо отвечал мне: «Добрый день!». Если же из лесу выходила девочка и предлагала земляничный букет[70] с таким видом, словно намерена мне его подарить, а не продать, или крестьянин, залезший на верхушку своей вишни, чтобы обобрать ягоды, завидев меня, кричал из-за ветвей: «Не угодно ли отведать вишенья?»,— все это были добрые приметы для суеверного сердца!

Если ж вдобавок одно из окон Диотимы, выходивших на дорогу, по которой я спускался, оказывалось открытым, до чего ж хорошо становилось на душе!

Ведь, может быть, еще совсем недавно она выглядывала оттуда.

И вот я стоял перед ней, запыхавшись и шатаясь, прижимая сплетенные руки к сердцу, чтобы заглушить его трепет, боролся и противился, силясь не захлебнуться в беспредельной любви.

— Так о чем же нам сейчас поговорить? — только и мог я сказать.— Право, иной раз хо-

чешь, да не можешь найти, на чем бы сосредоточить мысль.

— А она все рвется ввысь? — отзывалась моя Диотима.— Тебе надо подвесить к ее крыльям свинец, или, хочешь, я привяжу к ней нитку, как дети привязывают к воздушному змею, чтобы она от нас не улетала?

Милая девушка старалась помочь нам обоим шуткой, но это не очень удавалось.

— Да, да! — соглашался я.— Как хочешь, как тебе угодно... Может, почитаем вслух? Впрочем, твоя лютня, наверно, настроена еще со вчерашнего дня, да и читать, кстати, нечего.

— Ты уже не раз обещал рассказать мне, как ты жил до нашей встречи,— ответила она.— Может, сделаешь это теперь?..

— Ну конечно,— сказал я.

Мое сердце радостно откликнулось на ее просьбу, и я рассказал Диотиме, как потом рассказывал тебе, про Адамаса и мои одинокие дни в Смирне, про Алабанду и нашу вынужденную разлуку и про непостижимый недуг моей души, продолжавшийся, пока я не перебрался на Калаврию.

— Теперь ты все знаешь,— спокойно заключил я свой рассказ.— Теперь ты будешь снисходительнее ко мне, теперь ты можешь сказать обо мне,— добавил я, улыбаясь,— не смейтесь над хромотой этого Вулкана, ведь боги дважды сбрасывали его с неба на землю [71].

— Замолчи,— глухо проговорила она и отерла слезы платком.— Замолчи и не шути

над своею судьбой, над своим сердцем! Ведь я его понимаю, и лучше, чем ты. Милый, милый мой Гиперион! Тебе очень трудно помочь.

— Знаешь ли ты,— продолжала она уже громче,— знаешь ли ты, что тебя мучит, чего тебе единственно недостает, что ты ищешь, как Алфей свою Аретузу[72], о чем ты скорбишь, в чем вся причина твоей печали? Ты печалишься не о том даже, что́ погибло много лет назад, ведь точно не скажешь, когда это было, когда это кончилось, но это было, это есть и сейчас — в тебе! Ты ищешь иной, блаженный век, иной, лучший мир. Любя друзей, ты любил в них этот мир и сам вместе с ними был этим миром.

Этот мир пришел к тебе с Адамасом и ушел с ним. Во второй раз он воссиял тебе в Алабанде, но ярче и горячей; вот почему в твоей душе наступила глубокая ночь, когда Алабанда перестал существовать для тебя.

Понимаешь ли ты теперь, почему малейшее сомнение в Алабанде должно было перейти в отчаяние, почему ты оттолкнул его от себя лишь за то, что он не был богом?

Тебе нужны были не отдельные люди, поверь мне, тебе нужен был целый мир. Утрату всех золотых веков, слитых, как ты ощущал их, в едином счастливом мгновенье, ум всех умов лучших времен, мощь всех могучих героев — все это должен был тебе заменить один-единственный человек! Понимаешь ли ты теперь, как ты беден, как ты богат? Почему ты бываешь так горд, а порою так па-

даешь духом? Почему так резко сменяются в тебе радость и скорбь?

Потому что ты обладаешь всем и ничем; потому что видение золотых дней, которые когда-нибудь настанут, принадлежит тебе, и, однако, их нет; потому что ты гражданин царства справедливости и красоты, бог между богами в тех прекрасных сновидениях, которые настигают тебя среди бела дня: но, когда ты пробуждаешься, ты видишь, что стоишь на земле нашей Греции.

Дважды, говоришь ты? Нет, семьдесят раз на дню сбрасывают тебя боги с неба на землю. Сказать ли? Я боюсь за тебя: вряд ли тебе по силам жребий современного человека. Ты будешь еще пытаться сделать многое, будешь пытаться.

О боже! И твоим последним прибежищем станет могила.

— Нет, Диотима,— воскликнул я,— клянусь небом, нет! Покуда для меня еще звучит одна мелодия, мне не страшно мертвое безмолвие пустыни в этом подлунном мире; покуда светят солнце и Диотима, для меня нет ночи.

Пусть звонит колокол по всем умершим добродетелям: я внимаю только тебе, тебе, песне твоего сердца, любовь моя! Я обретаю бессмертную жизнь вопреки тому, что все гаснет и увядает.

— О Гиперион, как ты можешь так говорить?

— Я говорю, как должен говорить. Я не в силах, не в силах больше скрывать все свое

блаженство, и страх, и тревогу... Диотима! Да ты же знаешь, должна знать, давно видишь, что я погибну, если ты не протянешь мне руку.

Она была смущена, растеряна.

— И во мне, во мне Гиперион ищет опоры? Что ж, тогда я хочу, сейчас впервые я хочу быть не просто обыкновенной, смертной девушкой. Но я для тебя лишь то, чем могу быть.

— О, тогда ты для меня все! — ответил я.

— Все? Лукавый притворщик! А человечество? Ведь, в сущности, ты только его и любишь!

— Человечество? — сказал я. — Да я хотел бы, чтобы человечество сделало Диотиму своим девизом и, подняв знамя с твоим изображением, провозгласило: «Ныне победит божественное!». Силы небесные! Что это был бы за день!

— Ступай же, — молвила она, — ступай и яви небу свое преображение! А мне нельзя быть при этом. Ведь ты сейчас уйдешь, правда, милый Гиперион?

Я повиновался. Кто посмел бы ее ослушаться? Я ушел. Но так я еще никогда не уходил от нее. О Беллармин! То была радость, жизнь, пронизанная покоем, божественный мир, небесная, непостижимая радость.

Слова здесь бессильны, и тот, кто просит найти для нее образное выражение, не испытал ее никогда. Выразить подобную радость могла бы только песнь Диотимы, когда голос

ее, держась золотой середины, звучал и не слишком высоко, и не слишком низко.

О прибрежные ивы Леты! Подзакатные тропы элизийских лесов! Лилии в долине подле ручья! Розы, увенчавшие холм! Я верую в вас и говорю в этот благостный миг своему сердцу: там ты обретешь ее вновь, а с ней и все радости, что ты утратил.

Гиперион к Беллармину

Мне хочется рассказывать тебе снова и снова о моем минувшем блаженстве.

Я хочу испытывать сердце радостями былого, пока оно не уподобится стали; я хочу закалять себя ими, пока не сделаюсь неуязвимым.

Ах, ведь они для души порой разящий меч, но я играю мечом, пока не привыкну к нему, я кладу руку в огонь, пока огонь не станет для меня что вода.

Я больше не хочу колебаний; да, я хочу быть сильным! Я ничего не хочу таить от себя, я хочу вызвать из могилы наиблаженнейшее из блаженств.

Трудно поверить, что человек вынужден бояться самого прекрасного; а между тем это так.

Однако же сотни раз бежал я этих мгновений, этой смертоносной услады воспоминаний, я отводил от них взгляд, как дитя — от сверкающей молнии. И все же в роскошном саду вселенной не растут цветы более пленительные, чем мои радости; и все же ни на небе,

ни на земле не рождается ничего более благородного, чем мои радости.

Но только тебе, мой Беллармин, только такой чистой, свободной душе, как твоя, рассказываю я об этом. Я не стремлюсь быть щедрым, как солнце, расточающее свои лучи; я не желаю метать бисер перед глупой толпою[73].

С каждым днем после того задушевного разговора мне все трудней становилось понимать себя. Я знал, что меня с Диотимой связывает священная тайна.

Меня охватывало изумление, томили мечты. Казалось, я избран, мне явился в полночь праведный дух и приказал следовать за ним.

О, какое странное испытываешь чувство счастья, смешанного с тоской, когда открываешь, что навсегда простился с привычным существованием!

С той поры мне ни разу не удавалось увидеться с Диотимой наедине. Нам всегда мешал кто-нибудь третий, разлучал нас, и мир лежал между нею и мною, словно бесконечная пустота. Прошло шесть мучительных дней, а я ничего не знал о Диотиме. Порою мне чудилось, что окружающие парализуют мои чувства, убивают все проявления жизни, чтобы моя томящаяся взаперти душа не могла пробиться к Диотиме.

Если я пытался найти ее взглядом, передо мной вставал мрак, если я пытался обратиться к ней хоть с единым словечком, оно застревало у меня в горле.

Ах, святое, невыразимое желание готово было подчас разорвать мою грудь, и могучая любовь бушевала во мне, точно скованный титан[74]. Еще никогда так бурно, так пылко и непримиримо не восставал мой дух против цепей, что кует судьба, против железного, неумолимого закона, который разлучает нас с нашей возлюбленной половиной, не позволяет стать единой душой.

Отныне моей стихией стала ясная, звездная ночь. Едва наступала глубокая тишина, как в недрах земли, где таинственно растет золото, тогда, о, тогда начиналась самая прекрасная пора для моей любви.

Тогда сердце осуществляло свое право на вымысел. Тогда оно рассказывало мне о том, как дух Гипериона в дни божественного детства, еще не спустившись на землю, играл в занебесном Элизии с прелестной Диотимой — под благозвучное пенье ручья, под ветвями, похожими на ветви земных деревьев, на их прекрасное отражение, мерцающее в золотой глади реки.

И тут, как в прошлое, в моей душе открывались врата в будущее.

И тогда мы с Диотимой уносились ввысь, тогда мы, как ласточки, летали от одной весны мира к другой, неслись по необъятному царству солнца и дальше — к другим островам в небе, на золотые берега Сириуса, в волшебные долы Арктура...

О, разве можно не жаждать испить вот так, из одной чаши с возлюбленной, все наслаждения мира!

Убаюканный радостной колыбельной песней, которую я сам себе пел, я засыпал среди восхитительных видений.

Когда же с лучом утреннего света вновь разгоралась жизнь земли, я глядел в небо, ища в нем грезы ночи. Но они исчезали, как прекрасные звезды, и лишь сладостная тоска в душе свидетельствовала о том, что они все-таки были.

Я грустил; однако я думаю, что и в стране блаженных грустят так же. Эта грусть была посланницей радости, она была серыми предрассветными сумерками, после которых распускается несчетное множество роз утренней зари...

А сейчас знойный летний день спугнул все живое; оно притаилось в густой тени. Вокруг дома Диотимы тоже было тихо и пусто, и ревнивые занавески на ее окнах преграждали мне путь.

Я жил только мыслями о ней. Где ты, думал я, где найдет тебя мой одинокий дух, милая дева? Сидишь ли ты сейчас, задумавшись и глядя вдаль? Отложила ли работу и, облокотясь на колено, подперши ручкой голову, предаешься отрадной задумчивости?

Пусть же ничто не мешает ей, безмятежной, находить отдохновение в сладостных грезах, пусть ничто не коснется этой юной лозы, не смахнет живительную росу с нежных гроздей.

Вот что представлялось мне в мечтах. Но, покуда мысли искали Диотиму в стенах ее дома, ноги несли меня не туда, и я сам не за-

метил, как очутился за садом Диотимы, под сводами священного леса, где я впервые ее увидел. Что это? Я ведь так часто бродил среди этих деревьев, был их старым знакомым, чувствовал себя так спокойно под ними; а сейчас на меня что-то нашло, словно я вступил в сень Дианы и осужден умереть, ибо лицезрел богиню.

Меж тем я шел дальше. С каждым шагом мной овладевало какое-то странное чувство. Еще немного, и я бы взлетел, так влекло меня вперед сердце; и в то же время мне казалось, что ноги у меня налиты свинцом. Душа уносилась вперед, покинув мое бренное тело. Я перестал слышать, все перед глазами заколыхалось, поплыло как в тумане. Дух мой был уже у Диотимы; вершина дерева уже нежилась в утреннем свете, хотя нижние его ветви были еще окутаны холодным сумраком.

— Ах! Мой Гиперион! — зазвучал предо мной ее голос; я бросился к ней.

— Моя Диотима! О моя Диотима!

Но тут я лишился речи, лишился чувств и упал, бездыханный.

Беги, беги, бренная жизнь, убогое занятие, вынуждающее наш одинокий дух разглядывать со всех сторон и пересчитывать собранные им гроши; мы призваны разделить с божеством его радость!

Здесь — пробел в моем бытии. Я умер, а когда очнулся, голова моя лежала на груди самой чудесной девушки в мире.

О живая любовь! Ты расцвела в Диотиме пышным чарующим цветом! Ее пленительная

головка склонилась на мое плечо, словно в легкой дремоте, навеянной благосклонными гениями; она улыбалась наступившему сладкому покою, устремив на меня свой неземной взор с наивным и радостным изумлением, точно впервые увидела мир.

Долго стояли мы так в упоительном, самозабвенном созерцании, не понимая, что с нами происходит, пока наконец переполнявшая меня радость не нашла выхода в слезах и восторженных восклицаниях; я вновь обрел дар речи и окончательно пробудил к жизни мою зачарованную подругу.

Мы огляделись вокруг.

— О мои добрые старые деревья! — проговорила Диотима, словно давно их не видела, и воспоминание о днях прежнего одиночества чуть затуманило ее радость — мягко, как тени, скользящие на девственно-чистом снегу, когда он алеет и рдеет под веселыми отблесками вечерней зари.

— Ангел небесный! — воскликнул я.— Кто может постичь тебя? Кто может сказать, что до конца тебя понял?

— Ты удивлен, что я так люблю тебя? — спросила она.— Милый! Гордец и скромник! Разве я из тех, кто не способен в тебя поверить, разве я не разгадала тебя, не распознала гения за покровом туч? Попробуй-ка спрячься за ними, да так, чтобы ты и сам себя не нашел, я все равно вызову тебя словом заклинания, я...

Да ведь он здесь, он вышел из-за туч, как звезда; он прорвался сквозь их пелену и пред-

стал передо мной, как весна; пробился, как хрустальный ключ, из темной пещеры; нет больше угрюмого Гипериона, его мятежной скорби. О ты... мой ненаглядный!

Все было как во сне. Разве я мог поверить в это чудо любви? Ну как же я мог?.. Меня убила бы радость.

— Божественная! — воскликнул я.— Неужели это ты говоришь со мной? Ты способна на такое самоотречение, святая смиренница [75], способна так радоваться за меня? О, теперь я вижу, теперь-то я знаю, о чем я, правда, часто догадывался: человек — одно из обличий, которое подчас принимает бог [76], это чаша, налитая нектаром, которым небо потчует своих детей.

— Да, да,— перебила она меня, улыбаясь в самозабвении,— твой великий тезка, небесный Гиперион, воплотился в тебе [77].

— Позволь мне,— продолжал я,— позволь мне быть твоим, забыть о себе, позволь всей своей жизнью и душой стремиться только к тебе; только к тебе, в бесконечном, блаженном созерцании! О Диотима! Так же, как нынче, стоял я прежде перед туманным прообразом божества, созданным моею любовью, перед идолом одиноких грез; я преданно жертвовал ему всем, оживлял своей жизнью, обновлял и согревал надеждами сердца; но он ничего не давал мне взамен, кроме того что я давал ему сам, и, когда я стал нищим, он покинул меня в нищете. А теперь? Теперь я держу тебя в объятиях, я чувствую, как дышит твоя грудь, как твой взор сливается с моим; прекрасное

настоящее вторгается в меня, заполнив все мои чувства, но оно мне по силам, я владею высшей красотой и больше не трепещу... да, Диотима, я и впрямь уж не тот! Я стал равен тебе; божество играет с божеством, как играют друг с другом дети.

— Только, по-моему, ты должен стать немного спокойней,— заметила она.

— И ты права, возлюбленная! — радостно согласился я.— Иначе грации не явятся мне; иначе от моего взгляда ускользнут тихие, нежные всплески волн в море красоты. О, я еще научусь так смотреть на тебя, чтобы ничего в тебе не проглядеть! Дай только срок!

— Льстец! — воскликнула она.— Однако, милый мой льстец, на сегодня довольно! Мне сказала об этом золотая вечерняя тучка. Не грусти! Сбереги для нас с тобой свою чистую радость! Пусть она звучит в тебе до завтра, не убивай ее угрюмостью: цветы сердца надо нежно лелеять. Корни их всюду, но цветут они только в погожие дни. Прощай, Гиперион!

Она высвободилась из моих объятий. Страсть вспыхнула во мне, когда я увидел, что она вот-вот исчезнет, сияющая красотой.

— О, постой же! — крикнул я, бросаясь вслед за ней, и вложил всю свою душу в бесчетные поцелуи.

— Боже! — проговорила она.— Что с нами будет!

Это меня сразило.

— Прости, небесная! — сказал я.— Я ухо-

жу. Покойной ночи, Диотима, и думай обо мне хоть немножко!

— Непременно,— отозвалась она.— Покойной ночи!

А теперь ни слова больше, мой Беллармин! Это было бы не под силу и моему терпеливому сердцу. Я изнемог, я это чувствую. Но пойду поброжу среди трав и деревьев, потом лягу под листвой и буду молиться, чтобы природа даровала мне такой же покой.

Гиперион к Беллармину

Отныне наши души общались свободней и прекрасней, и все внутри и вокруг нас равно склоняло к золотой безмятежности. Казалось, старый мир умер и с нами начинается новый, таким одухотворенным и сильным, легким и любящим стало все; и мы, и все живые существа, радостно сливаясь, реяли в беспредельном эфире, как реют слитые звуки тысячеголосого хора.

Наши беседы текли подобно лазурным рекам, в которых поблескивают золотые песчинки, а наше молчание напоминало безмолвие горных вершин, где на величаво пустынной высоте, куда не достигают и грозы, зашумит порой божественный ветерок, шевеля кудри отважного путника.

И нас охватывала удивительная торжественная скорбь, когда пробивший час расставанья омрачал наш восторг, и тогда, бывало, я говорил:

— Вот, Диотима, мы опять стали смертными.

А она отвечала:

— Смертными? Да ведь наша бренность только мнимость, радужные пятна, мелькающие перед глазами, если долго смотреть на солнце!

Ах, какими чарующими были все превращения любви: ласковые речи, тревоги и нежности, строгость и снисходительность.

С какой проницательностью мы разгадывали друг друга, с какой бесконечной верой мы славили нашу любовь!

Да, человек — солнце, всевидящее, всепреображающее, если он любит; если же он не любит, он — темная хижина, в которой еле тлеет лампада.

Мне бы надо молчать, забыть и молчать.

Но прельстительный пламень искушает меня, манит ринуться в него и погибнуть, как мошка.

Однажды, в разгар этой блаженной и безудержной взаимной самоотдачи, я заметил, что Диотима становится все молчаливей.

Я спрашивал, умолял, но это, видимо, еще больше отдаляло ее от меня; наконец она взмолилась, чтобы я не расспрашивал ее и ушел, а при следующем свидании говорил о чем-нибудь другом. Это обрекало и меня на мучительное молчание, из которого мы не находили выхода.

Мне казалось, будто некий непостижимый, негаданный рок обрекает нашу любовь на смерть, будто в жизни ничего уже не осталось, кроме меня и моих терзаний.

Я, правда, корил себя за это; я хорошо

знал, что случайное не властно над сердцем Диотимы. Однако она оставалась для меня загадкой, а моя избалованная, безутешная душа требовала зримой и неослабной любви; замкнутые сокровища были для нее потерянными сокровищами. Ах, будучи счастлив, я разучился надеяться; в ту пору я походил на нетерпеливого ребенка, который плачет, завидев яблоко на дереве, ибо нет для него яблока, если оно недосягаемо. Я не находил себе покоя, умоляя вновь, то с яростью, то смиренно, то с гневом, то нежно; любовь вооружила меня своим неотразимым и скромным красноречием; и наконец, о моя Диотима, наконец я вырвал у тебя восхитительное признание! Оно со мной и доныне и останется со мной, пока волна любви не возвратит и меня вместе со всем, что живет во мне, на мою первоначальную родину, в лоне природы.

Невинная, она только сейчас осознала всю силу переполнявшего ее чувства и, трогательно испугавшись своего богатства, схоронила его в тайниках сердца; когда же она призналась, со слезами призналась, святая простота, что любит слишком сильно, что сказала «прости» всему, что было раньше дорого ее сердцу,— о, как она себя корила.

— Отреклась я вероломно от мая, от лета, от осени, не различаю белого дня от темной ночи, как прежде различала, не подвластна ни небу, ни земле, а подвластна только ему, одному-единственному; но и мая цветение, и лета жар, и осени зрелость, ясный день и

строгость ночи, и земля, и небо — все слилось для меня в этом одном-единственном — так я его люблю.

И как же она тогда, дав себе волю, разглядывала меня, как обнимали меня ее прекрасные руки, как целовала она меня в лоб и в губы, охваченная смелой и чистой радостью, и — ах! — ее божественная головка, немея от блаженства, склонилась ко мне на грудь, прелестные уста прильнули к моему трепетавшему сердцу, и милое мне дыханье проникло в самую душу... о Беллармин! Мысли мои мешаются, я совсем теряю рассудок.

Вижу, вижу, чем это кончится. Волны сорвали кормило, хватают корабль, как хватают младенца за ножки, и ударяют его о скалы.

Гиперион к Беллармину

Есть в жизни высокие мгновенья. Мы, ничтожные, смотрим на них снизу вверх, как смотрят на исполинские образы будущего и древности. Мы вступаем с ними в чудесный поединок, и, если мы перед ними устоим, они становятся нам побратимами и уже не покинут нас.

Однажды мы сидели с друзьями у нас на горе, на одном из камней древней столицы этого острова, и заговорили о том, как мужественно этот лев, Демосфен, встретил здесь свой конец[78], как он избрал добровольную святую смерть, обретя свободу и спасшись от оков и мечей македонцев.

— Великий дух шутя расстался с этим миром! — воскликнул кто-то.

— Почему бы и нет? — заметил я.— Ему больше нечего было здесь делать. Афины стали прислужницей Александра, и мир, как олень, был насмерть затравлен великим охотником.

— О, Афины! — воскликнула Диотима.— Сколько раз я грустила, глядя на них, и передо мной вставал из голубой дымки призрак Олимпа!

— А далеко ли до Афин? — спросил я.

— День пути, вероятно,— ответила Диотима.

— День пути, а я там еще не был? Мы должны немедля собраться туда, все вместе! [79]

— Вот это славно! — обрадовалась Диотима.— Завтра море будет тихое, сейчас все зелено и в цвету.

Совершая такое паломничество, хочется видеть и вечное солнце, и жизнь бессмертной земли.

— Итак, завтра! — сказал я, и наши друзья отвечали согласием.

Мы отплыли из гавани рано, лишь только пропел петух. Овеянные свежестью ясного утра, мы сияли — и мир вокруг тоже. В наших сердцах царила золотая безмятежная юность. Жизнь бурлила в нас, как на острове, только что родившемся из океана, когда наступает его первая весна.

Давно уже под влиянием Диотимы я обрел большее душевное равновесие; сегодня я особенно это ощущал, и все мои рассеянные, дремлющие силы душевные слились, достигнув некой золотой середины.

Между нами зашел разговор о превосходстве древних афинян, о том, откуда оно проистекает и в чем заключается[80].

Один сказал: «Это сделал климат»; другой: «Искусство и философия»; третий: «Религия и государственный строй».

— Искусство и религия афинян, их философия и государственный строй — это цветы и плоды дерева, но не почва и корни,— возразил им я.— Вы принимаете следствие за причину. А тот, кто говорит мне: «Источник всего здесь — климат»,— пусть вспомнит, что и мы живем в этом климате[81].

Афинский народ рос без всякой помехи и был свободней от навязываемых извне влияний, нежели любой другой народ на земле. Его не ослабили никакие завоеватели, не опьянили военные удачи, не одурманило служение чужим богам, ему не свойственна была скороспелая мудрость, ведущая к преждевременной зрелости. Он был предоставлен себе, как кристаллизующийся алмаз,— так протекало его детство. Мы почти ничего не слышим о нем до эпохи Писистрата и Гиппарха[82]. Он принимал незначительное участие в Троянской войне, в которой, как в теплице, слишком рано развилось и пробудилось к жизни большинство греческих народов. Подлинных людей порождает вовсе не какая-нибудь необычайная судьба. Сыны такой матери — величественные колоссы, однако они никогда не станут прекрасными существами или — что одно и то же — людьми; разве гораздо позднее, когда борьба между противоречиями на-

столько обострится, что должна будет в конце концов привести к миру.

В своем буйном росте Лакедемон[83] опережает афинян; именно поэтому он раньше их подвергся бы распаду и разложению, если бы не появился Ликург[84] и своим суровым воспитанием не обуздал своевольную природу. Отныне, однако, все в спартанце было осуществлено, все высокие качества достигнуты, приобретены ценой прилежного труда и сознательного стремления к цели; но если в какой-то мере можно говорить о простоте спартанцев, то подлинно детской простоты у них, разумеется, никогда не было. Лакедемоняне слишком рано нарушили законы естества, слишком рано пришли к вырождению; поэтому и понадобилось установить для них прежде времени строгую дисциплину, ибо суровые меры и искусственное воздействие всегда преждевременны, если природные свойства человека не успели созреть. Дитя человеческое должно носить в себе совершенную природу нетронутой, пока не пойдет в школу, и прообраз детства должен указывать ему обратный путь: от школы к совершенной природе.

Спартанец навеки остался незавершенным творением, ибо тот, о ком нельзя сказать «вот истинное дитя человеческое», едва ли станет истинным человеком.

Правда, земля и небо сделали все возможное для афинян, как и для остальных греков: не обрекли на бедность, оградили от чрез-

мерного изобилия. Лучи неба не падали на них огненным ливнем. Земля не баловала, не изнеживала их ласками, не задаривала их щедрыми дарами, как делает подчас глупая мать.

Вспомним еще небывалый, великий поступок Тезея[85], это добровольное ограничение своей царской власти.

О, из такого зерна, зароненного в сердце народа, не может не взойти целый океан золотых колосьев, и мы видим, как долго еще живет это зерно и дает всходы среди афинян.

Итак, повторяю, потому что афиняне развивались столь независимо от навязываемых извне различных влияний, росли на такой умеренной пище — именно поэтому они стали замечательными людьми, только это и могло сделать их такими.

Оставляйте человека в покое с младенчества! Не изгоняйте человека из тесной завязи его существа, не выгоняйте его из кущи детства! Не делайте для него слишком мало, иначе он будет обходиться без вас и таким образом противопоставит себя вам; не делайте слишком много, иначе он почувствует либо вашу, либо свою собственную силу и таким образом противопоставит себя вам; короче: дайте человеку возможность попозже узнать, что есть еще другие люди, что есть еще что-то, кроме него, ибо только так станет он человеком. Ведь человек есть бог, коль скоро он человек. А если он бог, то он прекрасен.

— Изумительно! — воскликнул один из друзей.

— Никогда еще ты так верно не угадывал мои самые сокровенные мысли,— сказала Диотима.

— Я взял это у тебя,— отвечал я и продолжил: — Так стал афинянин подлинным человеком, что и должно было случиться. Он вышел прекрасным из рук природы, прекрасным душой и телом, как это принято говорить.

Первое детище человеческой, божественной красоты есть искусство. В нем обновляет и воссоздает себя божественный человек. Он хочет постигнуть себя, поэтому он воплощает в искусстве свою красоту. Так создал человек своих богов. Ибо вначале человек и его боги были одно целое, когда существовала еще не познавшая себя вечная красота. Я приобщаю вас к тайнам, но в них истина.

Первое дитя божественной красоты — искусство. Так было у афинян.

Второе — религия. Религия — это любовь к красоте. Мудрец любит самое красоту, бесконечную, всеобъемлющую; народ любит ее детей, богов, которые являются перед ним в различных образах. Так и было у афинян. И без такой любви к красоте, без такой религии каждое государство будет голым скелетом, лишенным жизни и духа, а всякая мысль и дело — деревом без вершины, колонной, с которой сбита капитель.

Но, что это действительно было так у греков, и преимущественно у афинян, что их искусство и религия — родные дети вечной кра-

соты, совершенной человеческой природы и могли возникнуть только из совершенной человеческой природы, ясно обнаруживается, если мы рассмотрим без предвзятости создания их божественного искусства и религию, которая была выражением их любви и почитания этих предметов искусства.

Недостатки и неудачи бывают везде, следовательно, и тут. Но одно несомненно: в огромном большинстве случаев в созданиях их искусства все же обнаруживаешь зрелого человека. Здесь нет ни страсти к мелочам, ни чудовищного преувеличения, как у египтян и готов[86]. Здесь есть человеческий образ, здесь все человечество. Афиняне меньше других впадают в крайности чувственного и сверхчувственного. Их боги были всегда ближе других богов к прекрасной золотой середине человеческой природы.

А каков предмет любви, такова и любовь! Не раболепствует, но и не вольничает.

Следовательно, из духовной красоты афинян неизбежно вытекало стремление к свободе.

Египтянин безболезненно переносит произвол деспота, а сын севера — без отвращения деспотию закона: несправедливость, облеченную в правовые формы, ибо у египтянина врожденная склонность к обожествлению и преклонению, а на севере так мало верят в чистую, свободную жизнь природы, что не могут не относиться с суеверным обожанием к закону.

Афинянин не в состоянии переносить произ-

вол, потому что его божественная природа не потерпит никаких посягательств на себя; он не всегда мирится с законностью, потому что он не во всех случаях нуждается в ней. Драконовские законы афинянину ни к чему[87]. Он хочет мягкого обращения, и он прав.

— Хорошо! — прервал меня кто-то из моих слушателей.— Это я понимаю. Но, почему поэтический религиозный народ должен одновременно стать и народом философов, мне неясно.

— Больше того,— сказал я,— без поэзии он никогда не был бы народом философов!

— Что здесь общего с философией,— возразил тот,— что у поэзии общего с холодным величием этой науки?

— Поэзия,— отвечал я, уверенный в своей правоте,— есть начало и конец этой науки; философия, как Минерва из головы Юпитера, родится из поэзии бесконечного божественного бытия. И таким образом все, что есть в ней несоединимого, в конце концов сливается воедино в таинственном источнике поэзии.

— Вот человек, который говорит парадоксами,— заметила Диотима,— и все же я понимаю его. Однако вы отвлекаетесь. Речь идет об Афинах.

— Человек,— продолжал я,— который не почувствовал в себе хоть раз в жизни полную, чистую красоту, когда в нем переливаются цветами радуги все силы его души, который не знал никогда, что только в часы вдохновения воцаряется совершенное внутреннее согласие, такой человек в философии не может

быть даже скептиком; его разум непригоден даже для разрушения, не говоря уже о созидании. Поверьте мне, скептик находит противоречия и недостатки во всех наших мыслях потому только, что ему знакома гармония безупречной красоты, которую нельзя постичь мыслью. Черствый хлеб, которым его благодушно потчует человеческий разум, он отвергает только потому, что втайне пирует с богами.

— Мечтатель! — воскликнула Диотима.— Вот почему ты сам был скептиком. Но что же афиняне?

— Сейчас доберусь и до них,— ответил я.— Великое определение Гераклита[88] — ἓν διαφέρον ἑαυτῷ (единое, различаемое в себе самом) — мог открыть только грек, ибо в этом вся сущность красоты, и, пока оно не было найдено, не было и философии.

Теперь можно было давать определения: целое уже существовало. Цветок распустился: оставалось разъять его на части.

Отныне красота стала известна людям, она существовала и в жизни и в воображении, являя себя в бесконечном единстве.

Теперь можно было разлагать ее, мысленно разъединять на части и — так же мысленно — снова связывать их воедино, можно было таким образом познавать все больше сущность высшей красоты и высшего блага и возводить познанное нами в закон для различных областей человеческого духа.

Теперь вы видите, почему именно афиняне должны были стать народом философов?

Египтянин был на это не способен. Кто не живет во взаимной и обоюдной любви с небом и землей, то есть кто не живет в единении со стихией, в которой рожден, тот от природы лишен такого внутреннего единства и уж, во всяком случае, не познает вечную красоту так легко, как грек.

Великолепный деспот, Восток повергает ниц своих сынов, подавляя их блеском и мощью, и, прежде чем человек научится ходить, он уже обязан стоять на коленях; прежде чем он научится говорить, он уже обязан молиться; прежде чем душа его обретет равновесие, она уже обязана поклоняться, и, прежде чем ум его сколько-нибудь окрепнет, чтобы давать цветы и плоды, палящий огнь судьбы и природы уже истощит его силы. Египтянин отдан на заклание, еще не представляя собой законченного целого как человек; поэтому он ничего не знает о целом, ничего не знает о красоте, и самое высшее в его представлении — это скрывающаяся под покровом сила, зловещая загадка; безмолвная мрачная Изида[89] — вот его первое и последнее слово, стало быть, пустая бесконечность, и ничего разумного из этого не вышло. Даже самое величественное Ничто может породить только Ничто.

Зато Север заставляет своих питомцев слишком рано замыкаться в себе, и если дух пылкого египтянина прежде времени стремится выйти в широкий мир, то дух северянина возвращается к самому себе, так и не подготовившись к выходу за свои пределы.

На Севере люди становятся рассудительными, прежде чем в них созрели чувства; они возлагают на себя ответственность за все до того, как естественно завершится пора наивности; там нужно быть благоразумным, сделаться сознательным носителем разума, не став еще человеком; стать мудрым мужем, не став еще ребенком: таким образом, единству цельного человека — красоте — не дают расцвести и созреть в детстве, пока человек еще не вырос и не развился. Голый рассудок, голый разум — неизменные властители Севера. Но голый рассудок никогда не подсказывает ничего рассудительного, а голый разум — ничего разумного.

Рассудок лишен величия духа, он что послушный подмастерье, делающий изгородь из нетесаного леса и сбивающий гвоздями обструганные им колья для сада, который задумал разбить мастер. Вся работа рассудка подчинена необходимости. Он ограждает нас от нелепых и неправильных поступков, наводит порядок; но, уберегшись от нелепых и неправильных поступков, мы еще не достигли высшей ступени человеческого совершенства.

Разум лишен величия духа и сердца, он надсмотрщик, которого хозяин дома поставил над слугами; он знает не больше слуг о том, что должно выйти из их бесконечной работы; он только покрикивает: «Поворачивайтесь!» — и едва ли доволен, если дело спорится; ведь в конце концов окажется, что ему некого подгонять и его роль сыграна.

Философия не рождается из голого рассуд-

ка, ибо философия есть нечто большее, чем ограниченное познание существующего.

Философия не рождается из голого разума, ибо философия есть нечто большее, чем слепое требование стремиться к бесконечному прогрессу в объединении и противопоставлении всевозможных объектов познания.

Но когда светит божественное ἓν διαφέρον ἑαυτῷ — идеал красоты целеустремленного разума, то его требования не слепы и он знает, зачем, для чего он требует.

Когда солнце красоты озаряет рассудок во время его работы, как майский день, заливающий светом мастерскую художника, то рассудок не предается мечтам и не бросает свой подлинный труд, а радостно вспоминает о наступающем празднике, когда он отдохнет, молодея в лучах весеннего солнца.

Так говорил я, пока мы не причалили к берегам Аттики.

Мысли наши были так заняты древними Афинами, что у нас пропало желание рассуждать логично, и я сам подивился характеру своих недавних откровений:

— Как же это я очутился на бесплодных горных высях, где вы только что меня видели?

— Так всегда бывает, когда нам хорошо,— ответила мне Диотима.— Бьющая через край сила ищет себе работы. Насытившись молоком матери, ягнята играют и сшибаются лбами.

Мы поднимались теперь на вершину Ликабета[90], и, хоть времени было в обрез, мы порой останавливались в раздумье и словно в ожидании чего-то чудесного.

Как хорошо, что человеку так трудно поверить в смерть всего ему дорогого, и, должно быть, никто еще не шел на могилу друга без смутной надежды и вправду его там встретить. Меня поразил прекрасный призрак древних Афин, словно то был образ дорогой матери, возвращающейся из царства мертвых.

— О Парфенон, гордость мира! — воскликнул я.— У твоих ног лежит царство Нептуна, подобно укрощенному льву, и, словно дети, теснятся вокруг тебя другие храмы, виднеется ристалище красноречия Агора и роща Академа...

— До чего ж ты умеешь переноситься в прежние времена,— заметила Диотима.

— Не напоминай мне о тех временах! — попросил я.— То была божественная жизнь, и человек был тогда средоточием природы. Та весна, когда она цвела вкруг Афин, была что скромный цветок на девичьей груди; и встающее солнце краснело от стыда за себя, глядя на красоты земли.

Мраморные глыбы Гимета и Пентеле выходили из своей дремотной колыбели, как дети из лона матери, и обретали форму и жизнь под бережными руками афинян.

Медом одаривала их природа, и прекраснейшими фиалками, и миртами, и оливами.

Природа была жрицей, человек — ее богом, и вся жизнь в ней, каждое ее обличье, каждый звук были единым, восторженным эхом владыки, которому она служила.

Только его она славила, ему одному возлагала на алтарь жертвы.

И он стоил того, он был способен, сидя в своей священной мастерской, влюбленно созерцать божественное изваяние, им же созданное, и обнимать его колена или проводить время в возвышенных размышлениях, возлежа среди внемлющих учеников на мысе, на зеленой вершине Суниума; он мог состязаться в беге на стадионе, мог с кафедры, как громовержец, насылать дождь и солнечные лучи, молнии и золотые облака...

— Да погляди же! — вдруг воскликнула Диотима.

Я взглянул и едва устоял перед величием открывшегося мне зрелища.

Словно обломки гигантского кораблекрушения, лежали перед нами Афины; так, когда ураган уже стих и мореходы бежали, остаются лежать на прибрежном песке до неузнаваемости изуродованные останки кораблей; сиротливые колонны стояли точно голые стволы леса, который вечером был еще зелен, а ночью сгорел.

— Здесь учишься молчать о себе, о своей судьбе, какая бы она ни была, счастливая или несчастная,— сказала Диотима.

— Здесь учишься хранить молчание обо всем,— подхватил я.— Если бы жнецы, собиравшие урожай на этой ниве, наполнили им свои житницы, тогда бы ничего не пропало и я удовольствовался бы тем, что собираю после них колосья; но разве кто-нибудь воспользовался этим богатством?

— Вся Европа,— заметил один из друзей.

— О да! — воскликнул я.— Они растащили

колонны и статуи[91] и перепродают их друг другу, сбывая благородные изваяния по красной цене: как-никак это редкость не меньшая, чем попугаи и обезьяны.

— Не говори так! — возразил мой друг.— Если даже они действительно не способны проникнуться духом всей этой красоты, то лишь потому, что его нельзя ни унести, ни купить.

— Где там! Этот дух погиб еще до того, как разрушители хлынули в Аттику. Дикие звери отваживаются входить в городские ворота и бродить по улицам, только когда опустели дома и храмы.

— В ком жив этот дух,— сказала, чтобы утешить нас, Диотима,— для того Афины по-прежнему цветущее плодовое дерево. В своем воображении художник без труда дополнит обезглавленный торс.

На другой день мы встали рано, осмотрели развалины Парфенона[92], место, где находился древний театр Вакха[93], храм Тезея[94], шестнадцать уцелевших колонн божественного храма Юпитера Олимпийского[95]; но больше всего поразили меня древние ворота[96], которые некогда вели из старого города в новый и где когда-то в один только день проходили, наверное, тысячи совершенных людей, приветствуя друг друга. Теперь никто не проходит сквозь эти ворота ни в старый, ни в новый город, они стоят безмолвные и пустые, как и иссохший фонтан, из труб которого некогда с ласковым журчанием била чистая, свежая вода.

— Ах,— сказал я, когда мы там бродили,— какая, в сущности, великолепная игра судьбы; она разрушает храмы и позволяет детям швыряться осколками их камней; обломки кумиров она превращает в скамейки перед крестьянскими хижинами, и по ее воле среди надгробных плит отдыхает пасущийся скот; в этом мотовстве больше царственности, чем в прихоти Клеопатры [97], вздумавшей пить растворенный в уксусе жемчуг; а жаль все-таки, что нет больше того величия и красоты!

— Бедный мой Гиперион,— воскликнула Диотима,— тебе пора уходить отсюда, ты побледнел, и глаза у тебя усталые, а мудрые рассуждения тебе не помогут, как ни старайся. Уйдем отсюда. Выйдем на простор, на зелень. Среди многокрасочной жизни ты придешь в себя.

И мы пошли в окрестные сады.

По дороге наши спутники завели разговор с двумя английскими учеными, собиравшими жатву среди афинских древностей, их никакими силами нельзя было оторвать от англичан. Но я охотно с ними расстался.

Душа моя встрепенулась, когда я так внезапно оказался наедине с Диотимой; она победила в великолепном поединке со священным хаосом Афин. Спокойный разум Диотимы совладал с разрушением, как лира небесной музы с несогласными стихиями. Ее душа воспряла от прекрасной скорби, явилась как луна из легкой пелены туч; в своей

печали дивная девушка напоминала ночные цветы, такие благоуханные во мраке.

Мы шли все дальше и дальше, и, как обнаружилось, совсем не напрасно.

О, сады Ангеле[98], где маслина и кипарис, перешептываясь, обвевают друг друга прохладой и радушно делятся своей сенью, где золотой плод лимонного дерева сверкает из-под темной листвы, где наливающиеся гроздья винограда своенравно свешиваются через изгородь, а спелый апельсин, похожий на улыбающегося найденыша, лежит нередко посреди дороги! О, благоухающие потаенные тропы! Укромные уголки, где из зеркала ручья улыбается отраженный миртовый куст! Вовек я вас не забуду.

Мы с Диотимой гуляли под чудесными деревьями, пока перед нами не открылась просторная и светлая поляна.

Здесь мы и уселись. Воцарилось блаженное молчание. Мечты мои кружили над божественным девичьим станом, как бабочка кружится над цветком; и с души моей словно спало бремя, и все силы ее сосредоточились в этой радости восторженного созерцания.

— Вот ты и утешился, легкомысленный человек! Ведь правда? — спросила Диотима.

— Да, да, конечно,— ответил я. — Все, что, мнилось мне, потеряно, есть у меня; все, о чем я тосковал, что, казалось, исчезло из мира, сейчас передо мной. Нет, Диотима! Источник вечной красоты еще не иссяк.

Я уже говорил тебе, что мне больше не нужны ни боги, ни люди. Я знаю, небо опу-

стело, а земля, где когда-то кипела прекрасная человеческая жизнь, превратилась в муравейную кучу. Но есть еще место, где мне улыбается прежняя земля и прежнее небо. Ведь с тобой, Диотима, я забываю обо всех богах на небе, обо всех богоподобных людях на земле.

Пускай мир тонет в пучине[99], я знать не хочу ни о чем, кроме моего блаженного острова.

— Есть пора любви,— ласково и серьезно сказала Диотима,— как есть счастливая пора колыбельных дней. Но сама жизнь изгоняет нас из колыбели.

— Гиперион! — она с жаром схватила мою руку, и голос ее зазвучал торжественно: — Гиперион! Мне кажется, ты рожден для высоких дел. Не принижай же себя! Тебе не к чему было приложить свои силы, это тебя сковывало. Жизнь не поспевала за тобой. Это тебя и подкосило. Ты, как неопытный фехтовальщик, перешел в наступление, прежде чем наметил себе цель и набил руку. А так как ты, естественно, получил больше ударов, нежели нанес, то сделался робок, стал сомневаться в себе и во всем; ведь ты так же чувствителен, как и горяч. Но ничто еще не потеряно. Если бы ты созрел так рано для чувств и действий, твой ум не стал бы тем, что он есть. Ты не стал бы мыслящим человеком, если бы не был мятежным и страдающим человеком. Поверь мне, ты никогда бы не смог так ясно ощутить равновесие прекрасной человечности, если бы сам в такой

мере не ощутил его потерю. Твое сердце обрело наконец мир. Я хочу в это верить. Я понимаю это. Но неужто ты и вправду думаешь, что исчерпал себя? Неужто ты хочешь замкнуться в небесах своей любви, а мир, которому ты так нужен, оставить внизу, под собой, коченеющим от стужи, иссыхающим без влаги? Как луч света, как освежающий дождь, ты должен нисходить с высот в юдоль смертных, должен светить, как Аполлон, потрясать землю и нести жизнь, как Юпитер, иначе ты недостоин своих небес. Прошу тебя, пройдись еще раз по Афинам, один только раз, и посмотри на людей, что бродят там, среди развалин: на диких албанцев и славных, по-детски простодушных греков[100]; эти люди в веселом танце или в священном мифе находят утешение от позорного ига, которое тяготеет над ними... Можешь ли ты сказать: «Мне стыдно работать над таким материалом?». А по-моему, он еще пригоден для обработки. Сможешь ли ты отвратить свое сердце от страждущих? Эти люди не так уж плохи, они не причинили тебе никакого зла!

— Что же я могу для них сделать? — воскликнул я.

— Отдай им то, что есть в тебе,— ответила Диотима,— отдай...

— Ни слова, ни слова больше, великодушная! Иначе окажется, что ты меня уговорила, иначе можно подумать, что ты вынудила меня...

Они станут если не счастливей, то благо-

родней. Нет, они все-таки станут и счастливей! Они должны воспрянуть, выйти на свет, как юные горы из морской пучины, когда их выталкивает на поверхность подземный огонь.

Правда, я одинок и приду к ним безвестным. Но разве один человек, если он поистине человек, не сделает больше, чем сотни частиц человека?

Святая природа! Ты и во мне, и вне меня — одна и та же. Значит, не так уж трудно слить воедино и существующее вне меня и то божественное, что есть во мне. Удается же пчеле создать свое крохотное царство, почему же я не смогу посеять и взрастить то, что нужно людям?

Арабский купец посеял свой Коран[101], и у него выросло целое племя учеников, как лес без конца и без края; ужели не даст всходов и та нива, где оживает древняя истина в своей новообретенной цветущей юности?

Так пусть же все, сверху донизу, станет новым! Пусть вырастет новый мир из корней человечества! Пусть новое божество властвует над людьми, пусть новое будущее забрезжит перед нами!

В мастерских, в домах, на собраниях, в храмах — всюду все станет совсем иным!

Но мне еще надо поехать учиться. Хоть я и художник, но пока неискусный. Я творю в воображении, но рука моя еще не окрепла.

— Ты поедешь в Италию,— сказала Диотима,— в Германию, во Францию... Сколько лет тебе понадобится? Три, четыре... Я ду-

маю, довольно и трех; ты ведь не какой-нибудь лентяй, и ты ищешь только самое великое и прекрасное.

— А потом?

— Ты станешь учителем нашего народа и, надеюсь, великим человеком. И, когда я потом обниму тебя, вот так, мне пригрезится, будто я и впрямь частица необыкновенного человека, и я до того буду рада, словно ты подарил мне, как Поллукс Кастору, половину своего бессмертия. О, я буду гордиться тобой, Гиперион!

Некоторое время я молчал. Я был охвачен невыразимой радостью.

— Разве можно быть довольным оттого, что принял решение, хотя ты еще не приступил к действию,— спросил я,— разве бывает спокойствие перед победой?

— Это спокойствие героя,— молвила Диотима.— Бывают решения, которые, подобно слову богов, заключают в себе и приказ, и его исполнение. Таково и твое решение.

Мы возвращались обратно, как после первого объятья. Все казалось нам незнакомым и новым.

Я стоял теперь над развалинами Афин, как пахарь перед невозделанным полем.

«Мир тебе,— думал я, когда мы шли назад, на корабль,— мир тебе, спящая страна! Скоро здесь зазеленеет юная жизнь и потянется навстречу благодатному небу. Скоро тучи не напрасно будут кропить тебя дождем, скоро солнце вновь приветит своих прежних питомцев».

Ты спрашиваешь, природа: «Где же люди?». Ты стонешь, как струны лютни, которых касается только брат Случая — залетный ветер, потому что мастер, ее настроивший, умер? Они придут, твои люди, природа! Обновленный юный народ вернет и тебе юность, и ты станешь как невеста его, и ваш древний духовный союз обновится вместе с тобой.

Надо всем будет царить лишь одна-единая красота; и человечество, и природа сольются в едином всеобъемлющем божестве.

ТОМ ВТОРОЙ

Μὴ φῦναι, τὸν ἅπαντα νικᾷ λόγον, το δ'ἐπεὶ φανῇ
βῆναι κεῖθεν, ὅθεν περ ἥκει, πολὺ δεύτερον ὡς τάχιστα.

*Софокл**[1]



КНИГА ПЕРВАЯ

Гиперион к Беллармину

После нашего возвращения из краев Аттики[2] наступила последняя прекрасная пора года.

Как сестра весны предстала перед нами осень, полная мягкого тепла, — сущий праздник для памяти, поминающий страдания и ушедшие радости любви. Увядающие листья оделись в цвета вечерней зари, только сосна и лавр стояли, облаченные в вечную зелень. В безоблачном небе, не решаясь тронуться в путь, застыли перелетные птицы, а другие пичуги носились по виноградникам и садам, весело подбирая то, что оставили люди. Из отверстых небес сплошным потоком лился свет, сквозь ветки деревьев улыбалось святое солнце, доброе солнце, о нем я всегда говорю с радостной благодарностью, оно не раз — чуть только глянет — исцеляло мою тяжкую скорбь и очищало душу от тревог и сомнений.

Мы с Диотимой бродили по самым своим

---

* Не родиться совсем — удел/Лучший. Если ж родился ты,/В край, откуда явился, вновь/Возвратиться скорее (Софокл, Эдип в Колоне, ст. 1224—1227. Перевод С. Шервинского).

любимым тропкам, встречая на каждом шагу былые часы счастья.

Мы вспоминали прошедший май; никогда мы еще не видели землю такой, как тогда! Преображенная, она была точно серебристое облако первоцвета — радостный пламень жизни, освобожденный от грубой материи.

— Ах! Тогда все кругом дышало весельем и надеждой; все так упрямо хотело расти и росло так легко, так блаженно-спокойно, как дитя, что само с собой играет и ни о чем больше не думает, — говорила Диотима.

— В этом, — вторил я ей, — мы и узнаем душу природы, в этом плавном горении, в этой неторопливости стремительного движения.

— А как она мила тем, кто счастлив, эта неторопливость, — продолжала Диотима. — Помнишь, однажды вечером мы стояли вдвоем на мосту после сильной грозы и рыжий горный поток стремительно мчался под нами, а рядом мирно зеленел лес, чуть приметно шевелилась светлая листва буков. На душе у нас было так хорошо оттого, что вся дышащая жизнью зелень не уносится прочь, как ручей, что мы не спугнем красавицу весну, которая не боялась нас, как ручная птица, но вот она упорхнула, и нет ее больше.

Мы оба улыбнулись ее сравнению, хотя впору было бы печалиться.

Так суждено было миновать и нашему счастью, и мы это тогда уже предвидели.

О Беллармин! Кто же вправе сказать, что его существование прочно, если даже красота

созревает лишь для уготовленной ей судьбы, если даже божественное должно смиряться и разделять участь всего смертного!

Гиперион к Беллармину

Я все еще медлил расстаться с милой у ее дома, когда тихо подкрались сумерки и взошло ночное светило; я возвратился в жилище Нотары, погруженный в свои мысли, чувствуя в себе могучий прилив жизненных сил,— таким я всегда возвращался из объятий Диотимы. Меня ждало письмо от Алабанды.

«Началось, Гиперион! Россия объявила войну Порте, русский флот направляется к Архипелагу *,— писал он,— греки будут свободны, если они восстанут и помогут прогнать султана на Евфрат. Греки своего добьются, греки станут свободными, и я бесконечно рад, что для меня снова нашлось дело. Мне так опостылел свет, но вот наконец час пробил [3].

Если ты прежний, приезжай! Ты найдешь меня в селении под Короном, куда можно добраться, едучи через Мизистру [4]. Я живу на холме, в белом доме у леса.

С людьми, которых ты видел у меня в Смирне, я порвал. Твое тонкое чутье тебя не обмануло, ты хорошо сделал, что не поддался их влиянию.

Очень хочу встретиться с тобой здесь, в этой новой жизни. До сих пор мир казался тебе настолько скверным, что ты и не старался дать ему возможность узнать тебя. Ты не

* В 1770 г.— *Примеч. авт.*

хотел исполнять обязанности раба, поэтому не делал ничего, а от ничегонеделанья впал в хандру и ушел в мечты.

Тебе было противно барахтаться в болоте. Ну так приезжай сюда, приезжай! Мы с тобой поплаваем в открытом море.

Какое это будет наслаждение, единственный мой любимый друг!»

Так он писал. В первую минуту я пришел в смущение. Лицо мое пылало от стыда, сердце клокотало, как кипящий ключ, я не находил себе места, так больно мне было, что Алабанда обогнал меня, опередил непоправимо. Но тем сильнее я жаждал взяться за дело.

«Я обленился, — говорил я себе, — стал косным, вялым, витаю в облаках! Алабанда зорко всматривается в мир, как отменный кормчий, Алабанда не отлынивает от дела, он и в волнах ищет добычу; а ты сидишь сложа руки. Ты хочешь отделаться словами, покорить мир силой магических заклинаний? Но что проку в твоих словах? Что в хлопьях снега, они только застилают даль мглою, а твои заклинания действуют только на верующих, неверующие тебя и не слышат. Да, кротость в должное время, может, и хороша, но когда она не ко времени, она отвратительна, ибо тогда она — трусость! Но есть для меня образец, о Гармодий! Это твой мирт, мирт, в котором скрывался меч. Я не хочу больше тратить время попусту, даже сон пусть для меня будет маслом, которым поддерживают

огонь. Я не хочу быть только свидетелем, когда нужно действовать, не хочу слоняться праздно и в конце концов узнать, что лавры достались Алабанде.

Гиперион к Беллармину

Бледность Диотимы, когда она читала письмо Алабанды, поразила меня в самое сердце. Она тотчас начала серьезно и сдержанно отговаривать меня от этого шага, и нам пришлось многое обсудить, а кое о чем и поспорить.

— Ах, сторонники насилия! — воскликнула она. — Вы так скоры на крайние меры, но вспомните о Немезиде!

— Кто страдает от крайности, — сказал я, — тот вправе прибегнуть к крайности.

— Если ты и прав, — заметила Диотима, — ты все-таки не рожден для этого.

— Это только так кажется, — отвечал я. — Я ведь слишком долго медлил. О, я хотел бы взвалить себе на плечи ношу Атланта, лишь бы оплатить долги юности! Неужели у меня нет сознания долга? Нет постоянства? Отпусти меня, Диотима! Ведь именно там, в таком деле я все обрету.

— Пустое тщеславие! Еще недавно ты был скромнее, еще совсем недавно ты говорил: мне еще надо идти учиться.

— Милая софистка! — возразил я. — Ведь тогда речь шла совсем о другом. Да, я еще не гожусь для того, чтобы вести свой народ на Олимп, в обитель божественной Красоты, где из вечно юных источников берут начало

Истина и Добро. Но владеть мечом я научился, а больше сейчас и не требуется. Новый союз идей должен иметь почву под ногами, священная теократия Красоты должна находиться в свободном государстве, а такому государству нужно место на земле, и мы завоюем ему это место.

— Да, ты завоюешь, а потом позабудешь зачем! — воскликнула Диотима. — Создашь себе, если уж дело до этого дойдет, с помощью насилия свободное государство, а потом скажешь: «Зачем я его построил?». Ах, да ведь она погибнет, не родившись, вся эта прекрасная жизнь, которая там будто бы возникнет, она истлеет даже в тебе самом! Яростная борьба надломит тебя, чистая душа, ты состаришься, светлый ум, устав от жизни, в конце концов спросишь: «Где вы, идеалы юности?».

— Это жестоко, Диотима, — сказал я, — ты затрагиваешь самое мое больное место, сковываешь меня моим же страхом смерти, моей неуемной любовью к жизни. Но нет, нет, нет! Холопство убивает, а в справедливой войне оживает душа. Золото оттого такого же цвета[5], как солнце, что его бросают в огонь! Только тогда возвращается к человеку его юность, когда он разбивает оковы! Есть только одно средство спасения: собраться с силами и раздавить гадину, это пресмыкающееся столетие, которое губит в зародыше все прекрасное от природы! Так, по-твоему, мне суждено состариться, Диотима, если я освобожу Грецию? Состариться, сделаться мел-

ким, заурядным человеком? Что ж, стало быть, и вестник марафонской победы, тот юный афинянин, что взошел на вершину Пентеле и взглянул оттуда вниз, на долины Аттики, был, наверное, заурядным ничтожеством, без всякой искры божьей!

— Милый, милый мой, замолчи! Я не скажу больше ни слова. Уходи, уходи, гордый человек. Ах, тебя не изменить, у меня нет на то ни власти, ни права.

Она горько плакала, а я стоял перед ней, чувствуя себя преступником.

— Прости, обожаемая, о, прости меня за то, что я не могу иначе! — и я упал к ее ногам. — Я не выбираю, не взвешиваю. Я во власти какой-то силы и не знаю даже, сам ли решаюсь на этот шаг.

— Это душа твоя тебе приказывает, — ответила она. — Неповиновение, пожалуй, тоже. Лучше уж иди — так благородней. Что ж, поступай по-своему, я снесу.

Гиперион к Беллармину

После того дня в Диотиме произошла удивительная перемена.

Я с радостью замечал, как с пробуждением нашей любви таимая дотоле жизнь чувства сказывалась во взглядах и нежных словах и как часто присущее Диотиме одухотворенное спокойствие преображалось передо мной в лучезарный восторг.

Но, когда близкое нам прекрасное существо после первого своего цветенья, после утра жизни поднимается на неизбежную ступень

полуденной зрелости, оно предстает перед нами совсем иным. Трудно было узнать прежнее счастливое дитя в Диотиме, сейчас такой величавой и так страдающей.

О, сколько раз падал я ниц перед моим скорбящим кумиром и, мучась за нее, думал: «Мне больше невмочь, я изойду слезами», — и в изумлении вставал, полный могучих сил! В глазах ее горело пламя, вырвавшееся на волю из теснившей его груди. Ему стало тесно в сердце, до краев полном мук и желаний, поэтому мысли этой девушки были такими возвышенными и смелыми. Она была исполнена какого-то нового величия, наделена зримой властью над всеми способными чувствовать созданиями. Она была высшим существом. Она больше не принадлежала к числу смертных,

О, моя Диотима, мог ли я тогда вообразить, к чему это поведет?

Гиперион к Беллармину

Мудрый Нотара тоже увлекся новыми планами, обещал мне найти влиятельных сторонников, надеясь, что скоро нам удастся завладеть Коринфским перешейком и здесь, так сказать, схватить Грецию под уздцы. Но судьба судила иначе и сделала его труды ненужными, прежде чем они достигли цели.

Он советовал мне не ездить на Тине, а отправиться прямо через Пелопоннес на юг и по возможности тайно. Отцу, говорил он, лучше всего написать с дороги: нерешительному старику будет легче простить мне уже

сделанный шаг, чем дозволить предстоящий. Это было не совсем в моих правилах, но мы так охотно жертвуем своими чувствами, когда перед глазами стоит великая цель.

— Сомневаюсь, — сказал Нотара, — можешь ли ты в таком деле рассчитывать на помощь отца. Поэтому я и дам тебе ту малость, без которой тебе не обойтись первое время, чтобы не бедствовать и иметь возможность действовать при любых обстоятельствах. Если сможешь, когда-нибудь возвратишь мне долг, если нет, считай мое своим. Не стыдись денег, — добавил он, улыбнувшись, — ведь даже кони Феба живут не одним воздухом: так уверяют нас поэты [6].

Гиперион к Беллармину

Но вот настал день расставания.

Все утро я провел на горе, в саду Нотары, на свежем зимнем воздухе, среди вечнозеленых кипарисов и кедров. Я был спокоен. Могучие силы юности поддерживали меня, а предчувствуемое мною страдание возносило, как облако, ввысь.

Мать Диотимы пригласила Нотару, меня и некоторых наших друзей провести этот последний день с ее семьей. Добрые люди, они всегда радовались за нас с Диотимой, и от взгляда их не укрылось то божественное, что было в нашей любви. Теперь им предстояло благословить меня перед разлукой.

Я спустился с горы. Свою милую я застал у очага. Сегодня она относилась к хлопотам по хозяйству как к священнодействию. Она

привела все в порядок, украсила дом, не позволив никому помогать ей. Она сорвала все цветы, что еще оставались в саду, достала роз и свежего винограда в это позднее время года.

Она узнала мои шаги по лестнице и тихо вышла навстречу: ее бледные щеки сейчас разгорелись от жара очага, и в серьезных, широко раскрытых глазах блестели слезы. Она заметила, что это меня поразило.

— Войди же, милый,— проговорила она,— там мать, я тоже сейчас приду.

Я вошел в комнату, где сидела мать Диотимы. Благородная женщина протянула мне свою прекрасную руку, говоря:

— Входи, входи же, сын мой! Я должна бы сердиться на тебя, ты ведь отнял у меня мое дитя, заставил молчать во мне благоразумие, делаешь все, что взбредет тебе в голову, а теперь уходишь прочь; но простите ему, силы небесные, если он замыслил неправое, а если он прав, поскорее придите на помощь моему милому сыну!

Я хотел было ответить, но тут в комнату вошел Нотара с остальными друзьями, а вслед за ними и Диотима.

С минуту мы молчали. Мы склоняли голову перед скорбью любви, разделяемой нами всеми. Мы боялись оскорбить ее речами и гордыми мыслями. Наконец, после нескольких сказанных мимоходом слов, Диотима попросила меня рассказать что-нибудь об Агиде и Клеомене[7], ибо я часто с благоговением отзывался об этих великих людях, утверждал,

что они бесспорно такие же полубоги, как Прометей, и борьба их против рока Спарты героичнее, чем самый блистательный миф. Гений этих людей — вечерняя заря Греции, как Тезей и Гомер — ее утренняя заря.

Я кончил свой рассказ, и все мы почувствовали себя сильнее и чище.

— Счастлив тот, в чьей жизни великие радости чередуются с отважной борьбой, — воскликнул один из друзей.

— Да. Это и есть вечная юность, когда у вас хватает сил на все и нас не ослабляет ни труд, ни наслаждение, — заметил другой.

— О, как бы я хотела быть с тобой! — воскликнула, обратившись ко мне, Диотима.

— Да ведь это хорошо, что ты остаешься, Диотима! — ответил я. — Жрица не должна покидать храм. Ты охраняешь священный огонь, сберегаешь в тиши все то прекрасное, что я найду, вернувшись к тебе.

— Да, пожалуй, ты прав, дорогой, так лучше, — молвила Диотима, но голос ее дрогнул, и она опустила шаль на свои небесные очи, чтобы не выдать слез, не выдать смятения.

О Беллармин, у меня чуть не разорвалось сердце оттого, что я вызвал краску стыда на ее лице.

— Друзья, берегите этого ангела! — воскликнул я.— Все для меня будет потеряно, если я потеряю ее. О, небо! Страшно подумать, что я способен натворить, если ее утрачу.

— Успокойся, Гиперион! — прервал меня Нотара.

— Успокойся? О добрые люди! Вам можно тревожиться о том, зацветет ли ваш сад и хорош ли будет урожай, вам можно молиться, чтобы уцелел ваш виноград, а мне нельзя ничего желать, расставаясь с единственным существом, которому подвластна моя душа.

— Нет, нет, друг мой, — сказал растроганный Нотара, — я вовсе не считаю, что ты ничего не должен желать, расставаясь с нею! Нет, клянусь божественной чистотой вашей любви, я, конечно же, вас благословляю!

— Вот ты мне и напомнил, — подхватил я. — Нас должна благословить дорогая матушка; она должна быть вместе с вами свидетельницей нашего счастья. Подойди, Диотима! Пусть твоя матушка освятит наш союз, пока та прекрасная Община, на которую мы уповаем, не сочетает нас браком.

И я преклонил колено; с открытым взором, краснея и радостно улыбаясь, она стала на колени рядом со мною.

— Давно уже, о природа, наша жизнь и ты составляют единство и любовь сделала наш собственный мир таким же чудесно юным, как ты и все твои боги! — сказал я.

— Мы бродили в твоих рощах, — продолжала Диотима,— и были как ты; мы сидели у твоих ручьев и были как ты; мы уходили в горные дали вместе с твоими детьми, звездами, как ты.

— Когда мы еще не встретились, — сказал я, — когда, словно лепет арфы, мы впервые услышали в себе мелодию, предвещавшую

восторги любви, и в нас пробудились все струны и звенели, сливаясь в мощные аккорды жизни, — тогда, божественная природа, мы неизменно были как ты; но и теперь, когда мы расстаемся и радость умирает, мы и теперь как ты, мы и в страдании добры; вот почему мы хотим, чтобы чистые уста засвидетельствовали, что наша любовь свята и вечна, как ты.

— Свидетельствую, — молвила мать.

— Свидетельствуем, — повторили за ней другие.

Нам уже не нужно было слов. Я почувствовал прилив мужества, почувствовал, что готов к разлуке.

— Ну теперь я пойду, мои милые! — сказал я, и лица у всех стали божественно бледными.

Диотима стояла недвижно, точно мраморное изваяние, и я ощутил, как мертвеет ее рука в моей. Я убил все вокруг себя, я был совсем один, и мне стало жутко от этой бездонной тишины, в которой не находила отзвука кипевшая во мне жизнь.

— Ах, сердце мое горит огнем, а вы, мои дорогие, застыли, вы все так холодны! Неужели мне внемлют только домашние боги? — взывал я.— Диотима! Ты молчишь, ты даже не смотришь! О, благо тебе, что ты на меня не смотришь!

— Иди же, — вздохнула она, — так тому и быть; иди же, душа моя!

— О музыка, ты звучишь из пленительных уст! — воскликнул я, молитвенно складывая руки, как перед любимым кумиром. — О му-

зыка, прозвучи еще хоть раз, блесни еще хоть раз, милый сердцу свет очей!

— Не надо так говорить со мной, — сказала она. — Будь крепче, будь мужественней!

Я пытался овладеть собой, но был как в бреду.

— Горе мне! Чую я, что это прощанье навек! — вырвалось у меня.

— Ты убьешь ее, — воскликнул Нотара. — Погляди, она так кротка, а ты совсем потерял голову!

Я взглянул на нее, и горючие слезы брызнули у меня из глаз.

— Прощай же, Диотима! — крикнул я. — Прощай, рай любви! Будем стойкими, дорогие друзья! Дорогая матушка, я доставил тебе и радость и страданье. Прощайте! Прощайте!

Я вышел, шатаясь. Меня провожала только Диотима.

Наступил вечер, и на небе появились звезды. Мы молча стояли внизу у дома. Вечность жила в нас, над нами. Нежно, словно эфир, обняла меня Диотима.

— Глупый, что такое разлука? — таинственно улыбаясь, прошептала она. Так улыбаются бессмертные.

— Да и я теперь все вижу по-другому, — сказал я, — и я сам не знаю, что же в конце концов сон: мое страдание или моя радость.

— И то и другое, — отвечала она, — и то и другое — благо.

— Ты совершенство! — воскликнул я. — И я с тобой согласен. Мы будем узнавать

друг о друге по звездному небу. Да будет оно вестником для нас, покуда наши уста безмолвствуют!

— Да будет! — повторила она протяжным, незнакомым мне голосом... Это были ее последние слова. Ее образ растаял в гаснущем свете, и я уж не знаю, она ли была это иль не она, когда я в последний раз обернулся и едва различимая тень, мелькнув на мгновенье перед моим взором, утонула во мраке.

Гиперион к Беллармину

Зачем я рассказываю тебе и твержу о моем страдании и вновь будоражу в себе беспокойную юность? Разве недостаточно один раз пройти свой путь, предназначенный смертному? Отчего же я не молчу, отчего разбиваю свой душевный покой?

Оттого, Беллармин, что каждое дыханье жизни всегда дорого нашему сердцу, что все превращения чистой природы равно воплощают ее красоту. Разве наша душа, отрешившись от смертного опыта и живя одиноко, в священном спокойствии, не похожа на дерево, лишенное листьев? На голову без кудрей? Милый Беллармин, я немного отдохнул. Я живу как дитя среди тихих холмов Саламина, забыв о судьбе и о человеческих стремлениях. С этих пор я многое вижу по-иному и сейчас настолько умиротворен, что способен спокойно смотреть на жизнь людей. О мой друг! Разум в конце концов мирит нас со всем. Ты этому не поверишь, вернее сказать, не поверишь мне. Но мне кажется, ты должен

был заметить хотя бы по письмам, что душа моя день ото дня становится спокойней. И я буду повторять это столь часто, покамест ты мне не поверишь.

Вот письма, которые мы с Диотимой писали друг другу после моего отъезда с Калаврии. Это самое дорогое из того, что я поверяю тебе. Это самое верное свидетельство о тех днях жизни. Шум войны ты здесь услышишь едва ли. Зато они расскажут о жизни моей души, а ведь это то, чего ты хочешь. Ах, должен же ты узнать, как я был любим. Этого я никогда не смог бы тебе рассказать, это может только Диотима.

Гиперион к Диотиме

Я очнулся от смерти прощания, моя Диотима! И мой дух воспрял, окрепнув, как после сна.

Пишу тебе на одной из вершин эпидаврийских гор[8]. Далеко внизу еле виден во мгле твой остров, Диотима! А вон там и мое ристалище, где я должен победить или пасть. О, Пелопоннес! О, воды Эврота и Алфея[9]! Здесь это свершится! Из спартанских лесов ринется древний гений страны и развернет наше войско, как орел свои шумящие крылья.

Моя душа полна жаждой подвигов и любовью, Диотима, я не свожу глаз с долин Греции, будто я наделен магической силой, и безмолвно заклинаю: восстаньте из праха, города богов!

Должно быть, в меня вселился некий благостный бог: я почти не чувствую нашей раз-

луки. Отныне моя душа, как блаженные тени на берегах Леты, живет рядом с твоей, наслаждаясь чудесной свободой, и судьба уже не властна над нашей любовью.

Гиперион к Диотиме

Я нахожусь сейчас в самом сердце Пелопоннеса. В этой же хижине, где я нынче провел ночь, ночевал я однажды, когда, совсем еще мальчиком, бродил с Адамасом по здешним местам. Как я был счастлив тогда, сидя на скамье перед домом и прислушиваясь то к позвякиванию бубенцов дальнего каравана, то к плеску фонтана, серебряные струи которого лились в водоем вблизи от меня под цветущими акациями.

Сейчас я снова счастлив. Я хожу по этой земле, как по роще Додоны[10], где шелест дубов предсказывал славу. Я непрестанно вижу перед собой только подвиги — минувшие, будущие, даже когда с утра до вечера брожу под открытым небом. Верь мне: если кто, объездив эту страну, еще терпит ярмо на ее шее и не становится Пелопидом[11], он либо лишен сердца, либо скуден умом.

До чего же долго спала эта страна, до чего же медленно в унылой праздности текло время, как мутная и немая река преисподней!

Но теперь все наготове. Горцы собирают силы для мести, они залегли в горах, словно молчащая грозовая туча, которая ждет только, чтобы налетел вихрь и помчал ее вперед. Диотима! Помоги вдохнуть в них божественную волю, помоги найти слово, идущее от

сердца! Не бойся! Они не такие уж дикари. Я знаю их суровую натуру. Они презирают разум, но послушны вдохновенью. Кто отдает делу всю душу, тот никогда не ошибется. Ему не нужно мудрствовать, ибо нет силы, которая могла бы ему противостоять [12].

Гиперион к Диотиме

Завтра я буду у Алабанды. Мне доставляет удовольствие спрашивать дорогу в Корон, и я спрашиваю чаще, чем требуется. Я хотел бы взять крылья у солнца и полететь к Алабанде, и все же мне так приятно не торопиться и спрашивать себя: а каков он будет сейчас?

Почему я родился позже этого царственного юноши? Почему мы не вышли из одной колыбели? Я никак не могу примириться с таким несходством между нами. О, зачем я столько времени жил на Тине, как ленивый пастушок, и только мечтал о таких людях, как он, а он между тем, неустанно трудясь, познавал природу и уже тогда боролся с морем, с ветром, со всеми стихиями? Разве и меня не томила жажда подвигов?

Но я догоню его, и быстро. Клянусь небом! Силы во мне созрели, жаждут работы. И если я не дам им выхода, употребив их на живое дело, душа обрушит свою ярость на самое себя.

Как же мог я существовать рядом с тобой, благородное созданье? Как ты могла полюбить такого бездеятельного человека?

Гиперион к Диотиме

Он со мной, дорогая моя Диотима!

Вольно дышит грудь, и я чувствую, как быстрей струится кровь в жилах и грядущее манит меня... Ах, так прозрачная глубь манит броситься в нее, охладить буйную кровь студеною влагой! Впрочем, все это суесловие. Мы стали еще дороже друг другу, чем прежде, мой Алабанда и я. Мы стали независимей друг от друга, и все же перед нами опять, как встарь, открылась вся полнота и глубина жизни.

А ведь правы были древние тираны, запрещая такие содружества, как наше! Человек тогда становится сильным, как полубог, и не терпит никакой подлости рядом с собой.

Был вечер, когда я вошел в его комнату. Он только что отложил в сторону свою работу и сидел, задумавшись, в залитом лунным светом углу у окна. Я стоял в тени, он меня не узнал и посмотрел на меня равнодушно. Бог знает, за кого он меня принял.

— Ну как дела? — спросил он.

— Да потихоньку! — ответил я.

Но притворство было напрасно. В моем голосе звучало скрытое ликование.

—Что такое? — и он вскочил.— Неужели это ты?

— Я, конечно, ах ты, слепой! — и я бросился к нему в объятия.

— О, теперь, Гиперион, теперь все будет иначе! — проговорил наконец Алабанда.

— Надеюсь,— сказал я, радостно пожимая ему руку.

— Ты еще не забыл меня,— продолжал после минутного молчания Алабанда, — ты еще сохранил прежнюю искреннюю веру в Алабанду? Это великодушно, мне никогда больше не было так хорошо, как с тобою, когда меня преображал свет твоей любви.

— Как? — воскликнул я.— И это говорит Алабанда? Сказано не слишком гордо, Алабанда. Но это знамение времени: человек старого героического склада вынужден вымаливать себе уважение, а живое человеческое сердце просит, как сирота, подать ей хотя бы капельку любви.

— Милый мальчик, я и есть старый. Жизнь вокруг такая, а там еще история с теми старцами, к которым я тогда в Смирне хотел отдать тебя на выучку...

—О, как горько,— сказал я,— что и на этого человека ополчилась богиня смерти, та безымянная, которую люди зовут судьбой.

Внесли лампу, и мы стали снова украдкой разглядывать друг друга, любовно и испытующе. Облик дорогого друга был уже не тот, что раньше, в дни надежды. Как полуденное солнце на бледном небе, сверкали на его увядшем лице большие, всегда живые глаза, встречаясь с моими.

— Ну, дружище,— воскликнул Алабанда, добродушно досадуя, что я так в него всматриваюсь,— будет тебе бросать на меня унылые взгляды. Я прекрасно знаю, что порядком сдал. О мой Гиперион! Я страстно хочу встретить в жизни подлинно великое и истинное и надеюсь обрести это вместе с то-

бой. Ты стал на голову выше меня, ты свободнее и сильнее, чем был когда-то, и видишь, меня это от души радует. Я — иссохшая земля, а ты приходишь осчастливить меня, как гроза... О, до чего же чудесно, что ты здесь!

— Молчи! — сказал я.— У меня ум за разум заходит, нам бы вовсе не надо было говорить о себе, пока мы не окунулись в жизнь, в дело.

— А ведь верно! — весело согласился Алабанда.— Лишь когда затрубят рога, сознаешь себя охотником.

— А скоро ли это будет? — спросил я.

— Скоро,— ответил Алабанда,— и я предсказываю тебе, дружище, что огня будет вдоволь. Что ж! Пускай языки пламени взметнутся до самой вершины башни, расплавят флюгер на шпиле, пускай ярятся и бушуют, пока она не даст трещину и не рухнет! И пусть тебя не смущают наши союзники. Я отлично знаю, добрые русские не прочь воспользоваться нами как пушечным мясом. Но поверь мне, стоит нашим дюжим спартанцам хоть раз почувствовать, кто они и чего могут добиться, стоит только нам завоевать Пелопоннес, и мы рассмеемся прямо в лицо Северному полюсу и будем строить нашу жизнь по-своему.

— По-своему,— повторил я,— новую, достойную жизнь. Кто мы — блуждающие огни, порожденные болотом, или потомки победителей при Саламине? Что же случилось? Как же ты стала рабою, вольнолюбивая гре-

ческая природа? Как ты могло так низко пасть, поколение наших отцов, если священные изображения Юпитера и Аполлона были некогда только копиями с тебя? Но слушай меня, небо Ионии! Слушай меня, родная земля, прикрывающая, словно нищенка, свою наготу лохмотьями былого великолепия, я не хочу больше это терпеть!

— О солнце, взрастившее нас! — воскликнул Алабанда.— Ты увидишь, как крепнет в трудах наше мужество, как выковывается под ударами судьбы, точно железо под молотом, наше будущее.

Мы заражали друг друга своим пылом.

— И мы смоем с себя каждое пятно, каждое площадное слово, которыми замарал нас наш век, как чернь марает стены! — воскликнул я.

— Тем-то и хороша война...

— Верно, Алабанда,— подхватил я,— хороша, как всякое великое дело, где человека поддерживает сила и разум, а не клюка и крылья из воска. Вот когда мы скинем невольничью одежду, на которой судьба поставила свое клеймо...

— И в нас не останется ничего суетного и наносного,— продолжал Алабанда,— и мы пойдем к своей цели, сбросив с себя и украшения и оковы, нагие, как бегуны на немейских играх.

— К той цели,— вторил я,— где брезжит заря юного, свободного государства и где на греческой земле высится пантеон красоты.

Алабанда помолчал. На его лице вновь

играл румянец, и сам он будто распрямился, как растение после дождя.

— О юность, юность! — сказал он.— Вот когда я буду пить из твоего источника, буду жить и любить.— Он был как во хмелю.— Мне так радостно, о ночное небо,— и он подошел к окну,— когда ты надо мной, и твой купол похож на беседку из виноградных лоз, и звезды твои висят гроздьями винограда.

Гиперион к Диотиме

Счастье мое, что я ушел с головой в работу. Иначе я совершал бы одну глупость за другой, так переполнена моя душа, так очаровывает меня этот человек — необычайный, гордый, который ничего не любит, кроме меня, и лишь со мной смирен — насколько способен быть смирным. О Диотима! Алабанда плакал и, как ребенок, просил прощения за то, что было в Смирне. Кто ж я такой, мои милые, что называю вас своими, осмеливаюсь говорить: «Вы мои!»,— что я, точно завоеватель, стою между вами и прижимаю вас к груди, как добычу?

Диотима! Алабанда! Благородные, спокойно-величавые существа! До какого же я дойду совершенства, если только не вздумаю бежать от своего счастья — от вас!

Только что, сев писать, я получил твое письмо, дорогая.

Не грусти, моя радость, не грусти! Огради себя от скорби, сохрани себя для будущих празднеств отчизны! Для светозарного праздника природы — для него и для свет-

лых торжеств во славу богов храни себя, Диотима!

Разве ты не видишь уже нашу Грецию?

О, неужели ты не видишь, как вечные звезды, радуясь новому соседству, улыбаются нашим городам и рощам, как древнее море, обнаружив на своих берегах толпы гуляющего народа, вспоминает прекрасных афинян и вновь несет нам, как прежним своим любимцам, счастье на гребне веселых волн?

Вдохновенная! Ты и сейчас прекрасна. Но тогда лишь, когда ты будешь дышать поистине родным воздухом, ты предстанешь в полном блеске своей пленительной красоты!

Диотима к Гипериону

Я почти все время жила затворницей[13] с тех пор, как ты уехал, милый Гиперион! Только сегодня я вышла из дому.

От нежного февральского воздуха я снова набралась сил и все, что я набрала, посылаю тебе. А еще пошло мне на пользу, что с неба повеяло теплом и свежестью, да то еще, что я так ощущаю это блаженное обновление растительного мира, чистого и неизменного, в котором все печалится и вновь радуется в свой срок.

Гиперион, Гиперион! Отчего бы и нам не идти таким же мирным жизненным путем? Ведь это священные слова: зима и весна, лето и осень! А мы их не чтим. Разве не грех весною печалиться? Отчего же мы все-таки грустим?

Прости меня! Дети земли живут только солнцем; я живу тобою, у меня иные радости, что ж удивительного, если у меня и печали иные. Но должна ли я печалиться? Должна все-таки?

Смелый духом, любимый мой! Мне ли блекнуть, когда тебе блистать? Сердцу моему изнемочь в тоске, когда ты каждой жилочкой чувствуешь упоенье победой? Да если бы я раньше прослышала, что греческий юноша собирается вывести свой бедный народ из позорного состояния, возвратить ему прекрасный облик его матери Красоты[14], от которой народ этот рожден, я в изумлении бы встрепенулась от милого сна детства, и как влекло бы меня тогда к образу дорогого героя! И вот, когда он здесь, когда он мой теперь, что ж я еще плачу? Ах я глупая! Разве это не явь? Разве он не прекрасен, разве он не мой, о, тени блаженной поры, заветные мои воспоминания?

А ведь кажется, это было только вчера, когда чистый душою пришелец впервые встретился мне, словно скорбный гений, в тот волшебный вечер, озарив сумрак леса, где сидела беспечная девочка, погруженная в юные мечты.

Он пришел вместе с майским ветром, волшебным майским ветерком Ионии, который сделал его еще краше: распушил ему кудри, приоткрыл, словно лепестки цветка, его губы, прогоняя улыбкой печаль. И, как с неба лучи, засияли мне навстречу его глаза, завораживающие озера, где в тени, под нависшими

дугами берегов, мерцает и плещется вечная жизнь!..

Благостные боги, до чего же он был хорош, когда так смотрел на меня! Он будто вырос, вырос на целую пядь, этот юноша, он стоял, как натянутая струна, и только беспомощно опустил свои милые, застенчивые руки, словно они ему ни к чему! А потом поднял глаза к небу, точно я туда улетела и меня здесь нет, и тотчас же, уверившись, что я тут, с ним, улыбнулся так пленительно и ласково и покраснел, и его взор Феба блеснул сквозь дымку слез, спрашивая: «Это ты? Это правда ты?».

Почему же при встрече со мной он был проникнут таким благоговением, такой суеверной любовью? Почему он пришел с поникшей головой, почему этого божественного юношу томили тоска и скорбь? Потому что этот благостный гений не мог более быть один, а мир был слишком убог, чтобы его понять. О, какой это был человек, сотканный из величия и страданий! Но теперь все иначе, страдания его кончились! Он нашел себе дело, больной выздоровел!

Когда я начала тебе писать, мой любимый, я все время вздыхала. А сейчас я — сама радость. Так, говоря о тебе, становишься счастливой. И вот увидишь, так будет всегда. Прощай!

Гиперион к Диотиме

Мы успели без помехи отпраздновать твой праздник, жизнь моя, пока не грянула буря.

Стояла чудесная погода. С востока повеяла и засияла ласковая весна, заставила нас произнести твое имя, как она заставляет цвести деревья, и, точно вздох, вырвались из моей груди все блаженные тайны нашей любви. Мой друг никогда не знал подобной любви, и было просто чудесно, что этот гордый человек способен так внимательно слушать, с горящими глазами, с увлечением, пытаясь представить себе твою внешность, твой характер.

Под конец он воскликнул:

—О, стоит бороться за нашу Грецию, если она еще порождает таких людей!

— Разумеется, Алабанда,— сказал я,— мы радостно идем в бой, мы горим святым огнем, стремимся к подвигам и наш дух молодеет, когда перед нами предстает такое существо; тогда уж мы не можем ставить себе незначительную цель, тут уж не до пустяков и не до умствований в ущерб душе, тут уж не станешь пить вино ради кубка; мы отдохнем только тогда, Алабанда, когда блаженство гения перестанет быть тайной, будет всеобщим достоянием; когда глаза всех людей засверкают, как глаза триумфаторов, а дух человеческий, так долго отсутствовавший, воссияет над всеми заблуждениями и муками и, торжествуя победу, восславит родной ему эфир. Ах! В будущем наш народ должны узнавать не только по его знаменам, все в нем должно обновиться, стать совсем другим: радость — серьезной и всякий труд — приятным! Пусть ни одно, даже са-

мое малое, повседневное, дело не совершается без души и участия богов! Любовь, и ненависть, и каждое наше слово должны повергать в изумление пошлую толпу, и пусть ничто ни на миг не напоминает нам о постыдном прошлом!

Гиперион к Диотиме

Вулкан просыпается. Турки осаждены в Короне и Модоне, и мы с нашими горцами продвигаемся к Пелопоннесу.

Теперь уже во мне нет и следа уныния, Диотима; мой дух стал стремительней и тверже с тех пор, как я окунулся в живую работу, и, знаешь, теперь у меня есть даже распорядок дня.

Он начинается с восходом солнца. Я иду туда, где в тени леса спят мои воины, и приветствую тысячи ясных глаз, раскрывающихся с буйным радушием мне навстречу. Пробуждающееся войско! Я не знаю ничего ему равного, и по сравнению с ним жизнь людей в городах и селениях не более чем рой жужжащих пчел.

Человек не может отрицать, что был некогда счастлив, как лесной олень; спустя несчетное множество лет в нас тлеет тоска по первобытным временам, когда каждый бродил по земле, как бог; когда что-то, а что — не знаю, еще не сделало людей покорными и когда человека окружали не каменные стены, не мертвое дерево, а святой воздух.

Порой, Диотима, я испытываю удивительное чувство, обходя моих беззаботных ратни-

ков, и они, точно вырастая из-под земли, встают один за другим, тянутся навстречу утренним лучам, и между толпящимися людьми потрескивает, разгораясь, огонь, на котором варится живительная пища, а возле сидит мать с озябшим ребенком, ржут и храпят кони, почуя наступление дня, и лес гудит от сокрушительной военной музыки, кругом звенит и сверкает оружие... Но все это слова, наслаждение этой жизнью передать нельзя.

Затем мой отряд весело собирается вокруг меня, и, право же, удивительно, как меня уважают даже самые старые и строптивые, несмотря на мою молодость. Мало-помалу завязывается душевный разговор, кое-кто рассказывает, что ему пришлось испытать в жизни, и рассказ об иных судьбах нередко заставляет больно сжиматься мое сердце. Затем я начинаю говорить о грядущих лучших временах, и глаза у них широко раскрываются и горят, когда они думают о союзе, который должен нас сплотить, когда перед нами возникает гордый образ будущего свободного государства.

Все за одного и один за всех! В этих словах есть некий радостный смысл, и мои люди все больше проникаются им, словно заповедью богов. О, Диотима! Наблюдая, как надежды смягчают огрубелую природу человека и как вольнее дышит его грудь, как смелые замыслы заставляют сиять хмурые лица, разглаживают морщины на лбу, наблюдая это вот так, среди людей, проникнутых верой и весельем, получаешь куда больше,

чем любуясь землей, небом и морем во всем их величии.

Затем до самого полдня я обучаю их искусству боя и готовлю к походу. Хорошее расположение духа делает их понятливыми, а меня — искусным учителем. То они стоят смирно в сомкнутом македонском строю, двигая только рукой, то, как лучи, разбегаются в разные стороны и отдельными группами смело бросаются в атаку, причем силы отряда гибко применяются к любому положению и каждый сам себе военачальник; затем они сходятся в безопасном месте, и, как бы они ни двигались и ни застывали в этой воинской пляске, у них и у меня перед глазами всегда слуги тирана и настоящее поле битвы.

А потом, когда солнце начинает припекать, в чаще леса собирается совет, и какое наслаждение трезво предрешать великое будущее! Мы побеждаем случайность, подчиняем себе судьбу. Мы выбираем себе препятствия по собственной воле, вызываем врага на схватку, к которой мы готовы. Иной раз мы проявляем осторожность, делаем вид, что оробели, и подпускаем его поближе, пока он не подставит голову под удар; а иногда мы стремительным натиском ошеломляем его, и это моя излюбленная панацея. Однако более опытные врачи ни во что не ставят такие всеисцеляющие средства.

Как хорошо после этого вечером скакать для собственного удовольствия с Алабандой на резвых конях по багряным от солнца холмам и переводить дух на вершинах, где вете-

рок играет гривами коней и приветливый шелест листвы вмешивается в наш разговор, покуда мы глядим на просторы Спарты, которые стали нашим боевым трофеем! Когда же мы возвращаемся в лагерь и сидим вдвоем, отдыхая в ласковой прохладе ночи за благоуханными кубками, и лунный свет озаряет нашу скромную трапезу, и мы молчим, улыбаясь, и вдруг, словно облако, встает из этой священной земли, по которой мы ступаем, вся история древних,— какое блаженство протянуть в такую минуту руки друг другу!

Затем Алабанда заводит речь о людях, истомленных скукой нашего века, о странных окольных путях, которые прокладывает себе жизнь с тех пор, как ей преграждена прямая дорога; и тогда я вспоминаю моего Адамаса, его скитания, его непонятное стремление в глубь Азии — и мне хочется ему крикнуть: да ведь все это самообман, добрый старый друг! Вернись! Строй свой мир вместе с нами, ибо наш мир — это и твой.

Но и твой, Диотима, ибо он — копия с тебя. О, если бы мы могли воссоздать твои подлинные черты, проникнутые элизейским покоем!

Гиперион к Диотиме

Мы три раза подряд победили в мелких стычках, в которых, правда, бойцы сшибались, как молнии, и все сливалось в единый гибельный пламень. Наварин теперь наш [15], и мы стоим перед крепостью Мизистрой [16], представляющей собой остатки прежней

Спарты. Я водрузил уже на развалинах перед самым городом знамя, отбитое мной у албанцев; на радостях я бросил в Эврот свою турецкую чалму и отныне ношу греческий шлем.

И теперь мне так хочется увидеть тебя, моя милая! Увидеть тебя, взять за руки, прижать их к сердцу, которому, быть может, уготована непомерная радость: скоро, возможно через неделю, будет освобожден наш древний, благородный, священный Пелопоннес.

О, тогда, дорогая, научи меня верить! Научи мое переполненное сердце молиться! Мне следовало бы молчать, ибо что я, собственно, сделал? И если я что-либо сделал такое, о чем бы хотелось сказать, то ведь сколько еще предстоит? Но как же быть, если мои мысли обгоняют время? Как бы я хотел, чтобы было иначе, наоборот, чтобы время и дело неслись на крыльях, опережая мысль, и крылатая победа обгоняла даже надежду.

Алабанда сияет, как жених. Всякий раз, как он взглядывает на меня, мне улыбается наш грядущий мир, и это до некоторой степени сдерживает мое нетерпение.

Диотима! Я не променял бы это нарождающееся счастье на самые прекрасные времена Древней Греции, и даже самая незначительная наша победа мне милей, чем Марафон, Фермопилы и Платеи. Разве не верно? Разве нашему сердцу не дороже выздоравливающий, чем здоровый, человек, еще не испытавший болезни? Мы любим молодость,

только когда она уже прошла, и, только когда она, беглянка, вновь возвращается, мы счастливы до глубины души.

Моя палатка разбита на берегу Эврота, и, когда я просыпаюсь глубокой ночью, древний речной бог глухо ропщет, предостерегая меня, и я с улыбкой срываю растущие на берегу цветы, бросаю их в сверкающую волну и говорю: «Считай это добрым предзнаменованием, одинокий бог! Скоро вокруг тебя зацветет обновленная прежняя жизнь».

Диотима к Гипериону

Я получила твои письма с дороги, Гиперион. Меня чрезвычайно волнует все, что ты рассказываешь, и при всей моей любви к тебе я содрогаюсь, когда думаю о том, что нежный юноша, плакавший у моих ног, превратился в такого могучего мужа.

А ты не разучишься любить?

Но иди своим путем! Я иду следом. Мне кажется, что, если бы ты возненавидел меня, я и тогда ответила бы на твое чувство и я бы постаралась тебя возненавидеть, и тогда наши души были бы опять во всем сходны, и это не пустые слова, Гиперион.

Я и сама уже совсем не та, что прежде. Я теперь не гляжу ясными глазами на мир и не радуюсь беззаботно всему живому. Только звездная ширь привлекает еще мой взор. Зато я охотней и чаще вспоминаю о великих умах былых времен и о том, как они кончили свой земной путь, а благородные спартанские женщины покорили мое сердце.

При этом я не забываю и новых борцов, богатырей, чье время уже приспело, я часто слышу гром их побед, раскаты его доносятся с Пелопоннеса все ясней; я часто вижу, как их войско водопадом обрушивается на эпидаврийские леса и их оружие сверкает издали в солнечном свете, который, точно глашатай, им сопутствует, и ты, мой Гиперион, мчишься ко мне на Калаврию, приветствуешь тихие рощи нашей любви, приветствуешь меня и вновь летишь обратно к ратным трудам; не думаешь ли ты, что боюсь я за их исход? Возлюбленный, это иной раз со мною бывает, но мои высокие мечты, как огонь, гонят прочь ледяное дыхание страха.

Будь же здоров! Заверши начатое согласно велениям твоей души! И во имя мира не допусти, чтобы затянулась война, во имя прекрасного, нового, золотого мира на земле, когда, говоря твоими словами, в книгу наших прав будут наконец вписаны законы природы и когда сама жизнь, сама божественная природа, которую не вписать ни в какие книги, будет запечатлена в сердце общества. Прощай!

Гиперион к Диотиме

Тебе следовало бы обуздать меня, моя Диотима! Следовало бы приказать не слишком торопиться, а вымогать у судьбы победу по крохам, как вымогают долг у скаредных должников. Нет, дорогая, стоять на месте хуже всего. У меня сохнет кровь в жилах — до того снедает жажда двинуться вперед,

а приходится сидеть на месте, день за днем вести осаду. Наши воины рвутся на приступ, но боюсь, как бы от этого не захмелели их буйные головы; а если их дикий нрав проснется и сбросит узду дисциплины и любви — придет конец всем нашим надеждам.

Не знаю, вероятно, это продлится самое большее еще несколько дней; Мизистра должна сдаться, но я бы хотел, чтобы все было уже позади. В нашем лагере пахнет грозой. Я теряю терпение, да и мои люди не нравятся мне. Их обуяло какое-то грозное озорство.

Однако ж я глуп, что так поддаюсь настроению. Да и стоит, пожалуй, немного помучиться ради того, чтобы взять древний Лакедемон.

Гиперион к Диотиме

Все погибло, Диотима! Наши солдаты[17] устроили грабеж и резню, убивали всех без разбору, даже наши ни в чем не повинные братья, греки в Мизистре, тоже либо истреблены, либо беспомощно бродят кругом, и их безжизненные скорбные лица взывают к земле и небу о мести варварам, главарем которых был я.

Самое время идти туда и проповедовать свое правое дело! Как же, теперь все так и бросятся ко мне с открытой душой!

Однако ж и я хорош. Я-то знал своих солдат. Это был поистине необыкновенный план: насаждать рай с помощью шайки разбойников.

Нет, клянусь святой Немезидой, я наказан по заслугам, буду это терпеть, буду терпеть, покуда боль не отнимет у меня последние проблески сознания.

Ты думаешь, я схожу с ума? Да нет же, я получил почетную рану, ее нанес мне один из моих сподвижников, когда я пытался прекратить весь этот ужас, и, будь я безумен, я сорвал бы повязку со своей раны и отдал бы мою кровь, каплю за каплей, как должно, этой страждущей земле. Этой страдалице, нагой, которую я хотел одеть священными рощами, хотел украсить всеми цветами возродившейся жизни Греции!

Как это было бы прекрасно, Диотима!

Ты спросишь, где мое мужество? Милая моя, бедствие приняло слишком большие размеры. Со всех концов стекаются озверелые орды; словно чума, лютует в Морее разбой, и, кто сам не поднял меч, того гонят прочь, убивают, и эти бесноватые говорят, что сражаются за нашу свободу. Среди одичавшей черни есть и люди, подкупленные султаном, и они уж не отстают от прочих.

Только сейчас я узнал, что наше нечестивое войско рассеяно. Эти трусы столкнулись под Триполисом с албанским отрядом, в котором солдат было вдвое меньше. А так как грабить было нечего, то наши подлецы пустились наутек. Русские, отважившиеся на совместный с нами поход — сорок храбрых солдат, долго держались одни, но они все погибли [18].

И вот я опять остался один с моим Алабандой, как и прежде. С того дня, как меня ранили в Мизистре и я упал, обливаясь кровью, на глазах моего верного друга, он забыл обо всем на свете, забыл свои надежды, радость победы, отчаяние. Он яростно разил грабителей, словно карающий бог, а затем бережно вынес меня из свалки, и слезы из его глаз текли на мой плащ. Он остался со мной в той хижине, где я лежал после ранения, и сейчас я этому особенно рад, потому что, если бы этого не случилось, он пал бы в бою под Триполисом.

Что будет дальше, не знаю. Судьба гонит меня навстречу неизвестности, и поделом; а на разлуку с тобой, и, как знать, быть может, на долгую разлуку, толкает меня мой стыд.

Ах, я обещал тебе Грецию, но вместо нее тебе достался надгробный плач! Или утешение в себе!

Гиперион к Диотиме

Я с трудом выжимаю из себя слова.

Можно без устали говорить, можно щебетать как птица, пока мир тебя нежит, как майский воздух; но между полднем и вечером все может перемениться, а ведь что, в сущности, утрачено?

Верь мне и помни, я говорю это от всей души: дар речи — великое излишество. Лучшее всегда живет в самом себе и покоится в душевной глубине, как жемчуг на дне моря. Но я хотел тебе, собственно, написать, что

раз уж так повелось, что картине нужна рама, а зрелому мужу повседневный труд,— то я хочу некоторое время еще послужить в русском флоте; с греками у меня нет больше ничего общего.

О дорогая, вокруг меня темь беспросветная!

Гиперион к Диотиме

Я колебался, боролся. Но в конце концов пусть будет так.

Я понял, что нужно сделать, а раз понял, пусть так и будет. Не пойми меня ложно, не проклинай, но я обязан посоветовать тебе расстаться со мной, моя Диотима.

Я ничего теперь не могу дать тебе, отрада моя! Мое сердце иссякло для тебя, и глаза уже не видят ничего живого. Губы мои пересохли, нежное дыханье любви уже не колышет грудь!

Один день отнял у меня юность; на Эвроте изошла слезами моя жизнь, ах, на Эвроте, каждая волна которого оплакивает над прахом Лакедемона наш неизбывный позор. Там, там скосила меня судьба. Должен ли я, словно милостыню, принимать от тебя любовь? Я ведь теперь ничто, я бесславен, как жалкий раб. Я изгнан, проклят, как подлый бунтовщик, и когда-нибудь грек в Морее будет описывать внукам наши героические деяния, как описывают похождения воров.

Увы! И еще одно обстоятельство я долго скрывал от тебя. Отец торжественно проклял меня, навсегда изгнал меня из родимого дома, не желает, как он выразился, встретиться со

мной ни в этой, ни в будущей жизни. Таков его ответ на письмо, в котором я сообщил ему о моем намерении.

Но только ни за что не поддавайся обманчивой жалости. Поверь мне, для нас есть еще одна радость [19]. Истинная скорбь воодушевляет. Кто поднялся до страдания, тот стоит выше других. И это великолепно, что только в страдании мы обретаем свободу души... Свобода! Кто понимает это слово... это большое слово, Диотима. Я так глубоко унижен, так неслыханно оскорблен, потерял всякую надежду, всякую цель, я обесчещен, и все же есть во мне некая сила, неодолимая, которая пронизывает меня сладостным трепетом, едва она оживает.

К тому же и мой Алабанда покуда со мной. Ему так же нечего терять, как и мне. Я могу удерживать Алабанду без всякого для него ущерба. Ах, этот царственный юноша заслуживал лучшей участи! Он стал так кроток и молчалив. И это часто терзает мое сердце. Но мы поддерживаем друг друга. Мы ни о чем не говорим, да и что мы можем сказать? И все-таки есть отрада в малейшем знаке внимания, который мы подчас друг другу оказываем.

Вот он спит и во сне спокойно улыбается, наперекор нашей судьбе. Бедняга! Он не знает, что я наделал. Он бы этого не допустил. «Ты должен написать Диотиме,— наказывал он,— должен сказать ей, что ей нужно поскорей собраться в путь и бежать с тобою хоть в какую-нибудь приемлемую для вас страну». Но он не знает, что сердце, которое столько

раз впадало в отчаяние, как наше, такое сердце ничего не даст возлюбленной. Нет! Нет! Ты вовек не обрела бы мира с Гиперионом, ты вынуждена была бы изменить ему, и от этого я хочу тебя избавить.

Итак, прощай, ненаглядная, прощай! Я рад бы тебе сказать: поезжай туда-то или туда-то, там жизнь бьет ключом. Я рад бы указать тебе свободную страну, страну, одухотворенную жизнью и красотой, сказать: беги туда! Но, боже, если бы это было мне дано, я бы сам был иным и мне не пришлось бы с тобой прощаться... Прощаться? Ах, я не ведаю, что творю. Я считал себя таким хладнокровным, таким рассудительным. А теперь голова у меня идет кругом и сердце мечется, как беспокойный больной. Горе мне, я гублю свою последнюю радость! Но так должно быть, и, сколько бы ни повторяло «ах!» мое естество, это ему не поможет. Уйти — мой долг перед тобой, да ведь я и так обречен жить без родины и без пристанища. Ответь мне, земля, ответьте, звезды, будет ли мне в конце концов где-нибудь приют?

Еще бы хоть раз припасть к твоей груди, где бы ты ни была! Еще бы хоть раз вновь отразиться в твоей глубине, ясный взор! Прильнуть бы к твоим устам, прелесть моя несказанная! Упиться бы вновь святым восторгом твоего бытия... Но не слушай меня, молю тебя, пропусти это мимо ушей! Я сказал бы, что я совратитель, если бы ты стала это слушать. Ты ведь знаешь, ты понимаешь меня. Ты знаешь, что окажешь мне самое глубокое

уважение, если не будешь меня жалеть, не станешь слушать...

Не могу больше, не смею... Вправе ли жрец жить без бога? О, гений моего народа, о, душа Греции! Приспело время спуститься в подземное царство, приспело время искать тебя в царстве мертвых.

Гиперион к Диотиме

Не стану скрывать от тебя, я долго ждал — я так надеялся получить прощальное слово, идущее от сердца, но ты молчишь. Что ж, это тоже язык твоей прекрасной души, Диотима.

Но ведь правда, священные аккорды не умолкнут из-за этого? Правда ведь, Диотима, даже если погаснет нежный лунный свет любви, звезды в ее небесах все равно будут сиять? Да ведь это же моя последняя радость, что мы неразлучны, даже когда от тебя не доходит ни звука, ни тени даже наших милых юных дней!

Я смотрю на море в огне заката, простираю руки туда, в те дали, где ты живешь без меня, и мою душу вновь согревают все услады молодости и любви.

О Земля, колыбель моя! Сколько блаженства, сколько муки в нашем расставанье с тобой!

Милые острова Ионии, и ты, моя Калаврия, и ты, моя Тине, как вы ни далеки, вы стоите у меня перед глазами и моя душа уносится к вам вместе с ветерками через плещущие воды; и вы, еле видные во мгле берега Теоса и Эфеса, где я когда-то, в дни надежд, бродил с Алабандой, вы кажетесь мне снова прежними, и так хочется причалить к вам, целовать вашу

землю, согреть ее грудью и лепетать все нежные прощальные слова этой безмолвной земле, прежде чем я улечу на волю.

Жаль, жаль, что среди людей ничто не изменилось к лучшему,— я был бы рад остаться на этой славной планете. Но я не могу обойтись и без нашего земного мира, а ведь он как будто лучший из миров.

«Дитя мое! Да поможет нам солнечный свет переносить рабство» — так сказала Поликсене мать [20], и никто не выразил бы прекрасней любовь к жизни. Однако именно солнечный свет отвращает меня от рабства, он-то и мешает мне остаться на этой обесчещенной земле, и чистые лучи манят меня уйти, как манят знакомые тропы, ведущие домой.

Меня с давних пор привлекало больше всего на свете величие души, не подвластной судьбе; я не раз жил в великолепном одиночестве, уйдя в себя; я приучился стряхивать с себя, как хлопья снега, все внешнее; мне ли бояться так называемой смерти? Разве я тысячу раз не освобождал себя мысленно, неужто я теперь не сделаю это без всяких колебаний один раз в действительности? Неужели мы, точно крепостные, прикованы к земле, которую пашем? Неужели мы уподобимся домашней птице, которая не смеет убежать со двора, потому что ее там кормят? Нет, мы подобны орлятам, которых отец гонит из гнезда, чтобы они искали себе добычу в горнем эфире.

Завтра наш флот вступает в бой [21], и сражение будет довольно жаркое. Я жду этой битвы, чтобы смыть с себя дольний прах: и уж

тут я найду, чего хочу; такие желанья, как мое, исполняются легко и сразу [22]. Таким образом, приняв участие в кампании, я под конец достигну хоть чего-нибудь и увижу воочию, что ни одно усилие человеческое не пропадает даром.

Хотелось бы мне сказать: чистая душа, помяни меня, когда придешь на мою могилу. Но они, наверное, бросят меня в море — что ж, пускай мои останки будут там, куда стекаются все ключи и реки, которые я любил, там, откуда встает грозовая туча и поит горы и долины, которые я любил. А мы? О, Диотима, Диотима! Когда мы свидимся снова?

Этого быть не может, все живое во мне возмущается, как подумаю, что мы теряем друг друга. Я готов тысячелетиями скитаться среди звезд, переменить все обличья, языки всех живых тварей, лишь бы еще единый раз повстречаться с тобой. Но я думаю, что схожие души быстро отыщут друг друга.

Тебе ведь под силу такая разлука, отпусти же меня, великодушная! Кланяйся твоей матушке. Поклон Нотаре и остальным друзьям.

И еще поклонись деревьям, под которыми я впервые тебя встретил, и веселым ручьям, у которых мы с тобой гуляли, и прекрасным садам Ангеле, и пусть, о любимая, и тебе там сопутствует мой образ. Прощай!

КНИГА ВТОРАЯ

Гиперион к Беллармину

Я жил как в пленительном сне, когда переписывал для тебя письма, которыми мы в былые дни обменивались с Диотимой. И вот я пишу тебе снова, мой Беллармин, и спускаюсь с тобой по ступеням все ниже и ниже, к глубинам глубин моих страданий, а затем ты — последний из тех, кто был дорог моему сердцу,— поднимешься со мной туда, где навстречу нам засияет новая заря.

Итак, сражение, о котором я писал Диотиме, началось. Турецкие корабли укрылись в проливе между островом Хио и Малоазиатским побережьем и стояли в гавани Чесмы. Мой адмирал вывел свой корабль, на котором я находился, из построившейся флотилии и открыл бой с передовым кораблем турок. При первом же столкновении оба разъяренных противника пришли в полное неистовство; это была обуянная жаждой мести, страшная, беспорядочная схватка. Вскоре корабли переплелись снастями; все у́же и у́же становился круг бушующего сражения.

Могучее чувство жизни снова пронизало меня. Тело обдало жаром, и мне стало так хорошо. Словно медленно агонизирующий, к которому в последний раз возвращаются жизненные силы, воспрял мой дух. И вот, злясь, что я сам же отдаю себя на убой скопи-

щу варваров, не придумав ничего лучшего, я ринулся вперед со слезами гнева на глазах навстречу неминуемой смерти.

Я столкнулся с неприятелем лицом к лицу, и через несколько минут не осталось в живых ни одного из русских, сражавшихся рядом со мной. Я гордо стоял один, бросая свою жизнь варварам, как бросают нищему грош; но они не пожелали ее взять. Они смотрели на меня как на человека, к которому прикасаться грешно, и судьба, казалось, щадила меня в моем отчаянии.

Кто-то, обороняясь, нанес наконец мне удар, и такой сильный, что я упал. С этой минуты я ничего больше не помню, я очнулся только на Паросе, куда меня переправили на лодке.

От матроса, который вынес меня из сражения, я впоследствии узнал, что оба корабля, которые начали бой, взлетели на воздух через минуту после того, как он с хирургом повез меня в шлюпке. Русские подожгли турецкий корабль, а так как их собственный вплотную подошел к нему, то сгорел и он.

Каков был исход этой ужасающей битвы, тебе известно. Так один яд уничтожает другой, воскликнул я, узнав, что русские сожгли весь флот турок[23]; так истребляют самих себя тираны.

Гиперион к Беллармину

После битвы я неделю лежал в мучительном, похожем на смерть забытьи. Жизнь мою пронизывала боль, как мрак пронизывают вспышки молний. Первым, кого я, очнувшись,

узнал, был Алабанда. Как мне рассказывали, он был при мне неотлучно, ходил за мною почти один, с непостижимым усердием и нежностью, взяв на себя бесчисленные заботы по хозяйству, что раньше никогда бы в жизни не пришло ему в голову; окружающие слышали, как он твердил, стоя на коленях перед моей постелью: «Живи, милый, чтобы мог жить и я!».

То было счастливое пробуждение, Беллармин, когда мои глаза снова открылись, различая свет, и передо мной стоял мой чудесный друг, плача от радости, что мы снова свиделись.

Я протянул ему руку, и этот гордый человек в порыве любви покрыл ее поцелуями.

— Он жив, о спасительница природа, благая, всеисцеляющая! — воскликнул Алабанда.— Ты не покинула бедную чету друзей, потерявших родину, сбившихся с пути! Ах, Гиперион, я никогда этого не забуду: твой корабль с грохотом взлетел в воздух, сгорел на моих глазах, бушующее пламя поглотило экипаж и среди немногих спасшихся не оказалось Гипериона. Я обезумел, даже грозный гул битвы не смог меня обуздать. Но вскоре я услышал весть о твоем спасении и полетел вслед за тобой, едва мы расправились с противником.

А как он оберегал меня! Как любовно и осторожно удерживал меня в магическом кругу своих забот! Как он без единого слова — только примером своего необычайного спокойствия — учил меня понимать естественный ход вещей, не ведая зависти и как подобает мужу.

О сыны солнца, свободные души! Вы многое утратили, потеряв Алабанду! С тех пор как его не стало, я тщетно искал, я молил жизнь заменить эту утрату, но такой натуры римлянина я нигде больше не встретил. Беспечный, проницательный, храбрый, благородный! Если был на свете доблестный муж, то это Алабанда. А когда он бывал ласков и тих, тогда казалось: в темной кроне величественного дуба играет вечерний свет и листья стряхивают с себя дождевые капли после полуденной грозы.

Гиперион к Беллармину

Это было в погожие дни осени, когда я, еще не совсем оправившись от раны, в первый раз подошел к окну. Я возвращался к жизни умиротворенный, и душа моя стала более чуткой. Тишайшим очарованием веяло от неба, и на землю, как дождь осыпающихся цветов, струились веселые солнечные лучи. Было в этой поре года что-то величавое, кроткое, ласковое, и от шелеста веток, дышавших покоем завершенности, радостью созревания, меня охватывало такое чувство, будто во мне возродилась молодость, та самая, которую древние чаяли вновь испытать в своем Элизиуме.

Долго, долго был закрыт доступ моей душе к детской чистоте мира, и вот мои глаза открылись для радостного свидания — блаженная природа осталась все той же в своей неизменной красоте. Мои слезы текли перед ней, очищая меня, как искупительная жертва,

а мое омытое сердце, трепеща, воспряло от прежнего уныния.

— О святой мир растений! — воскликнул я.— Мы куда-то стремимся, что-то придумываем, а ведь имеем тебя! Мы пытаемся своими бренными словами воплотить красоту, а она безмятежно растет рядом с нами. Ведь правда, Алабанда? Человек создан для того, чтобы жить заботами о насущном; остальное приложится. И все-таки я не могу забыть, что хотел гораздо большего.

— Довольствуйся тем, что ты есть, мой милый,— ответил Алабанда,— и не омрачай печалью свое мирное существование.

— Я и сам хочу покоя,— сказал я.— Все свои планы, все притязания я уничтожу, как долговые расписки. Я буду блюсти свою чистоту, как блюдет ее художник, я буду любить тебя, невинная жизнь, жизнь ручья и дубравы! Я буду чтить тебя, о солнечный свет; утолю жар души тобою, о прекрасный эфир, одухотворяющий звезды, овевающий и эти деревья, проникающий и в глубь нашего сердца! До чего ж упрям человек! Я униженно гнул спину, точно нищий, а боги природы, обладающие всеми ее дарами, взирали на это молча! Ты усмехаешься, Алабанда? О, как часто в начале нашей дружбы ты усмехался точно так же, когда рядом с тобою юнец, упоенный своим молодым задором, болтал невесть что, а ты, как безмолвный столп храма, стоял на развалинах мира, поневоле мирясь с тем, что тебя оплетают буйные побеги моей любви... А теперь видишь, с моих глаз упала

повязка, и счастливое прошлое оживает перед нами.

— Ах! —вздохнул Алабанда.— Как серьезно относились мы к жизни и как мы ей радовались.

— Когда мы охотились в лесу,— продолжал я,— когда окунались в морскую волну, когда мы пели и пили и в тени лавра сверкали блики солнца, вино, глаза, улыбки — все это и было единственной и неповторимой жизнью и наш дух освещал это юное счастье, подобно светозарному небу.

— Поэтому-то ни один из нас не покинет другого,— заметил Алабанда.

— О, я должен сделать одно тягостное признание,— сказал я.— Можешь ли ты поверить, что я хотел уйти, уйти от тебя? Что я искал смерти? Разве это не бессердечие? Не сумасбродство? А моя Диотима? Ведь я написал ей, что она должна оставить меня, и потом еще в следующем письме, накануне сражения...

— Ты написал ей, что в этом сражении будешь искать смерти? О Гиперион! Но она, может быть, еще не получила твое последнее письмо. Напиши же ей поскорее, что ты жив.

— Алабанда, дружище! — воскликнул я.— Как ты умеешь утешить! Я тотчас напишу и отправлю письмо со слугой. Я обещаю ему в награду все свое достояние, если он поспешит и вовремя доберется до Калаврии.

— А другое письмо, где шла речь о том, что нужно расстаться, она поймет и по доброте душевной простит,— заключил Алабанда.

— Простит? — повторил я.— О, благие на-

дежды! Да, так и будет, если только мне суждено счастье с этим ангелом!

— Ты еще будешь счастлив,— сказал Алабанда.— Тебя ждет лучшая пора жизни. Юноша становится героем, зрелый муж — богом, если способен пройти через подобное испытание.

От его слов в моей душе будто рассвело.

Чуть подрагивали верхушки деревьев; точно цветы из черной земли, вырастали звезды из недр ночи, и весна небес осияла меня чистой радостью.

Гиперион к Беллармину

Через несколько минут, лишь только я собрался писать Диотиме, в мою комнату вошел повеселевший Алабанда.

— Письмо, Гиперион! — крикнул он; я вздрогнул и кинулся к нему.

«Как долго приходится жить без вестей от тебя! — писала Диотима.— Ты мне писал о том роковом дне в Мизистре, и я сразу ответила; но, судя по всему, ты не получил моего письма. Вскоре затем ты написал снова мрачное и короткое письмо, говорил в нем, что намереваешься служить в русском флоте; я ответила, но ты не получил и этого моего письма, я тщетно ждала с мая до конца лета, и вот на днях приходит письмо, где ты пишешь, что мне надо бы отказаться от тебя, мой милый!

Ты верил в меня, надеялся, что это письмо не может меня оскорбить. Это от души меня порадовало, как ни тяжело мне.

Несчастный и высокий дух! Я ведь слишком хорошо понимаю тебя. О, это так естественно, что ты не хочешь никого больше любить, раз не сбылись твои более страстные желания. Разве ты не вынужден отвергать пищу, если умираешь от жажды?

Я скоро это поняла: я не могла быть для тебя всем. Могла ли я избавить тебя от жребия смертных? Могла ли я обуздать пламя в твоей груди — ведь не для тебя текут ручьи, не для тебя зреет виноградная гроздь... Разве я могла поднести тебе чашу, вмещающую все радости мира?

А ты хочешь этого. Ты нуждаешься в этом, и ты не можешь иначе. Беспредельное бессилие твоих современников стоило тебе жизни.

Тот, чья душа так оскорблена, как твоя, не утолит свою боль одной какой-нибудь радостью; тот, кто, подобно тебе, почувствовал бессмысленную тщету бытия, будет весел только на высочайших вершинах духа; тот, кто, подобно тебе, так близко видел смерть, отдохнет лишь среди богов.

А все те, кто тебя не понимают,— счастливцы! Ведь человек, который тебя понимает, должен разделить с тобой и твои высокие стремления, и твое отчаяние.

Я увидела тебя таким, каков ты есть. Любопытство, присущее первоначальной поре жизни, притягивало меня к столь необычайному существу. Невыразимо влекла меня твоя нежная душа, и я по-детски бесстрашно играла с опасным огнем. Чудесные радости нашей любви укрощали тебя, но лишь для того, злой

человек, чтобы ты потом стал еще непокорней. Они и меня умиротворяли, несли утешение, заставляли забывать, что тебя, в сущности, нельзя утешить и что я сама недалека от того, чтобы стать такой же, с тех пор как я заглянула в сердце возлюбленного.

В Афинах, на развалинах храма Юпитера Олимпийского, мной вновь овладело это же чувство. Прежде я, признаться, в иную легкую минуту подумывала, что эта юношеская скорбь не так уж сильна и беспощадна. Очень редко бывает, что человек с первых же шагов в жизни так сразу, притом так полно и так глубоко, проникается судьбами своего времени и что чувство это неистребимо, ибо он не настолько толстокожий, чтобы попросту отмахнуться от этого чувства, но и не настолько слаб, чтобы дать ему выход в слезах. Это так редко бывает, мой дорогой, что кажется нам почти противоестественным.

И вот у меня самой вдруг сжалось сердце над прахом светлых Афин: до чего ж изменились времена, теперь по земле ходят мертвецы, а в могиле лежат живые, люди-боги, и тут я прочла эту мысль на твоем лице, выраженную так явственно и непреложно, и навеки признала твою правоту. Но вместе с тем ты и вырос в моих глазах. Ты стал казаться мне существом, наделенным тайной силой, проникнутым глубоким, еще не раскрывшимся значением, ты казался мне особенным, подающим великие надежды юношей. «Кому так внятен голос судьбы, тот вправе заставить судьбу внять своему голосу,— сказала я себе,— чем

неизмеримее его страдания, тем неизмеримо сильнее он становится». От тебя, лишь от тебя, ждала я исцеления от всех зол. Я видела в мечтах, как ты странствуешь. Я видела тебя в трудах. Мечтала о преображении. Возрожденная тобой, вновь зеленела роща Академа над головами внимающих учеников, снова, как встарь, слушал илисский платан возвышенные речи.

Вскоре дух наших юношей проникся строгостью, присущей древним; его мимолетные порывы сменились постоянством, ибо он стыдился тщеты, ибо пленом считал он мнимую свободу порхающего мотылька.

Тот, кому прежде было достаточно править конем, теперь стал полководцем; тот, кто прежде вполне довольствовался бы избитой песенкой, теперь стал искусным певцом. Ибо благодаря тебе силы героев, силы мира предстали перед этими юношами в открытом состязании; ты заставил их разгадывать загадки твоего сердца; так учились юноши видеть великое в его единстве, учились понимать превращения вдохновенной природы и забыли пустые забавы. Гиперион, Гиперион! Разве и меня, неразумного ребенка, ты не превратил в музу? Так преображал ты и других.

Отныне люди, нуждающиеся в общении, не теряли друг друга так легко, как прежде, не метались отныне, случайно сталкиваясь, будто песчинки, гонимые бурей в пустыне; младость и старость больше не насмехались друг над другом, чужестранцу не отказывали

в гостеприимстве, соотечественник не обособлялся от соотечественника; влюбленные никогда не проникались более отвращением друг к другу: они черпали свежесть в твоих источниках, природа, в твоих святых радостях, которые таинственными путями проникают к нам из твоих недр, обновляя наш дух; боги вновь оживляли увядшие души людей и, храня их чувства, оберегали каждый дружеский союз. Ибо ты, Гиперион, исцелил греков от слепоты, чтобы они узрели живое; ты снова зажег в них вдохновенье, дремавшее, словно огонь в сухом дереве, ты заставил их почувствовать спокойное, непреходящее вдохновенье природы и ее непорочных детей. Отныне люди не относились уже к прекрасному миру, как невежда к стихам, который хвалит поэта только за слова — они, мол, полезны. Волшебным примером для греков сделалась ты, живая природа, труд человеческий, одухотворенный огнем юных богов, стал счастьем, стал, как некогда, праздником; и свет Гелиоса лучше всякой боевой музыки звал к новым подвигам юных героев.

Но полно мне, полно! То была моя любимейшая мечта — первая и последняя. Ты слишком горд, Гиперион, чтобы иметь дело с этой подлой черные. И ты прав. Ты вел их к свободе, а они помышляли о добыче. Ты ввел победителей в их древний Лакедемон, а эти чудовища разграбили город, и ты, доблестный сын, проклят родным отцом; и нет такой чащи лесной, нет такой пещеры, где бы ты был в безопасности на греческой земле, которую

ты чтил как святыню, которую любил больше, чем меня.

О мой Гиперион! Уж я не прежняя кроткая девушка, с тех пор как все это знаю. Я места не нахожу себе, без гнева смотреть не могу на эту землю, и мое оскорбленное сердце трепещет.

Нам надо расстаться. Ты прав. К тому же я не хочу иметь детей: слишком много чести для этого мира рабов — ведь молодые побеги гибли у меня на глазах в этой безводной пустыне.

Прощай, бесценный друг! Иди туда, где, по твоему мнению, стоит отдавать свою душу. Есть же на свете хоть какое-нибудь поприще, хотя бы один храм, где ты сможешь осуществить свои стремления. Было бы жаль, если бы все твои силы растаяли, как сон. Но, чем бы ты ни кончил, ты возвратишься к богам, возвратишься обратно к чистой, свободной, юной жизни природы, откуда ты вышел, а это твое единственное желание, да и мое тоже».

Так она мне писала. Я был глубоко потрясен, охвачен ужасом и радостью, но постарался овладеть собой, чтобы найти слова для ответа.

«Так ты согласна, Диотима, ты принимаешь мое самоотречение, способна была его понять? — писал я.— Преданная душа! Ты нашла в себе силы с этим примириться? И примириться с моими мрачными заблуждениями? Ангельское терпение! И ты, счастливое дитя природы, пожертвовала собой, обрекла себя на мрак во имя любви, только бы

мы уподобились друг другу, и, разделив со мной мою печаль, ее освятила? Чудесная героиня! Есть ли венец, достойный тебя?

Но полно тебе печалиться, возлюбленная! Ты разделила со мной мрак моей ночи, ну а теперь поделись со мной светом твоего дня; дай мне вновь насладиться твоим обаянием, прекрасное сердце! О благая природа, дай мне вновь вкусить твоего покоя! Пусть перед его живым воплощением уснет навеки моя гордыня.

Ведь правда, дорогая, еще не поздно к тебе вернуться, ты примешь меня, ты еще можешь любить, как прежде? Ведь правда, счастье минувших дней не потеряно безвозвратно?

Я перешел пределы всего дозволенного. Я отплатил черной неблагодарностью матери-земле, пренебрегал, как скудной платой раба, и своей жизнью, и всеми дарами любви, которые она мне расточала; но в тысячу раз большую неблагодарность я проявил по отношению к тебе, чистое дитя, приобщившее меня к своему покою, меня, нелюдимого, истерзанного, из чьей груди, стесненной тоской, едва пробивался слабый луч юности, как травинка на изъезженной дороге. Разве не ты вернула меня к жизни? Разве я не принадлежал тебе? Как же я мог... надеюсь, ты этого еще не знаешь, тебе еще не доставили злосчастного письма, которое я написал перед последним боем. Тогда я хотел умереть, Диотима, и думал, что свершу святое дело. Но есть ли святость в том, что может разлучить влюбленных? Есть ли святость в том, что может

разрушить праведное счастье нашей жизни? Диотима! Дивнорожденная жизнь! Зато я стал теперь больше походить на тебя, распознав тебя до самой сути: я наконец научился ценить, научился беречь все то доброе и прямодушное, что есть на земле. О, если бы даже я мог взлететь туда, в небо, и высадиться на его сверкающих островах, разве я обрел бы там больше, чем обрету у Диотимы?

Выслушай же меня, возлюбленная!

В Греции мне больше оставаться нельзя. Ты это знаешь. Порывая со мной, отец уделил мне часть своих немалых достатков, которой хватит, чтобы мы могли найти убежище в одной из благословенных долин Альп или Пиренеев, купить там уютный домик и столько земли, сколько нужно для скромного существования.

Если ты согласна, я немедля явлюсь, предложу тебе с твоей матушкой опереться на мою верную руку, мы поцелуем берег Калаврии и, осушив слезы, поспешим через Истм к Адриатическому морю, откуда надежный корабль переправит нас дальше.

О, приди! Тайна нашего сердца будет погребена в глубине гор, точно драгоценные каменья на дне рудника; там, в чаще лесов, несущих на себе свод неба, мы будем словно между колоннами святая святых храма, куда нет доступа неверующему; мы будем сидеть у ручья, созерцая в его зеркале отражение нашего мира, неба, дома, сада и свое собственное отражение. Не раз будем мы ясной ночью бродить в полумраке под нашими пло-

довыми деревьями, прислушиваясь к голосу любящего бога в нашей душе, в час, когда растения расправляются после дневного сна, когда обновляется тихая жизнь твоих цветов и они купают в росе свои нежные стебли, а ночной ветерок овевает их и пронизывает прохладой, в этот час над нами расцветет небесный луг, усыпанный искрометными цветами, а в стороне, за грядой закатных туч, робко, будто влюбленная, будет красться луна вслед за юношей-солнцем, подражая его закату... А потом будет утро, когда наша долина, точно русло реки, до краев наполнится теплым светом и его золотой поток бесшумно заструится сквозь деревья, заливая наш дом, отчего еще краше станут милые комнаты, убранные твоими руками, и ты выйдешь озаренная солнцем, и с присущей тебе грацией освятишь для меня наступающий день, любимая! А тем временем, пока мы наслаждаемся блаженством утра, перед нашими глазами разгорается, словно жертвенный огонь, трудовая жизнь земли и мы сами встаем, чтобы и нашу долю дневного труда, чтобы и частицу себя подбросить в распылавшееся пламя. Разве тогда ты не скажешь: мы счастливы, мы опять похожи на древних жрецов природы, праведных и радостных, которые были проникнуты верой еще до того, как появились первые храмы?

Нужно ли что-нибудь добавить? Решай же мою судьбу, дорогая, и поскорей! Счастье еще, что я сейчас не совсем оправился от последнего боя, что я не уволился в отставку, иначе

я бы не усидел, я бы непременно поехал к тебе, непременно просил бы, а это нехорошо, это значило бы принуждать тебя...

Ах, Диотима! От страшных, глупых мыслей у меня так тяжело на сердце и все же... нет, не могу допустить, что рухнет и эта надежда!

А что если ты достигла такой высоты, откуда нет возврата к земному счастью? Что если могучее пламя души, которому дало пищу твое страданье, испепелило в тебе все бренное?

Я знаю: кто легко вступает в раздор с действительностью, тот и легче мирится с ней. Но ты, наделенная детской кротостью, ты когда-то была так счастлива в своем высоком смирении, Диотима! Кто же тебя примирит с действительностью, если ты восстала против судьбы?

Жизнь моя! Неужто я уже не могу исцелить тебя? Неужто никакой зов сердца не вернет тебя назад, к человеческому бытию, которое ты раньше так кротко разделяла с нами, не расправляя еще крылья? О, приди, о, будь здесь, в наших сумерках! Ведь эта страна теней — стихия любви, и только здесь с неба твоих очей падет тихая роса печали.

Неужто ты не вспоминаешь дни счастья, чарующие, напоенные божественной музыкой дни? Неужто рощи Калаврии не нашептывают тебе больше о них?

Знай же: во мне погибло многое и у меня мало осталось надежд, но твой образ, исполненный небесного смысла, я спас, как домашнего божка от пожара. Наша жизнь, все наше

пока еще невредимы в моей душе. Должен ли я сохранить и это? Должен скитаться без отдыха и без цели на чужбине? Для того ль я учился любить?

О нет, моя первая и последняя! Моей ты была, моей и останешься».

Гиперион к Беллармину

Я сидел с Алабандой на одном из окрестных холмов, греясь в ласковых лучах теплого солнца, и ветер играл подле нас опавшей листвой. Кругом было тихо; только порой где-то в лесу с шумом валилось дерево, срубленное крестьянином, да невдалеке рокотал недолговечный дождевой поток, втекая в спокойное море.

Я был настроен беззаботно; я надеялся, что скоро снова увижу мою Диотиму, что скоро заживу с ней мирно и счастливо. Алабанда усыпил все мои сомнения, так твердо он сам в это верил. Он тоже был весел, но поиному. Будущее уже утратило власть над ним. О, я не знал; он видел закат своих радостей и, вопреки тому, что имел все права на жизнь, вопреки своей натуре победителя, чувствовал себя ненужным, бездеятельным и одиноким, но относился к этому так, будто проиграл игру, которую затеял, чтобы скоротать время.

Тут к нам подошел вестовой. Он принес приказ об отставке, о которой мы оба ходатайствовали перед своим начальством в русском флоте, потому что больше не находили там достойного для себя дела. Теперь я могу покинуть Парос, когда захочу. К тому же я

достаточно окреп для поездки. Я не хотел дожидаться ответа от Диотимы, меня тянуло к ней, казалось, некий бог гонит меня на Калаврию. Когда Алабанда услышал об этом, он побледнел и, грустно взглянув на меня, сказал:

— Так легко мой Гиперион бросает своего Алабанду?

— Бросает? — повторил я.— Как так?

— Ох уж эти мечтатели! Ты разве не видишь, что мы должны расстаться?

— Но с чего вдруг? — ответил я.— Ведь ты не говорил об этом, а если я иногда и замечал кое-что за тобой, что могло бы навести на мысль о разлуке, я старался объяснить это твоим унынием, смятением чувств...

— О, как знакома эта божественная игра щедрой любви, которая сама ставит себя перед необходимостью раздать свои богатства! Право, я был бы рад, если бы так было со мной, мой друг, но тут дело посерьезнее.

— Посерьезнее? Почему же?

— Потому, мой Гиперион, что я не хотел бы разрушить твое будущее счастье, что я должен бояться быть подле Диотимы,— мягко ответил он.— Поверь мне, жить подле влюбленных — опасно, и такое праздное сердце, каким стало сейчас мое, едва ли это выдержит.

— Ах, милый мой Алабанда! — сказал я с улыбкой.— Как же плохо ты себя знаешь! Ты ведь далеко не воск, и твоя твердая натура не так-то легко выходит из привычных границ. Впервые в жизни ты просто чудишь.

Тебе пришлось быть братом милосердия, а всякому ясно, что это не твое призвание. Оттого что ты так долго сидел на месте, тебя одолела робость.

— Вот видишь,— перебил он,— то-то и есть. Разве я буду жить более деятельной жизнью, оставшись с вами? Если бы то была другая женщина, но ведь это Диотима!.. Разве я могу иначе? Могу ли воспринимать ее только частью своей души, ее, такую цельную во всем, такую законченно-единую, божественно-неделимую жизнь? Поверь мне, это ребяческая затея пытаться смотреть на такое созданье, не любя. Что́ ты глядишь на меня в упор, будто не узнаешь? Я и сам себя не узнаю в последнее время, с тех пор как представил ее себе так живо.

— О, почему я не могу отдать ее тебе? — воскликнул я.

— Перестань! — сказал он.— Не утешай меня, утешениями здесь не поможешь. Я одинок, одинок, и моя жизнь убывает, как песок в песочных часах.

— И ты должен погибнуть, благородный человек?

— Успокойся,— ответил Алабанда,— мое увядание началось уже тогда, когда мы встретились в Смирне. Да, а вот когда я был еще юнгой и мой дух и тело окрепли и закалились от грубой пищи, от сурового труда; когда, бывало, после ночного шторма я взбирался в ясную погоду под самый флаг, развевавшийся на верхушке мачты, и высматривал морских птиц над сверкающей бездной; когда, бывало,

во время боя наши грозные корабли бороздили море, как клыки вепря землю, а я беспечно стоял подле своего капитана — тогда я жил, о, тогда я жил! И много лет спустя, когда мне встретился на морском берегу, в Смирне юный тиниот, строгий и любящий, и моя заледенелая душа оттаяла под его взглядом, научилась любить и считать святыней все то, что настолько прекрасно, что его нельзя подчинить произволу; когда я начал новую жизнь с этим юношей и во мне возникли новые, более могучие душевные силы, чтобы наслаждаться миром и бороться с ним, тогда я стал снова надеяться... Но увы! Все, на что я надеялся и чем обладал, было связано только с тобой; я привлек тебя к себе, пытался насильно приобщить к своей судьбе, потерял тебя, снова нашел, наша дружба сделалась для меня целым миром, моим сокровищем, моей гордостью... что ж! Ушла и она, ушла навсегда, и мое существование утратило всякий смысл.

— А может, это неверно? — вздохнув, сказал я.

— Верно, как солнце,— ответил он.— Но не будем об этом говорить! Все уже предрешено.

— Как же так, Алабанда?

— Если хочешь, расскажу,— ответил он. — Есть кое-что, о чем я почти не рассказывал тебе. К тому же, если мы поговорим о прошлом, нам с тобой, может, станет немного легче.

Однажды я бродил как неприкаянный в триестинском порту. Несколько лет назад

катер, на котором я служил, потерпел крушение, и я вместе с горсткой спасшихся людей еле-еле добрался до берегов Севильи. Мой капитан утонул, и все, что тогда у меня осталось, была жизнь да мокрое до нитки платье. Я разделся, полежал на солнышке и просушил на кустах одежды. Затем отправился дальше, по дороге, которая вела в Севилью. В саду, неподалеку от городских ворот, я увидел беззаботную компанию, зашел за ограду и спел им веселую греческую песенку. Грустной я не знал. Я сгорал от стыда и муки, выставляя напоказ свою нищету. Я был тогда восемнадцатилетний юнец, застенчивый и гордый, и служить предметом людской забавы было для меня смерти подобно. «Прошу прощенья,— сказал я, спев свою песенку,— я только что спасся с затонувшего судна, а чем сейчас могу быть полезен людям — не знаю, вот и пою им песни». Сказал я это, как умел, по-испански. Тут подошел человек с примечательным лицом, протянул мне деньги и, улыбаясь, сказал по-гречески: «Нà вот, купи себе точило, научись точить ножи, да и ходи по твердой земле». Совет мне понравился. «Я так и сделаю, сударь»,— ответил я. Затем меня щедро одарили другие. Я ушел и так и поступил, как посоветовал тот человек, и некоторое время занимался этим делом, скитаясь по Испании и Франции.

А о том, что я за это время узнал, о том, как многообразные обличия рабства отточили мою любовь к свободе и как несчетные тяж-

кие лишения выработали во мне мужество и здравый смысл, я часто и охотно тебе рассказывал.

Невинное ремесло бродячего точильщика доставляло мне удовольствие, но и его мне в конце концов отравили.

Люди стали считать, что оно служит мне ширмой, потому что я не очень старался придать себе вид простолюдина; они вообразили, будто я втихомолку занимаюсь более опасным делом, так что меня и впрямь дважды брали под стражу. Это заставило меня бросить свое ремесло, и с теми небольшими деньгами, что мне удалось сколотить, я предпринял поездку на родину, откуда когда-то сбежал. Я уже добрался до Триеста и думал двигаться через Далмацию дальше. Здесь после тяжелой дороги я заболел, и мои маленькие сбережения быстро пришли к концу. И вот я, еще полубольной, печально слонялся в триестинском порту. Вдруг я увидел перед собой человека — того самого, который когда-то на окраине Севильи принял во мне участие. Он почему-то мне очень обрадовался, сказал, что частенько меня вспоминает, и спросил, как мне жилось. Я рассказал. «Вижу, что не напрасно послал тебя в школу судьбы, чтобы ты там кое-чему научился,— воскликнул он.— Ты научился терпеть, теперь ты можешь и сам действовать, если захочешь».

Эти слова, тон, каким они были сказаны, выражение его лица и взгляда, его рукопожатие — все это, будто он обладал божественной властью, поразило мою душу, которая после

стольких страданий стала особенно восприимчивой, и я подчинился его власти.

Человек, о котором я рассказываю, Гиперион, был один из тех, кого ты однажды видел у меня в Смирне. А тогда в Триесте он повел меня ночью на некое торжественное собрание. Мороз пробежал у меня по коже, когда я вошел в зал, и мой спутник, указывая на каких-то мрачных людей, объявил:

— Это союз Немезиды.

Прельстившись открывшимся передо мною обширным полем деятельности, я торжественно присягнул, что отдам жизнь и душу этим людям. Вскоре собрание закончилось, с тем чтобы члены союза снова встретились спустя несколько лет где-нибудь в другом месте, а сейчас каждый вступит на указанный ему путь, которым он отныне должен был идти в мире. Меня отдали под начало людям, которых ты потом у меня встретил.

Принуждение, под игом которого я теперь жил, часто тяготило меня, к тому же я что-то не видел, чтобы союз добился больших успехов, и моя жажда деятельности не находила применения. Однако этого было недостаточно, чтобы я изменил присяге. Заставила меня наконец это сделать страстная привязанность к тебе. Я часто тебе говорил, что, когда ты уехал, я будто лишился света и воздуха и выбора у меня не было: либо расстаться с тобою, либо с союзом. Что я выбрал, ты видишь.

Но все человеческие поступки рано или поздно влекут за собой возмездие; только богов и детей щадит Немезида.

Я предпочел подчиниться божественным правам сердца. Ради моего любимца я нарушил клятву. Разве это не справедливо? Разве самое благородное стремление не должно быть самым свободным? Сердце поймало меня на слове: я дал ему свободу, и, видишь, оно ею воспользовалось.

Стоит только раз покориться гению, и он не станет считаться ни с какими земными препятствиями, он порвет все узы, связывающие тебя с жизнью.

Я пренебрег своими обязанностями ради друга, я пренебрег бы дружбой ради любви. Ради Диотимы я обманул бы тебя, а в конце концов убил бы ее и себя, потому что между нами все равно не было бы согласия. Но этого нельзя допустить. Если я должен искупить, что совершил, я сделаю это по собственной воле; я сам выберу себе судей, отдамся в руки тех, перед кем виноват.

— Ты говоришь о своих товарищах по союзу? — воскликнул я.— О Алабанда, не делай этого!

— Что могут у меня отнять, кроме жизни? — ответил Алабанда и нежно взял меня за руку.— Гиперион! Мой час пробил, остается только кончить жизнь с честью. Отпусти меня! Не унижай меня и отнесись с доверием к моим словам! Я, как и ты, хорошо знаю, что еще мог бы создать для себя видимость существования, мог бы, раз уж пир жизни окончен, пробавляться оставшимися крохами, но не мне этим заниматься и не тебе. Нужно ли еще что-нибудь добавить? Разве я не выражаю твои

же мысли? Я жажду свежего воздуха, студеного ветра. Гиперион! Моя душа полна до краев и рвется на волю, ей тесно в старых пределах. Что же, скоро настанут ясные зимние дни, когда темная земля будет всего лишь оттенять лучезарное небо,— вот тогда самая пора, в эту пору острова света так радушно сияют нам навстречу! Тебя удивляют мои речи? Ах, дружище! В час прощания все говорят невесть что, как хмельные, и не прочь напустить на себя торжественность. Когда дерево начинает увядать, разве листья его не горят всеми красками утренней зари?

— Великая душа! — воскликнул я.— Надо ли мне жалеть тебя?

Он поднялся на такую высоту, что мне открылось, как глубоко он страдает. Никогда в жизни я не испытывал такого горя. И все же, Беллармин, и все же я понимал, что мне дарована величайшая радость: видеть воочию богоподобного, быть рядом с ним.

— Что ж, умирай,— сказал я,— умирай! Твое сердце достигло предела красоты, а жизнь — зрелости, как виноград в пору осеннего урожая. Уходи, совершенство! Я ушел бы с тобой, если бы на свете не было Диотимы.

— Так я наконец тебя убедил? Ты ли это говоришь? Какой глубокой, какой вдохновенной становится каждая мысль, когда ее выражает мой Гиперион!

— Милостивые боги! Он льстит, чтобы еще раз исторгнуть у меня необдуманное слово, льстит, чтобы получить у меня дозволение

предстать перед карающим судом! — сказал я.

— Я не льщу,— строго ответил он мне.— Я имею право сделать то, чему ты хочешь помешать, и право это дается всякому! Уважай его!

В его глазах был некий пламень, которому я покорился, как веленью богов, и, устыдившись, не возражал больше ни словом.

«Они не могут, они не посмеют,— думал я.— Это же бессмысленно — отдать его на заклание, точно ягненка, уничтожить такую великолепную жизнь». И, поверив в это, я успокоился.

Многое вынес я из второй нашей беседы — к концу ночи, после того как каждый из нас собирался в путь, а перед рассветом мы вместе вышли из дому, чтобы еще раз побыть наедине.

— Знаешь ли ты,— сказал он между прочим,— почему я всегда презирал смерть? Потому что жизнь во мне я ощущаю как нечто данное мне не богом и не смертным. Я верю, что источник жизни в нас самих и мы лишь по собственному свободному побуждению так тесно связаны со Вселенной.

— Впервые слышу от тебя подобное утверждение,— отозвался я.

— Да и чем был бы,— продолжал Алабанда,— чем был бы тот мир, когда б он не был созвучием свободных существ? Когда бы все живущее, едва возникнув, само не стремилось бы радостно слиться в единую многозвучную жизнь? Каким косным, каким холодным стал бы этот мир! Каким бездушным механизмом!

— Стало быть, утверждение, что все мертво без свободы, и есть истина в высшем смысле этого слова,— заметил я.

— Ну да, ведь ни одна былинка не прорастет, если в ней нет собственной жизненной силы! А тем более это относится ко мне! Вот почему, дорогой мой, раз я чувствую себя свободным в самом высоком смысле этого слова, раз я не знаю себе начала, я верю, что я бесконечен, что я неразрушим. Если меня вылепили руки горшечника, он вправе разбить сотворенный им сосуд, когда ему вздумается. Но то, что живет внутри сосуда, не может быть чьим-либо твореньем, оно божественно по своей природе, уже в зародыше, не подвластно никакой силе, никакому искусству, а потому — неразрушимо, вечно.

У каждого есть свои тайны, милый Гиперион, свои сокровенные мысли, и у меня тоже; это они и есть — с тех пор, как я мыслю.

Все, что живет,— неистребимо [24], оно остается свободным даже в глубочайшей форме своего рабства, остается единым, хоть бы ты рассек его до основания, остается невредимым, хоть бы ты раздавил его до мозга костей, существо его, побеждая в этом поединке, ускользнет у тебя из рук. Но уже поднимается утренний ветерок; наши корабли проснулись. О мой Гиперион! Я это превозмог, я нашел в себе силы вынести смертный приговор своему сердцу, разлучиться с тобой, друг мой любимый, возлюбленный. Пощади же меня, избавь от прощанья! Не будем медлить, пойдем!

Я похолодел, услышав эти слова.

— Заклинаю тебя твоей верностью, Алабанда! — и я бросился перед ним на колени.— Скажи, неужели, неужели это неизбежно? Ты поступил нечестно, ты заглушил во мне рассудок, затуманил мне голову. Брат мой! Ты не оставил во мне ни крупицы здравого смысла, я даже не спросил, куда же ты, собственно, едешь?

— Я не имею права назвать это место, любимый мой! —ответил он.— Но, может быть, мы когда-нибудь еще встретимся.

— Встретимся? — повторил я.— Так я стал одной надеждой богаче! А со временем у меня их будет столько, что в конце концов надежды заменят мне все!

— Милый, когда слова бессильны, надо молчать! — сказал Алабанда.— Расстанемся, как мужчины! Ты отравляешь себе последние минуты.

Мы подошли к гавани.

— Еще одно слово,— сказал он, когда мы были уже у его корабля.— Кланяйся своей Диотиме! Любите друг друга, будьте счастливы, благородные люди!

— Алабанда! Почему я не могу уехать вместо тебя?

— У тебя более высокое призвание,— ответил он,— следуй ему! Ты принадлежишь ей, отныне твоим миром стала прекрасная женщина... Ах! Если не бывает счастья без жертвы, прими, судьба, меня в жертву и не лишай любящих их радостей!

Стараясь превозмочь волнение, он вырвался из моих объятий и прыгнул на палубу кораб-

ля, чтобы сократить мучительное прощание. Эта минута была для меня как удар грома, после которого сразу наступает тьма и мертвая тишина, но, уже сраженная, душа напрягла последние силы, пытаясь удержать уходящего друга, и мои руки сами собой простерлись к нему.

— Горе мне! Алабанда! Алабанда! — взывал я, и с корабля глухо донеслось:

— Прощай!

Гиперион к Беллармину

По какой-то случайности отход судна, которое должно было доставить меня в Калаврию, задержался до вечера, тогда как Алабанда еще утром отправился в путь.

Я сидел на берегу, истомленный мучительным прощанием, и молча, час за часом, смотрел на море. Мой дух перебирал горестные дни медленно умирающей юности и, как прекрасный голубь [25], витал над будущим. Чтобы укрепить свое сердце, я взял свою давно заброшенную лютню и запел «Песню судьбы», которую когда-то, во времена счастливой беспечной юности, мы пели вместе с Адамасом:

Ваш путь в небесном свету
  На легких тропах, дивные гении!
    Ветры богов, сияя,
      Нежно к вам льнут,
        Словно пальцы художницы
          К струнам священным.

Нет судьбы, как у мирного
  Детства, у небожителей;

Чист, храним
В самой маленькой почке,
Цветом вечным
Дух их цветет,
И блаженных очами
Тихо взирает
Вечная ясность.

А здесь наша доля
Нигде покоя не знать,
Идут, исчезают
В страданиях люди
Слепо от часа
К часу другому,
Как воды, что к камню
От камня мятутся,
День ото дня
В безвестность стремясь.

Так пел я под рокот струн [26]. И только лишь спел эту песню, как в гавани показалась лодка, и я еще издали узнал своего слугу, который вез мне письмо от Диотимы.

«Так ты еще не покинул землю,— писала она,— ты еще глядишь на белый свет? А я уже думала, что свижусь с тобой не здесь, мой милый! Я успела, хоть ты этого и не желал, как оказалось впоследствии, получить письмо, написанное накануне Чесменского боя, и целую неделю думала, что ты бросился в объятия смерти, пока не явился твой слуга с радостной вестью: ты жив. Но через несколько дней после битвы до меня уже дошел слух, что корабль, на котором, как мне было извест-

но, был и ты, взлетел со всей командой на воздух.

Но вот я снова услышала тебя, сладостный голос; речь милого снова донеслась до меня, как дуновение весны, и я сама на мгновение поддалась соблазну прельстительной радости твоих надежд, чудесному видению нашего будущего счастья.

Дорогой мой мечтатель, зачем я должна пробудить тебя от грез? Зачем не могу сказать тебе: приди же и пусть станут явью обещанные тобою дни счастья! Но поздно, Гиперион, слишком поздно. Твоя подруга увяла; с тех пор как ты уехал, меня снедает какое-то пламя, и от меня уже мало что осталось. Не ужасайся! Все в природе очищается, и всюду цвет жизни постепенно освобождается от грубой материи.

Возлюбленный мой, мог ли ты думать, что в этом году услышишь мою лебединую песнь!

Продолжение

Началось это вскоре после твоего отъезда, пожалуй, даже в дни расставанья. Некая сила в моей душе, которая пугала меня, внутренний мир, перед которым земной бледнел и меркнул, как ночные светильники перед утренней зарей... сказать ли? Я мечтала отправиться в Дельфы и воздвигнуть богу вдохновения храм среди скал древнего Парнаса; новая пифия, я хотела жечь словом оракула дряблые сердца народов, и душа моя знает, что девические уста, прорицая, открыли бы глаза всем отверженным богом и разгладили бы морщины на

их хмуром челе — столь могуч был дух жизни во мне! Но мою бренную плоть неотвратимо одолевала усталость, беспощадно сгибала под своей страшной тяжестью. Ах, я часто оплакивала в своей тихой беседке розы юности, а они все увядали и увядали, и только слезы румянили щеки твоей подруги. Все было по-прежнему: те же деревья, та же беседка — там некогда твоя Диотима, твое дитя, Гиперион, стояла перед твоим счастливым взором, будто цветок меж цветов, и в ней мирно сливались силы небесные и земные. Теперь она бродила как чужая между распускающимися майскими почками, а ее наперсники, милые кусты и деревья, ласково кивали ей, но она способна была лишь грустить. Однако я никого не обошла, я простилась со всеми свидетелями моих игр; с рощами и ручьями, с шелестящей травой пригорков.

Ах, я часто, пока еще доставало сил, поднималась на гору, где ты жил у Нотары, и это было и трудно и сладостно, и я беседовала о тебе с нашим другом — по возможности в самом веселом тоне, чтобы он чего-нибудь не написал тебе обо мне; но порой, когда сердце говорило слишком громко, притворщица тихонько пробиралась в сад и там у ограды над скалами, где мы с тобой однажды заглянули в разверзшиеся недра природы, где я стояла, поддерживаемая твоею рукой, оберегаемая твоим украдкой следящим за мною взглядом, и меня пронизал первый жаркий трепет любви, ах, там, где мне хотелось выплеснуть свою переполненную душу, как жертвенное вино,

в манившую бездну жизни, там теперь я бродила как тень, жалуясь ветру на свое горе, и мой взор, будто вспугнутая птица, метался, не смея передохнуть, на прекрасной земле, которую мне суждено покинуть.

Продолжение

Вот что сталось с твоей милой, Гиперион. Не спрашивай, как это случилось, не пытайся объяснить себе эту смерть! Кто вздумает искать объяснения подобной судьбе, в конце концов проклянет себя и других, хотя, в сущности, никто не виновен.

Могу ли я сказать, что меня убила скорбь о тебе? Нет, нет! Она была даже желанной, эта скорбь, она придавала смерти, которую я носила в себе, и смысл, и прелесть; теперь я могла говорить себе: ты умираешь во славу возлюбленного.

А может, моя душа давно уже созрела в восторгах нашей любви и потому ей теперь, точно резвому мальчику, не сидится в скромном отчем доме? Скажи, уж не богатство ли чувств причина моего разлада с земной жизнью? А может, моя душа благодаря тебе, прекрасный, так возгордилась, что не захотела больше мириться с этой заурядной планетой? Но ты научил ее летать, что ж не научишь ее, как вернуться к тебе? Ты зажег этот огонь — стремление в эфир, что ж не уберег меня от огня? Слушай же, милый! Ради твоей прекрасной души не вини себя в моей смерти!

Да и мог ли ты удержать меня, раз судьба указала тебе ту же дорогу? А если бы ты,

поборов в титаническом поединке свое сердце, стал проповедовать: „Довольствуйся малым, дитя, следуй велению века!“, разве бы ты не был ничтожнее всех ничтожных обитателей земли?

Продолжение

Я скажу тебе напрямик, что я думаю. Во мне жил твой огонь, в меня вселился твой дух; но это едва ли могло мне повредить, и только твоя судьба сделала гибельной для меня новую жизнь, которой я жила. Благодаря тебе душа моя приобрела слишком большую власть, усмирить ее можно было бы только с твоею помощью. Ты оторвал мою жизнь от земли, в твоей власти было возвратить ее на землю: ты замкнул бы мою душу в своих объятиях, как в магическом круге. Ах, одного нежного взгляда было бы достаточно, чтобы меня удержать, одно слово любви превратило бы меня опять в веселое здоровое дитя! Но, когда твоя судьба загнала тебя на вершины духовного одиночества, как потоп загоняет на вершину горы, когда я окончательно уверилась, что буря сраженья разметала твою темницу и мой Гиперион вознесся ввысь, в край первозданной свободы, о, лишь тогда это свершилось во мне, и мой конец уже близок.

Я трачу так много слов, а ведь великая римлянка умерла молча [27], когда ее Брут и ее отчизна изнемогли в смертельной борьбе. Но и ничего лучшего не могла бы я сделать в эти лучшие из последних дней своей жизни, ведь правда? К тому же мне всегда обо многом хо-

чется сказать. Немногословна была моя жизнь, зато моя смерть красноречива. Довольно!

Продолжение

Еще одно я должна тебе сказать.

Казалось бы, ты неминуемо погибнешь, неминуемо отчаешься, но твой дух спасет тебя. Ни миртовый, ни лавровый венки тебя не утешат; сделает это Олимп — живой, настоящий, вечно юный, цветущий, доступный всем твоим чувствам. Прекрасный мир — это и есть твой Олимп: там ты будешь жить и познаешь радость с чистыми созданиями мира, с богами природы.

Да будет благословен ваш приход, добрые вы мои, верные боги! Как же истосковались здесь по вас, мои неузнанные боги! Стар и мал! Солнце, земля и эфир со всем живущим, играющим вокруг вас, как и вы играете с ними, вечнолюбивые! О, примите людей, стремящихся все изведать, примите их, беглых, опять в нашу божественную семью, примите их в отчий дом природы, который они покинули.

Знакомые тебе мысли, Гиперион! Ты положил им начало в моей душе. Ты осуществишь их и только тогда успокоишься.

А мне они дали столько, что я могу умереть радостно, как подобает греческой девушке.

Пусть боятся смерти те несчастные люди, которые не знают ничего, кроме своего жалкого ремесла, раболепствуют перед необходимостью, а над гением глумятся и не чтут тебя,

младенческая жизнь природы. Их ярмо стало их миром. Ничего лучшего, чем свои обязанности раба, они не знают, потому и страшатся божественной свободы, которую дарует нам смерть.

А я не страшусь! Я поднялась над жалкими творениями рук человеческих, я постигла чувством жизнь природы, которую не постичь мыслью... Если я стану даже растением, что за беда? Я пребуду вечно. Как я могу исчезнуть из круговорота жизни, в котором вечная любовь, присущая всем, объединяет все создания? Как могу я расторгнуть союз, связующий меня со всеми существами? Его не разорвешь так легко, как слабые узы нашего времени. Это ведь не ярмарка, куда сбегается народ,— пошумит и разойдется. Нет, клянусь духом, нас объединяющим, клянусь божественным духом, в каждом из нас особенным и общим для всех! Нет, нет! В союзе природы верность не мечта. Мы разлучаемся лишь для того, чтобы крепче соединиться, быть в божественном согласии со всем и с собою. Мы умираем, чтобы жить.

Я пребуду вечно; я не спрашиваю, чем буду. Быть, жить — этого довольно, ибо это честь и для богов, вот почему все жизни, какие ни есть, равны в божественном мире и нет в нем господина и рабов. Все создания природы живут рядом, любя друг друга; все у них общее: дух, радость и вечная юность.

Звезды избрали своим уделом постоянство; безмолвно храня в себе полноту жизни, они вечно движутся и не ведают старости.

Мы же являем совершенство в многообразии: мы разбиваем мощные аккорды радости на изменчивые переливы мелодий. Подобно арфистам у престолов владык, мы живем, сами став божественными, подле безмолвных богов мира и быстротечной песней жизни смягчаем благодатную строгость бога солнца и других небожителей.

Взгляни на мир! Разве он не похож на триумфальное шествие, которое устроила природа, празднуя свою вечную победу над всяческим распадом? Разве жизнь не ведет за собой для своего прославления смерть в золотых цепях, как полководец водил за собой пленных царей? А мы подобны девам и юношам, которые песней и пляской в пестрой смене движений и звуков сопровождают величественное шествие.

Теперь позволь мне умолкнуть. Добавлять что-нибудь было бы излишне. Мы встретимся с тобою снова.

Скоро, скоро ты станешь счастливей, скорбный юноша! Твои лавры еще впереди, а мирты твои отцвели, потому что ты будешь жрецом божественной природы, и твое время — время поэзии — приспело.

О, если бы я могла увидеть тебя и твое прекрасное будущее! Прощай!»

Тогда же я получил следующее письмо от Нотары:

«В этот день, после того как она писала тебе в последний раз, она стала необыкновенно спокойна, мало говорила, сказала только, что хотела бы покинуть землю, уносимая пламе-

нем, а не лежать в могиле, и просила нас собрать ее прах в урну и поставить в лесу — на том самом месте, где ты, дорогой мой, впервые с ней встретился. Вскоре, когда начало темнеть, она сказала нам „доброй ночи“, будто отходя ко сну, и положила руку под свою прелестную головку; до утра мы слышали ее дыхание. Когда же стало совсем тихо и до меня не доносилось больше ни звука, я подошел к ней и прислушался.

О Гиперион! Что я могу еще сказать? Все было кончено, и наши рыдания были уже бессильны ее разбудить.

Есть некая страшная тайна в том, что такая жизнь подвластна смерти, и, должен тебе признаться, я сам ничего не понимаю и ни во что не верю с тех пор, как был свидетелем того.

И все же, Гиперион, лучше прекрасная смерть, чем та сонная жизнь, какою мы живем сейчас.

Отгонять мух — вот отныне вся наша работа; пережевывать события в нашем мире, как дети жуют сухой фиалковый корень,— вот к чему свелись наши радости. Стариться среди молодых народов — это, на мой взгляд, удовольствие, но стариться в стране, где все кругом дряхло,— хуже этого ничего нет.

Я, пожалуй, посоветую тебе, Гиперион, не приезжать сюда. Я знаю тебя. Этак можно и с ума сойти. К тому же ты здесь не в безопасности. Дорогой мой, вспомни о матери Диотимы, вспомни обо мне и побереги себя!

Признаться, меня дрожь берет, как подумаю о твоей судьбе. Но полагаю все же, что

засушливое лето опасно не для бьющих из глубин родников, а только для мелководного дождевого потока. Ведь бывали минуты, Гиперион, когда я видел в тебе высшее существо. Теперь на твою долю выпало испытание, и уж тут обнаружится, кто ты. Прощай!»

Так писал Нотара, и ты хочешь знать, Беллармин, каково мне теперь, когда я рассказываю об этом?

Я спокоен, друг мой, ибо я не хочу лучшей участи, чем та, что дана моим богам. Разве не должно все страдать? И, чем совершенней создание, тем глубже! Не страдает ли святая природа? О божество мое! Я долго не подозревал, что ты способна грустить, даже будучи счастлива. Но радость без страданья все равно что сон, и без смерти нет жизни. Неужели ты предпочел бы вечно быть младенцем и дремать, как Ничто? Существовать, не зная победы? Не подняться до совершенства, пройдя все ступени его до единой? Да, да! Скорбь — достойное бремя на сердце человеческом, твоя достойная наперсница, о природа! Ибо лишь она ведет от одного наслаждения к другому, и нет иного вожатого на этом пути, кроме нее.

Я ответил Нотаре, как только начал приходить в себя, уже из Сицилии, куда я добрался на корабле из Пароса.

«Я послушался тебя, дорогой! Я уже далеко от вас и хочу подать весть о себе; но нелегко мне найти слова — в этом я вправе сознаться. Блаженные, среди которых сейчас и

моя Диотима, говорят немного, но и в моей ночи, в юдоли скорби, речь тоже скудеет.

Смерть Диотимы — прекрасная смерть, ты прав: именно это и воскрешает меня, возвращает мне живую душу.

Но мир, в который я вступаю вновь, уже не прежний. Я буду в нем чуждый пришелец, как непогребенные, бредущие назад с берегов Ахерона, и, окажись я даже на родном острове, в садах, где цвела моя юность и куда отец закрыл мне доступ, все равно, ах, все равно я был бы чужой на земле и никакой бог не смог бы вернуть мне прошлое.

Да, все прошло. Слишком часто вынужден я повторять это себе, вынужден укрощать душу, чтобы она была посмирней и не увлеклась сгоряча какими-нибудь вздорными, ребяческими затеями.

Все прошло, и, если бы даже я мог плакать, как ты, прекрасная богиня, некогда плакавшая об Адонисе, моя Диотима все же не вернулась бы, и слово моего сердца утратило свою силу, ибо внемлет ему лишь ветер.

Боже! Ведь я и сам стал Ничто, и последний поденщик вправе сказать, что он сделал больше, чем я! Ведь они могут утешать себя этим, улыбаться и называть меня мечтателем, эти нищие духом, потому что я не свершил своих подвигов, потому что руки мои связаны, потому что наше время походит на свирепого Прокруста, который захваченных им людей бросал в детскую колыбель и, чтобы уместить свои жертвы на тесном ложе, обрубал им ноги.

Ринуться бы одному в самую гущу оголтелой толпы и отдать себя ей на растерзание, если бы только это имело хоть какой-то смысл и если бы не было стыдно смешать свою благородную кровь с кровью черни! О, боги, если бы нашлось знамя, которому захотел бы служить Алабанда, новые Фермопилы, где я с честью мог бы отдать свою жизнь, свою одинокую любовь, которая никому больше не нужна! Правда, еще лучше было бы, если бы я мог жить; жить в новых храмах и во вновь созванной Агоре нашего народа исцелять великой радостью великую скорбь; но умолчу об этом, потому что плачу и теряю силы, едва только все вспомню.

Ах, Нотара, пришел и мне конец. Я сам себе опротивел, я не могу не винить себя за то, что Диотимы нет в живых и что помыслы моей юности, которые я так высоко ценил, теперь для меня утратили всякую цену. Ведь это они погубили мою Диотиму!

А теперь скажи мне, где еще есть прибежище? Вчера я был на вершине Этны. Там вспомнился мне великий сицилиец [28], который однажды, устав вести счет часам и познав душу мира, бросился, охваченный дерзкой жаждой жизни, в прекрасное пламя вулкана; холодный поэт решил погреться у огня, сказал о нем один насмешник [29].

О, как бы я рад был дать повод для такой остроты! Однако нужно быть о себе куда более высокого мнения, чем я о собственной особе, чтобы этак, без приглашения, броситься природе на грудь; а впрочем, называй это

как тебе угодно, потому что в моем нынешнем состоянии я позабыл названия вещей и во всем сомневаюсь.

Нотара! Скажи мне теперь, где еще есть прибежище?

В лесах Калаврии? Да, там, в зеленом сумраке, где стоят наши деревья — свидетели нашей любви, где их умирающая листва, багряная, как закат, опадает на урну Диотимы и их прекрасные кроны склоняются над урной, постепенно старея, пока они и сами не падут на возлюбленный прах;— там, там я находил бы отраду в жизни!

Но ты не советуешь мне возвращаться, говоришь, что жить на Калаврии для меня небезопасно, и ты, видимо, прав.

Я знаю, ты отошлешь меня к Алабанде. Так слушай же: он разбит, повержен и он, этот стройный, могучий дуб; теперь мальчишки могут подбирать щепки и разводить себе на потеху костер. Он уехал, у него есть некие добрые друзья, которые готовы ему посодействовать, которые особенно искусно умеют помочь тем, кому жизнь в тягость; он собирается их проведать, а отчего? Оттого, что ему больше нечего делать, или, если уж ты хочешь все знать, оттого, что сердце его гложет страсть, и знаешь к кому? К Диотиме. Он думает, что она жива, вышла за меня замуж и счастлива... бедный Алабанда, теперь она равно принадлежит нам обоим!

Он отправился на восток, а я, я плыву на северо-запад, потому что так угодно случаю.

А теперь прощайте! Прощайте же, мои до-

рогие, все, кто был близок моему сердцу, все друзья юности, и вы, родители, и все мои милые страждущие греки!

О ветерки, пестовавшие меня в нежном детстве, и вы, темные лавровые рощи, и вы, прибрежные скалы, и вы, могучие волны, учившие мой дух провидеть великое, и вы, печальные картины, породившие мою тоску, священные стены, которыми опоясали тебя героические города, древние врата, через которые проходил не один дивный путник, колонны храмов, и ты, прах богов! И ты, о Диотима! И вы, долины, обитель моей любви, и вы, ручьи, видевшие когда-то ее светлый образ, и вы, деревья, под которыми она отдыхала, вы, весны, прожитые моей милой, окруженной цветами, не покидайте, не покидайте меня! Но, если суждено тому быть, о сладостные воспоминанья, угасайте и вы, покиньте меня, ибо человек не в силах ничего изменить и свет жизни приходит и уходит, когда он хочет.

Гиперион к Беллармину

Так я оказался у немцев. Я не требовал многого и ожидал найти еще меньше. Смиренно пришел я, словно слепой изгнанник Эдип [30] к воротам Афин, где его приняла под свою сень священная роща и встретили высокие души...

Насколько иначе было со мной!

Варвары испокон веков [31], ставшие благодаря своему трудолюбию и науке, благодаря самой своей религии еще большими варвара-

ми, глубоко не способные ни на какое божественное чувство — к счастью святых граций, испорченные до мозга костей, оскорбляющие как своим излишеством, так и своим убожеством каждого нравственного человека, глухие к гармонии и чуждые ей, как черепки разбитого горшка,— таковы, Беллармин, были мои утешители.

Это жестокие слова, но я все же произношу их, потому что это правда: я не могу представить себе народ более разобщенный, чем немцы. Ты видишь ремесленников, но не людей; мыслителей, но не людей; священнослужителей, но не людей; господ и слуг, юнцов и степенных мужей, но не людей; разве это не похоже на поле битвы, где руки, ноги и все части тела, искромсанные, лежат вперемешку, а пролитая живая кровь уходит в песок? [32]

Каждый делает свое дело, скажешь ты, да и я это говорю. Но человек должен делать свое дело с душой, не заглушать в себе все другие способности, потому что они, мол, не положены ему по званию; он не должен, как трусливый скаред, как самый настоящий лицемер, стараться быть только тем, чем ему назначили быть; относясь к своему делу взыскательно и с любовью, он должен быть тем, что он есть,— тогда труд его будет одухотворенным, если же он прикован к делу, не имеющему ничего общего с духом, пусть отвернется от него с презрением и учится пахать землю! Однако же твои немцы в своей деятельности охотно подчиняются требова-

ниям насущной необходимости, вот почему среди них так много бездарных кропателей и в их произведениях мало свободного, истинно радостного. Но это бы еще полбеды, если бы подобные люди не были так бесчувственны ко всему прекрасному в жизни, если бы только над этим народом не тяготело проклятие противной богу и природе неестественности.

Добродетели древних — всего лишь блистательные недостатки, гласит чье-то, не помню чье, злое изречение; и все-таки даже их недостатки — это добродетели, ибо тогда в человечестве еще жил детский прекрасный дух и все, что бы ни делали древние, делалось от души. Добродетели же немцев представляют собою блистательное зло, и ничего больше, ибо они — порожденье необходимости, вымученное в рабских усилиях, из пустого сердца и под влиянием низкого страха; они способны омрачить любую чистую душу, которая тянется к красоте, которая, увы, избалована святой гармонией, присущей благородным натурам, и не выносит ту вопиющую фальшь, какой насквозь пронизан мертвящий порядок этих людей.

Говорю тебе: нет ничего святого, что не было бы осквернено этим народом, не было бы низведено до уровня жалкого вспомогательного орудия; даже то, что у дикарей очень часто сохраняет свою божественную чистоту, эти сверхрасчетливые варвары превращают в ремесленничество; да они и не могут иначе, потому что, раз уж человеческое

существо соответственным образом вышколено, оно служит только своим целям, оно ищет только выгоды, оно не мечтает уже — упаси бог! Такой человек сохраняет солидность, даже когда отдыхает от трудов, и когда настает пора всеобщего примирения и гонит прочь все заботы, чудодейственно превращая порочное сердце в непорочное, когда опьяненный горячими лучами солнца раб, ликуя, забывает о своих цепях, а человеконенавистники добреют от благодатного весеннего воздуха, становятся беззлобны, как дети, так вот, когда даже у гусеницы вырастают крылья, а пчелы роятся, немец все равно продолжает заниматься своим делом, он и не замечает, какая стоит погода.

Но ты нас рассудишь, святая природа! Если б они хоть были скромны, эти люди, и не ставили себя в образец перед лучшими! Пусть бы они хоть не клеветали на все, что отличается от них, а клевеща, хоть бы не глумились над божественным!

Неужели не божественно то, над чем вы смеетесь и что зовете бездушным? Разве не лучше вашего пустословия воздух, который вы впиваете? Разве лучи солнца не благородней, чем вся ваша ложная мудрость? Ключи, бьющие из земли, и утренняя роса оживляют ваши рощи, ну а вы способны на это? Увы, убивать вы способны, но не оживлять, сделать это может только любовь, а она вам не свойственна и не вами придумана. Вы всячески изощряетесь, думаете, как бы вам избегнуть судьбы, и недоумеваете, почему

ваши наивные уловки не помогают; а тем временем небесные светила безмятежно идут своим путем. Вы оскверняете, вы терзаете терпеливую природу, когда она это терпит, а она продолжает жить, и юности ее нет конца; вы бессильны отнять у нее осень и весну, вы не властны загрязнить ее эфир.

О, природа и впрямь должна быть божественной, если вам дано разрушать, а она все-таки не стареет и прекрасное остается наперекор вам прекрасным!

Нельзя без боли в сердце смотреть на ваших поэтов, ваших художников, на всех, кто еще чтит гения, кто любит и ищет красоту. Бедные! Они живут в этом мире, как чужаки в собственном доме, они точь-в-точь как многострадальный Улисс [33], который, приняв образ нищего, сидел у дверей в своем дворце, а бесстыжие женихи буянили в зале и спрашивали: «Кто впустил сюда бродягу?».

Полными любви, ума и надежд выходят из немецкого народа юные питомцы муз; но взгляни на них лет через семь: они бродят как тени, безмолвные и холодные, они похожи на ниву, которую враг усеял солью, чтобы на ней никогда не взросло ни былинки, а когда они говорят — горе тому, кто их поймет, кто в этой бурно восстающей титанической силе, равно как и в их протеевых превращениях, увидит лишь отчаянную борьбу скованного прекрасного духа против варваров, с которыми ему приходится иметь дело.

Все несовершенно на этой земле — вот старая песня немцев. Хоть бы кто-нибудь

объяснил этим отверженным богом людям, почему у них все так несовершенно! Да потому, что их грубые руки не оставляют ничто чистое незагрязненным, ничто святое нетронутым; у них ничто не может достигнуть полного развития потому, что они не почитают источник всякого развития — божественную природу; сама жизнь у них проникнута пошлостью, мелочными обременительными заботами, холодным, немым разладом, потому что они презирают гений, который дарует силу и благородство человеческому труду, отраду — страданью, любовь и братство — городам и жилищам.

И они потому так боятся смерти и терпят, дорожа своей устричной жизнью, весь этот позор потому, что для них нет ничего выше их ремесленного крохоборческого труда.

О Беллармин! Там, где народ любит прекрасное, где он чтит гения в своих художниках, все проникнуто духом всеобщности, как дыханием жизни; там робкий ум раскрывается, а самомнение сникает; сердца там чисты и благородны, и воодушевление народа рождает героев. Страна такого народа — родина всех людей, и пребывание в ней приятно чужеземцу. Но в стране, где так оскорбляют божественную природу и ее певцов, там, увы, утрачена высшая радость жизни, и, думается, лучше жить на любой другой планете, только не на Земле. Здесь все бездушней и бесплодней становятся люди, а ведь они родились прекрасными; растет раболепие, а с ним и грубость нравов, опьянение жизненными бла-

гами, а с ним и беспокойство, наряду с роскошью растет голод и страх перед завтрашним днем; каждый год, который мог бы стать благословенным, превращается в проклятье для людей, и все боги бегут от них.

И горе чужеземцу, который, странствуя для собственного удовольствия, обращается к гостеприимству такого народа; но трижды горе тому, кто, подобно мне, гонимый великою скорбью и нищий, оказывается среди такого народа!

Довольно! Ты знаешь меня и не посетуешь, Беллармин. Я говорил и от твоего имени, я говорил за всех, кто живет в этой стране и страдает, как страдал там я.

Гиперион к Беллармину

Я больше не хотел оставаться в Германии. Я уже ничего не пытался найти в этом народе — довольно меня там оскорбляли, да так безжалостно, и я не хотел, чтобы сердце мое изошло кровью среди таких людей.

Однако меня удержала пленительная весна; она была единственной оставшейся мне радостью, она ведь была моей последней любовью, как же мог я о ней не думать и покинуть страну, куда пришла весна?

Никогда еще, Беллармин, я не был так твердо убежден в правоте древних и вещих слов, что сердцу откроется новая благодать, если оно выдержит и вытерпит глухую полночь скорби, что только среди глубокого страданья зазвучит для нас, будто соловьиная трель во тьме, чудесная песнь жизни.

Теперь я жил окруженный цветущими деревьями, словно гениями, и лепет чистых ручьев, которые струились под ними, заглушал, как голос богов, горе в моей душе. Так, милый мой, было со мною повсюду: когда я лежал в траве и зеленела юная жизнь вокруг; когда я пробирался сквозь шиповник по каменистой тропе к согретому солнцем холму или плыл на лодке по реке вдоль прохладных берегов, огибая один за другим все острова, которые она нежно лелеет.

И когда я, бывало, утром спешил на вершину горы, будто больной к целебному источнику, и шел мимо спящих цветов, а рядом, пробудившись от сладкого сна, из кустов вылетали прелестные птицы и метались в сумраке, с нетерпением ожидая восхода, и ветер доносил из долины звуки молитвы, блеянье стада, утренний благовест, и вслед за тем спускался привычной тропой горний свет, божественно ясный, неся земле чары бессмертной жизни, чтобы сердце ее согрелось и все ее дети снова почувствовали себя живыми,— тогда, одинокий, как луна, которая оставалась на небе, чтобы тоже порадоваться настоящему дню, я стоял над равнинами, и до слез любил эти берега внизу и сверкающие волны, и долго не мог оторвать от них глаз.

А подчас вечером, когда я уходил далеко в долину, к колыбели родника, где надо мной шептались темные кроны дубов, где природа принимала меня в свой вечный покой, как умирающего праведника, когда земля становилась сплошной тенью, а в ветвях, в верхуш-

ках деревьев шелестела невидимая жизнь и в вышине недвижно горело вечернее облако, сверкающая гора, с которой ручьями лились на меня лучи, будто бы для того, чтобы утолить жажду скитальца,— тогда я восклицал:

— О солнце, о ветерки, с вами, только с вами, живет еще мое сердце, как сердце братьев!

Так все больше и больше покорялся я благосклонной природе, и казалось, этому не будет конца. Как мне хотелось стать ребенком, чтобы быть к ней поближе, как хотелось поменьше знать, стать чистым, как луч света, чтобы быть к ней поближе! О, если бы на мгновение почувствовать, что проникся ее спокойствием и ее красотой! Насколько дороже было это сейчас для меня, чем многолетние размышления всеиспытующего человека! Как лед на реке, растаяло теперь все, чему я учился, все, что я свершил в жизни, и все замыслы юности отзвучали во мне; а с вами, милые моему сердцу — мертвецы и живые, теперь равно далекие, мы были единым, нераздельным целым!

Однажды я сидел далеко в поле, у источника, в тени зеленых от плюща скал, под свисающими ветвями цветущих кустарников. Был чудесный полдень, такого я в жизни не видывал.

Веял легкий ветерок, земля еще сверкала утренней свежестью, и кротко улыбался свет в своем родимом эфире. Люди разошлись по домам передохнуть от работы за семейной

трапезой; моя любовь была сейчас одна, лицом к лицу с весной, и мной овладела непостижимая, томительная тоска.

— Диотима! — позвал я.— Где ты, о, где ты, Диотима?

И мне будто послышался голос Диотимы, голос, который когда-то, в дни счастья, был моею отрадой...

— У родных,— отвечала она,— у тех, кто и мне и тебе сродни и кого не дано распознать заблуждающемуся человеческому духу!

Сладостный ужас объял меня, и мысль погрузилась в сон.

— О дивное слово, слетевшее со святых уст,— очнувшись, воскликнул я,— дивная загадка, постигну ли я тебя?

И я еще раз заглянул в холодную ночь человечества, и содрогнулся, и заплакал от радости, что мне было даровано такое блаженство, и, кажется, говорил какие-то слова, но они были как шорох пламени, когда оно взлетает, оставляя после себя пепел. . .

О природа, и вы, боги природы, думал я, уже в прошлом мои мечты о земном свершении, и я говорю: только ты живешь, а все, что искусственно создали, выдумали мятущиеся люди, все это тает, как поддельный жемчуг из воска, вблизи твоего огня!

Давно ли они перестали в тебе нуждаться? О, как давно людская толпа поносит тебя, считает тебя и твоих богов слишком низкими для себя — вас, истинно живых, полных благостного покоя!

Люди падают с древа жизни, как гнилые

плоды, так пускай же они погибают! Они возвращаются вновь, преображенные, к твоим корням, о древо жизни, и я снова оденусь зеленью, и буду вдыхать аромат твоей усыпанной почками кроны, и буду жить со всеми в мире, ибо все мы выросли из одного золотого семени.

О земные источники, и вы, цветы, и леса, и орлы, и ты, побратим мой, свет! Как стара и нова наша любовь! Мы свободны, у нас нет трусливого стремления быть точь-в-точь одинаковыми с виду, почему бы не существовать различным формам жизни? Но все мы любим эфир и сходны между собой в самой нашей сути.

И мы, мы тоже не разлучены с тобой, Диотима, хотя слезы, которые я лью по тебе, этого не поймут. Мы — живое созвучие, мы вливаемся в твою гармонию, природа! Кто же нарушит ее? Кто может разлучить любящих?

О душа, душа! Нетленная красота мира, пленительная в своей вечной юности, ты существуешь, и что тогда смерть и все горе людское! Ах, эти чудаки наговорили столько пустых слов. Все ведь свершается по свободному побуждению, и все ведь кончается миром.

Все диссонансы жизни — только ссоры влюбленных. Примиренье таится в самом раздоре, и все разобщенное соединяется вновь.

Расходится кровь по сосудам из сердца и вновь возвращается в сердце, и все это есть единая вечная пылающая жизнь.

Так думал я. Остальное потом.

[ИЗ ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ]

...Мой добрый слуга вошел в покой; с сердечностью глядел он на меня некоторое время. «Ваша милость привезли дурное настроение из Смирны»,— вскричал он наконец с движением в голосе.

— Ты полагаешь, это идет от Смирны? — спросил я.

— Да, именно так я полагаю.— Бог знает, чего только с вами там ни приключилось. Иной раз думается мне, надо бы вашей милости меньше принимать все это к сердцу.

«Не принимать к сердцу», увы, вызывало во мне всегда антипатию, и не было у меня охоты принимать советы по этому поводу, и я попытался мягко, насколько возможно, увести его от этого места.

— А как твои дела? — спросил я.

— Хорошо! — вскричал он.— Мне так хорошо, как птице в небе, с тех пор как я тут.

— Ты тоже тосковал по родине? — спросил я.

— Да нет, я бы не сказал. Я не печалился, когда был на чужбине, а все ж таки дома веселей. Глупая все-таки жизнь там у них. Всё у них там будто они друг другу чужие. А здесь у меня отец, и брат тоже.

— А как им жилось, пока тебя не было?

— Да уж жилось кое-как! Голодуха, конечно, и у тиниотов была.

— Охотно верю! — воскликнул я.

— И знаете ли, ваша милость,— продолжал он,— не в том только беда, что мало еды было, а в том, что даже на той, что имелась, не было благословения.

— Как так? — спросил я.

— Господи боже! — вскричал он.— Когда ты ешь еду в печалях и заботах и нет в тебе больше веры в дар господень, тогда ничем тебе не насытиться, ничем, хоть бы и было у тебя всего вдоволь.

Он заметил, что я смутился.

— Вот почему я,— продолжал он,— говорю мою простую молитву: «Господи боже! Сохрани меня от уныния!». В церковь я редко когда хожу; там люди про другое молятся и ученей, чем я; но, когда настают тяжелые дни и сдается, что уж и не будет хороших, и когда начинаешь нос воротить от пшеницы, будто от лебеды, и хочешь забить колодец, потому что в нем не всегда есть вода, — тогда, тогда я говорю свою молитву, и уже не раз замечал я, как много может значить для нас малое, ежели принимать с благодарностью, как укрепляет нас оно и сердце в тебе радуется,— говорите что хотите, сударь мой, но жизнь все-таки хороша!

ИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ НАБРОСКОВ

[СУЖДЕНИЕ И БЫТИЕ]

Суждение есть, в самом высоком и точном смысле, первоначальное разделение внутренне объединенных в интеллектуальном созерцании объекта и субъекта, то разделение, через которое объект и субъект только и становятся возможны, перво-деление (Ur-Teilung). В понятии разделения уже заложено понятие двухстороннего отношения объекта и субъекта и необходимая предпосылка целого, частями которого являются объект и субъект. «*Я* есть *Я*» — самый подходящий пример этого понятия суждения в качестве *теоретического* суждения, ибо в практическом суждении оно противополагается *Не-Я*, а не себе самому.

Действительность и возможность различаются как опосредованное и непосредственное сознание. Если я мыслю некий предмет как возможный, я повторяю лишь бывшее ранее в сознании, в силу которого он является действительным. Для нас нет никакой мыслимой возможности, которая не была бы действительностью. Поэтому понятие возможности совершенно не подходит для [обозначения] предметов разума, ибо они никогда не являются в сознании как то, чем они должны быть; здесь действует лишь понятие необходимости. Понятие возможности под-

ходит для предметов рассудка, понятие действительности — для предметов восприятия и созерцания.

Бытие выражает связь субъекта и объекта. Там, где субъект и объект соединены совершенно, а не частично, то есть соединены так, что никакое разделение их невозможно, без того чтобы не пострадало существо того, что должно быть разъединено, там, и только там, может идти речь *просто* о *бытии*, как мы это имеем в случае с интеллектуальным созерцанием.

Однако это бытие не надо смешивать с тождеством. Когда я говорю «Я есть Я», субъект (Я) и объект (Я) соединены не так, что их разделение невозможно, без того чтобы не пострадало существо того, что должно быть разъединено; напротив, Я только и возможно через это отделение Я от Я. Как могу я сказать «Я» без самосознания? Но как возможно самосознание? Только так, что я себя противопоставляю себе самому, отделяю себя от себя самого, но невзирая на это отделение опознаю себя в противопоставлении как то же самое. Но до какой степени как то же самое? Я могу, я должен так поставить вопрос, ибо в другом отношении оно противопоставлено самому себе. Следовательно, тождество не есть соединение объекта и субъекта, которое просто имеет место, следовательно тождество $\neq$ абсолютному бытию.

ГЕРМОКРАТ К КЕФАЛУ

Значит, ты серьезно думаешь, что идеал знания может быть представлен в какое-то определенное время в какой-то системе, которую все предчувствовали, а немногие знали в совершенстве? Ты даже веришь, что этот идеал теперь уже стал реальным и что Зевсу-Олимпийцу не хватает только пьедестала?

Пожалуй! Особенно если принять во внимание последнее!

И все же не странно ли было, если бы именно этому способу бренного стремления было отдано преимущество, если бы именно здесь оказалось то совершенство, которое каждый ищет, но никто не находит?

Я привык думать, что человеку для познания и действования необходим бесконечный прогресс, безграничное время, чтобы приблизиться к безграничному идеалу; мнение, будто научное знание в какое-то определенное время может оказаться завершенным, или совершенным, я назвал бы сциентивным квиетизмом; ошибка его, во всяком случае, лежала бы в том, что ему пришлось бы удовлетворяться индивидуально установленной границей или вообще отрицать существование границы там, где она была, но быть не должна.

Это, конечно, было бы возможно при некоторых предпосылках, которые ты мне в свое время изложишь как можно строже. Пока же разреши мне все-таки спросить: в самом деле, гипербола соединяется со своей асимптотой, [в самом деле] переход от... [?]

СТИХОТВОРЕНИЯ



ГРЕЦИЯ

Готхольду Штойдлину[1]

(Первая редакция)

Если б я тебя в тени платанов,
Где Илис[2] бежал среди цветов,
Где над Агорой[3], весельем прянув,
Расходился рокот голосов,
Где отвага юношей будила,
Где сердца к себе склонял Сократ,
В миртах, где Аспазия[4] бродила,
Где Платон[5] творил свой вертоград,

Где весною праздника напевы,
Звуки флейт восторженно лились,
В честь заступницы, Минервы-Девы,
Вниз с холма священного неслись,
Где вся жизнь — поэзией хранимой,
Сном богов, без времени, текла, —
Если б там нашел тебя, любимый,
Как душа давно уж обрела!

Ах, иначе обнял бы тебя я! —
Пеньем бы ты славил Марафон,
И мой взор, улыбкою играя,
Искрился б, восторгом упоен;
Грудь твою победа б молодила,
Лаврами чело твое обвив;
Скука жизни б затхлой не душила
Радости исполненный порыв.

Ах, звезда любви, твоей отрады,
Юношеский, розовый рассвет!

Лишь в чреде златых часов Эллады
Бега ты не чувствовал бы лет;
Словно пламень Весты[6], бесконечно
В каждом сердце там любовь жила,
Дивных Гесперид плодами вечно
Сладостная юность там цвела.

Если б все ж ты наделен судьбою
Был толикой этих лет златых,
Ты бы счастлив был нести с собою
Пламенным афинянам свой стих;
Струн звенело б радостное пенье,
Кровью лился б ток лозы хмельной,
Уносило б прочь отдохновенье
Агору с шумливою толпой.

Любящее сердце б не напрасно
Жарко билось в том краю земли
Для народа, пред которым страстно
Слезы благодарные текли;
Час придет, спасешься из неволи,
Прах отринешь в горестной борьбе!
Дух нетленный, в сей земной юдоли
Нет стихии, родственной тебе!

Где они, богов сыны в Афинах?
Аттика не вспрянет ото сна,
В мраморе поверженном, в руинах
Смертная таится тишина;
День весенний сходит и поныне,
Только братьев он не застает
В той священной Илиса долине, —
И пустыня дням теряет счет.

В край Алкея и Анакреона
Низойти пути бы моему,
Там, среди героев Марафона,
В тесном я хочу уснуть дому!
Ах, последний этот плач умолкнет
О священной Греции моей,
Пусть же Парка[7] ножницами щелкнет, —
Сердцем я уже среди теней.

К НОЙФЕРУ

В марте 1794 года

Не плачу я... Весны очарованье
Златит весь мир, напомнив детство вновь,
И, возбудив и боль и упованье,
Мои глаза кропит росой любовь.

Еще мне дарят сладкую отраду
Лазурь небес и изумрудный луг.
И, внемля здесь земли божественному саду,
Я пью нектар у радости из рук.

Прими и боль! Обид во искупленье
Нам дар лучей благое солнце шлет,
И лучших дней в душе еще живут виденья,
И в ласке милых глаз о нас слеза живет!

К ВЕСНЕ

Уст цветы отцвели и холмы рамен преклонились
<...>
Но ты, сердце, живо еще! Как Селена любимца[1]

Будит, так радость, чадо божие, сны мои гонит
Прочь, брожу ли, пленен сестрою младости пылкой,
Вешней Флорой, по милым моим полям и милейшим
Рощам, средь шумных крон, пронизанных ясной улыбкой,
Полных свистами птиц, ликованьем резвого ветра...
Сладок мне буйный клич пирующей юной природы!
Вновь ты сердце пьянишь и поля, вешнее чадо,
Солнца радостный луч! О первенец! Здравствуй,
Первенец времени! Славься, ликующий! Здравствуй!
Вот пали цепи и, буйнокипящая, славит
Волю волна, сотрясая пространство. И, юны,
Крепки, мы, грудь обнажив, отдаваясь потоку,
С ним воспряв, с ним и пав, ликуя, в вечном движенье
Славим чудо Весны и кличем вешнее солнце.
Брате! Млеет земля в лучах улыбки эфира,
Ждет и тает в волнах любви и, словно танцует,
Негой счастья полна. О радость! Бьет час: подъемлет
Жезл свой над краем гор сын элизейской долины.
Каждый видел, как милого друга Флора встречает,

Как тоскует в плаще росы, предвкушая рожденье
Огненных стрел над темницею гор! Вот румянец
Тронул бутоны ланит, пробудило пыланье
Кроткую, флер совлекая, и нежные чада,
Травы, рощи, цветы, виноградные лозы, побеги,
<...>
Спи же, спят и твои, в благости, мирные чада,
Мать Земля! Спи же, спи! Ведь Гелиос в царство покоя
Ввел коней огнегривых. И доброе воинство неба —
Вон Персей, а вон Геркулес! — проходит с любовью
Над природой младой, полной свежим, звучным дыханьем
Вешней ночи, и сладок шум, и ручьи издалека
Колыбельную песню поют...

ЮНОША ОТВЕЧАЕТ МУДРЫМ СОВЕТЧИКАМ

Оцвесть в тиши и пред красой небесной
Принудить сердце страстью не пылать?
Вас позабавив лебединой песней,
Еще живым могильный свод узнать?
О, сохрани младое буйство все же,
Жизнь! Ты — река, и твой поток течет,
В избытке сил биясь на тесном ложе,
Туда, где тишь родного моря ждет.

Лоза не любит берег охладелый
И Гесперид плоды бы не росли
В златом саду, когда б лучи, как стрелы,
Не били в сердце матери-земли.
Не вам смягчить, коль век мой нижет звенья,
Железных пут сжигающую власть!
Не вам отнять, негодным на боренья,
Мой пылкий мир, где я живу, борясь.

Нет, жизнь — не сон у врат иного мира,
И гнев огня смирять не обречен
Могучий горний дух, дитя эфира!
Сей пылкий бог не для ярма рожден.
Он в ток времен, в столетий водопады
С небес ныряет дерзко и светло,
Пловца влекут на краткий миг наяды,
Но все ясней в волнах его чело.

Есть счастье сильных — биться без оглядки
Не ради догм, давно разбитых в пух.
Кедр не растет в оранжерейной кадке,
Вам к услуженью не принудить дух.
Не удержать коней огненногривых!
Оставь звезде ее небесный путь!
Я не смирюсь от ваших слов пугливых,
И под ярмо меня вам не согнуть.

Вам красоты не по душе святыни?
Так что же бой открыто не идет,
Когда на крест мечтателя и ныне
Синедрион сладкоречивый шлет?
В земном аду вы явно преуспели,
И, вашим пеньем заворожены,
Ужель гребцы свернут на ваши мели,
Плывя в страну надежды и весны?

Вотще! Вотще ждет от меня терпенья
Мой дряхлый век, как надоевший груз;
Тоскую я по небу вдохновенья,
В зеленый край, где зреет жизнь, стремлюсь;
Вы, мертвецы, останьтесь с мертвецами [1],
Среди могил земной удел кляня!
А здесь вовсю цветет и спорит с вами
Сама Природа в сердце у меня.

ЭПИГРАММЫ

ДОБРЫЙ СОВЕТ

Сердце имея и ум, проявляй либо то, либо это,
Вместе выкажешь их, вместе тебя проклянут.

[СОВЕРШЕННЫЕ]

Милые братья, не ставьте превыше всего совершенство;
Славьте судьбу, сохраняя достоинство ремесла;
Дай голове занестись, и хвост за нею туда же,
И классический век наших поэтов пройдет.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ

Богом газетных писак Аполлон почитается ныне,
Ныне избранник его — фактов надежный слуга.

ФАЛЬШИВАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ

О знаток человека! Перед детьми он ребячлив;
Дерево же и дитя высшего ищут вокруг.

ДУБЫ

Из садов поднялся я к вам, о дети нагорий!
Из садов, где, привычна ярму, покорно природа
Делит заботу с людьми, их лелея, взлелеяна ими.
Но вы, вы — державные! Как древле племя титанов,
Робкий прокляли мир и верны себе лишь и небу,
Здесь взрастившему вас, и земле, что вас породила.
Горд, средь вас ни один не выбрал людские уроки,
Но — брат меж братьев своих — поднялся, почуяв подмогу
Сильных корней, над долиной, и воздух, что кречет — добычу,
Сжал когтями ветвей исполинских, направив навстречу
Тучам мужество кроны мощной, пронизанной солнцем.
Целый мир зрю в каждом из вас. Как звезды эфира,
Боги, длитесь в веках, сплетясь в свободном союзе!
Если сносить ярмо я мог бы, то к вольной дубраве

Зависти горькой не знал, тогда я сжился легко бы
С общим миром людским. Ах, когда б, как цепями, любовью
Не был прикован к нему, вольный, жил бы я с вами!

К ЭФИРУ

Никогда обо мне никто, ни люди, ни боги,
Так не пекся, как ты, Эфир! И разве впервые
Мать, объятья свои раскрыв, меня накормила?
Первый обнял меня ты, отче, нектаром насытил
И священный свой дух вдохнул в растущее сердце.

Не сполна от земли земные кормятся чада,
Но напитком твоим небесным полнятся, отче!
И как вечно свои дары льет рог изобилья,
Веет пылкий твой ветр сквозь поры трепетной жизни.
Потому и ликуют земные чада, и к небу,
Неустанно борясь, стремятся в собственном росте.

Сладостный! Разве не твой мед пьют очи растений?
Тянет ли не к тебе промерзшие пальцы кустарник?
И свой твердый покров разрывает зарытое семя,
Животворным твоим теплом мечтая омыться.
Снег слетает с ветвей подобно груде лохмотьев,

Прыгают рыбы вверх над яркой гладью
потока,
Ибо ждут и они, наскучавшись в своей
колыбели,
Щедрой ласки твоей... Вот и благородные
звери
В буйном беге почти летят, объяты любовью,
Той, что каждый их шаг к тебе стремит и
вздымает.

Вот, подобный клинку распрямившейся
в воздухе стали,
Бремя грешной земли отвергает конь
горделивый.
Словно в шутку, олень копытом трогает
травы,
Прочь стремясь, а коли встретит ручей
шаловливый,
Легче ветра над ним скользнет — и как
не бывало!
Но любимцы Эфира — лишь вы, о вольные
птицы!
Сладко жить вам и петь в отцовских вечных
палатах:
Места хватит на всех... И не обозначены
тропы
В этом доме, открытом всем, большим или
малым.
Звонкой стайкой вьетесь вы надо мной и
маните сердце
Чудом вырваться к вам, подобен родине
светлой
Ваш приветливый мир... И я на снежные
Альпы

Смог подняться б, и с них взлететь, влекомый
орлами,
Из неволи своей земной в обитель Эфира
Так, как древле взлетел с орлом к Олимпу
счастливец.

Зло и слепо мечемся мы внизу; подобно
заблудшим
Виноградным лозам, лишенным выхода
к небу,
На земле мы ищем себе опору с возрастом,
с ростом
Расползаемся мы по свету, отче, но тщетно,
Ибо гонит нас страсть к садам и кущам
Эфира.
Лишь воля волн покоряет нас, лазурная нива
Насыщает, и с дерзким пока играет стихия
Килем, радуется душа священной силе Нерея.
Но тесны и моря, если рядом есть ширь
океана,
Тех пушинок — валов колыбель... О, кто бы
направил
К золотым твоим берегам скитальческий
парус!

И когда загляжусь я в туманные дали,
тоскуя,
Вновь приснятся мне волны, обнявшие берег
чужой,
То приди мне навстречу по кронам цветущих
деревьев
С легким шумом, Эфир! И утешь страдающий
дух мой,
Чтобы снова я жил, тих и счастлив,
с цветами земли

* * *

...и по вечному кругу
С тихой своей улыбкой шли в славе вожди
Мира: солнце, луна и звезды. И всполохи — молний
Дети твои, о миг! — дивно играли вокруг нас.
Но в глубинах сознанья, двойник держителей неба,
Равный им в славе, всходил вечный бог нашей любви.
И, как легкий эфир, вихрил он кроткую душу
Так, что, дыханьем весны преполнясь, она
Быстрой плескала струей прочь, в море полдневного света,
В кровь вечерней зари, в теплую ночи волну.
Как свободно жилось нам в этих замкнутых сферах,
На стихиях души кроткий познав идеал,
Беспечально, легко, то к взору взор, то, порою,
В далях мечты, но всегда в светлом единстве своем.
Древо любви и счастья! Как долго мог бы я слушать
Твой немолчный напев, петь возле кроны твоей...
Но кто бродит в тумане? В полях, в платьях как марево? — Девы...
Чует сердце, средь них есть и подруга моя.
Так позволь мне теперь выбрать тропу, что дороже
Кроткому сердцу, искать милый,томительный след,
Но и ты до конца, брате, пребудешь со мною —

В мыслях ли о тебе, образе милой моей.
И, чрез время, когда буду с единственной, с нею
Как же мы жадно войдем вместе под дружеский кров!
Примешь безгневно двоих, ровною сенью одаришь,
Песнь блаженных сердец тихо нам прошелестишь.

К ДИОТИМЕ

К нам иди и смотри на радость; тут свежие
Веют ветвями дубрав, [ветры
Словно кудрями в танце, и, как со звончатой
Некий радостный дух, [лирой
Так с землей в лучах и дождях играет и небо;
Словно бы нежный спор
О совершенстве струн в бессчетном
Беглые звуки ведут, [столпотворенье
Странствуют сумрак и свет в их мелодической
По-над обителью гор [смене
Тихо сначала разбужен слезой серебристою
Брат небесный, поток, [неба
Но уж ближе оно, вот дарит благой полнотою,
Бывшей в сердце его,
Сень дубрав и поток, и...
. . .

Зелень нежных дубрав и образ неба в потоке
Смерклись, укрывшись от нас;
И вдали утес одинокий, и хижины в скалах
Словно у чресел его,
И отроги, что вкруг него, подобно ягнятам,
Сбились, цветом кустов,

Словно нежною шерстью, покрыты, тучны от влаги
Горных холодных ручьев,
И за дымкой внизу дол, полный трепетных всходов,
Все деревья в саду,
Равно близость и даль — всё в веселом бегстве смешалось;
Светлый полдень угас.
Но прошумели везде небесной влаги потоки,
И, ясна и юна,
Вновь с потомством своим выходит Земля из купальни.
Радостней и живей
Блещет зелень дубрав, сверкает злато соцветий,
. . .
Белый, будто бы стадо пастух купает в потоке,
. . .

К ДИОТИМЕ

Солнце жизни! Цветком, огражденным от непогоды,
Нежная, в мире зимы замкнуто ты расцвела,
Любы думы тебе всё о воле под вешним светилом,
Полон щедрым теплом, грезится мир молодой.
Но уж в прошлом твои лучи, о светлое время,
Только слышен в ночи ветра разбойничий свист.

ДИОТИМА

О, приди и утешь, ты, кому стихии покорны,
Преданны музы небес, хаос подвластен времен,

Битвы гром заглуши миротворными звуками неба,
Так чтобы в смертных сердцах горький разрыв исцелить,
Чтобы природа людей, как встарь величаво-спокойна,
Вновь из бродильни времен мощно, светло вознеслась.
В сердце народа вернись, красота неизменно живая!
Сядь за праздничный стол, в храм лучезарный вернись!
Ведь Диотима живет, словно нежные стебли зимою,
Духом богата своим, тянется к солнцу она.
Солнце ее, лучезарное время, в глубоком закате,
И в морозной ночи бури стенают теперь.

К НОЙФЕРУ

Братское сердце! К тебе я пришел, как росистое утро,
Ты, словно чашу цветка, радости душу открой,
Небо в себе заключи, облака золотые восторга.
Светлым и быстрым дождем звуков прольются они.

Друг! Я не знаю себя, никого из людей я не знаю.
Дух стыдится теперь всех помышлений своих.

Он бы хотел их объять, как все земные предметы,
Он бы...
Но он не властен в себе, и вечная мысли твердыня
Рухнула...

ДОСУГ

Спит безмятежно грудь, и покоятся строгие мысли.
Я на луг выхожу, где уже пробиваются травы
Свежие, как ручеек, где цветка прелестные губы,
Тихо приотворясь, обдают меня нежным дыханьем,
В купах дерев с бессчетных ветвей, словно свечи, горящих
Пламенем жизни, в глаза мне блещут цветы, розовея,
Где под солнцем в ручье резвятся довольные рыбки,
Где вкруг птенцов неразумных у гнездышка ласточка вьется,
Где отрадно кружить мотылькам и пчелам, брожу я
Там средь веселия их; я стою средь мирного поля,
Словно любящий вяз, и меня вокруг оплетает
Нежная жизни игра, словно ствол его — лозы и гроздья.

Часто гляжу я наверх, на гору, что облаком светлым
Темя венчает свое, отряхая темные кудри
В ветре; когда же меня на мощном плече она держит,
Легкий когда ветерок во мне все чувства чарует
И подо мной простирается дол бесконечный, подобный
Пестрому облаку,— я превращаюсь в орла, и кочует
Жизнь моя, как номады, в бескрайнем пространстве природы.
Все же к жизни людей тропа меня вновь возвращает,
Виден мне город вдали, он мерцает, как панцирь железный,
Кованный против гремящего бога людскими руками.
Смотрит надменно он ввысь, и покоятся подле селенья,
И облекает крыши домов, багровея в закате,
Дым очагов дружелюбный; в садах, огражденных с заботой,
Тихо, и плуг задремал среди одинокого поля.

Но в сиянье луны белеют колонны развалин,
Храма врата, в которые встарь устрашающий, тайный
Дух беспокойства вступил, что в груди у земли и у смертных
Пышет и злобствует, неодолим, покоритель исконный,

Что города, как ягнят, потрошит, что на приступ однажды
Брал и Олимп, что в горах не спит и огонь извергает,
Темные сводит леса и стремится за океаны,
В море крушит корабли, — и все же предвечный порядок
Твой, о природа, ему не смутить, со скрижалей законов
Буквы одной не стереть: ведь и он — твой сын, о природа,
С духом покоя одним материнским чревом рожденный.

Если ж я в доме моем, где деревья в окно шелестят мне,
Где играют лучи с ветерком, о жизни людей земнородных
Две-три бессмертных страницы на радость себе прочитаю:
«Жизнь! О жизнь земли! Ты подобна священному лесу!».
Молвлю я: «Пусть тебя топором, кто хочет, равняет,
Счастлив я жизнью в тебе!».

* * *

Безмолвные народы спали, но прозрела
Судьба, что сон их чуток, и явился
Бесстрашно — грозный
Природы сын, дух древний непокоя.
Он встрепенулся, как огонь, который дышит
В земных бродильнях, стены старых городов

Он осыпает, как плодовые деревья,
Ломает горы и крушит дубы и камни.
И, как моря, вскипая, зашумели
Войска, и, как владыка Посейдон,
Чей-то высокий дух встал над кипеньем
схватки,
И чья-то пламенная кровь текла по полю
смерти...
И все людские силы и желанья
Отбушевали на чудовищной постели
Сражений, где от Рейна синего до Тибра,
Как дикая гармония, творился
Неудержимый многолетний бой.
Так в это время дерзостной игрой
Пытала смертных мощная судьба.
. . .
И вновь тебе плоды сияют золотые,
Как чистая звезда в прохладной но́чи
Рощ италийских, темных померанцев...

БУОНАПАРТЕ

Поэты — те священные сосуды,
Которые жизни вино —
Дух героев — хранят исстари.

Но этого юноши дух
Стремительный — как его примет,
Не разорвавшись в куски, сосуд?

Не тронь же его, поэт: он — дух природы.
Трудясь над ним, созреет в мастера
мальчик.

Не может он жить, хранимый в стихе,—
Нетленный, он в мире живет.

[МАЛЕНЬКИЕ ОДЫ]

К ПАРКАМ

Еще одно мне дайте, могучие,
Благое лето — и тучной осенью
Пожну я звуки! Будет сердце
— Песнью насытясь — готово к
смерти.

Немые души, чей втуне божий дар
Пропал при жизни, и в Орке мучимы
Тоской... Но, если песня грянет
— Образ и отсвет огня святого,

Приму я нежно влагу забвения!
И если, дрогнув в страхе, пред Летою
Замолкнут струны — буду счастлив,
Зная: с богами я жил однажды!

ДИОТИМА

Молчишь и терпишь, о благородная!
Гонима всеми, очи таишь, страшась
Дней лучезарных, ибо тщетны
Поиски милых тебе под солнцем.

Цари и братья жили подобные
Дубраве вольной, радостно славили
Страну отцов, любовь и негу,
Вечную ласку родного неба.

К ЕЕ ГЕНИЮ

Шли изобильно ей в дар плоды и цветы полевые,
Вечную молодость ей, благостный дух, ниспошли!
Облаком счастья укрой, — да не знает афинянки сердце,
Как одиноко оно в этом столетье чужом.
Только в краю блаженных очнется она и обнимет
Светлых своих сестер, видевших Фидиев век.

МОЛЬБА

Ты мне прости, что я нарушал, блаженная,
Твой божественный мир, самые скрытые
Скорби жизни задели
И тебя по моей вине.

О, забудь и прости! Пройду я облаком
Прочь с лица луны навсегда, а ты,
Вновь прекрасно сияя,
Безмятежной останься, свет!

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

Сулило радость мне утро в юности
И слезы — вечер. Теперь, у гребня лет,
Вселяет смуту день грядущий
И исцеляет вечерний сумрак.

ПУТЬ ЖИЗНИ

Ввысь стремился мой дух, но без труда любовь
Вниз тянула его; гнет его ныне скорбь;
Так круг жизни замкнулся
Там, откуда я начал путь.

КРАТКОСТЬ

Как ты, песнь, коротка! Иль не мила тебе
Ткань напева, как встарь? И тогда, в юности,
В дни надежд — иль забылось?
Нескончаемо песнь ты длил.

Миг — и счастье, и песнь. В зорю вечернюю
Окунусь ли — уж темь, и холодна земля,
И, мелькая, все чертит
Птица ночи у глаз крылом.

ЛЮБЯЩИЕ

Нам расстаться с тобой? Здравый и мудрый шаг?
Что же, дело свершив, словно убийство зрим?
Ах, себя мы не знаем,
Ибо правит в нас некий бог.

МИРСКАЯ СЛАВА

Нынче сердце мое жизни святой полно,
Счастлив я и люблю! Вы же внимали мне,
Лишь когда я гордыни,
Пустословья исполнен был.

Привлекает толпу гомон лишь рыночный,
И в чести у раба сила лишь властная.
Чтит божественность жизни,
Лишь кто богу подобен сам.

РОДИНА

Спешит, ликуя, в гавань свою моряк
С богатым грузом — данью заморских стран.
Но что везу я в край мой отчий,
Кроме безмерной моей печали?

О милый берег, ты возрастил меня,
Не ты ль утешишь муки моей любви?
Не ты ль, мой лес, вернешь мне детство
И успокоишь навек скитальца?

УПОВАНИЕ

О возлюбленная! — Мучит тебя недуг,
Плачет сердце мое, брезжит в нем тайный страх;
Нет, не верю! — Ты любишь,
Разве можешь ты умереть!?

НЕПРОСТИТЕЛЬНОЕ

Если друга забыл, гордый унизил дух
И заветы певца встретил насмешкою —
Бог простит. Но и в мыслях
Не мешай счастью любящих.

ПОЭТЫ-ЛИЦЕМЕРЫ

Племя ханжеское, хоть о богах молчи!
Холод в ваших умах, ничто вам Гелиос,
Да и сам Зевс, и бог морей;
Мир ваш мертв, кому вас чествовать?

Утешьтесь боги! Вами украшена песнь,
Пусть даже из ваших имен душа выдохлась,
А есть нужда в глубоком слове,
Мать-Природа, тебя помянем!

ЗАКАТ СОЛНЦА

О, где ты? Буйно душу мою пьянит
Твое блаженство, словно подслушал я
Украдкой, как на вещей лире
Юноша-солнце, светясь, играет

Свой гимн вечерний, звуков небесных полн;
И вторят все холмы и леса вокруг.
Но путь его лежит к народам,
Где благочестье в чести и ныне.

К СОЛНЦЕБОГУ

Где ты? Блаженство полнит всю душу мне,
Пьянит меня: мне все еще видится,
Как, утомлен дневной дорогой,
Бог-светоносец, клонясь к закату,

Купает кудри юные в золоте...
И взор мой все стремится вослед ему,
Но к мирным племенам ушел он,
Где воссылают ему молитвы.

Земля, любовь моя! Мы скорбим вдвоем
О светлом боге, что отлетел от нас.
И наша грусть, как в раннем детстве,
Клонит нас в сон. Мы как струны арфы:

Пока рука арфиста не тронет их,
Там смутный ветер будит неверный звук,
И лишь любимого дыханье
Радость и жизнь возвратит нам снова.

СОКРАТ И АЛКИВИАД

«Святой Сократ, что же ты чествуешь
Этакого юнца? Нет никого почтеннее?
Так глядишь на него, как будто
Он к сонму богов причтен?»

Кто глубины познал, влюблен в живейшее,
Зоркий зрит возвышенность юности,
И мудрец на закате
Склонен к прекрасному.

ВАНИНИ

«Богоотступник!» — кляли тебя? И брань,
Как ношу, плача, сердце несло, потом
Пленили тело, плоть святую
Бросили в пламя... Почто же, правый,

Не встал по смерти в блеске небесных сил,
Огню не предал клеветников и вихрь
Не вызвал, чтобы пепел диких
Выместь из чрева земли родимой?

Но ты, природа, мать и жена ему,
Его принявшая, ныне забыла ты
Дела людей, и злейший недруг
В той же земле упокоен с миром.

ПЕСНЬ СУДЬБЫ ГИПЕРИОНА

Витаете в горнем свету,
На мягком подножье, Благие!
Божественный дух
Вас облачает в блики —
Так трогают пальцы арфистки
Струны святые.

Безучастно младенчески
Дыханье сна небесного;
Чисто покоясь
В застенчивых почках,
Вечно цветет
Ваша душа,
Блаженный взор
В тишь устремлен
К ясности вечной.

А нам суждено
Блуждать бесприютно,
Страждущий люд
Вечно в пути
От часа слепого
К слепому часу,
Словно вода
От утеса к утесу,
В вечных поисках бездны.

* * *

Когда я был дитя,
Бог меня часто спасал
От суда и крика людского,
Я безмятежно играл
С цветами зеленых рощ,
И ветерки небес
Играли со мной.

Как же, сердце, ты
Радовалось траве,
Как та навстречу тебе
Тянула руки свои,

Так же радовал сердце ты,
Отец Гелиос! И, словно Эндимион,
Твоим я был милым,
Луна святая!

О вы, мне верные
Благие боги!
Вы бы знали,
Как душа моя вас любила!

Пусть еще тогда я не звал
По именам вас и вы
Так меня не звали, как люди
Называют друг друга.

Но знал я вас лучше,
Чем когда-либо знал людей,
Я внимал тишине эфира,
Слов людских я не понимал.

Я взращен глаголом
Благозвучных рощ,
Я любить учился
Среди цветов.

На ладони богов я рос.

БИТВА

Заря германцев, битва, настал твой час!
Кровоточащим светом над всей землей
Вспыхни скорей — уже не дети,
Больше не станут терпеть германцы.

Вот и настала битва! Уже с холмов
Потоком бурным ринулись юноши
В долину — встретить войско вражье,
Твердое силой меча, но духом

Вы тверже, чем губителей полчища:
Правое дело дивных родит бойцов,
Они поют хвалу отчизне —
И у бесчестных дрожат колени.

Меня, меня возьмите в свои ряды:
Я не хочу в ничтожестве дни влачить!
Чем ждать бесславной смерти, лучше
Мертвым на жертвенном лечь кургане

За родину. Я кровью хочу истечь
За родину. И час настает! Ведь я
С детства предчувствовал, что этот
Выпадет мне достославный жребий.

Я с дрожью и восторгом внимал тогда
Преданьям о героях. Но вот и сам,
Муж, а не мальчик, к богоравным
Теням схожу, умирать учившим.

Как жаждал я увидеть воочию
Поэтов и героев былых времен!
И вот безвестного пришельца
Братским встречаете вы приветом.

Гонцы к нам сходят, славную весть неся:
Победа наша! Здравствуй, о родина,
И павших не считай! Дороже
Жизни любого ты, дорогая!

АХИЛЛ

Влаственный сын богов! Изведав разлуку с любимой,
Плакал ты над волной, ник на морском берегу,
Сетуя и моля, стремилась в священную бездну,
В тишь, изверясь, душа... В бездне, где шум кораблей
Глух, далеко под волнами, в гроте укромном Фетида,
Щит надеждам твоим, моря богиня, жила.
Юноше нежная мать была морская царица,
Пестуя чадо свое здесь, на крутом берегу
Острова, омывала она его в купели героев,
Песням могучих волн часто учила его.
И услышала мать мольбы любимого сына,
Облачком легким в слезах тихо со дна поднялась,

Негой своих объятий смягчила муки питомца,
Чутко внимала речам и обещала помочь.

Сын богов! Если бы я мог небесному другу
С глазу на глаз, как ты, выплакать тайную боль!
Но с тоской бегу я от взоров, как если бы чужд был
Той, что все ж обо мне думает, слезы лия.
Духи добрых надежд! Вам внятны людские моленья,
Вас лелею в душе, гении светлых небес,
И тебя, мать Земля, и вас, речушки и рощи,
Чистым сердцем твою отчую чувствую власть,
О Эфир! Утешьте ж меня, великие боги,
Чтобы ранней порой не огрубела душа,
Чтобы вам я на благо жил и вас, всеблагие,
В тихом убежище дней в песнях благодарил
За минувшую радость, сей дар моей юности быстрой,
С коим в светлый ваш круг я, одинокий, войду.

* * *

Некогда боги с людьми и блестящие музы водились,
И молодой Аполлон, солнечный, чуткий, как ты.
Ты же, ты — вестница их, словно свыше один из священных
В жизнь мою вдунул тебя; образ сопутствует твой

Боли моей и судьбе, проникая в любое творенье,
Вплоть до поры, как умру, смертью уверясь в тебе.

Дай же нам в жизни пожить, ты, с кем рядом горю и страдаю,
Ты, с которой стремлюсь к солнцу ясных времен.
Есть мы и будем! О нас будут знать и в грядущие годы.
Вспомнят о нас, о двоих, гения суть отыскав,
Скажут: однажды, любя, одиночество вынесли двое,
Мир потайной сотворив, явственный только богам.
Кто лишь о смертном печется, тот в бренную землю уходит,
Но до эфирных высот, к свету возносится тот,
Чтит кто и тайны любви, и высотам божественным верен,
Тот, кто, в надежде живя, тихо смиряет судьбу.

ЭПИГРАММЫ

ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΟΝ

В жизни искусство ищи, в искусстве — явление жизни,
Верно увидишь одно, верно второе поймешь.

СОФОКЛ

Тщетно иные пытались радостно выразить радость,
Слышу ее наконец, высказанной чрез печаль.

[СЕРДИТЫЙ ПОЭТ]

Злости поэта не бойтесь [1], пусть буквой она убивает,
Но благородством своим мысль оживляет в умах.

[ШУТНИКИ]

Душу вы раните мне вечной игрой несерьезной,
Тот, кто только острит, взят сомнением в плен.

КОРЕНЬ ВСЕХ ЗОЛ

Благо едиными быть, откуда же вера людская
В благо — единственным стать, имея что-то одно?

ПИСЬМА



МАУЛЬБРОНН

Из № 23. МАТЕРИ

[Маульбронн, около 10 июня 1788 г.]

Среда, 4 июня

Я пробыл в Мангейме до 10 часов утра, в каковое время нанес визит надворному советнику Диллениусу, *дядюшке* моего Мерклина, где встретил отличный прием. — Потом я вновь пробежался по наилучшим улицам города, осмотрел замок и бастион, и повсюду здесь дворцы, повергающие меня в изумление. Между тем спутники мои приготовились к отъезду, я вскочил в коляску и с неохотой расстался с местом, где мог бы увидеть еще столь много вещей достопримечательных, почерпнуть столько новых идей. Через пять мостов переехали мы, прежде чем оказались на твердой земле; тот, что перекинут через собственно Рейн, неимоверно длинен, и притом на понтонах. Здесь стоят на якорях большие лодки, в ряд одна к другой, а на них уж положен мост. Когда подходят корабли, тут есть такие машины, которыми мост в разных местах раскрывается. Но что более всего привлекло к себе мой взгляд, так это корабли курфюрста, которые стояли у берега. От воды до палубы (то есть не считая того, что внизу) высота с небольшой этаж, а длина фута 24 будет, мачта над палубой возвыша-

лась на большой этаж — а с нее свисало множество концов (канатов), чтобы поднимать и опускать мачту, убирать и ставить паруса. Совсем впереди был домик с зелеными ставнями, а весь корабль вообще был покрашен желтым и красным. Их там было два, совсем одинаковых, только что корабль курфюрстины был немного поменьше, чем самого Теодора (курфюрста) [1].

По прекрасным аллеям въехали мы в Оккерсхайм, где у курфюрстины ее резиденция. И здесь я оказался на том самом постоялом дворе, где долго жил Шиллер, после того как убежал из Штутгарта. Это место для меня свято — и я с большим трудом смог удержаться от слез, которые у меня вызвало восхищение перед гением великого поэта. Про увеселительный дворец курфюрстины ничего, в сущности, сказать не могу: я ничего не видел, просто дома и сады, потому что из головы у меня не шел Шиллер. К полудню приехали мы во Франкенталь. Поевши, отправились сначала в Гегелеву книгопечатню, потом на фарфоровую фабрику, где я в магазине видел прекрасные работы, а оттуда — на шелкоткацкую фабрику, где мне тоже чрезвычайно понравилось, а оттуда — на Канал, очень достопримечательное сооружение. Описывать его Вам здесь я не берусь, потому что и сам получил о нем туманное представление.

В тот же день к вечеру мы опять вернулись в Шпейер — и так я за короткое время посмотрел главные достойные внимания города

Пфальца. Завтра еще похожу по Шпейеру.<...>

Четверг, 5 июня

<...>Оттуда пошел я к советнику Бослеру, посмотрел его музыкальный магазин. Мне там очень понравилось. Но поспешу описать Вам предмет более интересный. За утро я более или менее осмотрелся в Шпейере. Поэтому послеобеденное время я хотел провести на лоне природы, чтобы глаз мой насладился видом окрестных мест. Почти целый день кружил я вокруг Шпейера, но не нашел ничего, что бы привлекло к себе особенно мой взгляд. День уже клонился к вечеру, когда я вышел на так называемый Гран (где разгружают товары с кораблей). И я почувствовал себя будто вновь родился перед тем, что представилось моему взору. Мои чувства обострились, сердце забилось сильней, мой дух воспарил к необозримым высотам — глаз был поражен — я не мог понять, что́ я вижу,— и я стоял там, подобный соляному столбу.

Представьте себе спокойно-величавый Рейн, протянувшийся так далеко, что вверх по течению корабли на нем были едва видны, внизу же он казался голубой стеной, сливаясь с небом, а на том берегу — плотные, глухие леса, а над лесами — в вечерней дымке Гейдельбергские горы, а с краю, ниже — беспредельная равнина — и все исполнено господней благодати — а вокруг меня всё в движении — тут разгружается корабль, там другие отча-

ливают, и вечерний ветер наполняет раздувающиеся паруса... Глубоко тронутый, отправился я домой и благодарил Бога, что мне дано воспринять то, мимо чего равнодушно спешат тысячи, то ли потому, что предмет им привычен, то ли сердца их заскорузли.

Вечер провел я за кружкой пива в прекрасном расположении духа — люди охотно видели бы меня в своем обществе дольше, это можно было прочесть на их лицах.<...>

ТЮБИНГЕН

Из № 43. СЕСТРЕ

[Тюбинген, по-видимому, конец марта 1791 г.]

Милая Рика!

Я рад, что письмо мое понравилось тебе. Я сказал, как думал, а это не лучший способ понравиться представительнице твоего пола. Так вот, милая Рика! — Если б мне было дано основать царство, если б дана была мне сила и власть управлять умами и сердцами людей,— то одним из первых моих законов было бы: пусть каждый будет тем, что он есть на самом деле. Пусть каждый говорит и действует так, как думает, как велит ему его сердце. Тогда не увидела бы ты боле нигде шелухи пустых комплиментов, люди не проводили бы по полдня за беседой, не сказавши ни единого *сердечного* слова, добры и благородны *стали бы* они, ибо им не надо

было, не хотелось бы *казаться* добрыми и благородными; вот тогда-то и возникла бы настоящая дружба, где друзья любили друг друга до гроба, и, как я полагаю, и супружество стало бы лучше и лучше дети. *Правдивость!* <...>

<...> И мое величайшее желание: жить однажды в покое и уединении и писать книги, не голодая при этом.

№ 50. НОЙФЕРУ

[Тюбинген, после пасхальных каникул (8 апреля) 1792 г.]

Быть бы мне сейчас с тобой, брат души моей! А то сижу я один-одинешенек в моих мрачных стенах, и подсчитываю скудное свое достояние сердечных радостей, и восхищаюсь своей безропотностью. Ты и Прелестный Образ являетесь мне порой, в часы просветления. Но милых гостей встречает не очень-то приветливый хозяин. С моими надеждами я покончил, как я и решил. Поверь мне, что прекрасный цветок, пленивший и тебя, прекраснейший в венке земных радостей, никогда больше не расцветет для меня. Да, конечно, горько знать, что есть на свете такая красота и такое совершенство, а ты должен сказать своему сердцу, часто столь гордому: не тебе принадлежат они! Но не безумно ли и неблагодарно возжелать себе вечной радости, коль скоро тебе посчастливилось немножко порадоваться? Милый брат! Я утратил все свое мужество, поэтому хорошо, что я не желаю

слишком многого. Я хватаюсь за все, о чем могу предположить, что оно даст мне забвенье, и всякий раз чувствую, что совсем разладился и не способен радоваться, подобно другим детям человеческим. И в тысячный раз подумал я, что, если б я был подле тебя, все стало бы вскоре иначе. Ты не можешь себе представить, как часто я с тоской вспоминаю те счастливые дни, когда мы жили здесь вместе. — Но не стану мучить тебя дальше своими ламентациями. Жизнь твоя так светла, что грех омрачать ее таким образом. Верго [2] вновь пробудил во мне воспоминание о моих кратких радостях. Как ребенок, радовался я милому греку. Каффро [3] имел здесь бурный успех. Я по этому поводу снова впал в хандру, однако же она не стоит того, чтобы распространяться о ней далее. До чего же нище выглядит иной раз внутри сердце человеческое.

В моем гимне Свободе я по небрежности добавил в одной строфе слово, которое там быть не должно:

Um der Güter, so die Seele füllen,
Um der angestammten Göttermacht,
Brüder, ach! um unsrer Liebe willen,
Rrüder! Könige der Endlichkeit! erwacht!

Эти «Brüder» в последнем стихе дают два лишних слога. Скажи любезному доктору, пусть он их вычеркнет. Быть может, это стихотворение еще не вышло из печати. Для меня весьма существенно, чтобы такая грубая

поэтическая ошибка не явилась на глаза публике.

Если ты посетишь своих друзей и подруг, то вспомни, как бы хорошо было бедному малому в Тюбингене, ежели б и он был там же, и передай им, как сможешь и как захочешь, мои приветы. Ноты я пришлю, как только их перепишут. И, вероятно, напишу при этом глупейшее письмо. Так, заодно. Она и без того вряд ли имеет обо мне лестное мнение. Я вел себя во все время так неловко. Когда я вспоминаю, как, прощаясь, забыл, что надо было предложить проводить ее, я готов разбить себе голову. Но, как уже сказано, я покончил с моими детскими надеждами. Потому и не должно меня огорчать, если она и расхохочется над хилым поэтом. Однако же для этого душа ее слишком нежна и добра. Богом клянусь, я буду чтить ее вечно! Благородство и тишина ее души довольно контрастируют с характерами здесь и в других местах, эти особы хотят повсюду быть замечены, и остроумны, и вечно б им резвиться. — Не правда ли, милый, я научился теперь писать длинные письма? С чего бы это? — Напиши и ты мне в точности, как обстоят твои дела. Может быть, это вдруг да и добавит света в моей темноте.

Твой
Гёльдерлин

Из № 51. СЕСТРЕ

[Тюбинген, 19/20 июня 1792 г.]

Милая Рика!

Не знаю, что в конечном счете получится из нашей переписки. В голове у меня носится столько разных мыслей, которыми я, к сожалению, не могу с тобой поделиться. Я думаю, это счастье и несчастье одинокой жизни, что все, что́ ты читаешь или сочиняешь, более занимает твою душу, и это, конечно, нехорошо, когда надо заняться чем-либо другим, потому что неурочные гости, мысли о прочитанном или написанном, загораживают дорогу тем, которые подходят к случаю.

Теперь уже скоро решится спор между Францией и австрияками[4]. <...>

<...> Поверь мне, милая сестра, дурные настанут для нас времена, если возьмут верх австрияки. Злоупотребления княжеской властью будут ужасны. Ты уж мне поверь! И молись за французов, защитников прав человека. <...>

№ 54. НОЙФЕРУ

[Тюбинген, между 14 сентября
и началом осенних каникул 1792 г.]

Милый брат!

Вот тебе то письмо[5]. В голове моей и сердце еще так чудно́ от различных чувств и мыслей, посетивших меня, пока я его писал. С твоей стороны очень нехорошо, что ты именно сейчас предался мести и не отзываешься! Я читал недавно пророка Наума[6]; он сравни-

вает ассирийские крепости и цитадели с фиговыми деревьями, на которых плоды перезрели и сыплются прямо в рот, если их потрясти. И у меня хватило юмора тайно отнести это и к себе. Честное слово, милый брат! Я думаю, меня не следует особенно трясти — не то предстанет пред вами младое дерево нагим и с сухими ветвями. Здесь мне нет никакой радости. Почти каждую ночь сижу я в нашей старой келье, думаю о разных неприятностях прошедшего дня и рад, что он прошел! Поелику я не примиряюсь с дураками, то и они со мной не примиряются. А как повезло нашему другу Аутенриту! [7] Право же, весьма прискорбно для живущих, когда такая добрая душа покидает их в расцвете лет! Стипендия института стала отвратительна мне еще более после того, как я услышал бессердечные и безмозглые высказывания по поводу его смерти и в связи с другими новостями в мире [8]. Здесь все носятся с ужасной историей о Шубарте в могиле [9]. Ты наверное знаешь. Напиши мне про это. Ты не поверишь, с какой тоской ожидаю я письма от тебя. И ты можешь понять, что при таких обстоятельствах мне трудно думать о нежном и прекрасном существе так редко, как я себе предписал. Совсем тихонько я попросил у ней дружбы. О большем я и не помышляю. Моя сестренка Рика написала мне сегодня тоже, что ей очень весело в Штутгарте. Незаметно милое дитя стало невестой. Как радостно будет всем нам, милый брат, если жизнь ее сложится счастливо.— О своей новой подруге,

Брейерше, она пишет восторженно. Ты там ничего не обнародовал? Она сделала одно замечание насчет того, что ее бы не удивило, если бы такой нежный характер и такой великий ум приковали к себе мужчину или юношу.— Но слово *приковать* — жесткое слово! Не думаешь ли ты, что оно годится в отношении одного бедняги?

Ты будешь смеяться, но мне, при моем нынешнем растительном существовании, недавно пришла в голову мысль сочинить Гимн *Смелости*[10]! В самом деле, психологическая загадка! — Уже глубокая ночь. Спи спокойно, милый брат! А может, ты уже смотришь сны. Тогда желаю тебе более веселого пробуждения, чем то, которое обыкновенно имею я. Напиши мне поскорее, милый! И сделай что только можешь, чтобы мне получить хоть несколько слов и от Нее.

Твой
Гёльдерлин

№ 55. МАТЕРИ

[Тюбинген,
вторая половина ноября 1792 г.]

...Но, чтобы уйти от моих действий и состояния, хочу обратиться к Вам с детской просьбой, милая мама! Не утруждайте себя излишним беспокойством в связи с войной. Зачем нам мучить себя по поводу будущего? То, что может случиться, не так и страшно, как Вы, быть может, опасаетесь. Да, верно, есть вероятность того, что и у нас произойдут изменения. Но, благодарение богу, мы

не принадлежим к тем, у кого могли бы быть отняты принадлежащие ему права, кого могли бы наказать за насильственные действия и угнетение. Повсюду, куда в Германии уже докатилась война, добрый гражданин потерял мало, а то и ничего, а выиграл много, да, много. А если уж так суждено, то сладостно и достойно принести на алтарь отечества [11] имение свое и кровь, и если бы я был отцом одного из героев, павших в бою при великой победе под Монсом [12], я негодовал бы при каждой слезинке, пролитой мною по нем. Как трогательно и прекрасно, что во французской армии под Майнцем, как мне в точности известно, целыми шеренгами стоят 15- и 16-летние мальчики. Когда их в связи с их возрастом призывают к ответу, они говорят: чтобы убить нас, врагу нужны мечи и пули совершенно так же, как и для того, чтобы убить солдат, которые старше нас; мы обучаемся строю так же быстро, как и всякий другой, и мы предоставляем право нашим братьям, стоящим в шеренге позади нас, застрелить первого из нас, кто дрогнет в бою. Однако же почталиону пора ехать. Прощайте, милая мама!

Ваш

покорнейший сын

Гёльдерлин

№ 57. НОЙФЕРУ

[Тюбинген,
не позднее 25 июня 1793 г.]

Я обещал тебе, милый брат, на этот раз непременно написать. И вот держу слово. Ты опять стал мне люб, старый друг моего сердца! Знаешь ли, я тысячу раз благодарю свою судьбу, что она возвратила тебя мне, и как раз тогда, когда все мои прекрасные надежды стали увядать. Сердце наше не выдерживает груза любви к человечеству, если нет у него людей, которых оно любит. Сколько раз мы говорили себе, что наш союз — союз навеки. Но я, глупец, все это позабыл. Поистине я ничтожный человек, если какие-то детские шалости могли внушить мне отвращение к тебе. Но по сути это была все же не просто жалкая размолвка. Ты стал другим; твои сердечные дела вывели тебя из привычного равновесия, ты сам себя не узнавал, как же мне было узнать тебя? А ведь ты был моей первой дружбой, и эта дружба была мне больше, чем моя первая любовь. Ты вновь должен был стать таким, каким был в счастливую пору наших общих радостей, и надежд, и занятий, иначе дружбе нашей пришел бы конец. Но, слава богу, я вновь узнаю тебя. И я думаю, надо за то благодарить нам благодетельную любовь. [...]

Теперь ты, пожалуй, на верном пути. Только посылай хоть изредка весточку из своего рая[13]. В наших краях сейчас пустыня, и пустота, и сушь, какая бывает только летом. Вот так-то.

Моя царица сердца[14] все еще у вас. Я часто ловлю себя на том, что мне ее не хватает, этой доброй девушки.

Пребывание Штойдлина было для меня праздником. Правда, восторг был бы еще больше, если бы один небезызвестный старый приятель смог хоть на один денек выбраться из заколдованного круга блаженства, в котором он зачарован телом и душой.

Si magna licet componere parvis* или наоборот[15], то меня зачаровали в заколдованный круг — в мою одинокую каморку — мои тощие финансы. Я должен сам себя прокормить. Ровно в четыре утра я уже на ногах, сам варю себе кофей,— и за работу. И так сижу я по большей части в моей келье до вечера; то в обществе священной Музы, то с моими греками; а сейчас вот в школе достопочтенного господина Канта. Будь здоров, милый брат! Следующий раз я, может быть, пошлю тебе на отзыв фрагмент моего романа[16]. Если тебе любопытно, то можешь пока расспросить нашего милого доктора[17]. Я кое-что читал ему из этого.

Твой Гёльдерлин

№ 58. БРАТУ

[Тюбинген, начало июля 1793 г.]

Котта[18] пишет из Франции, как мне сообщили из Штутгарта, что 14-е июля, свой национальный праздник[19], французы будут отмечать во всех концах земли великими

---

* Если большое подобает сравнивать с малым (*лат.*).

делами. Жду с нетерпением. Ведь все висит на волоске: пойдет ли Франция ко дну или станет великой державой?

В настоящее время 9 листов моей продукции для нашего будущего журнала[20] лежат передо мной. Если он осуществится, то девять луидоров не будут мне лишними..

№ 60. НОЙФЕРУ

[Тюбинген,
20 июля 1793 г.+2 дня или неделя]

Ты прав, брат моего сердца! Твой гений был со мною рядом во все эти дни. В самом деле, редко когда я чувствовал постоянство твоей любви ко мне с такой уверенностью и тихой радостью. Твой дух даже наделил меня на некоторое время твоей натурой, как я думаю. Я писал нашему Штойдлину о блаженных часах, которые мне иногда выдаются; будто бы твоя душа жила во мне. Твоя тишина, твоя прекрасная удовлетворенность, с которой ты взираешь на настоящее и будущее, на природу и на людей,— я также чувствовал их в себе. Но и твои смелые надежды, с которыми ты смотришь на нашу возвышенную цель, живут во мне. И еще я писал Штойдлину: ровное пламя Нойфера будет разгораться все ярче, когда, быть может, мой легко вспыхивающий огонь давно уже рассеется без следа; но это, пожалуй, и не пугает меня, по крайней мере в те божественные часы, когда я возвращаюсь из объятий всеодушевляющей Природы или из

платановых рощ над Илисом[21], где я, расположившись вместе с учениками Платона, следил за полетом благородного мужа, бороздящего темные дали прамира, погружался вслед за ним — и душа замирала во мне — в глубины глубин, в отдаленнейшие области страны духов, где Душа Мира переливает свою жизнь в бесчисленные пульсы природы и куда эти излитые силы вновь собираются, завершив свой необозримый круг, или когда я, опьяненный Сократовым кубком и духом сократовской дружбы, внимал на пиру речам вдохновенных юношей, сладким пламенным словом прославлявших святую любовь, и балагур Аристофан отпускал там свои шуточки, а под конец сам Мастер, божественный Сократ в своей небесной мудрости наставляет их всех, что же такое любовь,— тогда, друг моего сердца, да, тогда уныние немного отступает от меня и я иногда думаю, что я все же смогу эту искорку ясного пламени, согревающего и озаряющего меня в такие мгновенья, вдунуть в мое создание, которым я сейчас живу и дышу, в моего Гипериона, и еще кое-что буду порой производить на свет, людям на радость.

Я скоро понял, что мои гимны вряд ли когда завоюют мне сердце среди той половины человечества, где сердца прекрасней, и это укрепило меня в намерении написать роман из греческой жизни. Поинтересуйся у своих благородных подруг, не думают ли они — судя по фрагменту, который посылаю я нынче нашему Штойдлину,— что мой Гиперион сможет когда-нибудь занять свое место среди тех

героев, кои все же дают больше пищи нашему уму, нежели велеречивые странствующие рыцари. Особенно мне важно мнение особы, которую ты не называешь. Надеюсь, что последующее примирит ее и других с одним местом в тексте, где из груди Гипериона вырываются жестокие слова в адрес прекрасного пола. Скажи и ты свое мнение, милый брат! Угол зрения, под которым я хотел бы, чтобы был рассмотрен этот фрагмент Фрагмента, я изложил с утомительнейшей обстоятельностью в письме к Штойдлину. Я хотел, было, пересказать тебе из того самое существенное. Но времени остается в обрез. Ну хотя бы вот что. Фрагмент сей — более смесь случайных настроений, нежели продуманное развитие верно схваченного характера, ибо я оставляю пока в стороне *мотивы* этих мыслей и чувствований, и это потому, что мне более хотелось занять вкус читателя — картиной мыслей и чувствований (для эстетического наслаждения), нежели его разум — показом закономерного психологического развития. Но, естественно, в конце все должно свестись к характеру, а также к обстоятельствам, имевшим на него действие. Так ли это будет в моем романе[22], покажет дальнейшее.

Быть может, я выбрал наименее интересный отрывок. Впрочем, необходимые предпосылки, без коих последующее может быть воспринято еще менее, чем вся вторая книга без первой, еще не законченной, — эти необходимые предпосылки в нем также содержатся.— То, что ты так прекрасно сказал о *terra incog-*

nita * [23] в мире поэзии, очень точно подходит к роману. Предшествующих предостаточно, но мало кто вступил на новую прекрасную землю, а ведь безмерно пространство для открытий и обработки! Обещаю тебе торжественно, что, если полный мой Гиперион не будет втрое лучше фрагмента,— в огонь его без милосердия! И вообще, если грядущие поколения не будут мне судьей, если я сам не смогу сказать это себе с пророческой уверенностью, то я, как и ты, сорву все струны со своей лиры и погребу их под щебнем времени [24]. 〈...〉

Из № 61. БРАТУ

[Тюбинген, после 13 июля 1793 г.]

Что Марат, гнусный тиран, убит, ты уже тоже, наверное, знаешь. Священная Немезида воздаст в свое время и прочим 〈. . .〉

Очень жалею Бриссо [25]. Добрый патриот теперь, должно быть, падет жертвой своих низких врагов.

№ 62. БРАТУ

[Тюбинген, середина августа 1793 г.]

[Он жалуется на изнурительность своих занятий.]

Поверь мне, вовсе не так худо быть впряженным в ярем достопочтенного занятия писарского, как изнемогать на галере теологии.

Я так и думал, что Гемстергёйс [26] тебе понравится. Следующий раз пошлю тебе вторую часть.

* Неведомая земля (*лат.*).

Не хочешь ли ты почитать и грозного учителя деспотов, Макиавелли [27]? Его произведение от начала до конца занимается одной проблемой: как проще всего держать народ в рабстве. Я полагаюсь на тебя в надежде, что его ужасные основополагающие идеи не испортят тебя.

№ 65. БРАТУ

[Тюбинген, середина сентября 1793 г.]

Очень приятно было мне, милый Карл, вновь получить от тебя письмо. Что ты разделишь мою радость по поводу нового знакомства, я мог предполагать. И я никогда не забуду, как мы были дружны с тобой и детьми, и в юношеском возрасте. Да, милый Карл, об этом я думал и тогда, когда ты жаловался мне, что у тебя нет друга. Я хорошо знаю его, это пробуждение юного сердца, я тоже пережил те золотые дни, когда ты так горячо и по-братски открываешься всему, но когда тебе мало этого участия во *Всем*, тебе необходимо Одно, Один Друг, в котором душа твоя обретает себя и радуется себе. Должен признаться тебе, я скоро оставлю за собой эту прекрасную пору. Я больше не держусь так горячо за *одного* человека [28]. *Моя* любовь — это род человеческий, но, конечно, не тот испорченный, рабский, косный, с каким нам так часто приходится иметь дело почти на каждом шагу. Но я люблю то великое и прекрасное, что заложено и в испорченном человеке. Я люблю человеческий род будущих столетий. Ибо это

моя священнейшая надежда, моя вера, дающая мне крепость и силу действовать,— что наши внуки будут лучше, чем мы, что когда-нибудь да придет Свобода и добродетель будет легче расцветать под согревающим священным светом свободы, нежели под ледовым панцирем деспотизма. Мы живем в такое время, где все работает на будущее. Эти ростки просвещения, эти тихие желания и стремления отдельных людей к формированию человеческого рода будут разрастаться и крепнуть и принесут прекрасные плоды. Вот, милый Карл, к чему сейчас обращено с любовью мое сердце. Это святая цель моих желаний и моей деятельности: пробудить в нашем времени спящие ростки, чтобы они принесли плод в будущем. Вот из-за этого, я думаю, так и получилось, что я теперь с меньшим теплом отношусь к отдельным людям. Я хотел бы действовать во имя Общего. Конечно, Общее не позволяет нам совсем пренебречь Отдельным, но все-таки мы уже не живем всей душой ради Отдельного, когда предметом наших желаний и стремлений становится Общее. И все же я могу еще быть другом своему другу, может быть, не таким *нежным* другом, как прежде, однако же другом верным и деятельным. О! Если бы мне найти такую душу, кто, как и я, стремился бы к той же цели, которая мне свята и дорога, дороже всего на свете. А эта цель, брат моего сердца, *образование, совершенствование человеческого рода*. Эта цель, которой мы за отведенное нам на земле время сможем достичь лишь неполно, но которая тем легче будет

достигнута лучшими, чем мы, грядущими поколениями, если мы здесь в пределах наших возможностей подготовим ее достижение,— эта цель, милый Карл, живет, я знаю, но, может быть, не в столь ясной форме, и в твоей душе. Если ты хочешь в друзья *меня*, то пусть эта цель станет теми узами, что от сего часа свяжут наши сердца крепко, нерушимо, глубоко. О! Много на свете братьев, но мало братьев, связанных узами дружбы. Будь здоров. Тысяча сердечных приветов милой маме.

Твой
Фриц

Стихи Маттисона я дал почитать. Вот тебе кое-что другое[29]. *Разговор маркиза Позы* с Королем там — мое любимейшее место.

Из № 68. НОЙФЕРУ

[Тюбинген, после 20 октября 1793 г.]

У меня в голове зима настала раньше, чем на дворе. День очень короткий. И тем длинней холодные ночи. Но я начал сочинять стихотворение про

— «подругу героев,
Железную Необходимость».

⟨. . .⟩ неопределенность моего будущего положения никак не способствует созданию хорошего настроения.

ВАЛЬТЕРСХАУЗЕН, ЙЕНА, НЮРТИНГЕН

Из № 79. МАТЕРИ

Вальтерсхаузен, 20 апр. 1794 г.

⟨...⟩ Я не видел нигде более прекрасной весны, чем здесь. А что в моем отечестве — так же ли благословенны поля? Я очень порадовался бы за моих дорогих швабов. ⟨...⟩

Из № 80. БРАТУ

Вальтерсхаузен, 21 мая 1794 г.

⟨...⟩ Ты знаешь, брат, как много значит, когда ты ничем не отвлекаешься. Тебе это счастье тоже дано. Пользуйся им! Если у тебя остается хоть один час в день для свободной деятельности ума, когда ты можешь удовлетворить свои насущнейшие и благороднейшие потребности, это очень много, во всяком случае достаточно, чтобы набраться сил и бодрости на прочее время.

Брат! Береги от уныния лучшую часть своего существа, не падай духом ни при каких обстоятельствах — ни при каких! ⟨...⟩

Из № 83. НОЙФЕРУ

[Вальтерсхаузен,
около 10—15 июля 1794 г.]

⟨...⟩ Ты прав, перевод — целительная гимнастика для языка. Он становится замечательно гибким, когда ему приходится приспосабливаться к чуждой красоте и величию, а по-

рою и к чуждым настроениям. ⟨...⟩ Язык есть орган *нашей* головы, *нашего* сердца, знак *наших* фантазий, *наших* идей: *нам* должен он повиноваться. Если же он слишком долго служил на чужбине, то, я думаю, стоит опасаться, что он уже никогда не будет совершенно чистым, свободным, сформированным только своим внутренним существом — и ничем другим, так — и не иначе — выражением нашего духа.

Из № 84. ГЕГЕЛЮ

Вальтерсхаузен, 10 июля 1794 г.

⟨...⟩ Тебе все равно, если вокруг тебя суета и шум; мне же нужна тишина. ⟨...⟩

Из № 86. БРАТУ

Вальтерсхаузен, 21 авг. 1794 г.

⟨...⟩ И еще одно: сейчас необходимо сказать себе: будь благоразумен, не говори ничего, сколь бы правдиво оно ни было, если ты уверен, что это не ведет к достижению цели. Не приноси в жертву благоразумию свою совесть. Но будь благоразумен. Есть золотое изречение: «Не мечите бисер перед свиньями». И все, что ты делаешь, никогда не делай в пылу. Продумай все холодно. И тогда с пылом действуй! ⟨...⟩

В последнее воскресенье был я на Глейхберге, что в часе пути от Рёмхильда поднимается над обширной равниной. К востоку от меня были Фихтельгебирге (на границе Франконии и Чехии), к западу — Рёнгебирге, составляю-

щие границу между Франконией и Гессеном, к северу — Тюрингский лес, рубеж между Франконией и Тюрингией, а в сторону моей милой Швабии, на юго-запад — Штайгервальд до конца моего горизонта. Вот так было бы мне милей всего изучать географию обоих полушарий, если б это было возможно.

⟨...⟩

Что Робеспьер должен был сложить голову[30], кажется мне справедливым и, может быть, будет иметь добрые последствия. Пусть сначала придут к нам два ангела, Человечность и Мир, и тогда процветет то, что есть дело человечества! Аминь.

№ 87. НОЙФЕРУ

Вальтерсхаузен, 25 авг. 94 г.

Ежели б я был в силах помочь тебе, друг души моей! Знает бог, я отдал бы за то жизнь. Радости как не бывало; посреди всего, что меня окружает, я только и думаю о твоем горе и не знаю, как мне его вынести; поправляйся хоть ты!

Милый мой! Ты должен и ты будешь стоек духом, что бы ни случилось. Ты принадлежишь человечеству, ты не имеешь права его покинуть. Через великую радость, но и через великое страдание человек становится мужем. Тебя ждет будущее, которое завоевывается в геройской борьбе. Ты не пойдешь по жизни бесчувственно, тебя будет сопровождать царственное сознание того, что ты преодолел неизреченное страдание, ты поднимешься в об-

ласти Непреходящего, ты останешься среди людей, останешься человеком, но только божественным человеком.

Милый! Незабываемый! Ты принадлежишь также и мне. Среди того, к чему сердце мое приникало с надеждой на прочные узы, только союз с тобой выдержал испытание до сего дня. Нет другой души, которой я так бы верил, как твоей. Я никогда еще не был так богат, как ты. Я не был счастлив в любви и не знаю, буду ли когда, но я был несказанно счастлив тобою и надеялся, что счастье мое будет возрастать на этом пути. Ты отступаешься от меня, я больше ничего для тебя не значу, брат мой? Будем держаться вместе в эту мрачную полосу жизни, вместе действовать и питать свое сердце виденьем победы. Клянусь тебе, кроме человечества, ничто на земле не имеет и не будет иметь такой власти надо мной, как ты, я буду твой, как твоя душа, и если я не склоняюсь ни перед кем из смертных, то готов всегда склониться перед тобой. Покорять миры, разрушать государства и вновь их созидать никогда не покажется мне столь великим, как преодоление такого страдания.

Доставь мне утешение моей жизни, а себе триумф всех триумфов! Я не оставлю тебя. Я буду призывать тебя без конца, и, если бы мне было суждено вернуться с твоих и ее похорон, я сказал бы так: страдание может сбить меня с ног, но оно не может меня одолеть, пока есть у меня воля.

Отпусти ее вперед, если уж так должно

быть, на бесконечном пути к совершенству. Ты поспешишь за нею, даже если долгие годы будешь жить на земле. Страдание даст крылья твоему духу, ты будешь держать с ней шаг, вы останетесь родными, что бы ни случилось, а родные всегда найдут путь друг к другу.

И послушай меня! Я еще надеюсь. Мне кажется, что смерть ее отца, да и ваши отношения, сопровождаемые, при всей полноте блаженства, известной долей скрытых горестей, привели ее душу в состояние глубокой печали, что внешне выглядит как чахотка. Если это так, то я могу быть покойнее.

Заклинаю тебя, напиши мне опять в следующий почтовый день, хоть немножко, только чтобы я знал, ка́к она и ка́к ты. Если всё без перемен, то не утаивай от меня ничего, я соберусь и приеду, и на коленях тебя умоляю: побереги себя. Если я не преуспею, то все же надеюсь хоть на несколько дней прервать твое горе, и уже это дает мне достаточное основание для приезда.

О мой Нойфер! Если бы я уже был у тебя! Я не нахожу себе места. Как хотел бы я, чтобы следующее письмо от тебя принесло мне более радостные известия. Не забывай, что это ты страдалец, а я лишь помогаю тебе нести твой крест. Благослови небо страждущую Святую!

Вечно
твой
Гёльдерлин

⟨...⟩

№ 88. НОЙФЕРУ

Вальтерсхаузен близ Мейнингена,
10 окт. 94 г.

Я был уже на несколько дней пути ближе к тебе, нежели обычно, в одном из имений Кальбов на Штайгервальде, неподалеку от Бамберга, и ждал твоего письма, которое, несмотря на все протесты, заставило бы меня поспешить к тебе, чтобы доказать, что еще есть у тебя в мире одно верное сердце,— если бы это письмо не звучало так светло и прекрасно. Я получил его очень быстро, перед моим отъездом отсюда я озаботился везде, чтобы его переслали мне незамедлительно. Так что жертва была не очень велика, милый брат, ибо я был уже почти на полдороге, а природа одарила меня парой крепких ног. Но тут пришло письмо, и только мне одному известно, как радовался я, что тебе нет во мне нужды. Это был один из тех часов, в который радость укрепляет нас на месяцы. Глубоко и вечно живет в моей душе желание, чтобы эта прекрасная любовь смогла продлиться, вместе со всеми ее добродетелями и всем ее блаженством, которое она дарит, со всеми ее цветами и плодами. Она является мне, когда припоминаю я наше [жестокое] время, как соловей в осеннюю пору.— Поверь мне, милый, добрый брат мой, что положение неравенства, в котором нахожусь я по отношению к тебе с этой стороны более волею судеб, нежели в силу моих собственных свойств, вовсе не мешает мне с радостью и уважением оценить всю красоту и достоинство этого отношения.

И я не понапрасну говорю: «с уважением», ибо без того, что порождает уважение, без благородства и постоянства нравственного человека такое отношение, кокечно же, не могло бы существовать. Кое-что есть все же и у меня: союз с тобой, и он будет жить и принесет свои цветы и плоды, как и союз твоей любви. Это очень для меня серьезно, милый Нойфер. Я слишком глубоко убежден и с каждым днем все более буду укрепляться в убеждении, что такая дружба, как наша, не валяется на дороге, чтобы мне не дорожить ею и не сохранить ее навсегда. Это почти мое единственное утешение, когда я в нем нуждаюсь, думать, что мое сердце постоянно связано с Одним существом, что я знаю Одну натуру, которой могу доверять. Что я нуждаюсь в таком утешении, можешь мне поверить, потому что ты, как и я, знаешь, что люди по большей части хорошо относятся только к самим себе, к другим же, если им это позволить, они относились бы так же, как к своим горшкам и стульям: их остерегаются разбить или поломать, покуда ими пользуются или покуда они не вышли из моды;— что я не позволю себя поломать, понятно само собой; что я позволяю пользоваться собою лишь до тех пор, пока я сам не сумею использовать себя лучше, понятно также; но все это очень мало.

Мои внешние обязанности сейчас часто для меня очень тяжелы. 〈...〉 Впрочем, я стараюсь держаться, насколько это возможно, и, как только солнце заглянет ко мне в окно, я

встаю, почти всегда с радостью, и стараюсь использовать, насколько могу, несколько утренних часов, единственные, когда я, собственно, имею покой. Бо̀льшая часть их этим летом прошла у меня над романом, первые пять писем которого ты найдешь этой зимой в «Талии». Я почти закончил первую часть. От моих старых бумаг не осталось почти ни строчки [31]. Великий переход из юности в мужественность, от аффекта к разуму, из царства фантазии в царство истины и свободы кажется мне достойным такой медлительности в разработке. Но я жду не дождусь того дня, когда закончу всю книгу, потому что тогда я беспрепятственно примусь за осуществление другого проекта, который еще более дорог мне, — смерть Сократа, по образу древнегреческих драм. Лирического я с весны мало что сочинял. Стихотворение Судьбе, что я начал еще дома, а прошлой зимой почти полностью переделал, я под пасху вложил в письмо к Шиллеру, и он, кажется, недурно его принял, судя по тому, что̀ он мне пишет в ответе на мое последнее письмо, в котором я послал ему фрагмент «Гипериона». Он определил его в альманах, издателем коего он в скором времени будет, и я собираюсь, по его просьбе, послать ему еще кое-что. От плодовитости моей натуры будет зависеть, смогу ли я прислать тебе что-нибудь для альманаха Рейнхарда [32], для «Академии» [33] и «Музеума» Ко́нца [34], я не хотел бы, чтобы тебе пришлось краснеть за меня, было бы бесстыдством с моей стороны так отплатить тебе за дружеское

предложение, во всяком случае, я не хотел бы обременять тебя случайными творениями моего пера. Может быть, я предложу тебе статью об *эстетических идеях* [35]; поскольку она может рассматриваться как комментарий к «Федру» Платона, а одно место из него там в моем переводе (?), то, может быть, она пригодится Конце. В основном в ней будет содержаться анализ прекрасного и возвышенного, согласно которому Кантова теория представляет дело упрощенно, но, с другой стороны, более многогранно по сравнению с тем, что частично сделал уже Шиллер в своем сочинении о грации и достоинстве, который, однако, осмелился сделать на один шаг меньше, переступив пограничную линию Канта, чем следовало бы, по моему мнению. Не смейся! Я могу заблуждаться; но я проверял, проверял долго и с усердием. — Сейчас я занят переработкой моего стихотворения к Гению юности. — Вероятно, в начале ноября я уеду в Йену. ⟨. . .⟩

Из № 98. СЕСТРЕ

Йена, 20 апр. 95

⟨. . .⟩ Эту зиму я всю провел в довольно-таки утомительном сидении и полагал, что необходимость требует освежить немножко мои силы, и это удалось мне посредством небольшого пешего путешествия, которое совершил я в Халле (Галле), Дессау и Лейпциг. Имея несколько талеров в кармане и пару здоровых ног, я почерпнул в этом путешествии столько,

что больше и невозможно, Местность тут, правда, всюду ровная, по большей части песчаная и по сравнению с нашим отечеством довольно-таки бесплодная. Однако и здесь нашел я кое-что достопримечательное: поле битвы под Росбахом [36], которое я пересек по дороге в Халле, и такое же поле под Лютценом, где пал великий Густав Адольф [37]; и было у меня так странно на душе, когда я стоял у жалкого камня, которым ему пытаются воздать честь! — А местность у Дессау очень приукрасилась благодаря насаждениям, с большим вкусом сделанным по распоряжению князя [38].

В Халле наиболее достопримечательным показался мне сиротский и воспитательный дом [39]. Меня порадовала простота его внешнего убранства. Что касается духа, который царит здесь в воспитании, то я могу как очевидец судить о нем лишь настолько, насколько я мог пронаблюдать на открытом экзамене сирот и других воспитанников.

В нем преобладала манера ничтожества, сюсюкания, педантичная, но при этом примитивная манера педагогов, однажды наделавших столько шуму. Конечно, при обучении и при обращении с ребенком трудно выражаться так, чтобы это было достойно человечества, когда надеешься взрастить в нем благородный мужественный дух, а не эгоистичное, пустое, ленивое и безвольное существо, то есть чистыми понятиями, и предъявлять строгие, но справедливые требования и при этом все же не забывать, что имеешь дело с ребен-

ком; однако также очень нехорошо быть в существенном примитивным, во второстепенном педантичным, преподносить ничтожные понятия так, что ребенок не понимает ни звука в потоке высокопарных слов, и представлять весьма убогие требования с важностью, как если бы от них зависели судьбы мира.

В Дессау я первым делом отправился на новое кладбище[40]. В самом деле, идея здесь осуществленная несет в себе много истинно человечного и прекрасного. Уже возвышенный портал, на котором наверху, на куполе,— Надежда, трогательная, почти совершенно проработанная фигура, прислонившаяся к своему якорю, а по обе стороны входа в нишах — два юноши с потухшими факелами,— уже этот портал исполнил меня удивительной радости. Потом идешь по аллее, где сбоку среди цветов и кустарников расположены гробницы, а в стене вокруг устроены ниши, и те из них, что уже содержат Нечто, закрыты белыми мраморными плитами, которые своими по большей части простыми и чувствительными надписями очень отличаются от наших готических надгробий. Нынешнее здание дессауской школы было для меня интересно тем, что князь возвел его специально для этих нужд, и сын его живет в соседнем доме, который выглядит весьма смиренно рядом с дворцом. Город прекрасен.

Сады Луизиума и Вёрлица[41], где я провел чудесный день, опишу тебе в другой раз, потому что я опять, по моему дурному обыкновению, взялся за письмо слишком поздно.〈...〉

Из № 99. НОЙФЕРУ

Йена, 28 апр. 95

Милый брат!

Я долго с надеждой ждал истинно благоприятного часа, когда я мог бы целиком посвятить тебе себя и сообщить тебе все перипетии событий, которые держат меня в напряжении. Но теперь я вижу, что эту радость придется отложить до того часа, когда мы с тобой встретимся. Я написал бы тебе раньше, если бы мое счастливое однообразие не прервалось увеселительным путешествием. К концу зимы я был не очень здоров из-за недостатка движения, а может быть, и потому, что еще не научился хорошо переваривать нектар и амброзию, которыми питаются в Йене; я предпринял лечение посредством моциона через Халле в Дессау и обратно через Лейпциг. Не буду мучить тебя путевыми наблюдениями, я никогда не питал пристрастия к этой теме, возможно, потому, что у меня нет к тому таланта, я довольствуюсь по большей части общим впечатлением[42], и даже тогда, когда меня что-то отталкивает, я думаю, что опасно вот так, мимоходом, выносить суждения. Особенно же нельзя доверять нашему брату, у нас что ни день, то новые очки, через которые мы смотрим на мир, и бог весть, кто их нам надевает. 〈...〉

Сейчас я наслаждаюсь весной. Я живу в садовом домике[43], на горе, что поднимается над городом, и отсюда мне видна вся великолепная долина Заале. Она похожа на нашу долину Неккара в Тюбингене, только что в

йенских горах более величественного и причудливого. Я почти не бываю на людях. К Шиллеру я, правда, все еще хожу, где теперь обыкновенно встречаю Гёте[44], который живет здесь уже довольно долго ⟨...⟩

За первый томик моего романа Котта в Тюбингене положил мне 100 флоринов. Я не хотел бы просить еще, чтобы не выступить в роли еврея-вымогателя. Это Шиллер договорился для меня с издательством. Да не шокирует тебя эта книжица![45] Я пишу ее, коль скоро уж она была начата, и это лучше, чем совсем ничего, и утешаю себя надеждой вскоре восстановить свой кредит кое-чем другим.

По крайней мере это лето я смогу прожить в покое и независимости. Но — таков уж человек! — вечно ему чего-нибудь недостает! И мне тоже — тебя, и, может быть, еще такого существа, как Розочка. Очень странно — мне, наверное, суждено навсегда любить только во сне. Разве не так было со мною до сих пор? С того момента, как я открываю глаза, я уже не люблю. И не то чтобы я хотел отречься от старых знакомых! Ты собирался как-то написать мне об Элизе Лебре — напиши же! — но сравни это с твоей любовью, ее радостями и горестями, и пожалей меня! Твоя добрая и благородная невеста уже совсем поправилась. Каким неземным счастьем наполнены ваши дни! Это единственное, что есть на земле для счастья,— счастье любить, уважая друг друга и выдержав испытание. Я думаю, ты найдешь меня более кротким и

участливым, когда мы опять с тобою встретимся и ты опять по полночи будешь рассказывать мне о своей Розочке.

Сохрани вас бог, ее и тебя, такими, какие вы есть! [46]— Как твои дела, милый брат? Мы не очень-то обстоятельны в том, что сообщаем друг другу о себе. Но я думаю, что так бывает при любой переписке. На следующую осень я приеду непременно, хотя бы на несколько дней. Надо же мне когда-нибудь отогреться у тебя и у моих милых родных.— Милый брат, я хотел написать тебе еще много всего, но я впадаю в такой тон, из которого вряд ли сегодня выберусь. Я начинаю повторяться и, пожалуй, совсем раскисну. В следующий раз напишу больше!

Твой
Гёльдерлин

№ 100. НОЙФЕРУ

Йена, 8 мая 95

Я попытаюсь, бедный, милый брат мой, собраться с силами в своем горе, чтобы пощадить тебя в твоем. Поверь мне, меня это тоже сокрушило, и я не знаю, что сказать тебе, когда у меня перед глазами стоит это благородное незабвенное существо, которое жило лишь для тебя, а я должен сказать себе: это смерть! О друг мой! Для меня непостижимо то безымянное, что на краткий миг радует нас, а потом разрывает сердце, моя мысль не в силах охватить исчезновение, когда наше сердце, лучшее в нас, единственное, к чему еще стоит труда прислушаться, все-

ми своими страданиями молит о жизни — да простит мне бог, которому я молился ребенком! — для меня непостижима смерть в его мире. — Милый мой! Твоя скорбь для меня священна, и мне следовало бы умолчать перед тобой о том смятении духа, в котором я сейчас нахожусь и которое горе над твоей судьбой сделало для меня по-настоящему ощутимым или, может,— не знаю сам — вызвало. Я плохой утешитель. Я топчусь в этом мире, пробираясь ощупью, как слепой, и это я-то должен показать страждущему брату свет, несущий ему радость в окружающем его мраке! Не правда ли, милый, ты научился кое-чему получше в школе своей возлюбленной? Не правда ли, ты найдешь ее вновь? О, если бы мы были здесь лишь для того, чтобы грезить краткое время, а потом превратиться в грезу другого, — да не возненавидишь ты меня за эти убогие слова, ты ведь всегда был верен природе, твой чистый, незамутненный ум утешит тебя, и святая не будет для тебя вдалеке, так что будут неслышны тебе ее милые речи, в которых открылся тебе ее благородный дух, и она будет стоять перед тобой во всем своем непреходящем обаянии. Брат мой! Если сердце твое способно перенести утешение, которым я охотно утешил бы свое, — ее дух будет встречать тебя в каждой добродетели и в каждой истине, ты узна́ешь ее в каждом проявлении великого и прекрасного, какими изредка еще радует нас мир. Каким слабым должен я казаться тебе!

Я снова гляжу на твое письмо, которое веч-

но будет мне святыней, и вижу то место, где ты говоришь мне, что она, она будет идти с тобой рядом в течение всей жизни, что ее постоянное присутствие будет поддерживать тебя, как до сей поры ты жил ради нее, в возвышенном и чистом мире,— о, как желаю я милой усопшей вечной весны над ее могилой, весны твоего сердца! Ибо я возлагаю надежды на тебя, я верю, что память о ней ниспошлет тебе благословение, что лучшая часть твоего сердца никогда не состарится; каждый день будет приносить тебе радость сознания, что ты становишься более достойным ее, более подобным ей.

Любовь ваша была неповторима, это чудо в нынешнем бессердечном и мелочном мире. Разве это не та любовь, которая будет длиться вечно? Поверь мне, друг души моей, когда-нибудь в будущем ты мне скажешь, когда я, радуясь твоим успехам, скажу тебе, что ты был единственный, кто заставлял меня забыть убожество нашей жизни, и тогда ты мне скажешь: «Этим я обязан Ей! Она подняла меня из апатии, рождаемой нашей жизнью, в Ней явилось мне то, о чем большинство лишь смутно догадывается, и, более точно, Она дала мне веру в себя, Она опередила меня в жизни и в смерти, и я пробиваюсь за Нею сквозь ночь...»

— Сердечный брат! Я с тобою, я иду с тобой рядом, я разделяю с тобой твое горе, и я хочу разделить с тобой и его плоды; ты прав, пусть самая жизнь наша будет мелодией над ее могилой, это лучше, чем наши

бедные напевы под звуки лютни, — удивительно! Мое горе было поистине несказанно, слезы, только слезы, ничего, кроме слез, я должен был сделать над собой усилие, чтобы написать тебе несколько жалких слов, и первое утешение почерпнул я лишь из твоего письма — о, если бы и мое значило для тебя хоть что-нибудь! Если бы мы вообще могли быть друг для друга чем-то бо́льшим! Разлука с тобой для меня сейчас во сто крат мучительнее. Я писал тебе недавно, что хочу приехать осенью. Если будет возможность, то приеду и ранее. Если б ты был здесь, я бы, конечно, хотел остаться. Но так я вряд ли здесь выдержу. Мы теперь оба бредем по миру в такой нищете, у нас не осталось ничего, кроме того, что́ мы значим друг для друга, кроме того, что над нами и в нас есть лучший мир, мой Нойфер! И мы должны были лишь наполовину жить друг для друга? Я скоро приеду; тогда ты отведешь меня на ее могилу. Боже правый! Никак не ждал я такого свидания! — Не мог бы ты приехать за мною, милый брат, или просто посетить меня раньше? Для тебя это было бы, наверное, хорошо. Тебя встретили бы повсюду друзья. Сделай так, если это возможно сделать. Я напишу тебе в следующий почтовый день. Если ты сможешь превозмочь себя, напиши и ты. Многие сострадут тебе и мне. Будем страдать, как страдала бы она на нашем месте. Сохрани себя для мира и для меня! Прощай, мой добрый, мой благородный друг!

Твой

Г.

Из № 101. МАТЕРИ

Йена, 22 мая 95

⟨...⟩ Жил я, после того как последний раз послал Вам о себе сообщение, как жил и раньше, с тех пор как нахожусь здесь, довольный своим уединением и порою даже радостный, когда полагаю, что мне кое-что удалось в моей работе. Только очень скоро обнаруживаешь, как много в ней еще ученического, и это неплохо, что ты это обнаруживаешь, тем самым ты побуждаешься к деятельности. И я стал здоровее, чем этого можно было бы ожидать при здешнем образе жизни.

Теперь главное! — На этой неделе мне предложили место гувернера в одном франкфуртском семействе[47], которому меня представил один здешний студент во время своего пребывания в тех местах, где он проводил каникулы. ⟨...⟩ Поскольку делу в любом случае можно дать обратный ход, а я должен был дать ответ уже вчера, то я пока ответил «да» и теперь только жду более определенных вестей, и прежде всего Вашего решения. Этим летом я мог бы без хлопот прожить здесь, чтобы не быть Вам в тягость, как уже бывало, Котта в Тюбингене заплатит мне до сентября 100 флоринов за одну малозначительную рукопись, которую он принял от меня к изданию, но, получится ли это до следующей зимы, не могу сказать с уверенностью, потому что не мне судить об успехе моей работы. Если мне откроется более благоприятная перспектива, нежели это тысячегульдено-

вое гувернерское место, то у меня будут развязаны руки, чтобы воспользоваться и ею. ⟨...⟩

№ 102. ШИЛЛЕРУ

Нюртинген близ Штутгарта
23 июл. 1795

Да, конечно, я знал: удаление от Вас не могло обойтись для моего внутреннего существа без ощутимой потери. И с каждым днем я осознаю это все живей.

Как странно, что можно чувствовать себя счастливым под влиянием великого ума, даже если его воздействие происходит не через устное общение, а просто в силу самой его близости, и с каждой новой милей, которая удаляет тебя от него, ты все более ощущаешь его отсутствие. Я вряд ли сумел бы, сколь серьезны ни были мои мотивы, перебороть себя и решиться уехать[48], если бы именно эта близость не беспокоила меня в ином отношении. Моим вечным искушением было видеть Вас, но видел я Вас всякий раз лишь для того, чтобы вновь почувствовать, что я для Вас навсегда останусь ничем. Да, конечно, я понимаю, что мое страдание, которое я столь часто волочил за собой, было необходимой расплатой за грех моих гордых притязаний; я хотел быть для Вас столь многим и потому должен был сказать себе, что я для Вас — ничто. Но для себя-то я знал даже слишком хорошо, чего я хотел, чтобы не очень бранить себя. Когда б то было тщесла-

вие, ищущее удовлетворения в том, чтобы выпросить христа ради у великого человека, коль скоро он таковым уже признан, приветливый взгляд, дабы утешиться чрез сей незаслуженный дар в своей собственной духовной нищете,— тщеславие, для коего сам этот человек в общем-то безразличен, если его нельзя приспособить для выполнения своих суетных желаний, когда бы сердце мое опустилось до такого оскорбительного пресмыкательства — тогда, конечно, я стал бы себя глубоко презирать. Но я радуюсь тому, что могу сказать себе с уверенностью, что в немногие добрые часы я чистым сердцем осознал величие этого ума, который я ценю, насколько мне его оценить возможно, и что мое стремление стать для него многим было по сути не чем иным, как законным желанием приблизиться как индивидуум к Доброму, Прекрасному и Истинному, независимо от того, достижимо оно или нет, а что при этом ты сам себя судишь не слишком сурово, тоже ведь по-человечески понятно, тоже ведь естественно.

Как странно, что я приношу Вам такую апологию. Но именно потому, что привязанность эта действительно мне дорога, я стараюсь в моем сознании отделить ее от всего, что могло бы ее обесценить своим обманчивым родством с нею; да и почему бы мне не высказать ее Вам так, как она предстоит предо мной, раз она принадлежит Вам? Месяца с Вами хватило бы мне, чтобы обогатиться на год. Впрочем, я стараюсь и тем, что уже получил от Вас, распорядиться так, чтобы пре-

успеть[49]. Я живу очень уединенно и думаю, что мне это на пользу. Прилагаю несколько стихотворений моего друга Нойфера. Он берет на себя смелость просить Вашего разрешения дослать еще одно, как только он проработает его так, как задумал.

Ежели Вы позволите, я также пошлю несколько стихотворений.

По поводу того, что я прилагаю[50], меня часто огорчало, что первое, что я предпринял по Вашему непосредственному предложению, не получилось лучше.

С неизменным уважением
Ваш
почитатель
М. Гёльдерлин[51]

№ 104. ШИЛЛЕРУ

Нюртинген близ Штутг. 4 сент. 95

Простите, достопочтенный господин надворный советник, что я столь поздно и в столь жалком виде посылаю Вам то, на что получил Ваше разрешение. Болезнь и огорчения помешали мне выполнить желаемое. Надеюсь, Вы не будете сердиться, ежели я пошлю Вам это по прошествии некоторого времени. Я принадлежу — по крайней мере как res nullius *[52] — Вам; посему также и терпкие плоды, которые я приношу,— Ваши.

Недовольство самим собою и тем, что меня окружает, загнало меня в абстракции; я пы-

* Ничейная вещь (*лат.*).

таюсь развивать идею бесконечного прогресса философии, я пытаюсь показать, что постоянное требование, которое необходимо предъявляется всякой системе, объединение субъекта и объекта в некоем абсолютном Я,— или как там его называют! — хотя и возможно эстетически, в интеллектуальном созерцании, теоретически же мыслимо лишь через бесконечное приближение, как приближение квадрата к кругу, и что для того, чтобы реализовать систему мышления, бессмертие необходимо точно так же, как и для системы действия. Я надеюсь таким образом показать, в какой мере правы скептики — и в какой мере не правы.

Я часто чувствую себя изгнанником, припоминая часы, когда Вы были со мной откровенны и не сердились на замутненное или плохо шлифованное зеркало, в котором Вы не всегда могли узнать свое отражение.

Я думаю, что это свойство редких людей — уметь давать, ничего не получая взамен, умение «греться у льда» [53].

Я слишком часто чувствую, что я отнюдь не редкий человек [54]. Я дрожу и коченею в зимней стуже, охватившей меня со всех сторон. Надо мною железное небо, и я как каменный [55].

В октябре я, по всей вероятности, вступлю в должность гувернера во Франкфурте.

Извинением моей болтовни могло бы послужить то, что я в некотором роде почитаю за долг отдавать Вам о себе отчет; но этим я погрешил бы против своего сердца. Это

чуть ли не единственная моя гордость, единственное мое утешение, что я смею Вам что-то рассказать и что я смею Вам рассказывать о себе.

Неизменно Ваш
почитатель
Гёльдерлин

№ 105. НОЙФЕРУ

[Нюртинген,
по-видимому, 8 октября 1795 г.]

Ты пристыдил меня, милый! Я ожидал выговора за мою инертность, за то, что я стал так редко писать письма, а нашел подтверждение твоего участия во мне, твоей деятельной памяти обо мне.

Место, о котором ты меня извещаешь, было бы мне желательно во многих отношениях. Люди, среди которых мне пришлось бы жить, и дела, которыми мне пришлось бы заниматься, были бы, конечно, приобретением для меня.

В какой степени я со своими идеями и методами соответствую этой должности, пока решить не могу, покуда мне неизвестно в деталях то образование, которое должен получить этот молодой человек.

Не мог бы ты сначала спросить, нельзя ли отложить окончательное решение, пока я не получу ответа из Франкфурта на мой запрос, который я должен туда сделать. Что я должен это сделать, ты увидишь из прилагаемого письма. Я постараюсь как можно скорее сообщить тебе что-нибудь более определен-

ное. Должен сознаться, что я был бы в отчаянии, если бы мне пришлось отказаться от этой прекрасной перспективы.

Отношения, которые предопределили мой отказ от предложения, сделанного мне этим летом в Штутгарте, эти странные отношения, о которых тебе известно, теперь, по-видимому, прекратятся. На мое последнее совершенно честное и прямое письмо, которое я послал в Тюбинген, ответа еще нет, а я написал его еще за несколько дней до моего отъезда в Нижнюю Швабию. Да поможет мне бог освободить свое сердце! [56]

А как твои дела, милый брат? Я часто желаю тебе в тишине покоя и работы, которые принесут тебе процветание.

Прочел ли ты стихи Шиллера в «Орах» [57]? Напиши мне, как ты о них судишь. Меня можешь не щадить. Упоение, с которым я о них высказывался, было еще не суждение. Даже это кажется мне делом вкуса, что он непроизвольное чувство, испытываемое нами перед предметом искусства, подвергает затем исследованию и утверждает или объясняет случайным и отбрасывает.

В моих спекулятивных рассуждениях *pro* и *contra* * я, кажется, постепенно приближаюсь к цели.

Я использовал свою счастливую и привольную жизнь, насколько мог. — Мы живем как юные кони. Когда мы вместе вступали на нашу дорогу, мы летели — или нам казалось,

* «За» и «против» (*лат.*).

что летели, а теперь, пожалуй, уже есть нужда иной раз и шпоры применить, и кнут. Но зато, конечно, будут кормить нас изрядно соломой. — Ну, будем надеяться на лучшее.

Прощай, милый! Напиши мне поскорее опять. И будь так добр, передай мой поклон его высокоблаг. проф. Штрёлину.

Твой
Гёльдерлин

Из № 106. ИОГАННУ ГОТФРИДУ ЭБЕЛЮ

[Нюртинген] 9 нояб. 95

⟨...⟩Мне было бы также крайне грустно не видеть моего Синклера. Согласитесь, что столь ранняя зрелость ума, какая свойственна этому человеку, и еще более совершенно неподкупная чистота души — редкая находка в нашем мире.

Мне должно бы пойти на пользу еще и то, что я вновь получу пищу для своего внутреннего существа. Здесь, в глуши, земля не так уж плоха, но она не возделана, и груды камней, ее придавившие, препятствуют действию на нее небес, так что я по большей части брожу среди чертополоха и маргариток.

Будьте здоровы! Передайте от меня поклон благородному дому, который, возможно, примет меня под свой кров.

И, будьте так добры, расскажите мне подробнее о Ваших литературных работах и прочем, что занимает Ваш ум, если я не смогу встретиться с Вами вскорости. И даже если я не смогу отплатить Вам ничем, кроме пони-

мания, то и тогда это будет не напрасно. Знаете ли, люди мыслящие должны общаться между собой повсюду, где только есть движение живого духа, они должны объединяться со всем, что не должно быть извержено, дабы из этого объединения, из этой невидимой воинствующей церкви произошло великое дитя времени, день всех дней, называемый мужем души моей (апостолом, которого его нынешние поклонники понимают так же мало, как и самих себя),— Пришествие господне[58]. Я должен остановиться, не то я не остановлюсь вовсе.

Ваш истинный друг
Гёльдерлин

№ 108. НОЙФЕРУ

[Нюртинген,
в первых числах декабря 1795 г.]

Милый брат!

Хотел я тебе на днях написать, как я письмо, обещанное Зейцу, адресовал в твой дом. Но не успеваю. Я вообще будто пустой горшок, с тех пор как вернулся сюда, и не получается у меня музыка. Неопределенность моего положения, мое одиночество и мысль, что я мало-помалу становлюсь здесь обременительным гостем, — все это угнетает меня, так что мало мне толку от моего времени.

Кроме того, я еще не очень здоров.

Не знаю, что и делать, если до воскресенья не получу письма из Франкфурта. Ибо я сомневаюсь, что наши господа в Штутгарте захотят оставить меня в покое, а, насколько я

тебя понял, с местом в доме Штрёлина вряд ли что получится.

Лучше б я остался там, где был. Глупее я ничего не мог придумать, как вернуться домой. Теперь же тысяча препятствий стоит на возвратном пути в Йену; *они* ничего бы мне не сделали насильно, если б я остался[59]; теперь же мне пришлось бы выслушать бог знает что, если б я захотел опять уехать туда.

Отшлифовал ли ты между тем свои стихи? Хотел бы я иметь твое терпение. Никогда в жизни я не был так *impatiens limae**, как сейчас. Но, когда тебе не с кем поделиться, когда у тебя только твоя работа перед твоими собственными глазами, — в том нет уже ничего удивительного. Все в конце концов притупляется. Уже не чувствуешь добра и на зло не обращаешь внимания.

Мне очень стыдно, что я мучаю тебя своим дурным расположением духа. Но, если бы я захотел насильственно абстрагироваться от моего бедного индивидуума, я написал бы диссертацию, а отнюдь не письмо. Это и хорошо и плохо в дружбе, что мы предстаем такими, какие мы есть на самом деле, и плохие дни переживаем дважды, потому что смеем говорить о них, — но так же и с хорошими.

Можно мне попросить тебя переслать мне с посыльным, когда он поедет обратно, кашемир, фасон моего платья, а также бумагу, где записаны данные г-на Штеле, которые я

---

* Нетерпелив в отделке, шлифовке (*лат.*).

забыл у тебя на столе? Если фасон и бумага потерялись, то, будь добр, попроси первое у Ландауэра, а второе у портного.

Будь здоров!

Если смогу, то пошлю тебе обещанную элегию[60] через несколько недель. Я теперь опять ищу убежища у Канта, как всегда, когда я себя ненавижу.

Твой
Гёльдерлин

ФРАНКФУРТ И ГОМБУРГ

№ 115. НОЙФЕРУ

Франкфурт-на-Майне, 15 янв. 96

Милый брат!

Хотелось бы написать тебе в менее рассеянном состоянии, потому я и ждал до сих пор, но даже и сейчас заметишь ты во мне следствия бестолковой суетни, неустойчивого, раздвоенного внимания, какие невольно порождаются моим положением. Да, я знаю, когда-то было время, когда меня менее беспокоила перемена; однако мне пришлось вновь испытать на себе, что при всей осмотрительности незнакомое весьма легко приобретает для меня больший вес, чем ему полагалось бы в действительности, что я при каждом новом знакомстве исхожу из некоего заблуждения, что я никогда не научусь понимать людей, не принеся в жертву свои золотые детские мечтанья.

Я знаю, что ничего не теряю в твоих гла-

зах из-за этого самоуничижительного признания.

Впрочем, не подумай в связи с вышесказанным, что мое положение не таково, чтобы в известной мере мне не быть им довольным. Я живу, насколько можно судить, у весьма добрых и действительно, в этих условиях, редких людей; они могли бы стать даже еще лучше, но мне все равно не пришлось бы перечеркивать то, что я написал выше.

Ты, конечно, поймешь меня, если я скажу тебе, что наше сердце до какой-то степени всегда должно оставаться бедным. Я должен еще более приучить себя довольствоваться малым и настроить свое сердце на то, чтобы приблизиться к вечной красоте более через свои собственные усилия и стремления, нежели в ожидании чего-либо ей подобного от судьбы.

Ты, конечно, прав в своем мудром поучении, которое ты мне не раз высказывал, что из-за этого нельзя отгонять от себя радости, которые выпадают тебе в жизни, что даже просто посмеяться — хотя это, конечно, отнюдь не высокое счастье — хорошо человеку; однако ты, наверное, чувствуешь, что научиться этому не так-то легко; это природный дар, которым я, разумеется, не пренебрег бы, если бы он у меня был.—

Мне было необходимо, милый, поделиться с тобой тем, что сейчас занимает мой ум, потому не сердись, что я не рассказал тебе ни о чем другом. 〈...〉

Твой Гёльдерлин

№ 116. БРАТУ

[Франкфурт] 11 февр. 96

Милый брат!

Сердечно благодарю тебя за братское участие в моей судьбе, как и нашу милую матушку. Ты видел меня в плохие дни и выказывал при этом терпение, потому я хотел бы, чтобы ты разделил со мной и более радостные минуты.

Уже настала пора, чтобы мне опять немножко помолодеть; а то я, было, совсем состарился в расцвете дней. Мое существо сбросило уже по меньшей мере несколько фунтов избыточного веса и движется теперь свободнее и живее, как мне кажется. Deus nobis haec otia fecit [61]. Пожелай мне этого, милый, и не думай, что моя *старая любовь* заржавела при моем новом счастье. Но слово «счастье» ты сможешь отнести к моему положению, только когда сам все увидишь и услышишь, а это я могу устроить весьма быстро и легко, по крайней мере что касается путевых расходов, и квартиры, и столования во Франкфурте.

⟨...⟩

Я работаю сейчас исключительно над философскими письмами, план которых тебе знаком, чтобы отослать их профессору Нитхаммеру, который напомнил мне о моем обещании и просил написать ряд статей в том письме, которое ты мне пересылаешь.

Не знаешь ли каких новостей о моем романе? Шиллер еще ничего мне не присылал?

Будь так добр, пришли мне мою флейту,

только запакуй как следует. Она, должно быть, осталась в Нюртингене.

А что поделывает наш добрый Фрипон[62]? Это животное я вспоминаю со странной нежностью, наверное, потому, что он радовал меня в те часы, когда я скорбел о людях. Какое утешение для сердца — чувствовать то родство, в котором мы находимся со всей обширной и радостной природой, и, насколько это возможно, понимать его! К лету я, наверное, опять займусь ботаникой. О моих воспитательных делах и их радостях в другой раз. ⟨...⟩

Из № 117. ИММАНУЭЛЮ НИТХАММЕРУ[63]

Франкфурт-на-Майне,
24 февраля 1796 г.

⟨...⟩

Условия, в которых я теперь живу, хороши, насколько это можно себе представить. У меня много досуга для моих собственных занятий, а моим почти единственным занятием стала опять философия. Я взялся за Канта и Рейнгольда[64] и надеюсь, что в этой стихии мой дух, ставший рассеянным и слабым в бесплодных усилиях, коих ты был свидетелем, сосредоточится и укрепится.

Однако отголоски Йены звучат во мне еще слишком громко и воспоминания имеют надо мной слишком большую власть, чтобы настоящее могло стать для меня целительным. Различные мысли схлестнулись в моей голове, и я не могу их распутать. Для непрерывной

напряженной работы, какой требует поставленная философская задача, я еще недостаточно собран.

Мне не хватает общения с тобой. Ты и сегодня по-прежнему мой философский ментор, и твой совет остерегаться абстракций дорог мне сегодня так же, как и прежде, когда я позволил затянуть себя в них, будучи не в ладах с самим собою. Философия — тиранша, и я настолько страдаю от ее гнета, что ни за что не соглашусь на него добровольно.

В моих философских письмах[65] я хочу найти тот принцип, который объяснял бы разграничения, в которых мы мыслим и существуем, но который также позволяет уничтожить противоречие — противоречие между субъектом и объектом, между нашим «я» и миром, и даже между разумом и откровением, — теоретически, в интеллектуальном созерцании, так что нашему практическому разуму нечего тут будет делать. Мы используем при этом эстетическое чувство, и я назову свои философские письма «Новые письма об эстетическом воспитании человека». А от философии я перейду в них к поэзии и религии. 〈...〉

№ 118. НОЙФЕРУ

Франкфурт, март 96

Милый брат!

Я не дивлюсь, что ты так долго не писал. Я знаю, как это бывает; хочешь сказать другу нечто, а не пройдет и недели, и ты должен

взять свои слова назад, и все колеблет нас вечный прилив и отлив, и то, что было правдой в сей час, мы, положа руку на сердце, уже не можем сказать о себе в другой, и, покуда идет письмецо, которое мы написали, горе, на которое мы жаловались, обернулось радостью или же радость, о которой мы сообщали, обратилась в горе, и так обстоит дело почти со всеми изъявлениями нашей души и нашего духа. Мгновенья, в которые мы открываем в себе предвечное, так часто разрушаются внешними помехами, и сам Предвечный становится тенью и возвращается к нам лишь в свое время, как весна и осень, и оживает в нас. Это одна из причин, почему я пишу с неохотой. 〈...〉

Дела мои хороши, и даже очень. Я живу беззаботно, а так живут блаженные боги.

Что Шиллер не принял «Фаэтона», то это он поступил справедливо, он сделал бы еще лучше, если бы вообще не мучил меня этой глупой задачей; но что он не взял и стихотворение «К природе», тут он, сдается мне, поступил несправедливо. Впрочем, какая важность, одним нашим стихотворением больше или меньше в Шиллеровом альманахе! Мы все равно станем тем, чем должны стать, и тогда твоя неудача будет трогать тебя так же мало, как и моя.

Будь счастлив, милый! И прими с терпением факт, что рядом с великой радостью идет великая боль! — 〈...〉

Твой
Гёльдерлин

№ 121. БРАТУ

Франкфурт, 2 июня 1796

Милый брат!

Твое последнее письмо доставило мне несказанную радость. Гёте где-то говорит: «Радость и любовь дают крылья для великих деяний» [66].— Вот так же и с истиной: кто ее любит, тот и найдет; чье сердце в силах подняться над узеньким, эгоистическим кругозором, в котором очень многие вырастают и который мы, увы, на том клочке земли, который отведен нам для отдохновения и блужданий, вновь встречаем почти повсюду, кто не отупел душой, тот и духом не оскудеет в самом точном смысле слова.

Твои стремления и усилия, милый Карл, делают твой дух сильней и гибче. Мне кажется, ты продвигаешься в глубину и руководствуешься не чем-то *одним*, а многим.

А в том и состоит подлинная основательность, а именно полное знание частей, которые мы кладем в основу и которые в совокупности мы должны охватить в *одном*, и глубочайшее, доскональное знание того, что закладывает основу, и того, что охватывает. Разум, можно сказать, *закладывает* основу, рассудок *охватывает*. Разум закладывает основу посредством своих основоположений, законов действия и мышления, коль скоро они могут быть отнесены к общему противоборству в человеке, в частности к противоборству между *стремлением к абсолюту* и *стремлением к ограничению*. Но эти основоположения разума сами находят свое основание в разуме,

когда сей последний соотносит их с идеалом, высшим основанием всего; и *долженствование*, содержащееся в основоположениях разума, оказывается, таким образом, зависимым от (идеального) бытия. Далее, если основоположения разума, которые *определенно* требуют, чтобы противоборство этих общих, друг другу противостоящих стремлений было *объединено* (в духе идеала красоты), так вот, если эти основоположения применены вообще к такому противоборству, то любое объединение этого противоборства должно дать результаты, и эти результаты общего объединения противоборства и будут общими понятиями рассудка, например: понятия субстанции и акциденции, действия и противодействия, обязанности и права и т. д. Эти понятия для рассудка то же, что для разума идеал, как разум вырабатывает на основе идеала свои законы, так и рассудок на основе этих понятий — свои максимы. Эти максимы содержат критерии и условия, при которых то или иное действие либо тот или иной предмет должны быть подведены под эти общие понятия. Например, у меня есть *право* присвоить себе вещь, не обладающую свободной волей. Общее понятие: *право*. Условие: она не располагает свободной волей. Действие, подводимое под общее понятие: присвоение вещи.

Пишу это тебе между прочим, как беглый набросок, чтобы тебе было чем заняться, когда выпадет свободных четверть часа.

Что судьба твоя часто кажется тебе непереносимой, охотно верю, дорогой мой! Но будь

мужчиной, преодолевай это. Рабство, которое со всех сторон давит на наше сердце и наш ум в ранней юности и в пору зрелости, дурное обращение и подавление наших благороднейших сил дают нам также великолепное чувство собственного достоинства, когда мы, несмотря на все это, все же достигаем наших прекрасных целей 〈...〉.

Пусть мир идет своим путем, если уж он не может быть остановлен, а мы пойдем своим.

Этим летом я надеюсь сделать больше, чем до сих пор. Стремление породить[67] из своего существа нечто, что останется здесь, когда мы уйдем,— это, пожалуй, единственное, что удерживает нас при жизни.

Конечно, мы часто мечтаем и о том, чтобы из этого среднего состояния между жизнью и смертью перейти в бесконечное бытие прекрасного мира, в лоно вечно юной природы, из которого мы вышли. Но ведь все идет обычным своим чередом, так зачем же нам слишком рано бросаться туда, куда мы стремимся?

И солнце не должно нас стыдиться. Оно восходит над злым и добрым; так что и мы какое-то время можем побыть среди людей и их деяний в нашей собственной ограниченности и слабости. 〈...〉

Будь здоров, мой Карл!

Твой
Гёльдерлин

№ 122. БРАТУ

Франкфурт
[По-видимому,
конец июня и 10 июля 1796 г.]

Ты очень счастливый человек, мой Карл,— тем, что ты сам себе даешь, и хотел бы я, чтобы ты видел это так же, как я. Тогда ты меньше ощущал бы нехватку в том, что тебя окружает. Подумай: большинство людей потому и видят вокруг прекрасные вещи, превосходнейшие, пресладостнейшие вещи, потому что все, что им встречается на пути, мерят своим внутренним убожеством и ограниченностью, ибо они вовсе не избалованы самими собой, поскольку они испытывают смертельную скуку от самих себя, все вокруг кажется им очень забавным, а поскольку они чувствуют, что добиваться счастья вряд ли стоит труда, они всегда чрезвычайно благодарны, когда оно им вдруг привалит, и вежливо называют мудрую и справедливую Судьбу *милостивой*.

(Кстати, хотел бы я знать, что такое, собственно, милость?) — Но, поскольку ты сам для себя значишь так много, ты обязан проявлять подлинную заботу о своем сердце и уме. Наслаждение Истиной и Дружбой! О, если бы я мог дать тебе его в той полноте, и силе, и чистоте, как ты того достоин! Однако же *один* — никак не *всё*, а я к тому же — будто старый цветок в горшке, который однажды вместе с землей и черепками был выброшен на улицу и потерял свои побеги и повредил корешки, а теперь вот с великим тща-

нием пересажен в новую почву и едва-едва спасен от гибели заботливым уходом, но все же кое-где еще увядший и покалеченный как был, так и остался. ⟨...⟩

10 июн. [68]

До этого места я дошел к сему моменту. Сейчас меня прервали весьма неожиданно. Императорские войска получили удар при отступлении от Вецлара, и местность вокруг Франкфурта может, таким образом, оказаться чуть ли не главной частью театра сражения. Поэтому еще сегодня я со всем семейством Гонтаров уезжаю в Гамбург, где у нашего дома родня. Только его вскблаг. Гонтар остается здесь, один. Здесь будут важные события. Говорят, что французы в Вюртемберге[69]. Я надеюсь, все это не принесет — по крайней мере тем, кто для меня всего дороже, — слишком много реального зла[70]. Будь мужчиной, брат! Я страшусь не того, чего надо страшиться, меня пугает *сам страх*. Скажи это нашей милой матушке. Успокой ее! Если бы я не был связан долгом службы, я приехал бы к вам. Сейчас каждому нужны мужество и рассудительность. Пыл и пугливость — не та монета, которая теперь в ходу.

Будьте здоровы, дорогие мои!

Ваш
Фриц

№ 123. НОЙФЕРУ

Франкфурт

[по-видимому, конец июня и 10 июля 1796 г.]

Если бы ты был со мной, милый брат! Чтобы снова мы могли слиться душами в сердечной радости! Буквы для дружбы — тусклые сосуды для золотого вина. Конечно, кое-что просвечивает, что позволяет отличить его от воды, но лучше, когда оно сверкает в хрустале.

Как-то ты там сейчас поживаешь? Хотел бы я, чтобы жилось тебе так же, как мне. А я живу в новом мире. Когда-то я мог полагать, что знаю, что такое красота и добро, теперь же, когда я это вижу, мне хочется смеяться над всем моим знанием. Милый друг! Есть в мире существо, перед которым дух мой может пребывать тысячелетия и спустя тысячелетия все равно видеть, как наивно наше мышление и разумение перед лицом природы. Нежность и величие, и тишина и жизнь, и ум, и характер, и облик — все слилось в благословенное *одно* в этом существе. Поверь мне на слово, что редко можно даже предполагать в мире нечто подобное, и вряд ли еще раз можно будет найти. Ты ведь знаешь, каков я был, как претило мне все банальное, ты знаешь, как я жил без веры, с оскудевшим сердцем и потому был так несчастлив; мог ли я стать таким, каков я теперь, ликующий, как орел, если бы мне не явилась она, Единственная, и с нею моя жизнь, дотоле мне недорогая, обновилась, обрела силу и радость, просветилась ее весенним светом? Бывают мгновения,

когда мне мои старые заботы кажутся совершенно бессмысленными, совершенно непостижимыми, будто я ребенок.

Перед нею часто поистине невозможно думать о чем-либо суетном, и поэтому тоже так мало можно сказать о ней.

Быть может, мне удастся когда-нибудь уловить в счастливом штрихе какую-то часть ее существа, и для тебя тогда ни один не пройдет незамеченным. Но то должен быть праздничный, ничем не нарушаемый час, когда я буду писать о ней.—

Что я теперь охотней сочиняю, чем когдалибо прежде, ты можешь себе представить. Вскоре ты кое-что мое и прочтешь.

Твое послание удостоилось высокой похвалы. Она прочла это, и радовалась, и плакала над твоими жалобами.

Желаю тебе счастья, милый брат! Без радости вечная красота не может в нас расти и развиваться. Великая скорбь и великая радость лучше всего воспитывают людей. А вот жизнь сапожника, когда человек изо дня в день сидит на своем стуле и делает то, что можно делать даже не просыпаясь,— вот это безвременно сводит дух в могилу.

Больше не могу сейчас писать. Мне надо обождать, пока я перестану чувствовать себя таким счастливым и молодым. Будь здоров, дорогой, испытанный, вечнолюбимый друг. Если б я мог прижать тебя к груди! Это и был бы самый нужный нам обоим разговор!

Твой
Гёльдерлин

Я сегодня же уезжаю в Гамбург, это из-за войны... Будь здоров, брат мой! Время торопит меня. Я напишу тебе скоро, как только будет возможно.

№ 124. ШИЛЛЕРУ

Кассель, 24 июля 96

Я беру на себя смелость, достопочтенный господин надворный советник, послать Вам небольшой материал для будущего тома «Избранного чтения» [71]. Охотнее я привез бы его сам, чтобы вновь ощутить радость Вашего присутствия. Мне сказали, что здоровье Ваше идет на поправку, и это тоже подстегивает мое желание пуститься в путь, чтобы повидаться с Вами. Но пока что я должен набраться терпения, по крайней мере на несколько месяцев. Сейчас я нахожусь на временном жительстве в Касселе, вместе с семейством, при котором я с прошлой зимы очень счастливо живу во Франкфурте. Это действительно редкие люди, которые меня окружают, и для меня это особенно ценно, ибо я нашел их в такой момент, когда некий горький опыт настроил меня крайне недоверчиво к отношениям любого рода.

Я хотел бы однажды вновь предстать перед Вами со всеми моими нуждами, спросить Вашего мнения по поводу того, что нынче занимает меня, и, чего бы мне это ни стоило, добиться от Вас нескольких дружеских слов, но я вынужден прервать свое письмо.

Не будете ли Вы столь добры, чтобы передать мое почтение госпоже надворной советнице?

Всегда Ваш
М. Гёльдерлин

№ 125. БРАТУ

Кассель, 6 авг. 96

Надеюсь, мой Карл, что почта позволит мне теперь подать тебе весточку, а затем получить от тебя такую же; ибо ты легко можешь себе представить, что для меня во многих отношениях есть необходимость точно знать все обстоятельства происходящих у вас больших событий, и в особенности те, что касаются при этом моей дорогой семьи.

Я меньше терзался бы в связи с тревожными слухами, похожими на правду, если бы моя фантазия не познакомилась ближе с войной в рейнских землях [72].

Я искренне жалею нашу добрую матушку и очень за нее беспокоюсь, ибо знаю, как сильно страдают при таких обстоятельствах ее чувства и кротость.

Ты же, мой Карл, должен скрепить сердце перед лицом грядущих грозных событий, которые несег с собой стремительное наступление республиканских армий.

Конечно, куда легче слушать о громовых глотках древних греков, что тысячелетия назад вымели из Аттики персов, прогнав их через Геллеспонт [74] до самых их варварских Суз [73], нежели видеть, как неумолимая гроза собирается над родным домом.

Конечно, вы небезвозмездно оказались зрителями этой новой драмы. И все же, я думаю, вы отделались сравнительно благополучно. Как раз сегодня я прочел в газете, что генерал Сен-Сир [75] устремился вслед за австрияками через Тюбинген, Ройтлинген и Блаубойрен, и меня охватило беспокойство за нашу милую сестру и ее дом; и еще меня угнетает мысль о чудищах Конде [76], которые только грязнят землю и столь мерзко хозяйничают среди вас. Напиши мне тотчас же по получении этого письма, милый Карл! У меня все хорошо, если не считать беспокойства за вас, мои родные. Вот уже три недели и три дня, как мы очень счастливо живем здесь, в Касселе. Мы проехали через Ганау и Фульду в достаточной близости к французской канонаде, но притом вполне безопасно. Я писал к тебе в день отъезда, что мы отправляемся в Гамбург, но здешние места во многих отношениях приятны для мадам Гонтар, поэтому она решила, по прибытии сюда, остановиться здесь на некоторое время. (Она кланяется нашей люб. матушке и тебе и советует вам, насколько возможно, бодро принимать ваше положение.) Также его вскблаг. Гейнзе [77], знаменитый автор «Ардингелло», живет здесь с нами. Он в самом деле совершенно замечательный человек. Нет ничего прекрасней, чем та безоблачная старость, которой наслаждается этот человек.

С некоторых пор у нас здесь тоже разыгрываются спектакли [78], только более мирные, чем ваши. Король Пруссии нанес визит здешнему

ландграфу и был принят довольно-таки торжественно.

Природа, окружающая нас, величественна и великолепна. И искусство дарит нам свои радости; здешний *сад в долине* и *Белый Камень*[79] имеют насаждения, принадлежащие к лучшим во всей Германии. Еще мы познакомились здесь с отличными художниками.

Картинная галерея[80] и несколько статуй в Музее[81] доставили мне поистине счастливые дни.

На следующей неделе мы едем в Вестфалию, в Дрибург (курорт неподалеку от Падеборна). Прилагаю адрес, по которому твое письмо непременно попадет в мои руки. Если заключат мир, мы с началом зимы возвратимся во Франкфурт.〈...〉

Твой
Фриц

№ 126. БРАТУ

Франкфурт, 13 окт. 96

И вот я снова стал намного ближе к тебе и чувствую это сам. Мое последнее письмо ты получишь из Касселя. Оттуда мы отправились в немецкую Беотию, то есть в Вестфалию, через дикую прекрасную местность, через Везер, через пустые голые горы, через грязные, невообразимо жалкие деревушки, по еще более грязным и жалким, разбитым ухабами дорогам. Вот мое краткое и верное описание путешествия.

На наших водах мы жили очень тихо, не делали никаких новых знакомств, да и не нужда-

лись в них, ибо мы жили среди величественных гор и лесов, и лучший круг знакомств был тот, который образовали мы сами. Гейнзе тоже приехал с нами и остался. Я немножко попользовался источниками, попил этой целебной, укрепляющей и очищающей минеральной воды и оттого почувствовал себя — и чувствую себя до сих пор — необыкновенно хорошо. Что тебя может особенно порадовать, так это если я тебе скажу, что мы на самом деле жили в получасе ходьбы от того луга, на котором *Герман* побил легионы Вара [82]. И, стоя на том месте, я думал о майском дне, когда мы с тобой в лесу под Гардтом [83] за кружкой сидра читали вместе на скале «Битву Германа» [84]. Какие же то были прекрасные прогулки, милый, верный мой Карл! И я надеюсь, они будут еще прекрасней, когда мы с тобой вновь соберемся. ⟨...⟩

Философию ты *непременно должен* изучать, даже если денег у тебя будет хватать лишь на то, чтобы купить лампу и масло для нее, а времени — с полуночи и до петушиного крика. Это я повторяю во всяком случае, но это и твое ведь мнение.⟨. . .⟩

Если тебе нельзя будет поехать в Йену, то по меньшей мере можешь приехать во Франкфурт.⟨. . .⟩

У меня все хорошо. Ты найдешь меня в менее революционном состоянии духа, когда меня увидишь; и я очень здоров. Посылаю тебе отрезик кашемира на жилетку. Наша ярмарка на сей раз весьма скудна. Лишь бы только Вюртемберг и моя дорогая семья были

защищены от новых неприятностей. Мне не хотелось бы особенно распространяться о политических событиях. С некоторых пор я стал удивительно молчалив по поводу всего, что происходит вокруг нас.〈...〉

Твой
Фриц

№ 129. ШИЛЛЕРУ

Франкфурт, 20 ноября 1796

Достопочтеннейший!

Я часто с печалью думаю о том, что мне теперь невозможно высказать перед вами, что у меня на душе, как бывало когда-то, но Ваше полное молчание делает меня робким, и мне всегда приходится искать какую-нибудь мелкую причину, чтобы собраться с силами и вновь упомянуть перед Вами мое имя.

Эта мелкая причина есть на сей раз просьба прислать мне обратно для просмотра мои несчастные стихи, которым не нашлось места в Вашем альманахе на этот год, потому что рукопись, посланная мною Вам из Касселя в августе, была единственная, другой у меня нет.

И, если бы это не составило для Вас большого труда, приложите Ваш отзыв, ибо для меня легче перенести что угодно, только не Ваше молчание.

Я очень хорошо понимаю каждое мельчайшее проявление Вашего участия во мне. И однажды, когда я еще жил во Франконии, Вы даже написали мне несколько слов, кото-

рые я часто повторяю себе, когда меня не признают.

Вы изменили Ваше обо мне мнение? Вы отступились от меня?

Простите мне эти вопросы. Привязанность к Вам, с которой я часто безуспешно сражался, когда она превращалась в страсть, привязанность, которая еще не вполне оставила меня, требует от меня этих вопросов.

Я корил бы себя за это, если бы Вы не были единственным человеком, ради которого я так поступился своей свободой.

Я знаю, что не успокоюсь до тех пор, пока не добьюсь чего-то, не совершу нечто, что заставит Вас вновь подать мне знак Вашего удовлетворения.

Не подумайте, что я лодырничаю, коль скоро я не говорю о своих занятиях. Но очень трудно сопротивляться подавленности, причиной которой — утрата благорасположения, подобного тому, каким владел я или о котором грезил.

Меня смущает и беспокоит каждое слово, которое я Вам пишу, а ведь при обращении с другими людьми я уже избавился от юношеской стеснительности.

Скажите же мне приветливое слово, и Вы увидите, как все во мне переменится.

Ваш истинный почитатель
Гёльдерлин

№ 132. ИОГАННУ ГОТФРИДУ ЭБЕЛЮ

Франкфурт, 10 янв. 97

Дорогой мой!

Я потому лишь столь долго задерживался с ответом на Ваше первое письмо, что чувствовал, как много нужно написать в ответ, и ни один момент, когда мне выдавался досуг для письма к Вам, не казался мне подходящим, чтобы сказать Вам все, что я хотел бы сказать.

Милый Эбель! Но ведь это прекрасно — чувствовать себя оскорбленным и разочарованным так, как Вы! Не каждый может так любить Истину и Справедливость, чтобы видеть ее даже там, где ее нет, и, когда наблюдающий рассудок так подкуплен сердцем, тогда следует сказать себе, что это сердце слишком чисто для своего столетия. Сейчас почти невозможно незащищенным глазом смотреть на нашу грязную действительность, чтобы самому от нее не заболеть; насколько это возможно, лучше зажмуриться перед летящим осколком, перед дымом и пылью, въедающимися в глаза,— между прочим, прекрасный инстинкт человека таков: все то, что не имеет к нему непосредственного отношения, рассматривать более оптимистически. Но Вы способны вынести все это, и я ценю Вас гораздо более за то, что Вы сейчас еще можете видеть, нежели за то, что Вы прежде видели это не совсем так.

Я знаю, это бесконечная мука — прощаться с тем местом, где ты видел в своих мечтах и

надеждах расцветшие цветы и плоды всего человечества. Но уцелел ты сам, уцелели немногие тебе близкие отдельные люди, и это прекрасно — найти целый мир в себе самом и этих немногих.

Что же касается Общего, то у меня лишь *одно* утешение, а именно что всякое брожение и разложение неизбежно ведут либо к уничтожению, либо к новой организации. Но уничтожения нет, значит, из нашего тлена должна возродиться юность мира. Можно сказать с уверенностью, что никогда еще мир не выглядел так пестро, как сейчас. Он несет в себе чудовищное разнообразие противоречий и контрастов. Старое и новое! Культура и неотесанность! Злоба и страсть! Эгоизм в овечьей шкуре, эгоизм в волчьей шкуре! Суеверие и безверие! Рабство и деспотизм! Неразумная мудрость, немудрый разум! Бездуховные чувства, бесчувственный дух! История, опыт, традиция без философии, философия без опыта! Энергия без принципов, принципы без энергии. Строгость без человечности, человечность без строгости. Льстивое низкопоклонство, беззастенчивое бесстыдство! Преждевременно созревшие юноши, ребячливые мужи! — Эту литанию можно бы продолжать от восхода солнца до полуночи и при этом назвать лишь тысячную долю признаков хаоса человечества. Но так и должно быть! Сей характер более изученной части рода человеческого есть, конечно, предвестник чрезвычайных событий. Я верю в грядущую революцию образа мыслей и форм представления,

которая посрамит все до нее бывшие. И для нее Германия может очень многое сделать. Чем тише нарастает государство, тем пышнее расцветает оно, когда придет срок. Германия тиха, скромна[85], здесь много думают, много работают и большие движения происходят в сердцах молодых, не оформляясь во фразы, как в иных местах. Больше образования, и еще больше, бесконечно больше материала для образования! — Доброжелательство и прилежание, детскость сердца и мужественность духа — вот элементы, из которых слагается прекрасный народ. Где найдем мы эти черты более выраженными, чем у немцев? Конечно, низкое подражательство нанесло им большой урон, но чем философичнее они становились, тем самостоятельнее. Вы ведь сами говорите, мой милый: теперь нужно жить для Родины. Скоро ли Вы собираетесь это сделать? Приезжайте! Приезжайте сюда! Я Вас не пойму, если Вы не приедете. В Париже Вы бедный человек. Здесь же Ваше сердце очень, очень богато, богаче, чем Вы сами, может быть, подозреваете, а дух Ваш, как я полагаю, тоже не оскудел. Здесь у Вас есть друзья, я в том числе. <...>.

№ 136. НОЙФЕРУ

Франкфурт, 16 февр. 97

Мой дорогой! Я объехал земной шар радости, с тех пор как мы с тобой перестали писать друг другу. Я охотно рассказал бы тебе о себе, если бы хоть на минуту мог остановить-

ся и оглянуться назад. Волна несет меня все дальше, и все мое существо слишком охвачено жизнью, чтобы я мог над собою задуматься.

И это все длится! Я все еще счастлив, как в первый миг! Это вечная, радостная, святая дружба с существом, которое по ошибке попало в наше жалкое, бездуховное и бестолковое столетье! Моему чувству прекрасного теперь ничто не угрожает. Вечным ориентиром служит ему эта головка мадонны. Мой рассудок учится у нее, как школьник, и мой беспокойный нрав смягчается и веселеет с каждым днем в ее довольствующемся малым мирном мире. Честное слово, милый Нойфер, я на пути к тому, чтобы в самом деле перестать быть шалопаем. А что до самого меня, то я стал немного больше собой доволен. Сочиняю мало и не философствую почти совсем. Но то, что́ я сочиняю, имеет в себе более живости и формы, моя фантазия с большей охотой принимает в себя образы мира, сердце мое исполнено радости, и если священный жребий сохранит мне мою счастливую жизнь, то надеюсь сделать в будущем больше, чем до сей поры.

Я понимаю, милый брат, что ты хотел бы слышать более подробный рассказ о моем счастии. Но этого я не смею! Не раз уже я и плакал, и негодовал на этот мир, в котором самое драгоценное нельзя доверить даже бумаге, посылаемой другу. Посылаю тебе стихотворение, посвященное ей [86], которое я написал в конце прошлой зимы.

Все лето я провел в Касселе и на водах в Вестфалии, в тех местах, где некогда произо-

шла битва Германа, по большей части в обществе Гейнзе, который тебе известен как автор «Ардингелло». Это замечательный старик! Я никогда еще не встречал такого беспредельного развития духа при такой детской простоте.

Первый том моего «Гипериона» выйдет в свет к ближайшей пасхе[87]. Привходящие обстоятельства задержали его издание.

Мой выезд из Франкфурта и рассеяние во время путешествия были виной тому, что я не успел вовремя послать стихи для Шиллерова альманаха. На будущий год я надеюсь снова явиться на его страницах рядом с тобой. Песня, которую я там нашел, очень искусно отделана. Напиши мне побольше о своих работах, вкусах, настроениях! Нам надо будет опять быстрее обмениваться письмами. Присутствие Гегеля действует на меня благотворно. Я люблю спокойных, рассудительных людей, потому что по ним можно хорошо ориентироваться в мире, когда толком не знаешь, в какую ловушку попался ты сам и твой мир.

Я хотел бы написать тебе так много, дражайший Нойфер! Но скудные минуты, выпадающие мне для этого дела, так ничтожно малы, чтобы передать тебе все то, что живет и царствует во мне! Это просто смертельно для нашего тихого блаженства, когда его надо превращать в слова. Потому я и предпочитаю пребывать в радостном и прекрасном мире как дитя, не пересчитывая, что я имею и что такое я сам, ибо то, что я имею, не охватит полностью никакая мысль. Лишь ее портрет хотел бы показать я тебе, и никаких слов больше бы

не потребовалось. Она прекрасна ангельски. Нежное, одухотворенное, небесной прелести исполненное лицо! Ах, я мог бы на тысячу лет забыть себя и все в блаженном ее созерцании, так неисчерпаемо богата эта безупречно тихая душа на этом портрете! Величие и нежность, веселие и серьезность, сладостная игра и высокая печаль, живость и ум — все это в ней соединилось в *одно* божественное целое. Доброй ночи, мой дорогой! «Кого любят боги, тому уделом великая радость и великая скорбь» [88]. По ручью кататься в лодке невелико искусство. Но когда наше сердце и наша судьба кидают нас в морскую пучину, а потом высóко в небо — так воспитывается кормщик.

Твой
Гёльдерлин

№ 138. СЕСТРЕ

Франкфурт, апр. 97

Милейшая сестра!

Могу себе представить, что ты в мыслях сопровождала нашего братца на его пути сюда; хотел бы я, чтобы так оно было и на самом деле.

Его посещение наполнило мои дни радостью. При первой встрече я был гораздо живее, чем он,— виной тому почтовая карета, от которой бедный малый совсем осоловел. Но вскорости он у меня оттаял. Уже на другой день мы с ним поднялись в Гомбург, к Синклеру [89] — молодому человеку превосходнейших качеств, моему другу в самом глубоком смысле

слова. На следующий день из Гомбурга отправились мы по здешним горам, с вершины которых нам на многие мили вверх по течению открылся вид на царственный Рейн и его младшего брата Майн и на зеленые бесконечные равнины, лежащие меж обоими потоками, и на Франкфурт с разбросанными там и сям приветливыми деревушками и рощами, на гордый Майнц и прекрасные дали, горы Франконии и леса Шпессарта, и рёнские горы, с одной стороны, с другой же — Хундрюкен, а дальше и выше — горы перевала и те, что в Эльзасе, под нами же — высочайшие пики гор в области Бонна и т. д. Потом спустились мы в Майнц; внутренность города мало нас интересовала; главные крепостные укрепления нельзя было видеть, не привлекши к себе внимания военных, церкви разбиты либо превращены в провиантские склады, интересные люди тоже теперь немногочисленны, впрочем Карл сделал там одно приятное знакомство — с одним из моих друзей, проф. Фогтом, который в силу своей биографии, отмеченной некоторым участием в майнцской революции [90], но еще более в силу своего чистого простого нрава, своего ума и своих познаний является в моих глазах человеком поистине примечательным.

Об окрестностях Майнца Карл, наверное, сам тебе расскажет. Он искренне полюбил эти места! Мы пробыли здесь еще несколько дней вместе, предпринимая отдельные вылазки, и, наверное, могли бы остаться еще на несколько дней, ежели бы господа республиканцы не пе-

речеркнули наших расчетов. Утром нам повстречался небольшой отряд отступающей императорской армии. Один взгляд на их физиогномии сказал нам предостаточно. Мы решили, что нам следует проститься в тот же день после полудня. Я провожал братца около часа пути, и там мы расстались, поспешно и с тяжелым сердцем.

На другой день после отъезда Карла французская кавалерия стояла уже у наших ворот, почти в тот самый момент, когда сюда к ген. Ошу прибыл курьер от Буонапарте, и целый город был преисполнен ликования при известии о мире. Ситуация была весьма своеобразная.— Французы у ворот знать не желали ни о каком мире (они желали следовать своему *ordre* *, да к тому же маленько выпотрошить франкфуртскую ярмарку). Ген. Ош, к которому прибыл курьер, находился в отсутствии, так что в продолжение целого дня до самого вечера были мы в недоумении, как обернется дело, ибо серьезной атаки императорский гарнизон не выдержал бы. Однако генералы с обеих сторон все ж таки согласились под конец на перемирие, французы отступили за Нид, в нескольких часах пути отсюда, и сейчас мы опять живем спокойно [91].

На следующей неделе мы, вероятно, переедем в загородный дом, нанятый г-ном Гонтаром. Дом этот построен очень удачно и стоит в зеленом месте, рядом сады и луга; вокруг него каштаны и тополя, и богатые фруктовые

---

* Приказ (*фр.*).

сады, и открывается прекрасный вид на горы. Чем старше я становлюсь, тем большим ребенком делаюсь я с приходом весны, как я вижу. Всеми силами души жажду я радоваться ей!

Прими и ты ее с радостью, милая сестра! Нужно успеть сделать и воспринять все лучшее, прежде чем придет к нам старость.

Если тебе попадется книга, озаглавленная «Гиперион», доставь мне удовольствие и прочти ее при возможности. Это тоже частица меня, и она наверное позволит скоротать тебе несколько часов. Мне следовало бы, конечно, послать ее тебе самому, но экземпляры, которые я заказал для себя, наша матушка как раз отправила сюда, а я забыл написать по этому поводу Котте.

Шлю тебе кое-какие мелочи с ярмарки. Надеюсь, они тебе понравятся.

Как поживают твои детки? Очень рад буду поглядеть на них, когда вновь окажусь под одной с вами крышей.

Пожалуйста, пиши мне обо всех твоих радостных событиях. Мне приятней всего, когда я будто своими глазами вижу, как ты живешь. Чем больше мелких подробностей, тем лучше! Общее хорошо в учебниках, в наших же письмах нам хочется совсем неразумно поговорить друг с другом о самих себе и о наших неважных и важных делах.— Ты не поверишь, как много радости доставляет мне думать о твоей созданной для домашнего уюта натуре. Нет ничего дурного в том, что мы в юности рвемся ввысь и в открытый мир; в зре-

лый же период жизнь вновь склоняется к человеческим истинам и тишине.

Прощай, моя милая! Сердечный привет твоему мужу и деткам; передай приветы от меня всем знакомым.

Твой Фриц

№ 139. ШИЛЛЕРУ

Франкфурт, 20 июн. 97

Мое письмо и то, что в нем содержалось. не пришло бы так поздно, если бы я был увереннее в приеме, которого Вы меня удостоите. У меня достаточно смелости и рассудительности, чтобы чувствовать себя независимым от других мастеров и законодателей искусства и с необходимым спокойствием идти своей дорогой; но от Вас я завишу непреоборимо; поэтому, чувствуя, сколь решающе для меня Ваше слово, я стараюсь время от времени не думать о Вас, чтобы боязнь не сопутствовала моей работе. Ибо я уверен, что именно эта боязливость и задавленность означают смерть искусства, и потому хорошо понимаю, почему труднее найти верное выражение природе в период, когда вокруг лежат разнообразные шедевры, нежели в другом, когда художник стоит почти один перед лицом живой реальности. Он сам мало чем отличается от природы, он слишком хорошо знаком с нею, чтобы ему надо было противиться ее авторитету либо отдаться ей в полон. Но эта дурная альтернатива почти неизбежна там, где на молодого художника действует более могущественный и понятный, чем

природа, но именно в силу этого более порабощающий и позитивный зрелый гений мастера. Здесь не дитя играет с другим дитятей, здесь нет и старого равновесия, внутри которого находился первый художник вместе со своим миром,— отрок вступает в соприкосновение с мужами, с коими он вряд ли достигнет той степени доверительности, при которой сможет забыть их перевес. И, если он это чувствует, он должен либо проявить своенравие, либо покориться. Или не так? Во всяком случае мне не подходит решение тех господ, которые в подобных случаях прибегают к услугам математики и путем бесконечного сокращения делают бесконечное равным и подобным ограниченному. Даже если простить себе надругательство над самым драгоценным, то все равно итог весьма печальный: 0=0!

Я беру на себя смелость препроводить Вам первый том моего «Гипериона». Вы поддержали эту книжечку, когда она — под влиянием тяжелого настроения ума и не вполне заслуженных обид — была совершенно обезображена и так суха и скудна, что о том и вспоминать не хочется. И я, по свободном размышлении и в более счастливом состоянии духа, начал ее сызнова и теперь прошу Вас, не откажитесь, по Вашей доброте, прочесть ее при случае и сообщить мне посредством какого-либо транспорта Ваше суждение. Я чувствую, что было неразумно выставлять первый том без второго, поскольку он слишком мало самостоятелен как часть целого.

Хотелось бы мне, чтобы стихи, которые я прилагаю[92], были все же удостоены места в Вашем «Альманахе Муз»! — Уверяю Вас, что я слишком заинтересован в этом деле, чтобы спокойно ожидать решения моей судьбы до официального выхода в свет альманаха, потому прошу Вас сделать для меня еще одно: в нескольких словах сообщить мне, найдены ли они достойными публикации. Если Вы позволите, я пошлю Вам еще одно или два стихотворения, которые в прошлом году опоздали, в переработанном виде.

Возможно, говоря так, я предстаю перед Вами как проситель, но я не стыжусь просить поддержки благородного ума. Могу Вас заверить, что я весьма мало обольщаюсь тщеславными надеждами и вообще чрезвычайно сдержан в своих желаниях и поступках. С глубоким уважением

Преданный Вам
М. Гёльдерлин.

№ 140. НОЙФЕРУ

Франкфурт, 10 июл. 1797

Милейший Нойфер!

Давно тебе не писал. Часто это и невозможно. Пока я собираюсь сказать тебе: вот как обстоят дела,— как все уже переменилось. Судьба погоняет нас, гонит вперед и по кругу, и у нас слишком мало времени, чтобы побыть с другом, как у того, кого внезапно понесли кони. Но тем больше твое удовольствие, когда ты остановился и пытаешься сказать своему верному другу, как же обстоят

дела, а тогда и сам для себя повторяешь, как они обстоят.— Мне часто тебя не хватает, мой дорогой! Болтать на философские, политические и прочие темы можно с кем угодно. Но число людей, которым ты открываешь свою силу и слабость, не так-то легко удвоить. Так что я уже почти разучился с полным доверием раскрываться перед другом. Мне нужно бы посидеть рядом с тобой и как следует отогреться в тепле твоей верной дружбы — тогда и пошел бы сердечный разговор.— Друг мой! Я все молчу и молчу, и на душе моей собирается груз, который в конечном итоге должен меня раздавить, по меньшей же мере неизбежно омрачить мой ум. И это мое душевное нездоровье, и взгляд мой уже не так ясен, как прежде. Сознáюсь тебе, мне думается, что раньше я обладал более ясным умом, чем теперь, здравее, чем теперь, судил о других и о себе в мои 22 года, когда я еще жил с тобой, мой добрый Нойфер. О, верни мне назад мою юность! Я раздираем любовью и ненавистью.

Но вряд ли тебе по душе подобные неопределенные выражения. Поэтому мне лучше замолчать.

И ты ведь тоже был счастливей, чем сейчас. Но у тебя есть покой. А без него любая жизнь подобна смерти. Как хотел бы я иметь покой, мой милый.

Свою лиру, как ты пишешь, ты уже давно повесил на стену. Это неплохо, если делаешь это, не испытывая угрызений совести. Твое чувство собственного достоинства опирается

и на другой род деятельности, доставляющий тебе радость, потому ты не будешь сокрушен, если перестанешь быть поэтом. Я же испытываю отвращение ко всему, что мог бы делать, и единственная радость, которую я себе дарю,— это радость первых мгновений, когда несколько строчек изливаются из моей горячей души; но, как преходяще это наслаждение, ты знаешь сам. Результат моей служебной деятельности в силу самой ее природы не проявляется явно, поэтому я не могу ощутить в ней свою силу.

Не напишешь ли ты мне, принят ли у вас и как первый том моего «Гипериона» и что ты сам судишь на сей счет?

Стихотворение Диотиме, которое я послал тебе прошлый раз, предназначено для Шиллера, поэтому я не могу разрешить опубликовать его в «Альманахе» Ланга, и поскольку тот экземпляр, который у тебя, более правильный и у меня нет с него копии, то прошу тебя, с надеждой на твою снисходительность, прислать мне с него копию насколько возможно скоро, потому что иначе будет поздно переслать ее ему. И ты доставил бы мне радость, присовокупив что-нибудь свое.

Будь здоров, мой милый!

Как всегда

Твой

Гёльдерлин

№ 142. БРАТУ

Франкфурт [август 1797 г.]

Милый Карл!

Твои опасения вовсе не имеют под собой оснований. У меня нет твоего письма под рукой и нет времени его искать, а то бы я в минуту разрешил все твои сомнения.

Ты спрашиваешь меня о моем настроении и моих занятиях. Первое соткано из света и теней, как и везде, только что тени у меня часто плотнее и резче обозначены. Мои занятия, напротив, очень однородны. Я сочиняю, обучаю моих детей, иногда читаю книги. Я неохотно нарушаю свой распорядок дня. Кто никогда не был лишен этого, тот не знает, как дорого стоит один день, когда ты можешь углубиться в работу, сохраняя спокойствие духа. Для большинства жизнь протекает как в полусне. Для меня же она слишком оживлённа, как ни мал тот круг, внутри которого я существую. Еще несколько лет назад мне было непонятно, что некое положение, сдерживающее наши силы, в каком-то отношении может быть названо благоприятным. Теперь же я иной раз чувствую сам, какое в том было счастье, сравнивая то положение с другими, требующими от нас слишком много, которые для нас все равно что сурепица для поля, они вытягивают из нас слишком много силы и на будущее оставляют нас бесплодными.

Оставь свою жизнь такой же незначительной, как она есть! Она еще обретет свое значение. Я мог бы еще многое возразить тебе.

Но ночь так прекрасна. Небо и воздух окутывают меня, словно колыбельная, в такие минуты не хочется говорить.

Мой «Гиперион» доставил мне уже немало лестных слов. Я жду не дождусь, когда я с ним окончательно разделаюсь. У меня в голове созрел детальный план трагедии, материал которой захватил меня.

Одно мое стихотворение, названное «Скиталец», ты можешь прочесть в последнем номере «Ор». И кое-что мое ты найдешь в следующем Шиллеровом альманахе.

Я несколько утомлен, милый Карл, дневными трудами. Не сердись и освободи меня на сей раз от дальнейшего изложения. Я напишу тебе вскоре опять, менее сонный и с большей теплотой. Как всегда

Твой
Фриц

№ 145. БРАТУ

[Франкфурт,
около 20 сентября 1797 г.]

[Он пересылает письмо, где дети благодарят Карла за подарки, которые он им прислал.]

Прекрасные осенние дни благотворны для меня. Мы теперь с моим воспитанником остались в одиночестве в домике в саду. Семейство в связи с ярмаркой переселилось в город. Чистый, свежий воздух и прекрасный свет, свойственный этому времени года, и спокойная земля с ее темной зеленью, даже с увядающей зеленью, и с прозрачными мерцающими плодами ее деревьев, облака, туманы,

чистейшие звездные ночи — все это ближе моему сердцу, чем какой-либо другой период жизни природы. В этом времени года живет особый, тихий и нежный дух.

Был у меня в гостях Нойфер. Мы провели вместе несколько дней в превеликом удовольствии. Его сердечность и веселый нрав — лучшее лекарство для нашего брата.

Я высоко ценю, милый Карл, то усердие, с коим ты принялся за свою работу на службе. Ведь не столько то, *что* мы делаем, но *как* мы это делаем, не материал и положение, но обращение с этим материалом и положением определяют ценность человеческих усилий. В любой человеческой деятельности есть совершенство, даже в составлении актов. Конечно, рыба стремится в воду, а птица в небо, и среди людей также каждый принадлежит своей стихии. Но не следует думать, что самое однородное есть одновременно и самое подходящее. Идеальный ум старается сделать своей стихией эмпирическое, земное, ограниченное. Если это ему удается, тогда он, и только он, становится совершенным человеком.

№ 147. БРАТУ

Франкфурт, 2 ноябр. 97

Дорогой мой!

Для меня бесконечно много значит найти себя так дружески и действенно отразившимся в твоей душе. Ничто не успокаивает и не смягчает меня так, как капля простой, не-

фальшивой любви,— и напротив, человеческая холодность и подспудное стремление поработить тебя, при всей предусмотрительности, на которую я способен, держат меня все время в напряжении, приводя к непомерным усилиям и движениям в моей внутренней жизни. Милый Карл! Есть прекрасная полнота жизни во всем, что мы делаем, когда это совершается со спокойной душой и нас оживляет спокойное ровное пламя, и мне кажется, я все более нахожу это в созданиях старых мастеров, во всех жанрах, как преобладающий дух. Но кто сохранит это прекрасное состояние, пробиваясь через разные препоны, где его толкают и так и сяк? И кто может удержать свое сердце в его прекрасных пределах, когда мир напускается на него с кулаками? Чем более искушает нас Ничто, как пропасть, раскрывающая нам навстречу свой рот в зевке, или тысячеликое Нечто общества и человеческой деятельности, что, бесформенное, бездушное и равнодушное, преследует нас и рассеивает наши мысли,—тем более страстным, и горячим, и мощным *должно быть сопротивление* с нашей стороны. Или *не должно*? Это то самое, что ты испытал и на себе, мой милый! Скудость и нищета вовне превращают избыток в твоем сердце в нищету и скудость. Ты не знаешь, куда тебе деваться со своей любовью, и должен идти побираться своего богатства ради. Не делает ли так судьба нечистым наше Чистейшее, не суждено ли нам погибнуть, без вины виноватым? Кто пособит нам в такой беде? Если ты можешь про-

сто заняться делом, просто корпеть над какой-то работой, и то уже благо. Тем самым ты всегда имеешь перед глазами тень совершенства, и взор твой каждый день получает пищу для наслаждения. С таким настроением читал я некогда Канта. Дух его был тогда еще далек от меня. Все в целом было чуждо, как всякому другому. Но каждый вечер я преодолевал новые трудности и это давало мне сознание собственной свободы; а сознание нашей свободы, нашего труда, в чем бы он ни заключался, глубоко родственно чувству высокой, божественной свободы, что одновременно есть чувство высочайшего, совершенного. И в самом предмете, пусть он всего лишь фрагмент, но как только в нем появляется какой-то порядок, есть тень совершенного. Иначе как бы иная прекрасная женская душа могла иметь целый мир в своей чисто прибранной горнице?

Стихотворение «К эфиру», подписанное буквой Д, в новом Шиллеровом альманахе — мое. Может быть, оно попадется тебе и ты найдешь в нем отдохновение для твоего сердца. — Еще советую тебе, сходи в Вайинген к дьякону Ко́нцу[93]. Ты, право, не пожалеешь, познакомившись с ним, и я думаю, он тоже тебя полюбит. Заверь его в моей самой теплой памяти о нем и поблагодари от моего имени за драгоценный для меня привет, что передал мне от него Нойфер, и за дружелюбный прием, оказанный моему «Гипериону». Скажи ему, что я ждал только выхода второго тома, чтобы послать ему оба вместе и за-

дать ему в связи с этой книжечкой некоторые вопросы, которые меня особенно волнуют. — Я нахожусь в некоторой оппозиции к господствующим сейчас вкусам, и впредь не собираюсь особенно поступаться своими взглядами, и думаю, что пробьюсь. Я думаю, как Клопшток:

Поэты, что играют,
Не знают ни себя, ни публики, шутя.
Читатель нынче — не дитя,
В нем сердце пищи просит, замирая,
но не играя[94].

Гейнзе, автор «Ардингелло», высказался у доктора Зёммеринга[95] очень одобрительно в адрес «Гипериона».

На прочее, что требует в твоем письме ответа, я отвечу *по всей совести* следующий раз, и скоро. Сейчас мне надо многое написать. Только не бойся, что тебе придется платить за какой-то акт. Как бы ничтожен я был! И как бы мало должен ты был для меня значить! Я, конечно, не оставлю тебя. Ведь мы же братья, хотя и не значимся ими.

Твой
Гёльдерлин

№ 161. СЕСТРЕ

Франкфурт, 4 июл. 1798

Милейшая сестра!

Я должен сказать тебе множество спасибо; за подарок из твоих рук, за письмо, за то, что оно такое длинное, и за его содержание. Получив и прочитавши его, я пошел с ним на прогулку, и хотел его опять почитать, и не стал вынимать из кармана, потому что знал его наизусть, и слишком много мыслей было у меня в голове о тебе и о твоей симпатии ко мне, чтобы я мог вновь читать его по порядку. Милая сестра! У меня есть одно большое преимущество, приобретенное благодаря разнообразному опыту, что я все глубже ценю проявленное ко мне участие. Мы похожи на овец, как я часто наблюдал в стадах, пасущихся на лугу: в дождь и грозу они сбиваются в кучу и держатся друг за дружку. Чем старше и молчаливей становишься в этом мире, тем крепче и радостней держишься испытанных друзей. И это совершенно необходимо, ибо то, что у нас есть, мы осознаем и оцениваем только тогда, когда видим, как мало значит многое другое.

Не говори ничего, моя дорогая, о мелочах, которыми я хотел выразить мою память о тебе и мое желание угодить тебе в чем-нибудь большем. Прошу тебя, прими это, как оно есть, как невинное удовольствие, которое я доставляю себе; размышляя, что бы тебе такое послать, я мысленно беседую с тобой и с твоими.

Если уж говорить о благодарности, то

скольким же я обязан с давних пор тебе! Поверь мне, кто не имеет своего очага и живет по большей части у чужих людей, только тот и может оценить и никогда не забудет, как друг, или мать, или сестра сердечно принимали его дома. Не один привольный, веселый день провел я под твоим кровом! — Милая сестра! Ты сама не можешь ощутить, как много стоит такой дом, как твой, где царит гуманный дух твоего мужа и такое сердце, как твое. Ты счастливый человек, и ты чувствовала бы это еще сильнее, если бы могла видеть, как безрадостен и безутешен мир роскоши — не только для нас, но и для тех, кто живет внутри него и по видимости пользуется всеми его благами; тайное неудовольствие, которое они сами лишь смутно ощущают, подтачивает их души. Чем больше лошадей запрягают богачу в карету, чем больше комнат, в которых он сидит взаперти, чем больше слуг бегают вокруг него, чем больше ходит он в золоте и серебре, тем глубже могилу копает себе человек, где он лежит ни жив, ни мертв, так что другие уже не слышат его, ни он других, несмотря на весь шум, который он и те другие поднимают. Единственный, кого веселит эта печальная комедия,— это зритель, который смотрит и позволяет себе обольщаться. Если б и я мог восхищенно раскрыть глаза при зрелище величия мира! Я был бы счастливый и, может статься, вполне даже сносный молодой человек! Но мне нельзя импонировать, если не импонировать мне характером или талантом, а поскольку все

это в мире такие редкие вещи, то я, к сожалению, весьма редко проявлял в этом мире надлежащую покорность. Сейчас, правда, проявляю, после того как поплатился кое за что, однако же это не то, что я считаю правильным.—

Я должен прерваться, потому что почта отправляется. Передай поклон твоему люб. мужу, а деткам от меня — приветы, каждому такой, какой ему больше нравится. Как только юная невеста начнет выводить каракули, между нами будет налажена нежнейшая переписка.—

Сердечные приветы доктору Фейелю. Меня радует его хороший вкус, и, если выбор его окажется счастливым в дальнейшем, я буду рад еще больше.

Твой
Фриц

№ 162. БРАТУ

Франкфурт, 4 июл. 1798

Ты заразился от меня письмобоязнью, милый Карл!

Но я хочу подать тебе пример и написать вновь, прежде чем получу ответ на письмо, посланное мною тебе около пасхи. Матушка пишет мне, что ты не очень здоров, а работы притом очень много. Могу себе хорошо представить, что у тебя нет большой охоты писать письма. При всей силе юности иной раз едва хватает мыслей и терпенья для самого необходимого, так раздражает и изматывает нас

порой жизнь, и нет поры труднее в этом отношении, как возраст, в котором юноша становится мужчиной. Другие люди и собственная натура доставляют тебе столько хлопот, как, полагаю, ни в один другой период жизни, это пора пота и злости, и бессонницы, и тревоги, и гроз, и самая горькая в жизни, как в природе время, идущее за маем,— самое беспокойное в году.

Но в человеке бродят соки, как и во всем, что должно созреть, и философия должна позаботиться лишь о том, чтобы это брожение прошло, *насколько возможно*, без ущерба для организма, быстро и гладко. — Плыви, отважный пловец, и держи голову над водой. Братское сердце! Я тоже много страдал, больше, чем мог сказать тебе или какому-либо другому человеку, потому что не все можно высказать, и еще теперь, еще теперь страдаю, сильно и глубоко, и все-таки думаю, что то лучшее, что во мне есть, еще не погибло. Мой Алабанда говорит во втором томе: «Все, что живет, неистребимо[96], *оно остается свободным в глубочайшей форме своего рабства*, остается *единым*, пусть ты раздерешь его до основания, раздавишь до мозга костей, все равно оно останется невредимым и его существо вырвется из твоих рук, взлетит победно...». Это можно в большей или меньшей степени отнести к любому человеку, а к настоящему человеку тем паче. И мой Гиперион говорит: «Нам повсюду[97] остается лишь одна радость. Подлинная боль воодушевляет. Тот, кто попирает свою беду, поднимается выше.

И это прекрасно, что мы лишь в страдании полно чувствуем свободу нашей души». Будь здоров, мой дорогой, драгоценный! Напиши мне скорей! Думай о том, что я тебе верен, как и ты мне! Не меняйся, оставайся как ты есть, на радость нашей родине и мне на радость.

Г.

Ты получишь также письма от моих детей.

№ 163. НОЙФЕРУ

Франкфурт,
авг. 1798

Я очень рад, мой дорогой, что ты так хорошо позаботился о моих мелочишках. Если настанет пора, когда судьба, которую я люблю и в несчастье, вознаградит мою любовь покоем и радостью, тогда и я послужу тебе лучше. Ты должен знать, что ведь это ты первый честно и основательно учил меня счастью дружбы, и я для тебя готов на все, чего может требовать один человек от другого,— готов служить тебе умом, и делом, и сердечным расположением. Дорогой мой! Ты так же чтишь времена нашей взаимной нежности? — Я думаю, что люди, некогда друг друга любившие так, как мы, именно в силу того способны на все прекрасное и все великое и станут такими, если они только друг друга понимают и мужественно пробиваются через всякий хлам, сдерживающий их движение. Да, я знаю, что сейчас я ничто и, может быть, ничего из меня и не будет. Но колеблет

ли это мою веру? Есть ли моя вера из-за этого заносчивость и тщеславие? Я думаю, нет. Я скажу, что я плохо себя понял, если мне не удастся создать на земле ничего превосходного. Понимать самих себя! Вот что нас возвышает. Если мы позволим себе заблуждаться насчет самих себя, насчет нашего ϑειον [98], или назови его как хочешь,— все искусство и все труды наши будут напрасны. Вот почему так важно, чтобы мы держались вместе и могли сказать друг другу, что́ мы чувствуем; вот почему это наша общая величайшая вина, когда мы из-за жалкого соперничества и т. п. разлучаемся и разъединяемся, и необходим призыв друга, чтобы нам вновь объединиться в одно, когда наша собственная душа, наша прекрасная жизнь, стала непереносима из-за плоских шуток низких людей и строптивой гордыни других, уже что-то значащих.

Прилагаю тебе еще стишки.

Для того, что я обещал тебе в прошлом письме, нет времени.

Твой
Гёльдерлин

№ 176. СЮЗЕТТЕ ГОНТАР

[Гомбург, весна 1799 г.]

Во мне живет несказанная благодарность, любимая, что эта небесная весна дарует радость и мне,

№ 182. СЮЗЕТТЕ ГОНТАР

[Гомбург,
по-видимому, в конце июня 1799 г.]

Каждый день я вновь призываю исчезнувшее божество! Когда я думаю о великих мужах в великие времена, что, подобно святому огню, охватывали все вокруг, и вся ветошь мира — всё мертвое, деревянное, соломенное, превращаясь в пламя, вместе с ними взлетало в небо,— а потом о себе, как часто я, погасающий светильник, брожу в надежде, что кто-то подаст мне Христа ради каплю масла, чтобы хоть немного еще погореть мне в ночи,— тогда странная дрожь проходит по всем моим членам и я беззвучно кричу себе страшное слово: живой мертвец!

Знаешь ли ты, почему так происходит, люди испытывают страх друг перед другом, они страшатся, что гений одного пожрет другого, и потому с охотой предлагают взаимно еду и питье, но ничего такого, что питает душу, и не выносят, когда что-либо сказанное или сделанное ими однажды воспринимается другим и превращается в пламя. Безумцы! Как если бы то, что люди способны поведать друг другу, было чем-то бо́льшим, нежели простым хворостом, который превращается в пламя лишь охваченный духовным огнем, ибо он и вышел из жизни и из огня. И, взаимно предлагая друг другу пищу, они оба будут жить и светить, и ни один не пожрет другого.

Помнишь ли ты те часы уединения, когда мы, и только мы одни, были друг для друга? Какой то был восторг! Оба такие свободные,

гордые, ясные, цветущие, сияющие душой и сердцем, и взглядом, и лицом, друг подле друга в небесном спокойствии! Уже тогда я предчувствовал это и сказал: «Можно пройти весь мир, и вряд ли найдешь это снова». И я с каждым днем чувствую все сильней, что это так.

Вчера после обеда ко мне в комнату зашел Мурбек [99]. «Французов опять разбили в Италии» [100],— сказал он. «Если у нас все будет в порядке,— сказал я ему,— то и во всем мире тоже», и он упал мне на грудь, и мы расцеловались от души, глубоко тронутые и радостные, со слезами на глазах. Потом он ушел. Такие мгновенья еще случаются у меня. Но может ли это заменить мне целый мир? Но именно это вечно делает моя верность. Многое превосходно в разных людях. Но такая натура, как твоя, где все соединилось в глубоком, ненарушаемом, живом союзе,— это жемчужина века, и кто ее узнал, кто знает, что данное ей небом от рождения счастье означает для нее и глубочайшее несчастье,— тот навеки счастлив и навеки несчастлив.

№ 195. СЮЗЕТТЕ ГОНТАР

[Гомбург,
вторая половина сентября 1799 г.]

Драгоценнейшая!

Лишь неопределенность моего положения была причиной моего длительного молчания. Прожект с моим журналом, о котором я тебе

уже писал с такой уверенностью, для которой было основание, кажется, идет ко дну. А я возлагал на него такие надежды, связывая с ним мои планы деятельности, приобретения средств к существованию и моего пребывания здесь, вблизи тебя; теперь же я приобрел некий печальный опыт напрасных усилий и рухнувших надежд. Я разработал верный и непритязательный план; мой издатель пожелал его видеть в большем блеске, я должен был привлечь в сотрудники некоторое число знаменитых литераторов, которых он почитал моими друзьями, и, хотя я не видел ничего хорошего в такой попытке, я все же, дурак, дал себя уговорить, чтобы не выглядеть упрямцем, и это мое милое услужливое сердце ввело меня в напасть, про которую я тебе, увы! должен написать, ибо от этого, по-видимому, зависит мое будущее положение, то есть в какой-то степени моя жизнь, посвященная тебе. Не только люди, которых я скорее почитатель, нежели друг, но и друзья, дорогая моя, которым единственно неблагодарность могла внушить мысль отказать мне в поддержке,— никто по сей день не дал мне ответа, и вот уже полных восемь недель живу я в этом томительном ожидании, от которого в какой-то степени зависит мое существование. Что за причина такого приема, бог весть. Неужто люди так меня стыдятся?

Что это вряд ли так, если посудить разумно, свидетельствует мне и твой суд, Благородная, и суждение тех немногих, кто остался мне действительно верен в моем деле, на-

пример Юнг из Майнца[101], письмо которого я прилагаю. Но *знаменитые*, чье участие должно было стать щитом мне, незнаменитому,— те меня покинули, а почему бы и нет? Всякий, кто делает себе имя в мире, видимо, представляется им опасным: они лишатся своего места исключительных божков; короче, мне кажется, что иногда среди них, о которых я смею думать как о *примерно* мне равных, немножко процветает некая цеховая зависть. Однако от понимания того мне мало проку; я потерял почти два месяца в приготовлениях к изданию журнала, и мне не остается ничего лучшего, чтобы издатель мой перестал меня дергать, как предложить ему просто принять все материалы, предназначавшиеся мною для журнала, что, конечно, ни в коем случае не обеспечит надолго мое существование.

И теперь я намереваюсь все то время, что мне еще осталось, посвятить моей трагедии[102], что займет примерно три месяца, а тогда мне придется ехать либо домой, либо в какое-нибудь другое место, где я смогу прокормиться частными лекциями, что здесь практиковать невозможно, или другим каким побочным занятием.

Прости мне, моя драгоценная, этот прямой разговор. Мне было бы много труднее высказать тебе это необходимое, если бы я позволил громко прозвучать тому, что говорит мне про тебя мое сердце, любимая, а при такой судьбе, как моя, почти невозможно сохранить необходимое мужество, не утратив

хоть временно нежных тонов потаенной внутренней жизни. Вот почему я [не] писал до сих пор

№ 198. СЮЗЕТТЕ ГОНТАР

[Гомбург, начало ноября 1799 г.]

Вот *наш* «Гиперион», любимая! Немножко радости все же принесет тебе этот плод наших общих блаженных дней. Прости мне, что Диотима умирает[103]. Ты помнишь, мы с тобой когда-то не могли прийти здесь к единому мнению. Я полагал, что это неизбежно, ибо так была задумана книга. Дорогая моя, все, что в разных местах книги сказано о ней и о нас, о жизни нашей жизни, прими как благодарность, которая тем более правдива, чем более нескладно выражена. Если бы я мог у ног твоих воспитывать в себе постепенно художника, в тишине и на свободе, я верю, я стал бы им очень скоро, и об том тоскует мое сердце в ночных мечтах и среди бела дня, и часто оно преисполнено немого отчаяния.

Сколько слез пролили мы за эти годы, поняв, что для нас запретна радость, которую мы могли бы дать друг другу, но ведь это вопиет к небу, когда подумаешь, что нам, быть может, суждено погибнуть в расцвете наших лучших сил, потому что мы лишены друг друга. И знаешь, иной раз это делает меня таким молчаливым, потому что мне надобно остерегаться подобных мыслей. Твоя болезнь, твое письмо — все это вновь предстало перед моими глазами так ясно,— ах,

лучше бы мне ослепнуть! Ты страдаешь, страдаешь постоянно, а я, мальчишка, могу лишь проливать над этим слезы! — Но что лучше, скажи мне, промолчать ли — или сказать друг другу, что творится в наших сердцах? Я долго притворялся трусом, щадя тебя, и делал вид, что со мною можно творить что угодно, будто я мячик в руках людей и обстоятельств и нет твердости в моем сердце, чтобы верно и свободно, осознавая себя вправе, биться за то, что мне дорого, жизнь моя! Я часто отказывался и отрекался от своей сокровенной любви, порою даже от мыслей о тебе, чтобы, насколько возможно, смягчить — ради тебя — эту злую судьбу. И ты, ты тоже все время боролась, кроткая, во имя покоя, ты стоически все терпела и молчала о том, чего нельзя изменить, ты скрыла и спрятала глубоко в себе тайну своего сердца, сделавшего свой единственный выбор, и потому часто нападает на нас странная хмарь, и мы уже не знаем, кто мы и что мы имеем, и почти не помним себя; эта вечная борьба и раздор в твоей душе медленно убивают тебя, и если не вступится бог, который успокоит эту бурю, то у меня не будет другого выбора, как либо погибнуть от тоски над нашей судьбой, либо забыть про все, кроме тебя, и вместе с тобой вступить на тот путь, который положит конец борьбе.

Я когда-то думал, что можно жить отречением, что, быть может, мы становимся сильнее тогда, когда решительно говорим «прости» надежде,

Из № 201. ИОГАННУ ГОТФРИДУ ЭБЕЛЮ

[Гомбург,
по-видимому, в ноябре 1799 г.]

Я охотно дал бы Вам полный отчет о моем разрыве с домом, столь драгоценным для Вас и для меня. Но насколько больше надо было бы мне сказать Вам! Вместо этого мне хотелось бы высказать Вам одну просьбу, что я и делаю. Наша благородная подруга, которую различные тяжкие испытания сделали еще более независимой в ее внутренней жизни, а горькие неурядицы — еще более возвышенно совершенной, все же, как мне кажется, в высшей степени нуждается сейчас в твердом, ясном слове, которое укрепило бы ее в ее внутреннем достоинстве на ее будущем жизненном пути; иначе она изойдет печалью; я же в настоящее время почти полностью лишен возможности снестись с нею спокойно. Это была бы огромная помощь, мой дорогой, если бы Вы это сделали хоть однажды. Собственные ее размышления, или книга, или еще какой-нибудь знак, по которому можно ориентироваться, это, конечно, хорошо, но слово настоящего друга, который знает данного человека и положение вещей, действует благотворно и не вызывает сомнения. ⟨...⟩

СЮЗЕТТА ГОНТАР



ПИСЬМА ДИОТИМЫ

(ПИСЬМА К ФРИДРИХУ ГЕЛЬДЕРЛИНУ)

Сентябрь 1798 — май 1800 гг.



Письмо Сюзетты Гонтар

№ 1. [Около 28 сентября — 5 октября 1798]

Я должна написать к тебе, милый! Сердце мое больше не в силах переносить это молчание. Позволь еще хоть раз чувству моему излиться перед тобой, а потом, если ты полагаешь, что так будет лучше, я согласна, согласна умолкнуть. С тех пор как ты покинул нас, все вокруг меня и во мне самой стало пустым и мертвым, моя жизнь будто утратила всякий смысл, и только по сердечной боли чувствую я, что еще живу.

И как я люблю теперь ее, эту боль; когда она меня оставляет и внутри все становится глухо, — с какой тоской ищу я ее в себе! Только слезы, проливаемые мною над нашей судьбой, могут меня утешить... И они льются из моих глаз ручьями, когда вечером, уже часов в девять — чтобы день не тянулся так долго, я отправляюсь на покой вместе с детьми, когда все утихает и никто не может видеть меня. И я часто думаю: неужели наша драгоценная чистая любовь должна исчезнуть как дым, раствориться, нигде не оставивши следа? И тогда во мне возникло желание: во имя твое воздвигнуть ей памятник в написанном слове, который пощадило бы время, сохранило его в первозданном виде. Как хотелось бы мне сияющими красками живописать, вплоть до мельчайших оттенков, возвышенную любовь сердца, проникнуть в ее тай-

ный смысл, — но если б я только могла найти покой и уединение! Сейчас же, постоянно отвлекаемая и терзаемая внутренними сомнениями, я ощущаю ее лишь урывками, я ищу ее непрестанно, и все же она живет во мне! —

На вольном воздухе, на открытом месте я чувствую себя лучше, и я непрестанно стремлюсь туда, откуда виден милый Фельдберг [1], нежно замкнувший тебя в свои стены, чтобы ты, нехороший, не унесся куда-нибудь дальше. Когда же возвращаюсь домой, все там теперь не такое, как прежде; прежде мне было так хорошо вновь оказаться с тобой рядом, теперь же я будто возвращаюсь в большой сундук, чтобы дать себя там запереть; когда прежде дети [2] спускались ко мне от тебя, как укреплялось все мое столь склонное к печали существо, если порозовевшие лица, глубокая серьезность, слезинка во взоре выдавали твое на них влияние; теперь они не имеют больше для меня такого значения и мне часто приходится обуздывать свои чувства (по отношению) к ним.

До этого места я дошла за первые 8 дней твоего отсутствия, и мое сердце боролось с моим рассудком, действительно ли должно мне посылать тебе эти строки или же нет. Сердце мое говорило, что в случае, если все другие связи с тобой будут для меня обрезаны, нужно найти возможность хотя бы известить тебя об этом. Потому что для меня непостижимо, как после того, как мы так долго жили бок-о-бок, после такого внутреннего понимания можно не хотеть ничего знать п

слышать друг о друге, мне невозможно согласовать эту сдержанность с душевной тонкостью, и я почти уверена, что ты ждешь от меня этого, а если бы я промолчала, у тебя были бы основания винить меня за то, что я этого не сделала. Ты не мог написать первым, я чувствовала, потому что я всегда была против того. Эти мысли и заставили меня (не сердись на меня за это!) написать тебе и пожаловаться тебе. Не будь эти жалобы одновременно доказательством моих чувств, тебе, конечно, не пришлось бы их выслушивать.

Сейчас Анри получил твое письмо, которое меня очень приободрило. Я непрестанно думаю о твоей новой свободе и независимости, у меня перед глазами — твоя домашняя жизнь, твои тихие комнаты, твои зеленые деревья перед окном. Но твое письмо, мое сладкое утешение, я держала в руках менее четверти часа — Анри добросовестно потребовал его назад, чтобы предъявить, и назад оно ко мне не вернулось. Я не знаю, что еще будет запрещено Анри по сему случаю, но после этого я нашла его сильно переменившимся, он даже постеснялся назвать твое имя. Ты сейчас во Ф[ранкфурте], а я не видела тебя ни разу даже издали — как это жестоко! Я очень надеялась на субботу, и, наверное, какое-то предчувствие было у меня, потому что в тот вечер, когда ты проходил мимо нас, часу в девятом, я отворила окно[3] и подумала: вот если бы увидеть тебя при свете большого фонаря. Какое-то время спустя, когда я хотела

послать Анри к Г[егелю] [4], он сказал, что ему это больше не разрешается. Я ответила со всей серьезностью, что, видимо, у него неблагодарное сердце, если он не высказал никаких возражений против такого запрета и если он не сожалеет об нем. Но все было бесполезно, он сказал, что нужно быть послушным.

Теперь, когда все пути сообщения нам отрезаны, чем я крайне возмущена, я возлагаю надежды на того человека, которого ты присылал к нам из гостиницы.

По-моему, ты можешь, если ты это одобришь и если Синклер [5] когда-нибудь приедет сюда, попросить его (если это будет удобно и ты не предстанешь перед ним в ложном свете) навестить меня и передать для меня «Гипериона» [6], если ты его уже получил. Для меня невозможно приобрести его за деньги. И тогда я вновь получу весточку о тебе, и как же я буду ей рада! Только бы все было у тебя хорошо! — —

Со мной обходятся, как я и предвидела, очень вежливо, что ни день — то новые подарки, знаки внимания, развлечения; только от того, кто не пощадил сердце сердца моего, принять даже малейшее благодеяние — все равно что отрава, и так будет, пока будет биться и чувствовать мое сердце [7]. Ибо кто бы мог пожелать устроить себе так называемое *благоденствие* на крушении своего друга, а не утвердиться в своем чувстве и в своей нежности? Это чувство заставляет меня — не принуждая — жить проще, чем прежде, и

с охотой ограничивать свои потребности. Эта гордость и это чувство мне дороже всех благ на земле. Боже мой! Любовь моя! Сохрани и укрепи меня. Я почти все время одна с детьми. И стараюсь стать им полезной, насколько умею.

Как часто я теперь раскаиваюсь, что в минуту расставания[8] подала тебе совет немедленно удалиться. Я так и не поняла, из какого побуждения я просила тебя об этом столь настоятельно. Но я склонна думать, что меня испугало само ощущение нашей любви, которую я осознала во время этой насильственной сцены, и гнет, который я ощутила, сделал меня слишком податливой. Как многое, думала я потом, облегчили бы мы себе в будущем, если бы наш разрыв не приобрел эту враждебную окраску; никто бы не смог тогда закрыть перед тобою двери нашего дома. Но теперь, о! скажи мне, мой добрый друг, как сделать, чтобы мы могли увидеться? Пусть до этого еще далеко. Но отказаться совсем я не в силах. Я все равно продолжаю надеяться!

Часто писать тебе я не смогу; этой возможностью я могу воспользоваться как максимум лишь *однажды*. Несколько строк ты получишь от меня через С[инклера]. Я думаю, что и Комедию[9] вряд ли можно будет использовать слишком часто: это сразу заметят, потому что известно, что я не хожу на дурные спектакли, а нам ведь не нужны лишние свидетели. И мне, кроме того, было бы неприятно думать, что ты в плохую погоду про-

делываешь такой путь. Поэтому, если ты найдешь разумным *такой* план, условимся так: ты будешь приходить каждый месяц в первый четверг, а при плохой погоде — в первый за ним следующий день, когда играют в Комедии, а я буду действовать соответственно.

Вот как много слов пришлось мне тебе сочинить, и как бы я хотела столь же много сказать тебе. Но не умею я выразить то, что нужно, оно спрятано глубоко на дне моего сердца. Только слезы горести могут сказать об этом и утишить боль. Ты видишь, я тщетно ищу слов! — Я очень переменилась [10], этот жестокий удар судьбы заставил меня замкнуться в себе, глубокая святая серьезность овладела всем моим существом. Только часто нападает на меня какое-то оцепенение и я ничего не осознаю, берусь за книгу — мысль вязнет и останавливается, я могу делать лишь самое необходимое, и тут я на удивление прилежна. Мое здоровье, впрочем, хорошо, только пропала бодрость духа и энергия, меня словно парализовало, все бы я сидела и ничего не делала. Мечтать бы! Но и воображение часто мне отказывает. О, конечно, все стало бы иначе, если б узнать, что вести о тебе будут доходить до меня и впереди у меня есть ориентир, есть свет надежды. Потому что только надежда держит нас при жизни. — —

Но одно остается твердо: к тебе я не переменюсь никогда.

До этого места я дописала в среду.

Пятница, утром в половине десятого

С той минуты, как я тебя вчера увидела, во мне живет лишь одно желание: говорить с тобой. Если ты не боишься и тебя не связывает ранее данное обещание, то приходи сегодня после обеда, в четверть четвертого, иди, не скрываясь, через черный ход, там дверь всегда открыта, быстро взбегай по лестнице наверх, как раньше, дверь в мою комнату будет уже отперта, дети в это время занимаются внизу в голубом салоне и не увидят тебя, если ты будешь идти по улице вдоль стены. Вильгельмина[11] сидит при М[але] в гостиной, и мы можем надеяться, что около часа нам дадут спокойно поговорить. Если ты находишь это безрассудным или имеешь какие-то основания для отказа, я обещаю отнестись к ним с уважением и сохранить постоянство. Тогда все останется как было уговорено. Меня ты найдешь всегда. Если тебя кто-нибудь увидит, ничего страшного. Разве есть что-нибудь странное в том, что люди, прожившие три года под одной крышей, проведут вместе полчаса? Противное было бы гораздо более странно.

№ 2. [Ноябрь 1798]

Я жду тебя завтра утром после 10 часов. Моли вместе со мной Гения нашей любви дать нам час покоя. Если будет нельзя, ты знаешь знак, тогда после трех. В каком томлении ожидаю я этого часа! — Спи спокойно и пусть образ мой витает над тобой. Будь стоек, я готова ко всему, и я уверена, все

будет хорошо. Завтра я передам тебе длинное письмо, и ты тоже, конечно, принесешь мне что-нибудь приятное; как радостно жду я этого! — —

№ 3. Вечером. [Декабрь 1798]

Мое письмо огорчило тебя, милый! А твое доставило мне несказанную радость, сделало меня такой счастливой. В нем было столько любви! О! И сердце мое откликалось на нее всеми струнами, когда я его читала, и дух мой так тепло приникал к твоему. А ты! Неужели ты усомнился в [моей] любви? Мое холодное, сухое письмо удручило тебя? Как же ты неправ! Если бы ты видел мое горе и мои слезы при этой мысли, ты ни за что бы так не подумал. Но не это тебя мучит, нет, — тебя страшит, что сердце мое омертвеет и тогда я не смогу тебя больше любить. Я только никак не могу понять, какое впечатление произвели на тебя мои слова, но я видела, как текут твои слезы, они огненными каплями падали мне на сердце, и я не могла их осушить. — — Оглушенная и немая, просидела я весь вечер и наконец дождалась момента, когда, оставшись одна, могу облегчить свое стесненное сердце. Ах, если б я могла умчаться к тебе и утешить тебя! У меня нет от тебя никаких тайн, душа моя, и любовь моя слишком полна, чтобы сердце мое могло умереть! Когда я выгляжу спокойно и сухо, не сомневайся во мне — все горит у меня внутри, и я, как и ты, должна оберегать себя от страсти. Да, горе сжирает что-то в нас,

но целительная меланхолия снисходит с неба в нужную минуту и проливает благодать на наши сердца, и я никогда не перестану верить в благость природы. И даже если б мне пришлось ощутить смерть внутри себя, то и тогда бы я сказала: она пробудит меня вновь, она возвратит мне все мои чувства, которые я свято хранила и которые принадлежат мне, и только злая судьба отняла их у меня; но она победит, она и в смерти готовит мне новую, лучшую жизнь. Ибо семя любви лежит глубоко и неискоренимо в моем существе. Я говорю это по *опыту*, ибо знаю, что мое сердце высвобождается из-под гнета еще более живым. Ах, я не знаю, дорогой мой, нахожу ли я правильный тон, мне ведь нечего было тебе *рассказать*, хотя сказать надо было многое: но вот что меня гнетет, так это только то, что я не могу быть с тобой рядом. Если б я могла сообщить тебе уверенность, но боюсь, мои страстные речи нисколько не убедят тебя. О, забудь это и будь снова счастлив своей любовью! Еще сегодня вечером меня так радовала мысль, что я тебя все-таки видела. Господи, если бы и ты ушел в подобном настроении! — Ах, как благодарно молилась бы я Гению любви, незримо меня направляющему! С этими мыслями хочу я уснуть, и да благословит тебя небо. — —

Наутро.

Я хорошо спала, мой драгоценный, и я еще раз хочу сказать тебе, как много радости доставило мне твое письмо, и поблагодарить

тебя за то тихое блаженство, которое ты мне уготовил. Ах, не читай больше мое письмо, если оно огорчило тебя, и вернись к предыдущему, которое пришлось тебе по душе. Я вчера долго еще размышляла о том, что такое страсть, — — —

Страсть высочайшей любви никогда не найдет на земле своего *утоления!* — Ощути это вместе со мной: искать *этого* было бы безумием — — *Умереть вместе!* — — Но тихо: это звучит как фантазия и вместе с тем так реально — —, это и есть утоление — Однако же у нас есть священные обязательства перед этим миром. Поэтому нам не остается ничего иного, как блаженная вера друг в друга и во всемогущий дух любви, который нас вечно незримо направляет и связывает все больше и тесней. — —

Молчаливая преданность! Доверие к сердцу, вера в победу Истинного и Прекрасного, которому мы себя посвятили. И нам возможно погибнуть? — — Тогда, да, тогда вселенная выйдет из равновесия и мир возвратится в хаос, если его не удержит тот самый дух гармонии и любви, который поддерживает и нас. Он вечно пребывает в этом мире, так зачем, как может он нас оставить? Смеем ли мы сравнивать себя с миром? И однако же все в нас то же самое, как в большом, так и в малом. И мы не должны питать доверия? Мы, каждый день имеющие доказательства от прекрасной, животворящей нас природы, являющей нам только *любовь,* — мы должны питать в своей груди вражду и раздор, ког-

да все вокруг зовет нас к спокойствию красоты? — — — О нет, мой драгоценный, конечно же, нет, мы не можем быть несчастливы, потому что в нас живет эта душа. И я знаю: страдание только сделает нас лучше и свяжет нас тесней.

Поэтому не мучь себя и теперь, что заставил меня грустить. Смотри, все уже позади, если ты уже успокоился, и я чувствую в себе силу. Я должна тебе еще сказать, что моя вера в тебя безгранична: каков ты есть, что бы ты ни делал — все это безусловно правильно, я даже не задаюсь вопросом почему. Ты не пришел на прошлой неделе и вчера не сказал, что хочешь сюда еще заглянуть, что сегодня утром ты хочешь прийти еще раз, как я в своем письме тебе предложила. Уверяю тебя, что это ни в малейшей мере не обмануло меня, я была так счастлива твоим письмом, я только и думала: да, это *в самом деле любовь* — и больше ничего не спрашивала. И, веруя в *это*, нужно уважать необъяснимое. О мой самый лучший! Милый! Будь, как прежде, спокоен, будь весел и доставь мне единственно блаженное чувство — знать, что ты доволен. И мне возврати мой покой, тогда непременно, непременно я буду счастлива. — — —

№ 4. [Январь 1799]

Завтра мы не увидимся с тобой, сердце мое! Нам надобно набраться терпения и ждать лучших времен. К нам прибыли давно со

страхом ожидавшиеся гости. Как страдаю я оттого, что не могу сказать тебе устно, как сильно я тебя люблю, описать невозможно. И ты люби меня всегда, верно, искренне и нежно, не дай неумолимому року отнять у меня и это! — — —

Все тучи неба опять собрались над моей головой. Вечером того дня, когда мы с тобой в последний раз виделись, поломалась наша карета, я повредила руку, и это надолго приковало меня к дому.

На следующий день я узнала, что моему брату на охоте прострелили ногу. И оба раза твои письма попадали не по адресу; их, правда, тотчас же мне передавали, и никаких последствий не было, кроме того что мне пришлось 8 дней терпеливо ждать обычной встречи; ожидание, однако, было несколько смягчено моим плачевным состоянием.

Только не думай, милый, что судьба нашей любви смутила мой дух или совсем меня сломила. Да, я часто плачу горючими слезами, но эти слезы как раз и поддерживают меня. Покуда ты жив, я не погибну. Если бы я *перестала* чувствовать, если бы любовь моя ушла из меня — а что была бы мне жизнь без *любви*,— я погрузилась бы в ночь и в смерть. Но, покуда ты любишь меня, я не могу пасть духом, ты поднимаешь меня и увлекаешь за собой дорогой, ведущей в Прекрасное! Верь в меня и твердо положись на мое сердце. Прощай, мое драгоценное, ненаглядное сердце, и думай, как я, что мы в нашем сокровенном существе будем всегда неизмен-

но подобны друг другу и всегда будем друг другу принадлежать.

В следующем месяце ты можешь опять попытаться прийти. Может быть, ты через Г[егеля] узнаешь, уехали ли они.

№ 5. [Начало марта 1799]

Как охотно, милый, я рассказала бы тебе правдиво о том, как провела я печальные дни нашей разлуки, если бы само воспоминание об этих днях не было для меня столь мучительным. Вот уже несколько дней, как гости уехали и я одна, и теперь мне немножко лучше. Самое плохое было то, что я ни на четверть часа не могла уйти от посторонних глаз, и даже в те минуты, когда оставалась одна, я должна была насильственно подавлять свои чувства, чтобы мои мокрые глаза не выдали меня и не послужили основанием для назойливых расспросов. Но первые часы одиночества были для меня ужасны; теперь я хотела вновь целиком предаться своему чувству. Но и это не было мне позволено, ибо тоска моя по тебе была так велика, что я не знала, как сладить с собой, во мне происходила тяжкая борьба. Изо всех сил пыталась я вызвать в своем воображении твой затуманившийся, ставший призрачным образ в живых красках жизни. Увы! И в этом мне было отказано, я испытывала желание и одновременно бессилие. Я подумала про твои письма, про твои книги, про твои волосы, но я не хотела никакого подспорья, я хотела возобновить тебя в себе только из себя самой. И все же моему глупому

сердцу вскоре пришлось отступить, покраснев перед рассудком, и попросить извинения. Несколько дней спустя перебирала я твои вещицы и письма старых времен, которые так мало значили для меня тогда, когда ты был со мною, и из которых память моя ничего не удержала. Какое сокровище милых слов, какую отраду, какой милый твой образ нашла я в них! Сколько сладостных нежных слез пролила я над ними, как укрепили они мое сердце, как держусь я за них теперь, в час уныния. Но увы! Ведь это *прошлое*! — А что *настоящее*? Что будущее? ——— Теперь каждый день я спрашиваю себя: «Как утвердиться в себе и через себя одинокому существу, которое любовь подняла до существа благородного и прекрасного?».— Я всегда любила мечтать, но предаваться мечтам — значит уничтожить себя. Это самоуничтожение; а самоуничтожение есть трусость! ——Чувствовать! — Мое сердце все еще чувствует себя — в наше убогое и все мертвящее время — живым и теплым, оно взыскует подлинной жизни, отклика в любви, участия, созвучности, гармонии! Блаженство души! Должно ли порицать это? Но всякое чувство вновь возвращает меня к моей тоске, смешанной с тысячей горестей. И чем глубже погружаюсь я в свои мысли, тем больше уверяюсь, что нет на свете ничего желанней, чем внутренние узы любви. Ибо что ведет нас сквозь это двуединство жизни и умирания, как не голос нашего лучшего существа, которое мы доверяем нам подобной любящей душе, этот го-

лос, который мы не всегда можем в себе расслышать. Мы связаны крепко и неизменно в добре и красоте, во всех наших мыслях, в надежде и вере. Но эти узы любви сохраняются в действительном мире, окружающем нас, не только благодаря духу — чувства (не чувственность!) тоже имеют к этому отношение. Любовь, которую мы полностью отторгли бы от действительности и ощущали бы только в духе, не давая ей ни пищи, ни надежды, в конце концов превратилась бы в химеру, растворилась бы в воздухе; быть может, она и останется, но мы уже не будем знать об этом, и ее благотворное действие на наше существо прекратится. Когда все это стоит ясно перед моими глазами и так трудно выбраться из этого онемения, надо ли мне самой обманывать себя, убаюкивать в сладкой дремоте? — — —

— — — Надо ли мечтать мне? Или надо ожесточиться сердцем? Или надо думать иначе? — — К чему эти вопросы, милый? — «Но ты еще есть у меня». Ах! Потому что с того дня, как мы расстались, во мне поселился страх, что однажды всякая связь между нами прервется, потому что у меня нет никакой уверенности в завтрашнем дне, в будущем твоем предназначении. Я дрожу перед временем революций, которое, возможно, уже приблизилось к нам, ибо оно может разлучить нас навеки. Как часто я укоряю тебя и себя за то, что мы так высокомерно отрезали все пути для наших сношений, полагаясь во всем лишь на самих себя. И теперь нам приходится

униженно молить судьбу и тысячами окольных дорог тянуть ниточку, которая соединила бы нас. Что станется с нами, если нам придется исчезнуть друг для друга? — — И еще меня очень беспокоило бы, если бы оказалось, что из-за меня ты порвал все связи с действительной жизнью и готов довольствоваться моей тенью, что я тому виной, что ты, быть может, пренебрег своим предназначением, ибо я не слышала от тебя на этот счет ничего такого, что успокоило бы меня. Если же нам *суждено* пасть жертвой судьбы, тогда обещай мне совершенно освободиться от меня и жить так, чтобы найти свое счастье и выполнить как можно лучше свой долг перед этим миром,— ведь у тебя такие знания и возможности! — и пусть мой образ не будет тебе в том препятствием. Только это обещание сможет успокоить меня и примирить с самой собой.— — Никто никогда не будет *любить тебя так, как я,* и ты ничего никогда не будешь *любить так, как меня* (прости мне это эгоистическое желание), но не ожесточайся сердцем, не насилуй его; то, чем мне невозможно владеть, мне нельзя желать уничтожить из зависти. Пожалуйста, не думай, мой дорогой, что я говорю так ради себя. Со мной все по-другому, я частично уже исполнила свое предназначение, и мне есть что делать в этом мире, а через тебя я получила гораздо больше, нежели могла ожидать. Мое время прошло, ты же сейчас только вступаешь в жизнь, начинаешь действовать, трудиться, не дай мне быть препятствием на твоем пути, не дай

погибнуть твоей жизни в бесплодных мечтаниях безнадежной любви.

Природа, щедро наделившая тебя способностями, высоким умом и глубокими чувствами, определила тебе путь благородного, незаурядного и счастливого человека, во всяком деле выказывающего эти черты. Но, пока еще светит надежда нашей бесценной любви, будем ее холить и лелеять как только сможем. Один только час, полный блаженства встречи [12], и надежда в груди способны поддерживать ее жизнь в течение месяцев. Не будем только закрывать глаза, нельзя, чтобы судьба застала нас врасплох и не позволила сделать самое необходимое и самое лучшее [в нашем положении]. Успокой меня, если можешь, насчет будущего. В середине мая приедет мой брат (здоровье которого уже совсем поправилось), если не помешают военные передвижения. На этот период я еще не знаю, как мы сможем с тобой сноситься, потому что не могу предвидеть, когда я буду одна, и это держало бы меня в непрерывном напряжении и озабоченности.

Если б ты мог придумать способ, как нам поддерживать письменную связь между собой, который не был бы слишком опасным и рискованным, ты оказал бы мне большую услугу, потому что для моего спокойствия совершенно необходимо знать, как ты живешь. Когда я снова останусь одна (потому что я ни в коем случае не соглашусь на длительную поездку — только на короткую, во время которой мы, конечно, не сможем увидеться), мы

сделаем все опять по-старому. Ты называл срок *полтора года*, и я с дрожью думаю о том, что более полугода уже прошло; как будет, как может быть выполнено задуманное? Что будет для тебя наилучшим выходом? — Может быть, ты захочешь поделиться со мной своими предположениями? Я все сейчас вижу в черном цвете, и самое ужасное было бы, если бы наша нежная любовь была задавлена жестокой судьбой и в груди стало глухо и немо, жизнь ушла бы из нас и нам осталось бы только сознание безнадежности. Прости мне, мой драгоценный, что я затягиваю тебя в эти черные мысли, с тобой должно быть все самое лучшее, небо подарила бы я тебе, всякую преграду убрала бы с твоей дороги, но я чувствую, что наша любовь слишком свята, чтобы мне удалось тебя обмануть, я должна давать тебе отчет в каждом движении моей души, ты знаешь, что я легко впадаю в меланхолию, может быть, потом станет лучше, и, конечно, мы должны быть благодарны судьбе за каждый цветочек, который мы с тобой найдем. Если бы только не было мне так трудно писать тебе! Когда я с этим намерением берусь за перо, передо мной открывается целый мир, полный мыслей и чувств, мне хотелось бы высказать их все сразу, а я не могу привести их в порядок и боюсь написать чепуху. Потом мои слова начинают казаться мне слишком прозаическими, а когда к ним примешивается фантазия, я начинаю думать, что то, что я пишу, неправда, и в конце концов готова все порвать в клочки. Но ты понима-

ешь меня гораздо лучше, чем я сама, ты чувствуешь и то, чего я недоговариваю. — —

Кое-что должна я сказать тебе о детях. Ты уже знаешь, что с тех пор, как ты их больше не воспитываешь и не влияешь на них, они многое потеряли в моих глазах и я уже не возлагаю на них таких больших надежд. Мне очень трудно противостоять всем кривотолкам, которым они предоставлены, и иногда мне приходится отступаться. Тогда я полагаюсь на их незамутненный разум, который сам выведет их из всех заблуждений, в кои они могут впасть. Еще я часто думаю, что если их нравственное воспитание будет слишком утонченным, они не смогут чувствовать себя в мире как в своей стихии, воспитание в нашей среде должно быть несколько более практическим. В Анри меня всего более беспокоит то, что он, почувствовав сейчас свободу, охотно изображает хозяина, постоянно дерзит, проявляет пристрастие ко всяким чувственным удовольствиям, а в занятиях ленив и небрежен, его нужно непрерывно понукать, и кажется, всякое честолюбие его оставило. Я хотела бы — для его же блага — отослать его куда-нибудь, здешняя почва ему не подходит, потому что здесь все ему прислуживают и угождают, и он слишком слабо прислушивается к истине, высказанной ему в мягкой форме. Я хотела бы знать твое мнение на этот счет. —

Обе девочки тоже как-то погрубели, но они все-таки добрые дети; я возлагаю надежды на маленькую Мале, потому что при ее вос-

питании мы сможем учесть ошибки, допущенные нами в прошлом. Но я опять должна упрекнуть себя — за то, что даю *такую* пищу своему пристрастию. Она в самом деле сердечное и очаровательное дитя, уже две недели, как она снова бегает, и это радует меня несказанно. А еще к нам поступил господин Хедерман — ужасно утомительный набожный пустомеля; у меня недостало терпения слушать его в течение четверти часа. Таланты их, возможно, и разовьются, но вот за воспитание характера, за их внутреннее достоинство я часто опасаюсь. Мое противовлияние на них вряд ли было бы достаточно сильным, даже если бы я сама знала, что́ для них лучше, но и это само по себе стало для меня почти невозможным.

Ну а теперь еще о том, как я думаю проводить свое время. Этой зимой, наверное, было неплохо, что я не была одна, потому что теперь часто бывают дни, когда я совсем теряю равновесие, при одной только мысли о тебе из глаз моих потоками льются слезы, я делаю страшное усилие над собой и ищу общества, чтобы держаться. Целую зиму я прожила в каком-то тумане, сама себе в тягость, но теперь все должно быть иначе. Ни одной серьезной книги я не могла прочитать, голова почти постоянно была будто усталая. Хочу еще попытаться вновь заняться музыкой, а настанет весна — с ней придут приятные хлопоты в саду (к которому мне надо будет снова привыкать), и твой милый «Гиперион» поднимет мой дух, как я его жду! —

А еще ты обещал мне несколько *рецептов*! Ты сдержишь слово? — Ты просил меня изложить некоторые мои идеи в четкой словесной форме. Милый! Все мои мысли принадлежат тебе одному [13]. Мой дух, моя душа отражаются в тебе, и ты передаешь все, что возможно передать, в такой прекрасной форме, в какой я никогда не смогла бы это сделать, и удовольствие, когда я думаю о том одобрении, которое непременно вызовет у людей твой труд, для меня значит неизмеримо больше, чем удовлетворение собственного честолюбия.

№ 6. Вторник, 12-го марта 1799

Твое милое письмо и высказанное тобой желание навели меня вчера на мысль тоже писать для тебя нечто вроде журнала; если бы только что-нибудь из этого вышло! Но мне так часто мешают, а когда я делаю это тайком, я все время испытываю некоторый страх, и этот страх мешает мне найти нужные слова, так часто прерывается ход моей мысли, и я легко сбиваюсь. Но все-таки я попробую, используя каждую свободную минуту. Только, пожалуйста, не требуй от меня связности.

Вчера, когда ты ушел, радость и горе, смешавшись, разом нахлынули на меня и сердце мое сжалось в мрачном предчувствии: я тотчас же взяла твое письмо, но видела лишь слова, сердце бешено билось, и я не понимала их смысла, мне пришлось отложить его в ожидании более спокойной минуты. Я вышла на воздух, чтобы прийти в себя. После полудня

солнце так приветливо заглянуло ко мне в комнату, так ласково, будто говорило мне: успокойся, и я почувствовала, что во мне достанет сил прочесть твое письмо слово за словом, я отослала детей в сад, а сама осталась с тобой наедине. Это был счастливый час! — Мое благодарное сердце больше не жаловалось на слезы, исторгнутые из моих глаз твоим письмом. Я слышала в себе только слова: Он жив! Он рядом! Он верен мне! Какой сегодня счастливый день! — —

Когда позднее тревога за будущность опять стала подступать ко мне, я выбранила себя. Я сказала себе: люди с наивной формой религии почли бы за грех до такой степени утратить веру и не *уповать на своего бога*. Почему же *для нас* неведомая, таинственная сила не может направить судьбу на путь добра и утешения, почему нам суждено отчаяние? — — Справедливо ли видеть все *только в черном цвете*? — Не обернется ли все *лучше*, чем мы думаем? — Или в нас достаточно прозорливости, чтобы знать наперед, что нас ожидает? Разве не определяет иногда маленький случай наше счастье или несчастье? Ведь мы покаместь еще живем в мире, подверженном случайностям, разве не может один такой случай оказаться счастливым для нас? Нам было суждено найти друг друга, и сколько раз мы этому радовались душой, так неужели мы не сможем вновь найти друг друга и вновь испытать эту радость? — —

После полудня.

Это слово «*случай*», которое я написала, все нейдет у меня из головы, оно не нравится мне, оно короткое и холодное, но другого я не могу подобрать. Нельзя ли сказать, что тайное сцепление вещей образует для нас нечто, называемое нами *случаем*, но являющееся *необходимым*? В силу нашей близорукости мы не можем тут ничего разглядеть и удивляемся, когда события происходят не так, как мы предвидели. А вечные законы природы совершают свое постоянное движение, они непостижимы для нас и именно *поэтому* полны утешения, потому что с нами может случиться и *то*, чего мы никогда не предполагали и на что даже отдаленно не надеялись.

Сегодня утром я натолкнулась в одном маленьком французском романе на прекрасное место, которое так мне понравилось, что я хочу переписать его для тебя: «Религия наверное родилась бы из несчастия, если бы нежные души не обнаружили ее в благодарности»[14] — —

14 марта [1799]

Милый, пейзаж я нашла! Когда мы расстались первый раз, я сама не хотела заглушить в себе боль разлуки, эта боль была мне мила и желанна. Два дня спустя после твоего отъезда я вновь пошла в твою комнату, чтобы как следует выплакаться и собрать некоторые оставленные тобою вещи, милые моему сердцу; я открыла твою конторку, там лежало несколько листков бумаги, немного сургуча, маленькая белая пуговка и кусок черствого

черного хлеба, я долго носила все это с собой как реликвию. Один ящик секретера защелкнулся, и я не могла его открыть. Я пошла назад и у дверей столкнулась с Анри, он сказал печально: «Из этой комнаты сколько ты всего потеряла! Сначала матушку, а теперь и своего Гёльдера! Как тебе все это вынести!».— — —Меня словно ударило, но в ту же секунду явилась утешительная мысль, что *ты ведь жив*! И сладость примешалась к унынию моей души, и я ушла.— —Через несколько дней мне открыли ящик секретера, и я нашла там пейзаж, ах! и он исполнил меня печали! В ту пору, когда я тебе его подарила, я простодушно срисовывала могильные надгробия и мы смотрели с тобой вместе гравюры в альбоме, какое блаженство, какая надежда жила тогда во мне, *она казалась мне бесконечной*! А теперь всему конец! — — — Не знаю, стоит ли отдавать тебе его, все эти мысли могут тебе — как и мне вчера вечером — закрасться в голову и омрачить жизнь! — —

19 марта 1799

Я несколько раз опять выходила с детьми на прогулку, это всегда приобадривало и укрепляло меня. Однажды видела я под горой мягко озаренный солнцем мой милый Гомбург, и взгляд мой посылал свое благословение этой тихой местности и незнакомому жилищу, в котором ты обитаешь. Как устремились мои мысли к тебе туда, и они, конечно, коснулись тебя, потому что я думаю, что в такие прекрасные весенние дни ты не можешь

не думать обо мне и не чувствовать меня больше, чем я тебя! — Но мои мысли испугали меня. Ах! Скоро придется и мне расстаться с этим милым местом, мои глаза уже не будут с охотой обращаться сюда, я буду отводить взор, и со всем будет покончено! — Я не имею ни малейшего понятия о том месте, где ты живешь! Ты находишься в лучшем положении, чем я, мой милый! Ты знаешь, где меня всегда можно найти, знаешь каждую мелочь из вещей вокруг меня, когда же я думаю о тебе, твой образ лишь на мгновение выступает из непроницаемого тумана — и то лишь благодаря тому, что ты изредка в двух словах говоришь о том, что тебя окружает, и о тех людях, с которыми вступаешь в сношения. Пожалуйста, делай это всегда, когда возможно[15]. Я ничего не желаю так сильно для тебя, как чтобы всегда, где бы ты ни был, ты мог найти друга, к которому сердце твое не оставалось бы глухим и в общении с которым ты смог бы найти участие и пищу для твоего духа. Потому что ты, милый, слишком богат и полон сил, чтобы замкнуться в себе и покоиться лишь в себе самом. Для тебя необходимо высказаться[16], поделиться самым сокровенным. Когда порой ты впадаешь в дурное расположение духа, всему виной то, что тебя не понимают, и ты тогда, не видя себя со стороны, начинаешь в себе сомневаться. При такой нужде тебе грозит опасность выбрать в друзья не тех людей, и только против этого я хотела бы тебя предостеречь! Не пойми меня превратно, я говорю это от чистого сердца.

Ты хочешь также услышать, как я провожу день, чем занимаюсь; рассказ мой будет очень прост. Почти все время я провожу у себя, в моей тихой комнате, где я работаю — шью или вяжу. Дети, когда у них нет занятий в соседней комнате, играют и шумят вокруг меня, но это почти никогда уже не нарушает хода моих мыслей, которые часто о тебе или всегда как-то с тобой связаны. Часто я пишу тебе целые послания. Но в голове у меня при этом делается такой сумбур, что на бумаге вряд ли кто сумел бы найти тут какую-нибудь логику, меня часто тянет подойти к конторке, но я боюсь и должна дождаться момента, когда соберусь с силами. Иногда мое существо совсем наглухо замыкается в себе и я не могу выдавить из себя ни звука, поэтому я не могу писать так часто, как хотелось бы, ведь для меня здесь скрывается истинное наслаждение, и после этого я становлюсь намного спокойней и в течение нескольких дней все мне дается легче. Общество людей значит для меня мало, но часто и одиночество тяготит меня, и так сильно, что я предпочитаю ему самый пустячный разговор. Но это только самообман, и в конце концов я всегда замечаю, что я с большой охотой остаюсь одна, без всякого принуждения. С чтением у меня все еще не ладится. Для серьезных раздумий необходимо, как мне кажется, совершенное спокойствие души, уравновешенное, безмятежное состояние. А мне сейчас больше требуется нечто успокоительное, усыпляющее, и для этого более подходит какой-нибудь занимательный

роман, нежели прекраснейшие сочинения нашей эпохи. (Когда я перечитывала это место. мне вдруг припомнилось, что ты своего милого «Гипериона» тоже называешь романом, мне же всегда казалось, что это прекрасные стихи.)

Собственно, только то годится мне сейчас, к чему я отношусь с недостаточным почтением, чтобы сделать его предметом моих размышлений, что я рассматриваю как чистое развлечение и препровождение времени. Потому я и обращаюсь порой к романам господина Лафонтена[17], если какой-нибудь пассаж мне не нравится, я не стесняюсь бросить книгу в угол.— —Листать прекрасные, добрые книги в неподходящем для них настроении, читать их без должного внимания я считаю кощунством, они принадлежат лишь *тому*, кто может их полностью прочувствовать и понять.

До этого места я дописала, когда меня прервали. И с того времени больше не могу за это взяться.—

26 марта [1799]

Праздник[18] мы пережили, и я, как всегда, очень этому рада, потому что вокруг меня станет поспокойнее. В воскресенье утром я опять была в нашей церкви; проповедь, по обыкновению, не приковала к себе моего внимания, и я все думала о тебе, представляла себе твое лицо и придумывала план, как нам увидеться, когда мы переедем на летнюю квартиру, и, как мне кажется, придумала самый лучший способ, который я сообщу тебе в конце письма. После обеда мы — у нас собралось неболь-

шое, в общем малоинтересное общество — вышли погулять в наш сад. Воздух был так чист и прозрачен, как бывает у меня на душе, когда в ней звенит радость или когда меня окрыляет обоснованная надежда,— увы, на этот раз так было только снаружи! — — Всякий раз, как я выхожу из дома, я машинально бросаю взгляд на боковое оконце и мне всегда приятно, когда оно закрыто, чтобы мне не обманываться. Среди наших гостей было несколько гамбуржцев, которые приехали сюда на ярмарку, и они перевели разговор на моего брата. Они сказали, что отсюда он, наверное, поедет, как того требует состояние его здоровья, в Пирмонт, а жена его останется здесь. Уж не хочет ли он, чтобы я поехала с ним? — В случае если мы с тобой не сможем увидеться и я не получу от тебя никаких вестей, наверное, надо бы об этом поразмыслить, но, если я уеду, и судьба разлучит нас, и последняя ниточка между нами будет перерезана, я никогда не смогу утешиться и на каждом шагу буду укорять себя. Мысль о путешествии часто приводит меня в смущение, но все-таки мне не хотелось бы во всем доставлять огорчение моему доброму Анри [19]. Только по этой причине могу я уехать из дому, где мне все-таки лучше, чем в широком мире, где тебя не было со мной. И сердечная боль,— — —

[Одного листа нет]

— — — ради этого я готова на длительное ожидание, если бы я хоть изредка через когонибудь могла узнать, что ты здоров. Не на-

зывай меня недоверчивой, ведь это в самом деле не так. Но ты хорошо знаешь, милый, как трудно защититься от недоверия. Чтобы мы в будущем могли увидеться и не разминулись, не получая друг о друге вестей, мы с тобой должны установить день, начиная с которого я буду вести отсчет, если ты решишь приезжать раз в год. Только тогда ты сможешь быть уверен, что твое появление не будет нечаянным для меня.— — —

Воскресенье, 31-го [марта 1799]
Вечером в 9 часов

Я совсем одна, и я не могу лечь спать, не пожелав тебе, сердце мое, мой дорогой, доброй ночи. Если бы ты мог сейчас почувствовать, как глубоко чувствую я тебя в своей душе; священнейшие минуты нашей любви встают перед моим внутренним взором! Как счастлива была бы я, если бы могла это знать! — Спи спокойным и сладким сном, и пусть образ мой осеняет тебя! — — —

2 апреля [1799]. Вечером.

Я опять одна, в тишине и покое, и так хотела бы поговорить с тобой, и только не знаю, с чего начать, так много надобно сказать тебе такого, для чего трудно найти слова. Чем более нужно нам сказать, тем менее мы *можем* сказать, я опять чувствую это и говорю себе: «Тихо-тихо, все совсем не так!».

Итак, принимаюсь за рассказ! — В течение этих трех недель, что мы с тобою не виделись, я вела спокойную домашнюю жизнь и никуда в гости ни разу не выезжала. Почти все время я сидела за работой, тихо и прилежно (раз уж ты хочешь знать все до мельчайших подробностей), моим любимым занятием было шитье платья, которое я получила в подарок от моего доброго брата, оно как раз в твоем вкусе: лиловое с белым. Я получила его в тот самый день, когда ты был у меня здесь в последний раз, так что оно связано для меня с приятным воспоминанием, и я с удовольствием буду его носить.

Еще я учила мою маленькую Мале вязать; смотреть, как усердно бегают ее тоненькие пальчики,— одно удовольствие.

Я считала каждый день и каждый час до нашей встречи и очень сердилась на небо, когда настали холода. Я ловлю каждый намек на солнце, хотя и знаю, что ты придешь и в плохую погоду, я просто не могу помыслить, что ты идешь под дождем или мерзнешь, и мне надо всячески скрывать это от себя, если я не хочу страдать из-за тебя больше, чем сам ты действительно страдаешь. Не обманывайся только, сердце мое, моим легким тоном, я очень хотела бы сказать тебе нечто, но при этом не пробудить в тебе и в себе все чувства, струны которых мне так легко в себе задеть, потому-то я и предпочитаю легкий тон. Но теперь сказано много! — — Вильгельмина приносит мне суп, я буду думать о тебе все время, пока сон не смежит мне веки.

4 апреля 1799

Теперь я хочу тебе сказать, что я придумала, как мы этим летом можем сделать, чтобы *самим* быть нашими почталионами. Потому что доверить письма кому-то было бы действительно рискованным предприятием, и мы оба испытываем к этому в некотором роде отвращение. Итак, ты приходишь в первый четверг месяца, если стоит хорошая погода, если же нет, то в следующий, и так все время только по четвергам, чтобы погода нас не сбивала. Ты можешь тогда утром выйти из Г[омбурга] и, когда [у нас] в городе пробьет 10 часов, подойти к низкой живой изгороди [20], что возле тополей, я буду стоять тогда наверху у моего окна, и мы сможем посмотреть друг на друга. Подними свою палку на плечо, чтобы подать мне знак, а я возьму в руку белый платок. Если я через несколько минут закрою окно, это будет знак, что я сойду вниз, если же я этого не сделаю, это значит, что я не осмеливаюсь. Ты иди — если я выйду — к началу въездной аллеи неподалеку от маленькой беседки, потому что позади сада все раскопано, и там нельзя пройти, и там скорее можно быть замеченным; а так меня будет скрывать беседка, ты же будешь хорошо видеть в обе стороны, не идет ли кто, и тогда мы выиграем достаточно времени, чтобы успеть обменяться письмами через изгородь. На другой день, когда ты пойдешь обратно, ты можешь в то же самое время попробовать еще раз, если накануне нам это не удалось или нужно будет ответить на письмо.

До какой степени неприятно мне строить такие хитроумные планы, излишне тебе говорить. Твою нежную душу это не может не коробить, и ты страдаешь вместе со мной. Но ты не можешь сердиться на меня за это, потому что я делаю это из благородного побуждения — не дать погибнуть прекраснейшему и лучшему среди людей.— Если погода установится, мы, по-видимому, переедем уже 2 мая или уж точно 9-го (15-го приедет мой брат); если ты не увидишь меня у окна, это будет означать, что непредвиденные обстоятельства задержали нас в городе, тогда приходи в 10 часов в пятницу на известный тебе угол.

Сегодня день, когда ты должен прийти! Я так рада, что небо ясно; мне предстоит неспокойный вечер, потому что я знаю, что ты будешь здесь, и я все же не решаюсь отправиться в Комедию, потому что ты думаешь, что это может нам повредить, и ты в этом совершенно прав.

[Конец утрачен.]

№ 7. Четверг 9-го [мая 1799]. Утром

Еще несколько слов должна я сказать тебе, мой драгоценный. Вчера поздно вечером мы переехали; мне показалось, что я заметила твою фигуру в окне гостиницы «Вайденхоф».— — Глаза мои не отрываются от аллеи тополей. — —

Только бы ты пришел! — Потом нам придется ждать 2 месяца, в июле попробуй опять прийти сюда к живой изгороди, даст бог, мы сможем повидаться и будем знать, что мы

здоровы. И если только будет хоть малейшая возможность, я спущусь вниз. Если я не появлюсь, то, должно быть, мы на прогулке. — — —

Еще я должна сказать тебе для успокоения, что, когда я собиралась кое-что передать тебе, если бы ты пришел в город, на словах, так это несущественно, и в последний раз тебя тоже никто не заметил. Прощай же, сердечко мое, и будь всегда уверен в моих самых нежных чувствах. — —

[1/2 июня 1799]

№ 8. [Начало отсутствует.]

...мог бы, очень меня радует, и я стараюсь не подать виду, как многого я жду от осуществления этого плана, который еще не вполне реален. Во второй четверг августа ты, по всей вероятности, найдешь меня опять здесь. После того мой брат желает еще совершить с нами маленькое путешествие по Рейну до Кобленца, а оттуда мы собирались сопровождать его жену в Эмс, где она должна брать ванны, и брат советует мне также пройти курс лечения пирмонтскими водами. Все это путешествие займет, конечно же, не более 4 недель, и я попытаюсь вести для тебя маленький путевой журнал. Подумай, какая прекрасная материя! И ты сможешь разделить со мной все впечатления пути; как приятно мне будет таким образом избавиться от часто мне докучного общества и жить своей жизнью вместе с моими родными. Конечно, покинуть эти места для меня мучительно, потому что здесь,

как я считаю, главный пункт нашего соединения.

Я охотно скажу тебе, что я думаю о твоих планах на будущее. Ты просил меня об этом. Однако же как трудно для меня во всех отношениях советовать тебе! Не будет ли выбор мой для тебя всегда слишком робким? Верный и опытный друг больше бы преуспел в этом деле. Я знаю, ты не можешь сделать ничего такого, чего не одобрила бы моя душа. И даже если, может быть, мое изнеженное, твоей близостью избалованное сердце будет противиться тому, внутреннее мое убеждение должно взять верх; и, какое бы дело жизни ты ни выбрал, если оно принесет пользу людям и славу тебе,— все мои слезы, пролитые по тебе, обратятся в слезы радости, но только я должна непременно знать о тебе и мои надежды не должны быть обмануты. Посоветуйся насчет будущего с твоими истинными друзьями и опытными людьми, и, если для тебя не откроется *более верный* путь, оставайся лучше как ты есть и пробивайся сам, чем вновь испытывать свою судьбу и вновь быть ею сраженным и отброшенным назад. Твои силы не выдержали бы удара, и ты был бы потерян для мира нынешнего и грядущего, для которого ты живешь и в своем уединении. Нет, этого нельзя допустить! Ты не имеешь права играть своей судьбой! Твоя благородная душа, это зеркало, отражающее все прекрасное, не смеет в тебе разбиться. Это твой долг — возвратить миру то, что является тебе преображенным в высокие образы, ты

должен думать о том, как тебе сохранить себя. *Таких, как ты, мало!* — — И, что сейчас не оказывает действия, останется для будущих времен. Не мог бы ты начать давать частные уроки молодым людям у себя на дому? Прости мне эту идею, если она тебе не нравится, но я знаю, что однажды тебе уже приходила в голову мысль о таких частных лекциях, это не составило бы для тебя большого труда. Только никогда не действуй, исходя из ложного понятия, что ты должен воздать мне честь; все, что ты предпринимаешь и делаешь втайне, не было бы мне столь приятно. Ты должен просто оправдать мое расположение к тебе. Твоя любовь для меня достаточная честь и всегда будет для меня достаточна, а того, что люди называют честью, я не требую. Тебя чтут великие люди, тебя нахожу я во всех описаниях благородных натур, и мне не нужны еще какие-то жалкие свидетельства нашего мира. Вот и сегодня, читая *Тассо* [21], я узнала с несомненностью твои черты. Перечитай его и ты когда-нибудь!

3 июня [1799]

Еще несколько минут моего уединения хочу посвятить тебе. Моя компаньонка пошла к соседям, а сегодня вечером к нам приезжает З[ёммеринг] [22]. Дай бог, чтобы она не помешала мне утром в четверг. От этой мысли — что я не смогу выйти к тебе — мне кровь бросается в голову. Я уповаю на Гения любви, потому что с тех пор, как мы расстались,

не все удавалось нам так, как было задумано. Но впредь все будет хорошо. Только я должна тебя попросить в первый четверг августа тоже явиться. Если к тому времени — что весьма мало вероятно — наше путешествие еще не закончится, тебе придется опять прийти в следующий четверг, потому что, если мы возвратимся раньше, мы можем уже опять уехать на короткий срок, а передвинуть тут что-нибудь я не могу. Мой брат прислал вчера письмо, что 12-го мы уже можем выехать.

Четверг [6 июня 1799]. Утро.

Как хотелось бы мне еще немножко поговорить с тобой, но страх, что *кто-то идет*, мешает все мои мысли, и по этой же причине я долго не могла написать тебе столько, сколько предполагала. Как много надо было мне еще сказать в ответ на твое милое письмо. Будь радостен, сердце мое, и доверяй людям чуточку больше, чем ты привык. Они, право же, иногда лучше, чем мы думаем, они, должно быть, много теряют в наших глазах из-за того, что мы постоянно сравниваем их с тем высочайшим и наилучшим, что мы находим *друг в друге*. Не допускай в свое сердце ненависть и раздражение по отношению к ним: они достойны сострадания. Прости, что я касаюсь этой стороны, мне все казалось, что я про это забываю, а сказать это тебе надо было непременно. Прощай! Прощай! — —

[Приписка]. Путешествие назначено твердо, 12-го мы можем выехать.

№ 9. Примерно 8-го [августа 1799]

Как трудно вновь писать после столь долгого молчания! И все же меня никогда не покидало чувство, что, только написав тебе, я обретаю покой и умиротворение. И как мучительно бывает иногда провести бессмысленно целый день и не найти для письма минуты тишины. Если бы небеса даровали мне исполнение лишь одного желания, в моем нынешнем положении я попросила бы только на каждый день один-единственный час для меня самой, который я от всего сердца хотела бы посвятить тебе, мой дорогой. Ты не поверишь, как тяжко оставаться все время взаперти с полным бременем своего чувства и не быть в состоянии даже доверить его перу. Так проблуждала я неприкаянно до сего дня, а столько надо было сказать тебе! Я должна рассказать тебе, как я тебя видела последний раз! В то утро я была в нерешительности, спуститься ли мне к тебе без письма или лучше оставить тебя в заблуждении, будто мы еще не вернулись, и ждать тебя в следующий четверг. Я была утомлена до изнеможения и боялась, что мой вид обеспокоит тебя, но, с другой стороны, я опасалась, что ты мог где-нибудь услышать о нашем возвращении и тогда мое отсутствие было бы для тебя необъяснимым. Поэтому я рискнула. Увы! Как описать тебе то чувство, которое охватило меня вечером и которому нет названия? Мне показалось, что я вижу в аллее твою фигуру. Был ли это ты в самом деле? — Или нет? — Я была не одна, со мной

были З[ёммеринги]. Я стояла точно громом пораженная, меня бросало в жар и в холод, мои друзья вскоре заметили, что мне желательно остаться одной, и удалились. Я подумала, что это действительно ты, что какой-то страх гонит тебя ко мне, ты должен видеть меня. Я подошла к окну и стала всматриваться; и опять обманулась, видя, как ты прислонился к стволу дерева и выглядываешь из-за него; я узнала игру воображения и убедила себя, что и перед этим было то же самое. Сердце защемило от боли, будто кто-то схватил его холодной рукой, грозя раздавить, моя мысль окаменела, мне казалось, что вот я хочу обнять тебя, а ты становишься тенью; и этой милой тени мне было бы довольно для утешения, но, когда мой дух устремился к ней, она тоже исчезла, и осталось, если бы это можно было помыслить,— Ничто.

Мне нужно было освободиться от этой глухой боли, и из глубины моего существа вырвался стон и жалобный вопль и хлынул поток слез, которые долго удерживались, и я их никак не могла остановить. И с тех пор меня не оставляет эта странная тоска, как будто в сердце твоем затаилось какое-то зло на меня, и я только об этом и думаю. На воспоминание о моем путешествии словно накинут темный флер, и мне будет стоить труда написать тебе немного об этом. Боже мой! Не являйся мне больше так никогда! О! Никогда не сомневайся в моей любви! — — Только тебе! Тебе одному вечно будет она принадлежать! — —

10-го [августа 1799]

Я так предавалась своей тоске, что не заметила, как ко мне вошли, и дала застать себя врасплох. Я сослалась на внезапное одиночество после длительного приятного рассеяния и на отъезд моих родных. Но мое тяжелое настроение слишком живо говорило о другом и выдавало другие причины, и через несколько дней, поскольку печаль моя не проходила, дело дошло до более определенного объяснения. Здесь еще больше укрепилось мнение, что известные отношения продолжаются и они-то и послужили главным поводом. Мне стоило большого труда держаться истины, насколько возможно. Между тем, я узнала, что и твой первый визит в доме не остался незамеченным; я признала это, но добавила, что *здесь* в доме ты больше не был. И что я, разумеется, никогда не сделаю ничего такого, что нанесло бы вред мне и всему остальному. Все прошло очень спокойно и не повлекло за собой никаких дурных последствий. Но теперь я должна тебе признаться, что будущее пугает меня. Я не нахожу выхода и без тебя не могу ничего решить. Сможем ли мы в будущем, когда я опять перееду в город, жить, ничего не зная друг о друге? — —Если я принесу эту жертву, смогу ли я когда-нибудь быть спокойна за тебя? Не истерзает ли меня тысячекратно игра больного воображения, так же как и прочие беспокойства? — И не будет ли на мне, даже если я ничего не буду делать, покоиться *все то же подозрение*, и мне из-за этого придется страдать, не получая ничего в награду?

Я теряюсь в мыслях, поэтому скажи мне, что ты думаешь, и не возлагай на меня одну тяжкое бремя решения. Что ты найдешь правильным, на то и моя воля, и, если ты полагаешь, что в действительности правильно будет расстаться нам навсегда, я не буду на тебя в обиде: *невидимые узы остаются, а жизнь коротка.* Мне холодно! — Если она коротка, то можно позволить ей уйти между пальцами? — — О, скажи! Где мы вновь обретем друг друга? — — Дорогой мой! Сердце мое! — — — Как мне обрести покой? — — — Заставь меня сурово признать мой долг, забыть себя самое и, как бы ни было это тяжело, помоги мне его исполнить. Но я еще не знаю его. Не сохранив себя, я ведь ничего не смогу, а забыть себя разве не противоречит первому? Ибо все, что я могла бы предпринять против своей любви, для меня сейчас — будто я хочу себя самое уничтожить, разрушить. Какое трудное искусство любовь! Кто мог бы в нем разобраться? И кто бы не последовал ее зову? — — —

Собери весь свой разум и поговори со мной убедительно, потому что я чувствую, это необходимо, а кого мне еще спросить, как не тебя? Ты мой единственный друг! — — —

Вечером в 8 часов 15-го
[августа 1799]

Я одна! — Теперь я охотно рассказала бы тебе о нашем путешествии, но что мне кажется неотложнее, что все время рвется наружу из груди — мне надо вздохнуть и облегчить

мое стесненное сердце в прекрасной тишине вечера. Но какая тоска у меня на сердце! И слезы навертываются на глаза, я тоскую по отклику твоей родной души! Все вокруг так прелестно, так полно гармонии — и при этом мертво для меня, потому что в нем нет примет твоего присутствия, нет уверенности, что сейчас твое сердце говорит с моим. О! Где наша прежняя счастливая, нежная, неземная любовь! Какую пустоту оставляет по себе в сердце разлука, которую ничто не сможет восполнить и все делает лишь ощутительней.— Я должна тебе сознаться, что я не вынесу, если этой зимой ничего не буду знать о тебе. И вот мне пришло в голову, что, если ты останешься в этих краях, ты мог бы раз в два месяца в условленный четверг вечером в 9 часов *с величайшими предосторожностями* появиться у меня под окном. Я тогда буду знать, что ты еще здесь и здоров. *А как много одно уже это для моего сердца!* И я, может быть, смогу бросить тебе вниз записочку. Мне придется отказаться от твоих писем, потому что я думаю, что сейчас нежелательно, чтобы ты входил в дом. Я буду тогда по твоим сочинениям следить за состоянием твоего духа, и я, конечно, узнаю тебя в них. Скажи, под каким названием будет выходить твой журнал, чтобы я могла заказать его, если еще не поздно? — Следующая весна снова найдет нас здесь, и первая песня нового жаворонка будет нам знаком нашего скорого свидания. Я пишу в темноте, солнце закатилось, и его ясные лучи уже не светят мне.

И многое потемнело до поры, пока взойдет *наше солнце*. Но оно взойдет, оно вновь воссияет для нас? — — О, благая Природа! Научи меня верить и успокой мое сердце! — —

18-го [августа 1799]

Теперь я хотела бы вкратце дать тебе отчет о моем маленьком путешествии[23], пользуясь моментом, когда никого со мной нет. Он будет *краток*, потому что я, в самом деле, не настроена на повествование, так что прости мне мой дубовый стиль, я хочу лишь дать тебе самое общее понятие, чтобы твоя фантазия имела точку опоры.— Мы выехали на 8 дней позднее, и наше путешествие длилось всего 10 дней. Мы выехали отсюда рано поутру, моя невестка, младшая Брентано[24] и я, сопровождаемые только нашим Якобом. В Гиссене мы встретили директора Тишбейна[25], который гостил там у своей сестры и ожидал нас. Старый, в превратностях судьбы поседевший человек. Двадцать лет нога его не касалась немецкой земли; отечество вновь сделало его молодым, и даже в самой похвале Италии всюду в нем узнается немец. Когда мы ехали, он часто повторял: «Нет, таких прекрасных зеленых деревьев в Италии нет!». Этот человек некогда был большим художником; он оставил свое искусство и пожертвовал своими личными интересами во имя того, чтобы изучать древности греков, он вдохновлялся их поэтами, и в особенности Гомером[26]. Если бы ты мог слышать, как он говорит, ты бы понял, как глубоко и истинно проник он в

него, и радовался бы тому, что и в этом возрасте можно сохранить жар чувств и живые мечты. Он признал меня тотчас же и выказал мне большое почтение. Его произведения ты скоро увидишь, подробнее о нем в другой раз. (А я твои Замечания о Гомере[27] тоже увижу?) — В Касселе мы оставались три дня, в первую ночь я проснулась очень рано, мои сопутницы спали, и я достала из моего бювара твои милые стихи, и это была моя утренняя молитва, они облекли мою любящую душу мягким и трепетным покровом меланхолии, крепко прижали меня к твоему сердцу. И так я вновь вступила храбро в жизнь. Прекрасное солнце взошло над Касселем, и я с радостью готовилась вновь увидеть милые моему сердцу места.— —

Когда мы сидели за столом, к нам вдруг приблизился наш старый добрый друг, коего мы знали еще в Гамбурге, он приехал встречать своих детей, и вечером ожидавшиеся соединились с нами. Мы провели вместе три радостных дня, но мне ни разу не удалось побыть одной.— —

Мы расстались с гамбургскими друзьями, чтобы продолжать наше путешествие в Готу. Тишбейн тоже остался. После двух дней пути мы вечером прибыли туда. Шел сильный дождь, и мы мало что увидели. На другое утро мы выехали в Веймар и были там около четырех часов пополудни. Мы намеревались оттуда незамедлительно ехать в имение Виланда[28], чтобы встретиться с Ларош и ее внукой[29], но нам сказали, что они все сейчас

в городе. Мы послали записочку, извещая о нашем приезде, и к нам тотчас же пришла Софи Брентано просить нас всех пожаловать к ним на квартиру [30], где собрались все славные ученые тамошних мест. Мы переоделись поспешно и пошли с нею. Старая Ларош встретила нас очень приветливо, очень непринужденно-радушно и в высшей степени живо и представила нас обществу; тут были Виланд, Гердер (Гёте отсутствовал) и еще некоторые другие, менее значительные лица. Моя невестка сразу же вступила в оживленную беседу с Виландом, у меня было поручение от Тишбейна к Гердеру [31], и так прошли первые полчаса. За чаем во все время продолжался разговор Виланда, я лишь изредка вставляла несколько хорошо продуманных слов. Когда мы прощались, Виланд очень сердечно пожал мне руку и сказал: «Несколько слов, произнесенных вами, заставили меня пожелать видеть вас чаще». Это очень обрадовало меня — из-за тебя, и на обратном пути я думала только о тебе. На другой день Виланд спросил Софи, при этом особо похвалив мою невестку, чье общество из нас обеих она бы предпочла. Она выбрала меня, и Виланд ответил ей коротко («За это ты, девушка, заслуживаешь, чтобы тебе ручку поцеловали».) Прости мне тщеславие, что я тебе это пересказываю; ведь я говорю это только тебе, и, даже если это заблуждение, я все равно не могу скрыть от тебя, что я была очень этим горда.— На другое утро мы выехали в Йену с рекомендательным письмом к Меро [32]. Мы явились прямо к

ней и просили ее, чтобы она записочкой попросила Шиллера уделить нам час своего времени. Она тотчас же развеяла все наши надежды, сказавши, что он живет в полном уединении и редко принимает у себя чужих. Все охотно отказались от плана увидеть его, только я и Софи решились испытать все средства, чтобы к нему проникнуть.

23-го [августа 1799]

Мне надо опять использовать момент. Остальные уехали, и я собиралась написать побольше, и вдруг — такое невезение! — влетает пчела и жалит меня в правую руку! Это форменное безобразие, что стоит мне взяться за перо, как сразу возникает тысяча препятствий. И потребуется, конечно, много любви, чтобы написать хоть что-нибудь. Теперь придется закончить рассказ о нашем путешествии в нескольких словах.

Пополудни мы с Софи опять пошли к Меро — за ответом. Нас согласились принять и назначили время: в четыре часа. И вот мы в сопровождении слуги отправились в четвертом часу за городские ворота, где он живет в саду. Как тревожно бились наши сердца, какая странная печаль охватила мою душу, не могу тебе описать. В эту минуту я слишком сильно ощущала краткость отведенного нам получаса времени для встречи с человеком, которого я ставлю так высоко и который, конечно, мог бы не оставить равнодушными мои чувства, и невозможность внешне выказать это

отношение. Я не хотела бы отразиться в этой прекрасной душе как нечто незначительное, но вид мой мог выразить только смирение. У меня недостало духу вымолвить хоть слово, и я просила Софи вести разговор. Мы велели о нас доложить и остались стоять у садовой калитки; в дальнем конце длинной аллеи мы заметили его благородную фигуру, его жена сопровождала его, и два веселых мальчугана прыгали вокруг по траве. Мы принесли извинения за нашу настойчивость, и он повел нас в тенистую беседку, мы сели возле его жены, он же, в величественной позе, остался стоять перед нами. Он много говорил с внучкой Ларош о ней и о Виланде, и у меня было время запечатлеть его облик в памяти [33]. Мы должны были очень торопиться из-за тех, кто с нами не пошел, его добрая, милая жена хотела проводить нас до дома, мы не соглашались. Но он сказал: «Моей жене это не повредит, и мне...» — добавил он совсем тихо, потом раздумал и пошел назад по направлению к дому. Мы с его женой дошли до городских ворот, когда мы с нею прощались, подошел его старший сын, которого он послал за нами вместе со слугой, и он довел нас до нашей гостиницы, где уже стояла карета, запряженная почтовыми лошадьми. В тот же вечер мы уехали в Веймар. А оттуда без остановок через Фульду во Франкфурт и по дороге любовались прекрасными видами.

С нашей поездкой в Эмс ничего не вышло, быть может, в следующую пятницу мы поедем через Майнц в Кобленц и по курортным ме-

стам обратно, но в понедельник возвратимся сюда непременно.

Мой брат пробудет до конца октября. После ярмарки я перееду в город. Если ты намерен предпринять путешествие или имеешь какие-либо другие планы, которые мне следует знать, в этом случае ты мог бы, пожалуй, передать мне письмо через кого-нибудь. Но это надо сделать только *наутро после условленного четверга* между 10 и 11 часами, чтобы я могла проследить, и если бы ты однажды не пришел, то чтобы мне было объяснение, но только в крайнем случае.

Четверг, 5-го сентября [1799]

Наверное, ты найдешь эти листки весьма печальными, мой дорогой. Поэтому я должна тебе сказать еще, что сейчас я опять немного повеселела, а когда я вижу тебя, все мое существо преображается! — — О! Сохрани меня навсегда в своем сердце! И пусть наша любовь останется невознагражденной; она найдет награду в нас через себя самое, так тихо, но так прекрасно, что она вечно пребудет для нас самым дорогим, единственным в жизни. Не правда ли, мой хороший, ты тоже так чувствуешь и наши души постоянно, вечно обращены друг к другу? — —

№ 10. [Сентябрь 1799]

Это доказывает мне твою любовь, что ты все-таки пришел, мой дорогой, чтобы получить от меня несколько слов. Но как страдаю я при мысли, что ты так близко, а я должна от-

казаться от надежды принять хоть что-нибудь из твоих рук. Выйти в сад я не могу никоим образом, потому что, к несчастью, там как раз снимают яблоки, а погода не дает должного предлога. Спуститься в нижние комнаты, не привлекая к себе внимания, я могла только в прошлый раз (потому что на следующий день у нас были гости и я могла заниматься там обычными делами). Но это бывает очень редко. Прости мне этот холодный тон и не думай, ради бога, что такой же холод у меня внутри. Я только думаю, что, если я хочу доставить себе радость, я не смею — из предусмотрительности и чувства долга — вызывать чье-либо неодобрение.

Если же есть *настоятельная необходимость* передать мне в руки твои бумаги, пошли мне их утром между 10 и 11. Пусть спросят меня и вручат их мне, я уже выйду навстречу (только пусть не ошибутся дверью). Если же мое дурное предчувствие не имеет сейчас под собой никаких оснований, появись в 10 часов у изгороди, и это будет для меня знаком, что больше мне ничего ждать не надо. Твоего милого «Гипериона», который, кажется, уже здесь появился, я раздобуду себе, употребивши ум, когда найду свободную минуту, чтобы его прочесть.

Мой брат ничего не потерял в гамбургском торговом мире во время больших революций и даже, быть может, через это приблизился к своей цели: однажды переселиться к нам.

Я совершенно здорова и с надеждой жду спокойной зимы. Мои одинокие вечера я по-

свящу тогда чтению твоих сочинений, стихов и писем. Из глаз моих будут литься слезы любви и утешения,— эти слезы, источаемые лишь сокровищем верной и чистой любви, проливающие благодать над сухой повседневной жизнью. И так хочу я идти потихоньку по моему пути, и с каждым днем [мне будет] становиться лучше.

Займись и ты своими делами и не допускай, чтобы будничные заботы о твоем последующем существовании преждевременно надорвали и задушили твои лучшие силы, тут я с тобой согласна.— —Все останется по-старому и впредь. Прощай! Прощай!

В ноябре ты можешь прийти опять, тогда все как условлено или судя по обстоятельствам. Тысяча нежных имен и слов! — — —
— — — — — — — — — — — — — — —

№ 11. [31 октября 1799]

Мое предчувствие, что ты сегодня перепутаешь календарь, меня не обмануло, потому что сегодня только последний день месяца [34].— У меня сейчас все опять хорошо, а до этого я болела, мой милый. В тот день, когда ты в последний раз проходил мимо, у меня случилось нечто вроде простудной лихорадки с такой сильной головной болью, что я несколько дней пролежала в полной неподвижности. Я приняла свое обычное лекарство (рвотное), а также хину, но болезнь продолжалась более двух недель. Я только благодарила небо, что до твоего прихода еще много времени, и желала поправиться только к это-

му дню. Как много я о тебе думала и чувствовала себя рядом с тобой, не могу тебе рассказать. Когда я по вечерам лежала в тишине и одиночестве (потому что не хотела, чтобы кто-нибудь был подле меня), моя живая фантазия рисовала мне тогда наши прошедшие дни так прекрасно, особенно благословенные часы нашей первой, совсем юной любви, когда ты однажды сказал: «О, если бы счастье могло продлиться хоть *полгода*!».

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Когда это нежное, неземное чувство вновь вставало перед моим мысленным взором с такой силой, на меня нападала тоска, и тогда я начинала думать, что, если бы ты был здесь, я бы сразу поправилась. И я ломала себе голову, неужели невозможно сделать так, чтобы в реальном, действительном мире мы могли с тобой видеться обыкновенным, естественным образом. И, когда я засыпала, мне снилось, что я встречаю тебя у кого-то в гостях, на прогулке. Я видела, как ты взбегаешь по нашей лестнице, непринужденно, как прежде, и я открываю тебе дверь. Мы были вместе, не испытывая страха, с легким сердцем, и мои глаза с радостью глядели в твои. Когда я просыпалась, я чувствовала теплое волнение в груди, и на несколько часов мне действительно становилось лучше. Но потом это состояние духа проходило, и я уже не помнила о нем. Я чувствовала живо, что без тебя моя жизнь вянет и медленно угасает, и в то же время я знаю с очевидностью, что каждый шаг, который я могла бы предпринять, чтобы увидеть

тебя тайком и с опаской, обернется для меня такими последствиями, которые будут стоить мне здоровья и спокойствия. Я почти готова надеяться на чудо, ибо не могу себе вообразить, как нам с тобой увидеться, а только об этом я и мечтаю каждый день. Но только без страха, беззаботно, как в первые дни нашей любви. Мне стало гораздо лучше в последние несколько дней, потому что теперь я опять осталась одна. Я опять переехала в свою старую комнату, где мне легче будет выбрать спокойный час для письма. Я смогла навести вокруг себя некоторый порядок, и на окне у меня множество цветов [35], которые одни лишь теперь меня радуют. Потому что даже твоих милых стихов и писем я едва смею касаться, они слишком меня тревожат.

Как ни сильна во мне потребность узнать что-либо определенное о твоем положении, я все-таки опять не знаю, как я смогу сегодня что-нибудь получить из твоих рук. Если ты сочтешь необходимым и правильным сделать утром так, как мы условились в последний раз, то пусть знаком для меня будет твое отсутствие в 10 часов. В следующий четверг вечером я могла бы подойти к окну внизу (потому что у нас в нижних комнатах будет большая стирка), в половине девятого люди уходят, и я могу сойти проверить. Я тут придумала так: если я тебя замечу, я спущусь вниз, а ты будь крайне осторожен. Если я не приду, значит, это невозможно и тебе придется прибегнуть к единственному способу — передать мне письма через кого-нибудь.

Я очень хотела бы сказать тебе кое-что о твоем будущем поприще — если бы только я лучше знала твои нынешние идеи. Если судьба призывает тебя на благородное дело, что ж, следуй ей. Но одно советую я тебе и от одного предостерегаю: не возвращайся туда, откуда ты бежал в смятении чувств, чтобы укрыться в моих объятиях.— — Должна только сознаться тебе, меня несколько обеспокоило, что ты пишешь, что при некоторых обстоятельствах ты последуешь совету и суждению Шиллера [36]. Не попытается ли он вновь призвать тебя к себе? — — И не поддашься ли ты на его льстивые призывы? — Если бы так случилось, о! Вспомяни тогда любовь и ее неисчислимые мучения! — — — — — — — — — — Как хочу я хоть раз еще вновь побыть с тобой, мой милый, добрый, желанный! — Прости мне, дорогой, что я говорю это так открыто. Только чувствуя тебя, видя перед собой твой образ, я ощущаю всю полноту моего сердца. Я часто удивляюсь сама себе, что я, давно уже вступившая в возраст благоразумия, кажусь себе такой молодой. И тогда я думаю: лучше быть жертвой любви, чем жить дальше без нее. Кто знает, как еще все может обернуться, дороги судьбы темны.— Только не будем никогда кривить душой перед любовью, будем всегда правдивы друг с другом! Да к чему эти слова! Потому что, если бы мы не были такими, мы бы уже давно не любили. Доверие к любви, которую благая Природа вложила нам в сердце, чтобы дать ей созреть там во имя своих высших целей, остающихся для нас,

близоруких созданий, загадкой, но которая привита глазком к чему-то большому, что чувствует нас, и взыскует нас. Оно не способно дать пищу никакому недостойному чувству. И эта вера хранит от всех зол зараженного мира.

Еще должна сказать тебе, что у меня в связи с тобой после того раза, о котором я тебе писала, не было никаких последствий. И моя болезнь была чистая простуда. Еще хочу тебя уведомить, что напротив нас живут противные эмигранты, которые почти ежедневно ходят оттуда [к нам] в дом. Они занимают третий этаж, и вечером занавески у них задернуты. Но днем будь осторожен.

Теперь прощай, мое ненаглядное сердце, ты, конечно, придешь опять через неделю, но только не в плохую погоду. Прощай, спи спокойно, мой дорогой!— — —

№ 12. Суббота [Начало ноября 1799]

Лишь несколько слов можно сделать, мой дорогой, из *одного*, которое звучит во мне подобно тихой и нежной мелодии с той минуты, как я увидела твой милый образ, во сне и наяву.— — В тот вечер, когда мои слова, полные любви, достигли своего назначения — твоей души — и я так живо могла вообразить, какой благородный огонь зажжется в твоем ангельском взоре, мне стало так хорошо, так легко на сердце. Мои давно уже замкнутые для песни губы невольно стали напевать старые любимые песенки, и делали это довольно долго, прежде чем я это с улыбкой замети-

ла.— — «О, какие вы счастливые, счастливые птицы!» — подумала я тогда.— — И мне было при этом так необыкновенно хорошо, я расслышала в себе голос Природы и благодарила ее трепетным сердцем.— —

Понедельник

Подумай только! Вчера вечером получила я от З[ёммеринг][37] весьма неожиданное известие, что Ц[ерледер][38] из Берна (который пять лет назад переписывал для меня твой «Фрагмент») только что был у нее. Эта весть весьма нарушила мое спокойное настроение, мне сразу же пришло на ум, как бы его появление не послужило тебе поводом для некоторой озабоченности и тревоги, и я заволновалась. Прошу тебя, во имя всего святого, мой единственный, не беспокойся ни о чем, это излишне. Клянусь тебе снова: он был для меня всегда лишь братом и другом и никогда не будет чем-то бóльшим. Но ты ведь знаешь меня, и у тебя есть тысячи доказательств преданности моего сердца; и ты знаешь, что тот, кто кривит душой в любви, сам себя первый уязвляет. Положись на меня твердо и не задавайся вопросом, нужны ли эти слова. Они были обращены к твоему сердцу.— —

Я видела его в воскресенье вечером, его привел один из наших родственников, Б., представив его мне как старого друга. Я нашла его сильно переменившимся, и он тоже сказал, что принес на алтарь отечества свою долю трудов, а теперь пусть другие о том позаботятся. Вероятно, он пробудет здесь неко-

торое время, но, по-видимому, сначала поедет в Гамбург.

Если ты не осердишься за это, то мне в одном отношении приятно видеть опять возле себя человека, с которым я могу говорить откровенно и с доверием. С какой радостью я буду говорить с ним о тебе, и как это облегчит мне сердце! Между нами никогда не возникнет отчуждения, это было бы нехорошо по многим причинам. Но, что касается моего чувства и гордости моей любви, я буду защищать их перед ним и надеюсь, он будет их уважать.

Среда

Небо сегодня так ясно. Завтра ты должен прийти, только бы мне получить от тебя весточку, добрые вести! Как темно грядущее... Но будь что будет, я не покину тебя, меня ты найдешь всегда! — — — —

Четверг — 11 часов

О, сердце мое! Как я благодарю тебя. Ты здесь! — —А то я уже боялась, что ты захворал. Потому что я знала, никакая самая злая непогода не удержит тебя сегодня от того, чтобы доставить мне радость: узнать о тебе что-нибудь! Как молю я небо послать нам благоприятственную минуту, что́ бы я ни услышала, все благо. Ты выглядел веселым; если б ты мог видеть мое волнение и почувствовать по биению моего сердца, как сильно радуется оно в предчувствии хорошего! — — Однако же, мой дорогой, не озаботят ли тебя мои известия? — О, не позволяй им

этого! — —Кто знает, чем это может обернуться, чему послужит, если я со всей правдивостью откроюсь перед верным другом в своем страдании — жить от тебя так близко и вместе с тем так далеко! — — —

Но будь уверен, что я, как ты сам того желал, скажу лишь самое необходимое и что наша *сокровенная любовь будет известна лишь нам одним и останется навсегда священной тайной.* Я всегда буду относиться к тебе с величайшей нежностью. Поэтому ни о чем не беспокойся. Ах, наверное, мне не стоило тебе столько говорить, потому что мне все время кажется, что это оскорбительно для любви, но я знаю тебя и знаю, что ты легко позволяешь своей фантазии увлечь себя и видишь вещи не так, как они есть на самом деле. Потому-то я и говорю с тобой об этом, не пойми меня превратно.

У тебя в руке была книга! [39] Как я рада! Касательно будущего нашего сношения сейчас ничего сказать не могу, кроме как, что все остается по-старому, если твои вести ничего в том не изменят. Меня ты найдешь всегда! — И всегда твоя, покуда живу на свете, милый мой, навсегда! — — —

Больше писать не могу, мои глаза не справляются с волнением. Может быть, сегодня после обеда еще несколько слов.—

Ах, не может быть, что я видела тебя в последний раз! — — Нет! Я не могу это помыслить, это немыслимо! О! Оставь мне надежду! — — Отгони от меня эти мысли! Небо! Какая тяжкая погода, какую тревогу вселяет

она в меня, не выходи, если она не переменится, ты можешь заболеть. Побереги себя, мой дорогой! Когда смогу я опять услышать о тебе? Хоть бы скорее наступил вечер и то́, что принесет мне радость, попало бы в надежные руки. О, невозможно описать, как мы страдаем, но, *за что* мы страдаем,— это тоже *неописуемо.*

И вот я подумала, еще прежде чем ты пришел, может быть, впредь (если это вообще будет) ты в зимние дни будешь приходить не к десяти, а к одиннадцати или, если тебе удобнее, даже к трем часам? Потому что сегодня, мне думается, тебе пришлось поторопиться, а мне не нравится, что ты выходишь из дому затемно.— Я желала бы сказать тебе еще многое, но на меня нападает такая тоска, и я потом никак не могу от нее избавиться. Ну хотя бы вот что: я совершенно здорова. Прощай! Прощай! *Вечно верной остаюсь я тебе!* — —

№ 13. [Декабрь 1799]

Как обрадовали меня твои последние письма, мой дорогой, не могу тебе и сказать. Они щедро вознаградили меня за те страхи, которых я натерпелась, чтобы их получить. Не могу тебе описать, какой ужас я испытала, не увидевши тебя нигде внизу под окном. Я боялась, яркий свет луны мог выдать тебя, и, передвигаясь от одного окна к другому, прислушивалась, а ты все не показывался, и у меня начали дрожать колени, да так сильно, что я едва держалась на ногах. Мне было

страшно оставаться в неизвестности, да еще все время казалось, что следом за мной кто-нибудь может войти в комнату и я тоже буду обнаружена,— когда ты, по счастию, пришел. Я поспешила с моими сокровищами в свою тихую комнатку, но из-за сердцебиения и волнения крови не могла прочесть ни слова. Я принималась читать твои письма с начала и с конца, но в тот вечер так и не уловила истинного смысла, пока не прошли дни и я стала поспокойнее. Тогда они обрадовали и укрепили мое сердце, и моя тихая благодарность благословила тебя и полетела тебе вослед.

Однако же мой испуг определенно привел меня к мысли этой зимой больше не пытаться получать известия таким путем, тем более что через несколько месяцев *начнется весна*. Если же у тебя будет настоятельная необходимость сообщить мне что-либо, всегда менее рискованно послать это на мой адрес, упаковав вместе с несколькими старыми книгами, по последнему уговору, *так, чтобы я знала час*.

Ты желаешь, чтобы я рассказала тебе, довольна ли я своим обществом. Должна тебе тогда сказать прямо, что у меня, собственно, нет никакого общества и что за все лето я из-за недомогания выходила из дому не более шести раз. И даже мой брат и невестка мало бывали со мною, они оба нашли по соседству маленькое галантное общество, и это было их излюбленное времяпрепровождение; в оценке сего прискорбного, ныне ставшего в Гамбурге модой образа жизни они, как и во

многом другом, разошлись со мной во мнении[40], и я часто сидела здесь одна, с сердцем полным возвышенной любви, испытывая негодование, что суетность и жалкое ничтожество преуспевают в этом мире, где любовь не имеет цены.

Однако ж люди с легкостию признают право на жизнь за тем, чего они не ценят. Только то, чему они могут позавидовать, стремятся они разрушить, только существо, возбуждающее и испытывающее любовь, пригвождается за нее к позорному столбу. Я чувствую это с каждым днем сильнее: я не гожусь для светских отношений и сделаю лучше, если буду жить одна, наедине со своей тихой душой.

В то же самое утро, когда ты ушел, спустя несколько часов явился ко мне Ц[ерледер] в дорожном платье и осведомился, нет ли от меня каких поручений в Гамбург. С тех пор он переселился туда и пробудет там, видимо, еще несколько месяцев в связи с делами своего брата, который живет в Америке,— чтобы быть к нему ближе.

Теперь я должна сказать тебе, откуда происходит мое нежелание видеть тебя переселившимся в Йену, чтобы ты не заблуждался на сей счет. Потому что о том, что ты мне пишешь[41], я не имела ни малейшего понятия, и никто ничего мне о том не говорил. Причиной здесь лишь то, что *Веймар* лежит в полудне езды от *Йены*. Этим летом я нечаянно попала в дом одной дамы[42], который хотя и *пустует*, но был определен под квартиру фрау

Ларош и ее внуки. Я полагаю, это жилище тебе небезызвестно. И вот некоторое время назад слышала я как совершенно определенное, что этой зимой Шиллер переедет в тот дом. Ты не смог бы уклониться от визитов к нему, тебе было бы неудобно, а что *я* чувствовала бы при этом, я довольно поняла по своему колотящемуся сердцу, когда случайно провела там несколько часов. Тогда я не написала к тебе о том, потому что еще не приметила твоей идеи, и это не относилось к делу. А теперь я думаю, что я должна тебе и себе самой открыться в этой слабости. Конечно, я знаю: перед высшим идеалом любви такие слабости не приемлются в расчет и достойны осуждения, но перед человеческим чувством любви — *о пощади!* Ты же понимаешь меня! — — —

№ 14. Пятница, 30 января [43] [1800]

Пожалуй, пора уже подумать о том, чтобы держать письмецо для тебя наготове, потому что вдруг ты придешь в следующий четверг и будешь торопиться и беспокоиться. Если бы я могла узнать, ездил ли ты действительно к себе на родину, или ты все еще там. От всей души пожелала бы я тебе и твоим близким этой сердечной радости.—

Неделю назад у нас за столом оказались твои земляки. У меня создалось впечатление, что они тебя видели, и потому мне было приятно находиться в их обществе. И речь их была мне приятна, и меня не покидало чувст-

во, что, если бы мы были одни, они заговорили бы о тебе. А с какой охотой я сделала бы это с теми, кто знает тебя и ценит, как я. В мыслях я часто была с тобой и думала, что и воспоминание обо мне в кругу твоей семьи не огорчит тебя, и еще более усердно питала свои нежные чувства любви по отношению к ним, потому что ты более чем когда-либо нуждаешься сейчас в их участии, а они в твоем снисхождении.

Договорился ли ты с ними также по поводу твоей будущности и нашел ли что-нибудь, что соответствовало бы тебе? Как я хотела бы хоть что-нибудь узнать, а надо, однако, набраться терпенья! С удовольствием подсчитывали мы давича с твоими земляками, что от них до нас такое же расстояние, как от нас до нашего милого Касселя; а это показалось мне в прошлый раз просто загородной поездкой! Дальше ведь ты не уедешь от меня? — — Не насовсем? — Туда ты всегда можешь уехать! И опять вернуться ко мне! Как хотелось бы мне видеть тебя на том месте, которое принадлежит тебе по праву, ты можешь себе представить. Но выбирай с осмотрительностью и не промахнись. В ближайшее время я еще не смогу ничего от тебя получить, если только ты не решишься послать мне пакет; если это для тебя необходимо, ты можешь сделать это беспрепятственно, думаю, нам в том посчастливится. Если ты появишься сам, я буду считать это знаком, что мне нужно *спокойно* ожидать, и тогда я в какой-то мере уже вознаграждена; поскольку для меня изве-

стия означают твой отъезд, я не стремлюсь узнать их раньше, как было бы в противном случае. Я вижу тебя! И ты рядом — это ли не причина для того, чтобы мне быть более чем довольной?

И еще я хочу тебе сразу же сказать, что теперь я не могу сбросить тебе письмецо вниз, потому что у меня есть некоторое подозрение (хотя, может быть, и необоснованное). Если в следующем месяце погода хоть немного наладится и будет сухо, так что я смогу совершенно естественно выйти прогуляться, то я прошу тебя, приходи к десяти часам, и тогда в одиннадцать в тот же день я буду находиться в известном тебе месте. Но если это нельзя будет сделать, не вызывая подозрений,— тогда ты меня только увидишь. Как важно для меня получить от тебя весточку *тогда*, легко могу тебе объяснить: в конце марта опять прибывает мой брат и тогда я реже смогу выходить без провожатых. Они с женой опять будут жить у нас все лето. Так что, если ты захочешь что-нибудь мне прислать, сделай это прежде. Военные действия также могут оказаться препятствием для прогулок, тогда пришли мне что-нибудь во всяком случае, как уговорено. Я тоже передам через посыльного книгу; чтобы нам быть уверенными, что мы оба получили свое, ты можешь в 11 часов опять на минутку показаться на углу, впрочем, я тебе советую никогда не задерживаться там долго, потому что наверху живет больной человек, которому скучно. Если я не смогу выйти, на окне будет висеть платок.

Теперь еще несколько слов о себе, как я жила. Я *совершенно* здорова, покой и уединение в моей уютной комнате оказали на меня свое целительное действие. Здесь сижу я среди моих цветов и работаю. Мне никто здесь не мешает, никто не проходит мимо моего тихого окна, только воробушек порой прилетит поклевать крошек на подоконнике, да в небе проплывают облака. Я часто слежу за ними взглядом, когда вечером лучи закатного солнца пробиваются меж стволами деревьев, купами растущих в глубине сада, и мне так хорошо! Мягкая меланхолическая печаль, присущая моей натуре, которая никогда не сможет — и не должна! — изгладиться, делает меня восприимчивой к любой, самой малой, радости. С великой благодарностью ощущаю я ее! Сердце мое никогда не станет заносчивым, и слеза сострадания и доброжелательства всегда готова покатиться из глаз. Такой я и хочу остаться! Таков ведь и ты! — — —

Этой зимой я была несколько общительней и иногда выезжала в гости к нашим старым друзьям. Долгое уединение и новизна способствовали тому, что я нашла там более удовольствия, чем прежде, и мне тоже были рады. Несколько раз мне даже сказали, что вид у меня значительно лучше и веселее, но тебе, конечно, придется поверить мне на слово, что мое здоровье полностью восстановилось. Если бы мне знать то же самое о тебе! — — —

Четверг [Начало февраля 1800]

Ты действительно пришел! — Я не надеялась. Может быть, ты и не уезжал? Не из-за меня ли отказался ты от радости? Ненаглядная, добрая душа моя! Если бы дана была тебе радость и если бы я могла дать ее тебе! — — Не знаю, я стала так пуглива, я все боюсь, что нас обнаружат, а препятствия, которые и сейчас уже почти непреодолимы, еще более умножатся. Если б до тебя хоть в этот раз дошли мои слова, потом я готова отказаться. Ведь я знаю, ты любишь меня, как я люблю тебя, и этого у меня никто отнять не может.

Мне показалось, ты бледен. Ведь ты не был болен? Ведь ты бережешь себя, я знаю, ради меня.— И ты не отказываешь себе в удовольствиях, которые выпадают на твою долю? Ты их не ищешь? Но ты и не отбрасываешь их прочь от себя с враждебностью, не так ли, мой дорогой? —

Если ты завтра придешь, я могу быть спокойна! Да, я спокойна, и у меня есть причины для радости.

Прощай! Прощай! Далекий или близкий, ты всегда со мной. И мы так тесно сплетены с тобой, что ты никогда не сможешь оторваться от меня. Где бы мы ни были, мы всегда будем вместе, и я надеюсь скоро снова тебя увидеть. —

Скажи же мне честно, как ты? — И, ради меня, позаботься о себе.

Ц[ерледер] все еще в Гамбурге, и я не знаю, когда он возвратится и задержится ли

здесь. Но я надеюсь, что, если ему будет возможно, он останется здесь ненадолго.

Твои милые стихи я прочла все с несказанной радостью! Твои письма я сложила все как книгу, и, если когда-нибудь я долго не буду получать от тебя вестей, я тогда буду их перечитывать и думать: это *и сейчас так!* Сделай и ты так же и верь; и, пока *мы* живем, в нашей потаенной жизни будет жить то, что нас приковало друг к другу, и я ни за что не откажусь от надежды, что мы сможем вновь обрести друг друга в этом мире и радость наша исполнится в нас. Будь же счастлив (как *мы* это понимаем) и верь, что *как ты* решишь,— лишь бы это удалось,— так я и одобрю это. Только не соглашайся на то, что тебе не подходит. Если бы ты мог почувствовать, как расцветает во мне, словно живой, твой прекрасный образ, ты бы почувствовал также, что все то, что меня окружает, должно расступиться перед ним и что каждое неслышное движение чувств во мне лишь пробуждает *великое единственное*, обращенное к тебе, и *предает меня тебе нераздельно*.— —Поэтому не страшись своего сердца и верь, как я, что мы навеки *принадлежим друг другу*, и только *друг другу!*— —

№ 15. [5 марта 1800]

[Начало письма утрачено.]

Он [44] поселится в твоей комнате наверху, будет сидеть за твоей конторкой. Тогда с охотой стану я подыматься туда и с тихой радостью смотреть, как оживляется твое преж-

нее жилище от его присутствия. Никому другому не позволила бы я в нем жить, и ты тоже ведь? Иной раз заметит он потаенную слезинку в моем взоре, когда я зайду к нему, он поймет меня сердцем, и в его душе я обрету покой.

С каким радостным трепетом жду я завтрашнего дня! Я снова получу от тебя вести. Что б это ни было, все хорошо. Ведь ты, конечно, сделаешь все так, как лучше для меня, и я питаю доверие к судьбе, я верю, что все у тебя будет хорошо. И я снова получу запас пищи для ума и сердца надолго. Но тебе придется теперь запастись терпением, потому что в следующем месяце ты ничего обо мне не узнаешь. Не знаю, как мне с этим быть. Потому что вот-вот приедут мои родные, а кроме того, в нашем семействе возможна перемена[45], поэтому, пожалуй, будет лучше, если ты вообще не придешь. Но, поскольку мне не известно, как решится твое будущее, я не буду тебе ничего диктовать, а сама, по мере возможности, буду полностью руководствоваться твоими предписаниями.

Однако нам вряд ли удастся получить друг от друга что-нибудь, прежде чем мы опять переедем в летний дом в саду. Первый четверг в мае приходится как раз на первое, и, насколько я помню, в прошлом году в это время мы еще не переехали, а если мне одной выйти на прогулку, это могло бы броситься в глаза другим. Так что, если бы ты мог прийти во второй или третий четверг, это было бы вернее. Некоторое время назад мне при-

шла в голову мысль, нельзя ли в будущем *в случае крайней необходимости* получить известие через господина Ландауэра[46]? Он твой друг и последний раз он был по отношению ко мне особенно вежлив и учтив. Но это следовало бы сделать с величайшей осторожностью и деликатностью, чтобы он сам же не попал под подозрение. Это просто случайная мысль, и, если она тебе не нравится, не будем об этом больше говорить. Ты можешь, между прочим, всегда через него получать обо мне время от времени косвенные сведения. На следующую ярмарку он, наверное, сюда приедет. Но только намекни ему, когда ты с ним встретишься, что твое имя он может упомянуть *лишь* в разговоре со *мной*. Не могу тебе передать, как любопытно узнать мне о твоем будущем назначении. Скорей бы прошли эти часы ожидания! Больше я не могу писать. Прощай! Прощай! Ты пребываешь во мне вечно и будешь жить во мне, покуда я жива! — — —

№ 16. [15 марта 1800]

Моя свекровь скончалась вчера, больше ничего тебе сегодня не могу сказать. Прощай, прощай и береги себя — —.

№ 17. [Начало мая 1800][47]

Придешь ли ты завтра, мой дорогой? Я надеюсь на это и все же не могу быть в том вполне уверена, моя тоска по тебе была бы сокрушительна, если бы мне не пришлось тебя больше увидеть. Твое решение жить с поль-

зой в кругу твоей семьи соответствует моему самому сокровенному желанию, а в силу обстоятельств это теперь и есть твое предназначение — стать своей доброй сестре всем, чем ты можешь для нее быть. И для твоего сердца это благо — вновь иметь рядом с собой искренне любящее существо, которому ты доверяешь, и как же мне тому не радоваться! — И я снова получу от тебя вести, и я снова увижу тебя, как только тебе представится возможность. Но так часто, как до сих пор, нам уже нельзя будет обмениваться известиями, и, уж конечно, не раз в месяц, и я уже давно намеревалась сказать тебе, что можно будет раз в полгода обменяться нам письмами через почтальона. Но всегда взаимно, и, когда выпадет нам счастливая минута, мы пожелаем узнать друг о друге и рассказать про все, о чем мы думаем, излить свое сердце, найти отдушину, когда порою грудь слишком полна и стеснена. Мы сделаем теперь так. Ты придешь, когда сможешь, и я жду тебя без боязни. Когда-нибудь да придешь ты *ко мне*.

Я снова увижу тебя! Этой уверенности никто у меня не отнимет. Я хочу стойко выдержать на себе твой взгляд и пожатие твоей руки, чтобы не поддаться слабости после столь долгой разлуки и выдержать новую. И тебе дать силы для новой разлуки.

Еще несколько слов о моем теперешнем житье. Я чувствую себя очень хорошо, и у меня много всяких дел, которые дают мне приятное рассеяние и направляют мои жа-

ждущие применения силы в русло полезной и приносящей плоды деятельности. Тебе известно, что мы теперь вступили во владение садом на берегу Майна. Мне всегда хотелось, как ты знаешь, посадить свои деревья, коечто переустроить по своему вкусу и завести маленькую ферму. Мне там теперь очень нравится, как ты всегда предсказывал. Я построю все очень просто, в своем духе: двадцать пять моргенов плодородной земли вполне достаточно для обозрения и удовольствия, и они дадут мне занятия по душе. Я выиграла год времени для устройства всего, потому что мы живем еще здесь, и, таким образом, к будущему лету все будет готово.

Мы только вчера переехали сюда, а мой брат приедет только в субботу. Ц[ерледер] тоже пока еще в Гамбурге, и от него нет никаких известий. Если ты когда-либо в будущем вспомнишь обо мне, то представляй себе меня всегда за каким-нибудь занятием, которое доставляет мне радость. И я буду думать о тебе, что ты делаешь что-то такое, что вознаграждает твое сердце. И тогда мы будем думать друг о друге с веселостью. И вместе с быстротекущим временем мужественно стремиться к новой встрече, когда бы ей ни суждено было случиться, и просить судьбу, чтобы этот радостный миг настал поскорей; и верить в тайные силы, направляющие наши шаги. Только прошу тебя, пусть не омрачится твое отношение к жизни и сохрани свое доверие ко мне. Ты ничего тут не потеряешь, потому что твоя радость будет и моей.

Если ты когда-нибудь окажешься в нашем городе и увидишь белый платок в моем окне, не посылай мне писем, а на следующее утро приходи опять. Если же ты не увидишь ничего, посылай их тотчас же и потом возвращайся опять, в знак того, что все в порядке.

Четверг [8 мая 1800]. Утром

Придешь ли ты? — — Все вокруг глухо и пусто без тебя! И мне страшно. Как мне вновь замкнуть в груди и не выпускать на волю рвущиеся к тебе навстречу чувства, если ты не придешь? — — — —

А если ты придешь, как трудно будет мне сохранить равновесие и не чувствовать себя слишком живой. Обещай мне, что ты больше не вернешься назад и спокойно уедешь отсюда, потому что, не будучи в этом уверена, я впадаю в величайшее беспокойство и буду метаться до самого утра, не отходя от окна, в конце концов должны же мы успокоиться, так будем же с надеждой следовать нашим путем, и в нашем страдании чувствовать себя все же счастливыми, и желать, чтобы оно долго-долго еще нас не оставляло, потому что в нем мы чувствуем совершенное благородство и поддержку в наших [душах] — — Прощай! Прощай! Благословение Неба да пребудет с тобой — — —

[Конец писем Диотимы.]

ДОПОЛНЕНИЯ



ГИПЕРИОН

(*Отрывки*)

ТОМ ПЕРВЫЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

[Ср. с. 41]

Я охотно предвещаю этой книге любовь немцев. Но опасаюсь, что одни будут ее читать как компендиум и уж слишком сосредоточиваться на ее fabula docet, в то время как другие воспримут уж слишком легковесно,— причем и те и другие ее не поймут.

Кто только понюхает мой цветок, тому он останется неведомым, и кто вырвет его только для изучения, тому он также останется неведомым.

Разрешение противоречий в определенном характере служит не для одного только продумывания, но и не для пустой забавы.

Место действия, где развиваются события, не ново, и сознаюсь, что была у меня раз ребяческая попытка ввести в этом отношении изменения в книгу, но я убедился, что единственно оно подходит к элегическому характеру Гипериона, и мне стало стыдно, что предположительное суждение публики сделало меня таким не в меру податливым.

Сожалею, что обсуждение плана пока еще не всем доступно, но в ближайшем будущем последует второй том.

* * * [Ср. с. 86—88]

Я выполнил свое решение. Я, действительно, очутился на борту. Попутный горный ветер уносил меня из гавани Смирны. Отдавшись полному покою, совсем как дитя, неведающее, что принесет ему ближайший миг, лежал я на своем судне и смотрел на деревья, на мечети города, на свои зеленые береговые дорожки, на мою тропу к Акрополю — на все это смотрел я, а оно удалялось и удалялось... когда же я вышел в открытое море и все стало медленно куда-то погружаться, как гроб в могилу, тогда вдруг охватило меня чувство как если бы сердце мое разбилось.

— О, небо! — воскликнул я, и все живое во мне пробудилось, вступило в борьбу, чтобы удержать ускользающую действительность. Но она канула, канула!

Словно туман простиралась передо мной небесная страна, где я, как лань по вольному полю, вдоль и поперек исходил все долы и горы и подарил эхо моего сердца ключам и потокам, далям и глубинам земли.

Туда, на Тмол, восходил я, одинокий, невинный, туда спускался, где некогда, в дни счастливой юности, стоял Эфес и с ним Теос и Милет, туда поднимался в священную скорбную Троаду, странствуя с Алабандой — с Алабандой! И как бог властвовал над ним и, как дитя, доверчиво и нежно служил я ему

его, с душевной радостью, с сердечным ликованием, услаждался счастьем от соприкосновения с его существом, когда коня его держал под уздцы или когда, воспарив над самим собой, в мире чудесных планов, в мире дерзновенных помыслов встречался с душой его в огне речи.

И вот погибло все, и вот никчемен я, так безбожно ограблен, стал последним бедняком среди людей, сам не зная как?

«О, вечное заблуждение! — подумал я про себя.— Когда же вырвется человек из твоих цепей?»

Мы говорим о нашем сердце, о наших планах, как будто они наши, а ведь это чужая сила нас мятет и укладывает в гроб, как и когда соблаговолит сила, о которой мы ничего не знаем: ни откуда она, ни куда стремится она.

Мы хотим расти вверх, туда далеко вытянуть сучья и ветви, а почва и погода направляют нас куда придется, и, если молния упадет на твою крону и до конца расщепит тебя, бедное дерево, причем ты тут?

Так думал я. Тебя огорчает это, Беллармин. Но ты еще и не такое услышишь!

Милый, то-то и печальнее всего, что дух наш так охотно облекается в безумие сердца, так охотно удерживает мимолетную горесть, то, что мысль, предназначенная исцелить от боли, сама заболевает, то, что садовник так часто разрывает себе руку о кусты роз, которые он должен был насадить. О! Это и превращало иного в глупца перед лицом тех,

над которыми он мог бы властвовать, как Орфей. Это часто превращало изысканнейшую натуру в предмет глумления людей, которые встречаются на каждом шагу,— подводный камень для любимцев небес, что любовь их могуча и нежна, как их дух, что волны их сердца вздымаются часто сильнее и быстрее, чем трезубец, которым смиряет их морской бог, и потому, милый мой, да не возгордится никто.

* * * [Ср. с. 92—100]

Гиперион Беллармину

Бывает состояние полного забвения, полного онемения нашего существа, когда на душе у нас так, будто мы все обрели.

Бывает состояние онемения, забвения всего живого, когда на душе у нас так, будто мы все потеряли,— ночь души, когда звезда не сверкнет нам, когда даже гнилое дерево нам не светится.

Я успокоился. Уже ничто не побуждало меня к полуночным странствованиям. Уже не опаляло меня собственное пламя.

Тихо и одиноко смотрел я перед собой, и взор мой не блуждал ни в прошлом, ни в грядущем. Уже далекое и близкое не теснилось беспорядочно в уме моем. Людей, если они не вынуждали меня встречаться с ними, я не искал.

Прежде не раз нынешнее столетие представлялось мне какой-то вечно пустой бочкой Данаид, и душа моя с расточительной любовью изливала себя, чтобы заполнить пусто-

ты. И вот я уже не видел пустот, уже не подавляла меня скука жизни.

Никогда не обращался я теперь к цветку со словами: ты брат мой! и к ключам: я сродни вам! Каждой вещи отзывно, как эхо, давал я особое имя.

Как река, протекающая мимо бесплодных берегов, где даже ивовый листок не отразится в воде, так тускло протекал мимо меня мир.

Гиперион Беллармину

Ничто не может так высоко подняться и ничто не может так глубоко пасть, как человек. С мраком бездны сравнивает он часто страдание свое и с эфиром счастье свое — и все же как мало этим сказано!

Но нет и ничего прекраснее, чем когда после долгой смерти в нем что-то забрезжит вновь и скорбь, как сестра, идет навстречу этой издалека брезжущей радости.

О, с какими небесными чаяниями приветствовал я приход весны! Как льется издалека в безмолвном воздухе, когда все спит, струнная игра любимой, так отовсюду ласкали звуками грудь мою чуть слышные песни весны. Будто из Элизиума внимал я ее приближению, когда чуть шевелились недвижные ветви и легкое дуновение касалось моей щеки.

Ясное небо Ионии, никогда не было ты мне таким близким, но и никогда мое сердце не походило так на тебя, как тогда, в пору его безоблачно-нежных игр —

Кто не тоскует по радостям любви и великим деяниям, когда оку неба и груди земли

возвращается весна? Я поднимался тихо и медленно, будто с постели после болезни, но грудь моя так блаженно трепетала от тайных надежд, что я даже забывал спросить, что это значит.

Еще более прекрасные грезы обнимали меня во сне, и, когда я просыпался, они оставались запечатленными в сердце, как след поцелуя на щеке любимой. О, утренняя заря и я — мы шли теперь навстречу друг другу, будто примиренные друзья, когда они еще немного чуждаются друг друга, а в душе уже таится бесконечный миг близкого слияния.

Воистину еще раз открылись мои глаза, правда не так, как прежде, во всеоружии и полноте собственной силы: они стали просительными, они молили о жизни, но в глубине души жило чувство, будто снова может мне быть так, как некогда, и даже лучше.

Я снова увидел людей, как будто и мне дано действовать и радоваться вместе с ними. И я, действительно, стал принимать во всем искреннее участие.

О, небо! что это было за злорадство: надменный нелюдим стал наконец таким же, как они! Сколько поводов для насмешек: голод принудил лесного оленя прибежать на их птичий двор!

Ах, я искал моего Адамаса, моего Алабанду, но никто из них не являлся.

Наконец, я написал в Смирну, и, казалось, вся нежность, вся мощь человека соединились вместе в то единое мгновение, когда я писал. Я трижды писал, но никакого ответа: я мо-

лил, угрожал, напоминал о всех пережитых нами часах любви и великих дерзаний, но никакого ответа от незабываемого, до смерти любимого. «Алабанда! — восклицал я,— о, мой Алабанда! ты сломал над головой моей жезл. Ты один еще заставлял меня стоять прямо, ты был последним упованием моей юности! Теперь я ничего больше не хочу, и это свято и нерушимо».

Мы жалеем мертвых, как если бы они чувствовали смерть, а ведь мертвые покоятся в мире, но эта, эта боль! — с ней ничто не сравнится! Она — непрестанное чувство полного уничтожения, когда жизнь наша до того теряет свой смысл, когда уже так говоришь себе в сердце своем: Ты должен исчезнуть, и ничто не напомнит о тебе; ты и цветка не насадил, и лачуги не построил, чтобы хотя бы в малом сказать: и мой след остался на земле. Ах! и вот может же душа быть исполнена такой непрестанной тоски, и вместе с тем быть такой слабосильной.

Я всегда чего-то искал, но не смел поднять глаз на человека. Бывали часы, когда меня пугал смех ребенка.

Притом я был обычно тих и молчалив, часто питал какое-то странное суеверие в целительную силу иных вещей: от купленного мною голубя, от поездки на лодке, от долины, прикрытой от меня горами, я мог ожидать утешения.

Довольно, довольно! если бы я вырос с Фемистоклом, если бы жил при Сципионе, моя душа воистину никогда бы не обнаружила себя такой.

Гиперион Беллармину

Порой еще пробуждалась во мне сила духа: но увы! только разрушительная.

Что такое человек? — задумывался я. Где ответ, что в мире есть нечто, подобно хаосу волнующееся или подобно трухлому дереву гниющее и никогда не достигающее зрелости? Как терпит природа при ее сладких гроздьях этот недозрелый виноград?

Растениям говорит он: и я был некогда, как вы!

И звездам ясным: я хочу стать, как вы, в ином мире!

Между тем уже рассыпается он, а все снова и снова выискивает для себя уловки, как если бы мог он, словно стену из камня, сызнова скрепить уже однажды расторгнутое живое. И его не смущает тщета всех его усилий: ведь, что бы он ни делал, его попытка неизменно только ловкий фокус.

О, вы, бедные существа, вы, которые чувствуете это и уже не смеете говорить о назначении человека, вы, целиком захваченные властвующим над вами Ничто, вы, так проникновенно познавшие, что мы рождены для Ничто, что мы любим некое Ничто, верим в Ничто, изнуряем себя трудом для Ничто, чтобы мало-помалу перейти в Ничто,— скажите, где вина моя, если у вас подгибаются колени, когда вы глубоко вдумываетесь во все это. Ведь и я уже не однажды, погружаясь в эту мысль, взывал: что кладешь секиру у моего корня, грозный дух! И вот я все еще здесь.

О, некогда, мрачные собратья, было иначе. Тогда было так прекрасно над нами, так прекрасно и так радостно впереди. И сердца наши переливались через край от избытка, созерцая далекие блаженные призраки, и души наши, неудержимо ликуя, устремлялись вперед и прорывали пределы, но вдруг оглянешься — и увы! там позади бесконечная пустота.

О, на колени могу я пасть и руки ломать и молить, мне неведомо кого, об иных помыслах. Но мне не обороть ее, бьющую в глаза истину. Разве не двойное свидетельство у меня? Когда я смотрю в жизнь: что есть самое последнее? — Ничто. Когда я возношусь в духе: что есть самое высшее? — Ничто.

Но тише, сердце! Это ведь последняя сила, которую ты проматываешь! Твоя последняя сила. И ты хочешь взять приступом небо? Где же твои сотни рук, титан? Где твои Пелион и Осса, твоя лестница к кремлю бога-отца, чтобы взобраться, и бога, и стол его божеский, и все вершины бессмертные Олимпа низвергнуть, и проповедовать смертным: оставайтесь внизу, дети мгновения! не устремляйтесь на эти высоты, ибо ничего нет здесь наверху.

Впрочем, тебе незачем взирать на то, что руководит судьбой других. Ты силен твоим новым учением.

Над тобой и впереди тебя воистину пусто и пустынно, ибо пусто и пустынно внутри тебя.

Воистину если вы богаче меня, вы другие, то вы могли бы немного помочь.

Если ваш сад полон цветов, почему не порадовать его благоуханием также и меня? Если вы так преисполнены божественности, то подайте и мне испить от нее. На празднествах никто не терпит нужды, даже последний нищий. Но только единый празднует среди вас: смерть.

Нужда, страх и ночь — ваши владыки. Они разделяют вас, они гонят вас ударами друг к другу. Голод вы называете любовью, и, где вы ничего не видите, там живут ваши боги. Боги и Любовь?

О, правы поэты: нет ничего столь малого и ничтожного, что не послужило бы к вдохновению.

Так думал я. Как могло все это овладеть мною, я сам пока еще не постигаю.

КНИГА ВТОРАЯ

Гиперион Беллармину

Я живу теперь на острове Аякса, дорогом мне Саламине. Мне мила эта Греция повсюду. Она близка моему сердцу. Куда ни взглянешь, там покоится погребенная радость.

И все же, столько прелести и величия кругом.

На мысе я выстроил себе лачугу из ветвей маслины; и мхом, и деревьями окружил ее, и тимианом, и разным кустарником.

Здесь провожу я излюбленные часы, здесь просиживаю вечерами со взором, обращенным к Аттике, пока сердце не переполнится. Тогда я беру мои снасти, спускаюсь к бухте и

ловлю рыбу. Или читаю там, на моей вершине, о древней грозной морской войне, некогда утихшей в диком, мудро вершимом бою у Саламина, и радуюсь духу, который смог и править, и смирять яростный хаос врагов и друзей, как смиряет всадник коня, и искренно стыжусь в душе собственного боевого выступления.

Или смотрю в открытое море и передумываю мою жизнь, ее подъемы и падения, ее блаженство и ее горести, и мое прошлое звучит часто как струнная игра, когда музыкант, пробегая по всей тональности, переключает разнозвучия и созвучия, подчинив их скрытой системе.

Сегодня здесь наверху трижды прекрасно. Два благодатных дождливых дня освежили воздух и усталую землю.

Равнина стала зеленей и шире полей просторы. В бесконечность уходит золото пшеницы, вперемежку с веселыми васильками, и светло и ясно, как вычерченные, выступают из глубины рощи тысячи полных упования макушек. Нежно и величаво пробегает пространство каждая линия далей. Как ступени, чередой непрерывной, поднимаются к солнцу горы. Небо кругом чисто, только над эфиром дышит белый свет, и серебряным облачком в сиянии дня катится мимо стыдливый месяц.

* * * [Ср. с. 106—107]

Гиперион Беллармину

Некогда я был счастлив, Беллармин. Не длится ли и сейчас мое счастье? Не был бы я счастлив, если бы даже священный миг, когда я впервые увидел ее, был бы моим последним мигом?

Я видел однажды то единственное, чего искала моя душа, и то совершенство, которое мы удаляем в надзвездный мир, которое отодвигаем к концу времен,— его я пережил. Здесь было оно — то недосягаемое, в этом кругу человеческой природы и вещей: оно было здесь.

Я больше не спрашиваю: где оно? Оно существовало в мире, оно может вернуться в мир, сейчас оно только сокрыто в нем. Я не спрашиваю больше, каково оно: я видел, я изведал.

О, вы, искатели высшего и лучшего в глубине познания, в шумихе деяний, во мраке прошлого, в лабиринте грядущего, в гробах или за звездами! Знаете ли вы имя? — Имя тому: что есть одно и в с е.

Имя тому — красота.

Знали ли вы, чего хотели? Еще я не знаю того, но уже предчувствую его — новое божество, новое царство, и спешу навстречу ему, и других увлекаю и веду за собой, как поток потоки в океан.

И ты, ты указала мне путь! С тобою вступил я на него, но слов не стоят те дни, когда я еще не знал тебя.

О, Диотима, Диотима! небесное существо!

* * * [Ср. с. 116—117]

Гиперион Беллармину

Все напрасно. Я не могу утаить от себя: куда бы ни умчался я помыслами — в высь небес или в бездну, к началу или к концу времени, даже если бы к нему, к тому, кто был моим последним упованием, кто так утишал во мне все тревоги, кто так всю радость и всю муку жизни опалял во мне пламенем, в котором он открывался мне, даже если к нему в объятия кинусь я — к могучему таинственному мировому духу, в его глубину свергнусь, словно в бездонный океан,— и там, и там найдет меня мой сладостный ужас, сладостный, мутящий, убивающий ужас, что гроб Диотимы так близок от меня.

Ты слышишь? Слышишь? — Гроб Диотимы!

Мое сердце так притихло, и любовь моя погребена вместе с мертвой, той, которую я любил!

Ты знаешь, друг Беллармин! я долго не писал тебе о ней, а когда написал, то писал, думается, спокойно.

Что же это?

Я иду на берег и смотрю в сторону Калаурии, туда, где покоится она,— вот оно что.

Как это никто не даст мне челна, не сжалится, не протянет мне весла, не переправит меня к ней!

Как это не успокоится доброе море, чтобы я смастерил себе плот, переплыл к ней.

В неистовую пучину брошусь я и умолю ее волну выбросить меня на берег Диотимы! —

Милый брат, я утешаю свое сердце фантазиями, подношу себе снотворное питье. Пожалуй, мужественнее было бы освободиться навсегда, чем прибегать к помощи паллиативов! Но с кем бывает иначе? Впрочем, ведь я довольствуюсь и этим.

Довольствуюсь? ах! если бы так! Это значило бы помочь там, где уже никакой бог не поможет.

Ну, ну! будет! я сделал все, что мог. Я требую у судьбы свою душу.

* * * [Ср. с. 145—147]

Гиперион Беллармину

— Так стал афинянин человеком,— продолжал я,— так должен был он стать человеком. Прекрасным вышел он из рук природы, прекрасным душой и телом, как принято говорить.

Первое дитя человеческой божественной красоты — искусство. В нем обновляет и повторяет себя божественный человек. Самого себя хочет почувствовать он: потому и ставит перед собой красоту свою. Так человек создал себе богов, ибо вначале человек и боги его были единым, ибо не знала самой себя вечная красота.

Я говорю мистериями, но они существуют.

Первое дитя божественной красоты — искусство. Так было у афинян.

Красоты дитя второе — религия. *Религия — любовь к красоте.* Мудрец любит ее самое —

бесконечную, всеобъемлющую. Народ любит ее детей — богов, предстоящих ему, во многообразии обликов. Так именно было у афинян. И без такой любви к красоте, без такой религии каждое государство — только жалкий ост[р]ов, лишенный жизни и духа, и всякая мысль и дело — только дерево, лишенное верхушки, только колонна со сбитой капителью.

То, что у греков, особенно у афинян, было действительно так, то, что их искусство и религия — истинные дети вечной красоты, совершенной человечности и могли возникнуть только из совершенной человечности,— это отчетливо обнаруживается, если только взглянуть на творения их святого искусства и на их религию с той непредвзятостью, с которой они сами любили и почитали те творения.

Недостатки и оплошность налицо повсюду — они налицо и здесь. Но одно несомненно, что большинство творений их искусства не дает нам обычно зрелого человека. Там нет ни миниатюрности, ни грандиозности египтян и готов. Там есть только человеческий смысл и человеческий образ. Афиняне в меньшей степени, чем другие, переступают должные границы, подпадая крайностям сверхчувственного и чувственного. Их боги в большей степени, чем у других, пребывают на прекрасной середине человечности.

Каково творение, такова и любовь: не слишком по-рабски, не так уж слишком доверчиво!

Из духовной красоты афинян вытекает и их надлежащее понимание свободы.

Египтянин без страдания переносит деспотию самовластия, сын севера без сопротивления переносит деспотию закона, несправедливость правовых форм: ибо египтянину врождена потребность к поклонению и обожествлению; на севере же слишком мало верят в чистую свободную жизнь природы, чтобы суеверно не ухватиться за законность.

Афинянин не выносит самовластия, ибо его божественная природа не терпит насильственного вмешательства. Он не везде выносит законность, ибо он в ней [не] везде нуждается. Дракон не для него. Он любит мягкое обращение и оправдывает его.

— Хорошо,— прервал меня кто-то из собеседников,— это все я понимаю, но каким образом такой поэтический, религиозный народ мог стать одновременно и народом-философом,— вот чего я не могу постигнуть.

— Без поэзии,— сказал я,— они никогда и не стали бы народом-философом.

— Но что общего,— возразил он,— у философии, у этой холодной, величавой науки, с поэзией?

— Поэзия,— сказал я уверенно,— начало и конец этой науки. Как Минерва из головы Юпитера, так возникает философия из поэзии бесконечного божественного бытия, чтобы в итоге все необъединимое в ней вновь слилось в том же таинственном ключе поэзии.

— Вот парадоксальный человек! — воскликнула Диотима.

* * * [Ср. с. 160—161]

И вот я стоял над развалинами Афин, будто пахарь на пару. «Покойся, только покойся!» — думал я. Мы снова спустим корабли! Только покойся, дремлющая страна! Скоро зеленой порослью побежит из недр твоих юная жизнь навстречу благословениям небес. Скоро не будут уже впредь впустую дождить облака. Скоро вновь найдет солнце старых питомцев.

Природа, ты спрашиваешь: где люди? Ты жалуешься, как мелодия струн, на которых играет только *брат случая*, ветер, ибо умер художник, настроивший их. Они придут — твои люди, природа! Вспыхнувший юностью народ вернет юность и тебе, и ты станешь как бы невестой его, и обновится с тобою древний союз возвышенных духом.

Будет только единая красота: человечество и природа воссоединятся во единое всеобъемлющее божество.

ТОМ ВТОРОЙ

* * * [Ср. с. 176—178]

Гиперион Беллармину

Почему я рассказываю тебе, обновляю мое страдание и вновь возмущаю в груди мою беспокойную юность? Разве не достаточно раз пройти путями смертных? Почему же не остаюсь я безмолвным в тишине моего духа?

Потому, мой Беллармин! что каждый вздох жизни остается ценным для нашего сердца,

потому что все превращения чистой природы сопричастны ее красоте. Наша душа, когда она сбрасывает с себя свой опыт и отдается единственно священному покою, не подобна ли она безлиственному дереву? или голове, лишенной кудрей? Милый Беллармин! было мгновение, когда я отдыхал, как дитя, жил среди тихих холмов Саламина, позабыв о судьбе и устремлении человека. С тех пор на многое смотрю я по-иному, и сейчас во мне достаточно мира, чтобы сохранить спокойствие при вглядывании в человеческую жизнь. О, друг, в конце концов дух примиряет нас со всем окружающим. Ты не поверишь мне, во всяком случае не поверишь, что я таков. Но думаю, ты уже по моим письмам мог бы заключить, как душа моя становится со дня на день все тише и тише. И впредь я буду высказываться в этом смысле, пока ты не поверишь.

Вот письма Диотимы и мои, которые мы писали друг другу после моего отъезда из Калаурии. Они для меня самое дорогое из всего, что я тебе поверяю. Они самое теплое отображение тех дней моей жизни. О тревогах войны они тебе скажут немного. Зато как много о моей личной жизни; а ведь это как раз то, чего ты ждешь. Ах, и ты должен видеть, как был я любим. Этого мне никогда не высказать. Это выскажет только Диотима.

Гиперион Диотиме

Я пробудился от смерти прощания, моя Диотима! окрепший, будто от сна, выпрямляется дух мой. Пишу тебе с одной из вершин

Эпидаврских гор. Вот далеко в глубине мерцает твой остров, Диотима, а там дальше мой стадион, где меня ждет победа или смерть. О, Пелопоннес! О, вы источники Ефрата и Альфея! там оно будет. Туда из спартанских лесов ринется, как орел, древний пламенный гений вместе с нашим войском, как если бы на крыльях шумящих.

Моя душа, Диотима, полна жажды подвигов и любви, и взор мой, устремленный к долам Греции, как будто вот сейчас магически повелит: восстаньте, города богов!

Верно, бог во мне, ибо я почти не чувствую нашей разлуки. Как блаженные тени Леты, так живет теперь душа моя с твоей среди небесной свободы, и не властен рок над нашей любовью.

* * * [Ср. с. 184—185]

Гиперион Диотиме

Счастье мое, что весь я поглощен работой. Иначе я совершал бы нелепость за нелепостью, до того полна душа моя, до того опьяняет меня этот человек, такой удивительный, такой гордый, которому ничего не мило, кроме меня, и все смирение, какое есть в нем, копит для меня одного. Диотима! Этот Алабанда, как ребенок, плакал предо мною, вымаливал у меня прощение за обиду в Смирне.

Кто я, любимые мои, что называю вас моими, что говорю: «мне принадлежат они», что, как завоеватель, стою среди вас и обнимаю вас, как мою добычу?

О, Диотима! О, Алабанда! спокойно-благородные, величавые существа! чем кончу я, если не улечу от счастья моего, от вас!

Я как раз писал, когда пришло твое письмо, любимая.

Не печалься, светлая моя, не печалься! Сохрани себя несокрушенной горем для грядущих празднеств во славу отчизны, Диотима! для пламенеющего праздника природы, для него сохрани себя и для торжеств в честь богов.

Разве ты не видишь уже Грецию?

О, разве не видишь, как, радуясь новым соседям, улыбаются вечные звезды над нашими городами и рощами, как древнее море, видя народ наш гуляющим по берегу, вспоминает о прекрасных афинянах и вновь, как некогда любимцам своим, несет нам счастье на вольно-веселой волне?

О, моя вдохновенная девушка! ты и сейчас так прекрасна! Какой же дивной славой зацветешь ты, когда родной климат будет тебя питать!

* * * [Ср. с. 192—195]

Гиперион Диотиме

Трижды подряд выходили мы победителями в стычках. Как молнии, скрещивались в них бойцы, и все сплошь кругом был истребительский огонь. Наварин — наш! и мы стоим сейчас пред крепостью Мизистры, остатками древней Спарты. На развалинах перед городом я водрузил знамя, отнятое мною у албанской банды, бросил на радостях в Ефрат мою

турецкую чалму и с тех пор ношу греческий шлем.

Теперь я хотел бы увидеть тебя, о девушка! Увидеть хотел бы тебя и руки твои взять и прижать к своему сердцу. Оно вскоре узнает, быть может, чрезмерную радость! вскоре! быть может, через неделю будет свободен он — древний благородный, священный Пелопоннес!

И тогда, дорогая, научи меня благочестию! тогда научи и мое переполненное сердце молитве! Мне бы молчать, ибо что совершил я такого? а если что совершил, о чем стоило бы говорить, сколько еще дела впереди? Но не моя вина, если мысль моя быстрей, чем время? Я так хотел бы, чтобы оно было наоборот, чтобы время и деяния перегоняли мысль и крылатая победа опережала даже надежду.

Мой Алабанда сияет, как жених. В каждом его взгляде смеется мне грядущий мир: и им хоть немного утоляю я свое нетерпение.

Диотима! я не променял бы это творимое счастье на самую прекрасную пору Древней Греции, и ничтожнейшая из наших побед милей мне Марафона, Фермопил и Платеи. Или это неверно? Или для сердца жизнь исцеленная не дороже жизни нетронутой, которой даже не касалась болезнь? Да, только тогда научаемся мы любить юность, когда она уже позади, и только тогда, когда она, утраченная, возвращается, наполняет она счастьем душу.

На берегу Ефрата стоит моя палатка, и, когда за полночь я пробуждаюсь, мимо меня предостерегающе с шумом проносится древний

речной бог, и я, улыбаясь, срываю береговые цветы, роняю их в его блестящие волны и говорю ему: «Прими это как знамение, ты, одинокий! скоро вокруг тебя вновь зацветет древняя жизнь!».

Диотима Гипериону

Я получила твои письма, Гиперион, которые ты писал мне с дороги. Все, о чем ты говоришь, потрясает меня: я люблю, но в самой этой любви мне часто страшно за ласкового юношу при мысли, что тот, кто плакал у моих ног, превратился в такое могучее существо.

Не разучишься ли ты любить?

Так иди же неотступно вперед к своей цели! Я следую за тобою. Я думаю, что если бы ты возненавидел меня, то и тогда мое чувство уподобилось бы твоему, я тоже постаралась бы возненавидеть тебя и души наши не стали бы отличны. И это не впустую брошенное слово, Гиперион, я не преувеличиваю.

И я сама изменилась: стала иной. Мне не хватает и прежней ясности взора для мира и любви ко всему живому. Только звездный посев еще притягивает мои глаза. Тем охотнее думаю я о великих людях далекого прошлого, о том, как окончили они свои дни на земле, и близко стали моему сердцу величественные жены Спарты. Не забываю я и новых борцов-богатырей, чей час настал. Часто слышится мне, как все ближе и ближе продвигается шум их побед вверх по Пелопоннесу, часто вижу, как свергаются они, водопаду подобно, лесами Эпидавра и издалека сверкают их доспехи

под солнцем, которое, как герольд, сопровождает их, о Гиперион! И вот ты переправляешься на Калаурию и приветствуешь тихие леса нашей любви, приветствуешь меня, а там вновь уносишься назад к своему делу.— Думаешь, я страшусь за исход? — Любимый! Порой уже настигает меня страх, но более высокие помыслы, как пламя, отгоняют его стужу.

Прощай! Заверши, как это повелевает тебе дух, и не затягивай слишком долго войну — ради мира, Гиперион, ради нового, прекрасного, золотого мира. «Тогда,— говорил ты,— будут некогда в книгу законодательства вписаны золотые законы природы, и тогда сама жизнь, эта божественная природа, которую ни в какую книгу не впишешь, будет жить в соборном сердце общины». Прощай.

* * * [Ср. с. 196—197]

Гиперион Диотиме

Всему конец, Диотима! Наши солдаты грабили, убивали кого ни попало, и братья наши, греки Мизитры, ни в чем не повинные,— они тоже перебиты или бродят беспомощно по окрестностям, и их мертвые и искаженные лица взывают к земле и к небу о мщении варварам, во главе которых стоял я.

Теперь я могу пойти похвалиться своим славным делом! О, теперь все кинутся ко мне с распростертыми объятиями.

Ну и умен же я был! Я знал своих людей. И подумать только, что за несообразнейший

проект: создать Элизиум при помощи банды разбойников.

Нет, клянусь священной Немезидой! я поплатился поделом, и я буду терпеть, буду терпеть, пока мука не угасит во мне последнего луча сознания.

Думаешь, я в неистовстве? У меня почетная рана. Ее нанес мне один из моих подчиненных, в то время как я удерживал их от глупого разбоя. В неистовстве я сорвал повязку с раны — так пусть же течет моя кровь, пусть вернется в эту скорбящую землю!

Ты — скорбящая земля! — ты нагая! тебя хотел я одеть в священные рощи, тебя хотел разукрасить всеми цветами человеческой жизни!

О, как прекрасно было бы, Диотима!

Скажешь: я потерял мужество? Милая, несчастье чрезмерно велико. Со всех сторон вторгаются яростные шайки. Как чума, неистовствует по Морее жажда грабежа, и, кто не берется за меч, того изгоняют, убивают; и тут же эти бесноватые смеют еще говорить, что они сражаются за нашу свободу. Среди свирепствующих банд есть и подосланные султаном: они ведут себя так же, как и те.

* * * [Ср. с. 202—204]

Гиперион Диотиме

Я долго ждал, сознаюсь тебе, я так страстно надеялся получить последний привет от твоего сердца, но ты молчишь. Что ж! И молчание — язык твоей прекрасной души, Диотима.

Не правда ли, священные аккорды от этого все же не умолкают? Не правда ли, Диотима, если нежный месяц любви заходит, все же еще горят горние звезды ее небес? О, ведь это моя последняя радость! Знаю, что мы неразлучны, хотя бы ни единый звук, даже тень светлых дней нашей юности не вернулись от тебя ко мне.

Я вижу море в вечернем огне, я простираю руки к земле, где живешь ты, далекая моя, и еще раз все радости любви и юности согревают мне душу.

О, земля, колыбель моя! Вся отрада, вся скорбь в том часе, когда мы прощаемся с тобой.

Вы, милые Ионийские острова! и ты, моя Калаурия, и ты, моя Тина! — вижу вас, вижу, как ни далеки вы, и дух мой летит с ветерками над дрожью вод. И вы, там, в стороне чуть мерцающие, вы, берега Теоса и Эфеса, где в уповании я бродил с Алабандой, я вновь вижу вас: все те же вы, что и тогда; на берег ваш хотел бы переплыть я, и прах целовать, на который ступал, и согревать тот прах у моей груди, и там пред безмолвной землей лепетать сладостные слова разлуки, пока не улечу в простор.

Жаль, жаль, что дела у людей обстоят сейчас не лучше, иначе охотно остался бы я на этой доброй звезде. Но я могу отрешиться от этой земной твердыни, что больше может совершить человек!

«О, дитя, будем при свете солнца сносить рабскую долю»,— сказала мать Поликсене,—

и ее любовь к жизни не могла быть высказана прекраснее. Но свет солнца! — он-то и не примиряет меня с рабской долей, он не позволяет мне оставаться на этой униженной земле, а священные лучи, как тропы, ведущие в небо, притягивают меня к себе.

С давних пор величие обездоленной души было мне ближе всего иного. Среди чудесного уединения жил я порою в самом себе. Как снежные хлопья, привык я стряхивать с себя внешние события. Почему же тогда страшиться мне искать так называемой смерти? разве не освобождался я мысленно несчет раз? почему же задумываться мне выполнить это в действительности? Разве мы крепостные, рабы, прикованные к земле, которую вспахиваем? разве мы домашняя птица, которая не смеет выбежать со двора, ибо здесь ее кормят?

Мы подобны орлятам, которых отец выгоняет из гнезда, чтобы они в выси эфира искали свою добычу.

Завтра сразится наш флот и бой предстоит горячий. Я смотрю на эту битву как на купанье, чтобы смыть с себя приставшую пыль, и, думается, я найду в ней то, что ищу. Желания, подобные моим, легко выполнимы на месте. И вот в конце концов я моим походом кой-чего бы достиг и вижу: никакой труд не напрасен среди людей.

Праведная душа! я хотел бы сказать: вспомни обо мне, когда придешь ко гробу моему. Но они, верно, бросят меня в пучину моря, и я рад, что останки мои погрузятся туда, где сливаются ключи и реки, которые я любил,

и откуда исходит грозовая туча, чтобы напоить горы и долы, которые я любил. А мы? О, Диотима, Диотима! Когда же свидимся мы?

Невозможно! Все сокровенное живое восстает во мне при мысли, что будто мы потеряем друг друга. Я готов несчет тысячелетий обходить звезды, во все формы облекаться, во все языки жизни, чтобы только встретиться с тобою. Но я думаю, то, что взаимоподобно, воссоединяется скоро.

Великая душа! ты справишься с этой разлукой. Так отпусти же меня в путь! поклонись матери! поклонись Нотаре и остальным друзьям!

Поклонись и деревьям, под которыми я впервые встретил тебя, и веселым ручьям, мимо которых проходили мы, и прекрасным садам Ангеле, и пусть, о любимая, там встретится тебе мой образ. Прощай.

* * * [Ср. с. 233—235]

Гиперион Беллармину

Корабль, на котором я должен был переправиться на Калаурию, случайно задержался до вечера, между тем как Алабанда еще утром пошел своим путем.

Я остался на берегу, молча смотрел на море, усталый от мучительного прощания. Так проходил час за часом. Скорбные дни медленно умирающей юности пересчитывал дух мой, и, блуждая, будто голубь прекрасный, носился он над грядущим. Мне захотелось подбодрить себя, я вынул давно забытую лютню,

чтобы спеть себе п е с н ю с у д ь б ы, которую некогда, в пору счастливой наивной юности, я перенял от Адамаса.

В свете горнем
Тропою легкой
Бродите вы, беспечальные гении,
Чуть касаются вас
Веянья светлые,
Словно пальцы арфистки
Священных струн.

Судьбы не ведая,
Словно дитя во сне,
Дышут небесные,
Чисто храним
В почке стыдливой,
Вечно цветет у них дух.
И тихо сияет
Ясностью вечной
Взор беспечальный у них.

Но нам не дано
Мига для отдыха.
Люди преходят
В горьких страданиях,
Падают слепо,
С часу на час,
Как на уступ с уступа
Год за годом
Воды стремниной.

Так пел я под звучание струн. Едва я кончил, как вбежала лодка, в которой я тотчас узнал моего слугу. Он привез мне письмо от Диотимы.

«Так ты еще на земле? — писала она.— Еще видишь денной свет? Я думала найти тебя в ином мире, не здесь, дорогой мой. Раньше, чем уже погодя хотелось тебе, получила я твое письмо, написанное перед битвой при Чесме. Так целую неделю прожила я в убеждении, что ты бросился в объятия смерти, пока не прибыл твой слуга с радостной вестью, что ты еще жив. Я и без того узнала несколько дней спустя после битвы, что корабль, на котором находился, по слухам, и ты, взлетел со всем экипажем на воздух.

Но, о сладостный голос! я все же вновь услыхала тебя, еще раз, словно майский воздух, тронула меня речь любимого, и твоя радость-надежда, светлый фантом нашего грядущего счастья, на мгновение обманула и меня.

Милый мечтатель, почему должна я пробудить тебя? Почему не могу сказать: приди и пусть в явь обратятся те прекрасные дни, которые ты мне обещал! Увы! слишком поздно, Гиперион, слишком поздно. Твоя любимая увяла за то время, что тебя нет. Какой-то внутренний огонь стал медленно меня пожирать, и вот [что] только осталось от твоей Диотимы. Не ужасайся! Все в природе подлежит очищению, и всюду цветок жизни все легче и легче высвобождается от более грубого вещества.

Любимый Гиперион, ты верно не думал услышать в этом году мою лебединую песнь».

* * * [Ср. с. 247—253]

Гиперион Беллармину

Так пришел я к немцам. Я требовал немного и ожидал найти еще меньше. Смиренным пришел я, как изгнанный слепой Эдип к вратам Афин, где приютила его священная роща и встретились ему прекрасные души.

Не то выпало мне на долю!

Варвары исстари, при посредстве трудолюбия, наук и даже религии ставшие еще большими варварами, чуждые какому бы то ни было божественному чувству, развращенные до мозга костей к счастью священных граций, любым движением своей необузданности и убогости оскорбляющие каждую благовоспитанную душу, тупые и негармонизированные, как черепки вышвырнутого сосуда,— вот чем, Беллармин, были мои утешители.

Пусть суровы мои слова, и все же я произношу их — ибо они правдивы. Я не могу представить себе другой народ, который был бы более разорван, чем немцы. То видишь ремесленников, но не людей, священников, но не людей, господ и рабов, мальчишек и степенных обывателей, но не людей: не похоже ли это на поле битвы, где вперемешку валяются руки, плечи и другие рассеченные на куски члены, между тем как пролитая жизненная кровь растекается по песку?

У каждого своя цель, скажешь ты.— То же скажу и я. Но только пусть каждый отдается ей всей душой, не удушает в себе порыва, чуть только порыв не под стать его званию,

пусть не стремится из жалкой трусости, буквально, лицемерно быть исключительно тем, чем он профессионально назвался. С суровостью, с любовью пусть будет он тем, что он есть,— так живет дух созидания. И если втиснут он в рамки профессии, где и вообще нет места духу, то пусть с презрением отбросит ее от себя прочь и учится пахать! Твои же немцы не идут дальше жизненно необходимого, потому-то так и много кропательства у них, так мало вольного, воистину радостного. Это было бы нестерпимо, не будь подобные люди бесчувственны ко всему прекрасному в жизни, не тяготей над таким народом повсеместно проклятие, как над отверженным богами чудовищем извращенности.

«Добродетели древних — только ряд блестящих заблуждений»,— высказал как-то, не помню чей, злой язык. А между тем даже самые заблуждения их — сплошь добродетели, ибо в них жив еще дух детства, прекрасный дух. И, что бы ни делали они, они делали с душой. А добродетели немцев — только блестящий недуг, и не только, ибо принудительно, из подлой трусости выжаты они рабским усилием, насильственно, из пустынного сердца и безутешной оставляют каждую чистую душу, которая охотно питается прекрасным, ах! она, избалованная священным благозвучием более утонченных натур, не выносит разноголосицы, такой кричащей, при всей мертвенной упорядоченности этих людей.

Говорю тебе: нет ничего святого, что у этого народа не было бы осквернено, приниже-

но до жалкого средства, и даже то, что у дикарей остается обычно в божественной неприкосновенности, даже это принижают до ремесла наши расчетливые варвары — и иначе поступить не могут. Ибо, где человеческое существо уже выдрессировано, там оно стремится к своей цели, там оно преследует только свою пользу, не мечтает, упаси бог! ведет себя степенно и в часы отдыха, в часы любви, в часы молитвы, даже в светлый весенний праздник, в дни искупления мира, отрешения от всех забот, когда невинность околдовывает преступное сердце, когда, опьяненный теплым солнечным лучом, раб, радуясь, забывает о своих цепях и, ублаженные божественно-живительным воздухом, как дети, беззлобны человеконенавистники, когда даже гусеница окрыляется и пчела роится, немец все же остается за своей профессиональной перегородкой и ему мало дела до погоды!

Но ты свершишь свой суд, священная природа! будь эти люди хотя бы скромней, не выставляй они себя законом для лучших среди них, не поноси они всего с ними несходного — нет, пусть уж поносят, но только бы не издевались они над тем, что божественно! —

Или не божественно то, что вы осмеиваете и называете бездушным? Разве воздух, который вы пьете, не лучше вашей болтовни? Лучи солнца — не благороднее ли они, чем вы, умники? Ключи земли и утренняя роса освежает вашу рощу — вы это в силах сделать? Ах! убить вы в силах, но не оживить, если это не свершит любовь, которая не от вас, ко-

торую не вы изобрели. Вы полны забот и мыслей, как бы перехитрить судьбу, и недоумеваете, когда ваше ребяческое искусство бессильно помочь. Между тем как по небу безмятежно плывет светило, вы бесчестите, вы рвете и мечете там, где терпит вас терпеливая природа: она же продолжает жить в нескончаемой юности. И не изгнать вам ее осени, ее весны, не отравить вам ее эфира.

О, божественна она,— ибо дано вам разрушать, а все же не стареет она, и невзирая на вас прекрасное остается прекрасным.—

Сердце разрывается, когда посмотришь на ваших поэтов, на ваших художников и на всех, кто еще не утратил уважения перед гением, кто любит и печется о прекрасном. О, благородные! Они живут на земле, как пришлецы в своем собственном доме, у них столько же прав, как у страдальца Улисса, когда он в образе нищего сидел у своих дверей, а бессовестные женихи шумели в зале, спрашивая: кто привел сюда этого бродягу?

Исполненные любви, воодушевления и надежды вырастают у немецкого народа юные питомцы муз, а взглянешь на них лет через семь — как тени бродят они, ленивые и равнодушные: они похожи на землю, которую враг усеял солью, чтобы даже травинка не выпрыснула из нее. А когда они заговорят,— горе тому, кто их поймет, кто в мятеже их титанической мощи, как и в их протеевом коззнодействе, увидит только борьбу отчаяния, которую их потрясенный прекрасный дух ведет с окружающими его варварами.

Все на земле несовершенно — такова старая песня немцев. О, если бы нашелся человек, который сказал бы этим нечестивцам: только потому все так несовершенно у них, что они не оставляют ничего чистого незапятнанным, ничего святого неоскверненным своими грубыми руками, что у них ничего не произрастает, ибо они не чтут корня всякого произрастания — божественной природы, что жизнь их в сущности пуста, отягчена заботами, преисполнена холодной, глухой распри, ибо они презирают гений, который привносит мощь и благородство в деятельность человека, веселье в страдание, любовь и братство в города и домы.

Потому и страшатся они смерти, и принимают на себя любое поношение, отстаивая свою устричную жизнь, ибо, кроме своей производственной обыденщины, которую сами же себе смастерили, ничего высшего не знают.

О, Беллармин: где народ любит прекрасное, где он чтит гения в своих художниках, там, будто воздух живительный, веет вселенский дух, там раскрывается боязливый ум, самомнение тает, там велики и благостны все сердца и героев рождает воодушевление. Родина человечества у такого народа, и охотно пребывает там чужестранец. Но там, где так оскорблены божественная природа и ее художники, ах! там не найти радости жизни и любая звезда лучше, чем земля. Все более унылыми, пустынными становятся там люди, а ведь они родились богато одаренными. Растет рабское сознание и с ним свирепость, растет хмельной

разгул вместе с заботами, голод и страх за завтрашний день вместе с роскошью. Проклятием становится благословение каждого года, и все боги обращаются в бегство.

И горе пришлецу, странствующему из любви, когда приходит он к такому народу: и трижды горе тому, кто, подобно мне, гонимый великой скорбью, нищий, как и я, приходит к такому народу! —

Довольно, ты знаешь меня и сумеешь понять. Беллармин! Я говорил и от твоего имени, я говорил за всех, кто живет в этой стране и страдает, как страдал в ней я.

* * * [Ср. с. 255—257]

Гиперион Беллармину

Однажды сидел я далеко в поле у колодца, в тени зеленоплющевых скал и нависающего, усыпанного цветами кустарника. Более прекрасного полдня я не помню. Веяли ласковые ветерки, и утренней свежестью сверкала окрестность, и молча в выси родного эфира улыбалось солнце. Люди разошлись, чтобы отдохнуть за домашней трапезой от работы. Наедине с весной осталась моя любовь, и непонятная тоска охватила душу.

— Диотима! — воскликнул я.— Где ты? О, где ты? И было мне так, будто слышу я голос Диотимы, голос, радовавший меня некогда в те светлые дни.—

— Я среди своих! — воскликнула она.— Среди твоих, тех, кого не узнает блуждающий дух человека!

Мной овладел легкий страх, и думы мои задремали.

«О, чудное слово из чистых уст! — воскликнул я, ибо я вновь очнулся.— Милая загадка! Постигну ли я тебя?»

И еще раз обернулся я к холодной ночи всего человеческого, содрогнулся и заплакал от радости, что я так счастлив, и, кажется, выговаривал слова: но они были подобны шуму огня, когда он высоко взметается, оставляя позади себя пепел.—

«О, ты,— подумал я,— о, ты, природа, с твоими богами, мой сон о человеческом. И я говорю: только ты живешь и все, что вынудили, выдумали бунтари, тает от твоего пламени».

Давно ли как отрешились они от тебя? Давно ли как их толпа поносит тебя, называя пошлыми,— и тебя, и твоих богов — живых, блаженно-безмолвных!

Как гнилые плоды, опадают люди с тебя. О, пусть погибнут они! Тогда возвратятся они снова к твоему корню, а мне, о древо жизни, дай мне снова зазеленеть вместе с тобою и одним дыханием охватить вершину твою и все твои почками брызжущие ветви! Так мирно, так глубоко, ибо все мы выросли из твоего золотого семени.

Вы, источники земли! Вы, цветы! И вы, леса, и вы, орлы, и ты, брат, мой свет: как стара и как нова наша любовь! Свободны мы, не уподоблены робко друг другу по облику. Как может не изменяться мелодия жизни?

Все мы любим эфир, и в своей глубинной глубинности мы подобны.

И мы, мы неразлучны, Диотима! Слезам о тебе этого не понять. Мы — звуки живые, созвучные в твоей гармонии, природа! Кто же разорвет, кто в силах разлучить любящих?

О, душа! душа! красота мира! ты неразрушимая! ты восхищающая! с твоей вечной юностью! ты есть! Что такое смерть и вся скорбь человека? — Ах, много пустых слов изобрели чудаки. Ведет же все свое начало от радости, и кончается все умиротворением.

Как распря влюбленных противоречие мира. Примирение в самой борьбе, и все разделенное воссоединяется вновь.

Приливает к сердцу и отливает от сердца кровь, и все, что есть, — единая, вечно пылающая жизнь.

Так думал я. До следующего раза.

НА РОДИНЕ

Вновь наконец я вернулся на милую родину,
к Рейну,—
Вновь, как и прежде, ко мне воздухом
веет родным!
Слух и мятежное сердце скитальца ласкают
деревья
Шумом радушным своим, шелестом
мирным листвы;
Свежестью дышит их зелень, свидетель
прекрасной, кипучей
Жизни земной, и меня юностью снова
дарит.
Счастлив ты, край мой родной! Не найдется
в тебе ни пригорка,
Где бы не рос виноград, где бы не зрели
плоды.
Горы с улыбкой свои омывают подножья в
потоках,
Их окружает венцом зелень дерев и кустов,
И — как младенцы, играя, сидят на плечах
великана —
Скромно стоят на горах хижины, замки
людей.
Из лесу тихо выходит на ниву олень
беззаботный,
Сокол в лазури парит, ищет добычи себе.
Взглянешь ли вниз, на долину, где резво
струится источник,—
Там деревушка стоит: тихо, приветливо
там;

Издали еле шумит неустанная мельница
только,
Крыльями тихо вертя, глухо скрипя
колесом;
Слышится голос веселый косца или пахаря в
поле;
В землю вонзая свой плуг, он погоняет
волов.
Ласково в воздухе ясном звучит колыбельная
песня;
Где-то в высокой траве сына баюкает мать,
Нежно его пригревая лучами горячими
солнца,
Вот наконец и пришел к тихому озеру я.
Высится вяз, мой знакомец, на старом дворе
зеленея,
И по забору кругом дико растет бузина.
Сразу меня охватило таинственным сумраком
сада,
Где так отрадно мои детские годы текли,
Где я когда-то, как белка, влезал на деревья
густые,
В сене душистом играл и засыпал под
копной.
Родина милая! Верной ты мне остаешься, как
прежде:
Вновь ты готова принять в лоно свое
беглеца,
Вновь мне радушно кивает из темной листвы
твоей персик,
И виноградная гроздь смотрит лукаво в
окно;
Солнце твое мне опять так приветливо,
ласково светит,

Хочет лучами согреть сердце остывшее мне,
И от усталых, измученных вежд отгоняет дремоту
Блеском веселым своим... Солнце родное мое!
Как наполняло ты некогда детскую грудь мою жизнью,
Так оживи и теперь новою силой меня:
Вновь пред тобой головою седеющей я преклоняюсь!
Видишь ли — здесь я опять! Солнце родное, я — твой!



ПРИЛОЖЕНИЯ



Н. Т. Беляева

СОТВОРЕНИЕ «ГИПЕРИОНА»

Фридрих Гёльдерлин — из тех поэтов, чья слава возрастает с течением времени. Да и не только слава — *значение* его для человечества растет по мере того, как в мире нарастает дефицит человечности, голод на нее.

Он родился в Лауфене, в Швабии 20 марта 1770 г.— в один год с Бетховеном и Гегелем,— и его юность пришлась на самые драматические события конца века — крушение абсолютизма во Франции, якобинская диктатура, Термидор, Директория, 18 брюмера... и долгие годы война, война, война. Картина мира менялась резко и бурно и требовала своего политического, философского и поэтического осмысления. Старый мир рушился, но только вовсе не так, как это виделось лучшим умам Просвещения. Классическая гармония мира, которую не должны были поколебать никакие страдания ни мятущегося человека, ни народных масс, распадалась, и формула творчества Гёте и всякой классики вообще — Dauer im Wechsel (*постоянство в перемене*) — стремительно теряла свою значимость, уступая место гёльдерлиновскому Das Werden im Vergehen (*становление в гибели, становление через гибель*). В наброске статьи 1799 г., так и озаглавленной впоследствии издателями, Гёльдерлин говорит о новом сообществе, но-

вом единстве, которое должно возникнуть на месте гибнущего старого.

При жизни он немногими был оценен по достоинству: вначале он казался наивным, позднее — темным, непонятным. Среди «немногих» были Клеменс Брентано, Беттина фон Арним. Три года спустя после его смерти, летом 1846 г., в Тюбингенском университете была прочитана лекция «Немецкая лирика начиная с Гёте и Шиллера». Ее автор, молодой приват-доцент Вильгельм Зигмунд Тойффель, весьма высоко поставил Гёльдерлина. (Впрочем, опубликована эта лекция была лишь в 1952 г.) «Как приложение к романтикам следует рассматривать Фр. Гёльдерлина: не среди самих романтиков — потому что он столь существенно от них отличен, и все-таки при романтиках — потому что он столь существенно им подобен. Гёльдерлин вообще стоит особняком во всей истории немецкой литературы: правда, у него общий с Шиллером тон, высокий полет духа, быть может частично от него и унаследованный 〈...〉, а в характере миросозерцания есть многие точки соприкосновения с ранними романтиками...» В 1870 г. Рудольф Гайм в книге «Романтическая школа» назвал Гёльдерлина «боковым побегом романтизма»; в наши дни (а дебаты о том, по какому «ведомству» числить поэта, не утихают до сих пор) к нему иногда относят термин «маньеризм», исходя из расширительного толкования последнего. Говорить о «боковом побеге» более чем странно: ведь Гёльдерлином он *стал* еще до ствола, когда «древа» ро-

мантизма еще не было. На разломе эпох вырабатывались самые общие черты нового миросозерцания — и именно у тех, кому было двадцать лет, кто первым шагнул на новый берег расколовшегося времени. То, что позднее стало родовыми признаками художественного направления, поначалу было естественно (точнее, общественно) детерминировано — и фрагментарность, и момент иррационального, и устремленность в другие времена и страны. Все пришло в движение в мире — и в творчестве главным стало не «создание, творение», а «творческое, творящее» (в этой связи нельзя не упомянуть работу Йенса Хофмана — см.: Hölderlin-Jahrbuch. 1958—1960. [Bd. 11]. S. 189). Иными словами, в Гёльдерлине мы имеем дело с человеком новой формации, осмысляющим проблемы в принципе теми же способами, что и люди нашего времени. Но есть и одна особенность. Ее заметил уже В. З. Тойффель. Закончим его цитату: «...есть многие точки соприкосновения с ранними романтиками; несмотря на все это, он ни в коем случае не может быть поставлен в один ряд ни с кем из них, более того, в нем есть нечто совершенно новое, чего никогда до этого не было и что, может быть, вообще более невозможно».

Пока что этот старый прогноз полностью оправдывается.

Эту статью не следует рассматривать как характеризующую творчество Гёльдерлина в целом. Такая тема огромна, а в нашей стране

слишком мало еще сделано — во всяком случае, опубликовано — в этой области. Здесь рассказывается именно о «Гиперионе». Поэтому основные наши временные рамки — это 1792—1799 гг. «Письма Диотимы» продлевают этот срок до весны 1800 г., а ее смерть в июне 1802-го знаменует уже «начало конца» поэта, который последние сорок лет жизни проведет в состоянии почти полной отрешенности от мира.

Некоторые выводы общего характера автор статьи все же позволил себе сделать — но они сделаны только на основании анализа материала и не претендуют на всеобщность.

...Но я боюсь, что одни будут читать ее как компендий, интересуясь лишь тем, что fabula docet, другие же отнесутся к ней слишком легко, и обе партии ничего в ней не поймут.

Кто только нюхает мой цветок, тот не знает его, и кто сорвет его, чтобы чему-то научиться, тоже его не познает.

Из Предисловия к первому тому «Гипериона»

Чего же хотел, чего ждал от нас создатель этого растения под знаменательным названием «Гиперион» — Сын Вышнего? Может быть, того, что мы будем ухаживать за ним, поливать и лелеять, что мы вложим в него частицу своего существа?

«Я начал читать «Гипериона» — брат мой, брат! А *Синклер* воспринял книгу как персонифицированную систему морали. Боже ты мой! Что же тогда увидят в ней другие?!» (Зигфрид Шмид, 1797).

«Это нечто среднее между философско-политическим трактатом и „воспитательным романом“» (А. Дейч, 1969).

«„Гиперион“ — национальный эпос в прозе» (Юрген Линк, 1969).

«„Гиперион“ — отроческая мечта о потустороннем мире; о невидимом приюте богов на земле, это мечтательно лелеемое сновидение, от которого он так до конца и не пробудился к действительной жизни...» (Стефан Цвейг, 1925).

«Его „Гиперион“ был окончен; творение, о котором мы ничего не говорим, потому что каждый может его прочесть. Единственное, что мы позволим себе сказать, что в нем с силой звучит глухое, страшное страдание, и весь его поэтический мир накрыт давящим, тяжелым ночным небом... Каждый цветок в нем клонит свою головку» (Вильгельм Вайблингер, 1830).

«Ах, старина, недавно, то есть недели три назад, когда я сидел на моей любимой скале, напала на меня тревожно-сладостная весенняя лихорадка; помнишь ли ты, как мы с тобой однажды в Тюбингене, при въезде в аллею, читали „Гипериона“, а вокруг цвели баранчики и летали майские жуки? И я вдруг затосковал по этой давно не читанной книге и скорее ее себе заказал. О, какой дурманящей

влагой и ароматом цветов прошедшего пахнуло мне навстречу. Я хотел тотчас же взяться за письмо к тебе — и не смог: потому что эти вдохновенные мгновенья одновременно обнажают косное, примиренческое бессилие нашего существа» (Эдуард Мерике, 1832).

«Написал он мало. Ему принадлежит один фантастический роман „Гиперион"...» (А. Луначарский, 1923—1924).

«...Мне вдруг припомнилось, что ты своего милого „Гипериона" тоже называешь романом, мне же всегда казалось, что это прекрасные стихи» (Сюзетта Гонтар, 1799).

«Роман "Гиперион"— трагедийная идиллия: книга о восстании и крушении идеалов» (Я. Э. Голосовкер, 1961).

Как совместить все эти разноречивые характеристики? Кто здесь ошибся, кто прав? Но ошибки нет, и все тут правы. Просто каждый занят здесь своим, пестует *свой* цветок. Ибо роман Гёльдерлина — открытая структура, *непременно* требующая сотворчества читателя, соучастия, какое бывает еще только при исполнении музыки. Все слушают одну и ту же симфонию, но в каждом она отзывается иным. Кому нечего добавить из себя — не слышит ничего. Обладая такой мерой всеобщности, «Гиперион» все равно уникален, ибо, взятый *как целое, во всей полноте*, он неповторим. Каждый читатель включается в него лишь какой-то частью, оставаясь в прочем самим собой — в своем характере, мировоззрении, обстоятельствах жизни, и часто склонен абсолютизировать то, что подтверждается его

личным опытом и не замечать остального. Но вряд ли найдется человек, в котором ничто не отзовется на голос поэта. Потому что «мы все пробегаем по эксцентрическому пути, и нет другой дороги от детства к совершенству», или, как сказано во «Фрагменте», «эксцентрический путь, который человек вообще и в частности проходит от одной точки (более или менее чистой простоты) до другой (более или менее совершенной образованности), по-видимому, *если принимать во внимание существенные направления,* — всегда один и тот же».

«Я люблю человеческий род будущих столетий,— писал Гёльдерлин брату в сентябре 1793 г.— Ибо это моя священнейшая надежда, моя вера, дающая мне крепость и силу действовать,— что наши внуки будут лучше, чем мы, что когда-нибудь да придет Свобода и добродетель будет легче расцветать под согревающим священным светом свободы, нежели под ледовым панцирем деспотизма. Мы живем в такое время, где все работает на будущее».

С тех пор как были написаны эти слова, прошло почти двести лет. В расчете на будущее Гёльдерлин создал произведение, в котором скрытно содержится многое, что проступает, проявляется лишь при соразмышлении, в котором будет все: от исторических и культурных ассоциаций давно минувшего времени до личного опыта читателя, о котором автор вроде бы и знать не мог.

* * *

Можно было бы сказать, что Гёльдерлин работал над своим маленьким романом более семи лет, но это было бы не совсем верно. Да, он действительно работал, с необыкновенным усердием и скрупулезностью, прилежно изучая доступные ему источники, он работал очень точно, но эта точность сродни той, которую недавно один астроном обнаружил в картине звездного неба у Ван Гога. Только ландшафт был изображен в направлении на юго-запад, а небо — на север.

Слово «работа» — не очень подходящее слово для Гёльдерлина. Творчество было для него самой жизнью, не источником, а способом существования. «Я испытываю отвращение ко всему, что мог бы делать, и единственная радость, которую я себе дарю, это радость первых мгновений, когда несколько строчек изливаются из моей горячей груди»,— писал он 10 июля 1797 г. Людвигу Нойферу (когда первый том «Гипериона» уже вышел в свет). Поэтому точнее будет сказать, что Гёльдерлин отдал своему маленькому роману более семи лет жизни, прожил с ним бок-о-бок семь лет, как с живым существом, пройдя все стадии поистине человеческих взаимоотношений: пылкой любви, предсказания великого будущего, охлаждения, признания своего детища «незначительным», отчаяния, новых надежд. И не следует воспринимать этот образ как простое украшение стиля: для нашего подхода к «Гипериону» это принципиально важное по-

ложение. Роман «Гиперион» — не сооружение, не здание, воздвигаемое конструктивно, не полезная вещь, создаваемая на благо человека. Гёльдерлин творил его почти так, как господь-бог творил своего адама (из персти земной, по своему образу и подобию, вдохнув в него дыхание жизни: дух), с той лишь разницей, что он не только пытался вдохнуть в него «дыхание жизни», но и сам жил и дышал им (ср. письмо № 60 на с. 309); он выращивал его как драгоценное растение, то боясь дохнуть на него, то оставляя в небрежении,— но каждый раз оно поднималось, оживало, давало новые ростки. Die ewige Ebb und Flut, спад и подъем, отлив и прилив, о которых он говорит в письме к Нойферу (№ 118, март 1796 г.), ознаменовали и этот роман, как ознаменовали всю его тревожную, прожитую лишь до половины жизнь.

Он начал роман весной 1792 г. Отсчет принято вести с пасхальных каникул, когда он, стипендиат Тюбингенского института (Tübinger Stift — теологическое ответвление Тюбингенского университета), где он учился с октября 1788 г. и в сентябре 1790 уже сдал магистерский экзамен (написав две работы: «Параллели между "Притчами Соломона" и „Трудами и днями" Гесиода» и «История изящных искусств у греков»), после недолгого пребывания дома, в Нюртингене, приехал (а скорее, пришел) в Штутгарт. Сердечная дружба связывает его с Людвигом Нойфером, осенью окончившим курс обучения, и с домом Штойдлинов, куда он был введен дру-

гом, особенно же с Готхольдом Фридрихом Штойдлином, поэтом шиллеровского поколения, издателем литературных альманахов (именно здесь в сентябре 1791 г. появились первые стихи Гёльдерлина), бескомпромиссным приверженцем Французской революции, и его юными сестрами.

Перечитайте письмо № 50, написанное тотчас по возвращении в Тюбинген, и вам станет внятна атмосфера праздника, в которой пролетели эти каникулы, энтузиастические речи, прекрасная музыка Джузеппе Каффро, прекрасные и благородные девушки... Здесь же мы найдем и два исходных пункта романа, две точки, которые сохранятся в нем до конца. «Милый грек» — Панагиот Верго, знакомством с которым Гёльдерлин обязан матери Нойфера: она гречанка; и «Прелестный Образ» — Августа Бройер, невеста Георга Кернера (брата поэта Юстинуса Кернера). Ее жених уже во Франции; она сама собирается вслед за ним.

Перечитайте «Фрагмент „Гипериона“» — то место, где говорится о весне в Смирне, о беседах в саду Горгонды Нотары, о «явлении» Мелите,— и вы увидите трансформированное отражение штутгартской весны 1792 г., потрясенность первым сильным чувством и надежды на лучшее будущее в самом широком смысле слова.

Гёльдерлин возвращается в Тюбинген в твердом намерении отказаться от богословской карьеры, посвятить себя литературе.

Уже в мае Гёльдерлин сообщает Рудольфу Магенау (третьему члену их тройственного литературного союза, как и Нойфер, покинувшему Тюбинген осенью 1791 г.), что пишет роман. Это письмо не дошло до нас, сохранился только ответ Магенау (от 3 июня): «...Ты хочешь стать сочинителем романов. Да проведет тебя Талия между безднами, грозящими на этом пути неопытному пилигриму». Поразительно, с какой самоуверенностью Магенау дает далее советы Гёльдерлину, как следует писать. Видимо, и те, кого поэт ставит поначалу столь высоко, тоже заблуждались на свой счет. Но в Тюбингенском институте у Гёльдерлина остались другие друзья: Гегель, Шеллинг; с ними он разделял стол и кров, изучение Канта и греков, и защиту диссертации, и восторженное отношение к революции во Франции.

Летом 1792 г. Гёльдерлин вновь приезжает в Штутгарт, а в октябре (в осенние каникулы) уже читает Магенау отрывок из романа, специально завернув для этого в Вайинген-на-Энце, куда того назначили викарием. После этого чтения Магенау сообщал в письме к Нойферу: «Хольц [прозвище Гёльдерлина] сочиняет сейчас второго *Донамара* — *Гипериона*, который, как мне сдается, много обещает. Это свободолюбивый герой и настоящий грек, человек сильных убеждений, и это доставляет слуху моему величайшее удовольствие». Второй Донамар. Свободолюбивый герой. Настоящий грек. Такие слова наводят на мысль, что Гёльдерлин задумал роман из современной жизни,

роман об освободительной борьбе греков против турецких завоевателей. Такое предположение вероятно, если учесть его греческие знакомства и революционные настроения. События в Греции — не редкая тема в прессе тех лет. Возьмем хотя бы «Журналь де Пари», сообщение от 14 июня. Речь идет о драматичнейшем эпизоде, связанном с именем Ламбро Каццони. Пока шла русско-турецкая война, этот грек числился на службе в русской армии и по поручению русских снарядил флотилию для борьбы с турками на море. В декабре 1791 г. был заключен Ясский мир, и майор российского флота со всей своей «армией» вдруг оказался на положении корсара, пирата. Отчаянное сопротивление превосходящей силе Порты не могло завершиться победой, тем более что революционная Франция в делах торговли держалась своих интересов и предоставила свои корабли туркам для потопления греков. В сентябре 1792 г. все было кончено. Этот эпизод вполне мог быть известен Гёльдерлину, потому что для издания «Хроники» использовалось огромное количество разной прессы, в том числе французской.

А «второй Донамар»? Вторая часть этого романа как раз вышла в Гёттингене в 1792 г. (первая — в 1791, третья и последняя — в 1793): «Граф Донамар. Письма, писанные во времена Семилетней войны в Германии». Автор, обозначенный буквами C. R. T. D. B. U. E. W. K., (расшифровывался как Friedrich Bouterwek. Фридрих Боутервек (в России его долго принято было называть Бутервеком),

философ и писатель, был весьма популярен в ту пору. При всем старании исследователям не удалось выявить много общего между «Графом Донамаром» и двухтомным романом Гёльдерлина, вышедшим в 1797—1799 гг. Форма писем? Но в «Донамаре» переписку ведут разные персонажи, в то время как в «Гиперионе» мы имеем дело с «односторонним движением»: Гиперион — Беллармину (форма эта идет от «Вертера» Гёте, вторая редакция которого вышла в 1789 г.). Есть, правда, вот такая точка соприкосновения. В предисловии к второй части, озаглавленном «Фрагмент письма к издателю вместо необходимого предисловия к читателю», Боутервек пишет среди прочего: «...Вы ссылаетесь, далее, на отрывочность и бессвязность в обрисовке характеров и ситуаций в первой части... Но, милый друг, разве Вы сами не согласились со мной, что все концы соединятся в третьей и последней части?»

Вот эта возможность начать роман, не имея еще его четкого плана, вполне могла увлечь Гёльдерлина.

Но откуда взялся Гиперион? Ведь Гёльдерлину должно было быть известно, что ни один грек, ни новый, ни древний, не мог носить этого имени. Он мог зваться Александром, Евгением, Никифором, Константином — как звались известные в Греции XVIII в. люди, Панагиотом (Панайотисом), как звался знакомый Гёльдерлину Верго. Гиперион — Сын Неба, Сын Вышнего, или, как поясняет Гесихий: ὑπερίον· ὅ ἥλιος ἀπὸ τοῦ ὑπὲρ ἡμας ἰέναι.

«Гиперион — Солнце, ибо оно ходит над нами в вышине».

В 12-й строфе его второго «Гимна Свободе», опубликованного в штойдлиновском альманахе в сентябре 1792 г., впервые появляется это имя.

Вот главу, бледнея, клонят звёзды,
И лучист Гипе́риона бег...[1]

В духе античной традиции Гёльдерлин называет Гиперионом Гелиоса, *сына* титана Гипериона, которого правильней было бы назвать Гиперионидом,— но уже и Гомер не делал этого различия (ср.: Одиссея, 1,24 и 12, 176). Не в духе этой традиции он произносит имя с ударением на -е-: Гипе́рион[2].

Это имя, которое выглядит как прозвище, уже заключает в себе программу и как будто бы указывает на то, что читателя ожидал некий условный «греческий роман». Однако вряд ли Гёльдерлин собирался писать роман в духе Виландова «Агатона» (1766) или многотомное сочинение вроде «Путешествия юно-

[1] Здесь и далее, где переводчик не указан, перевод мой.— *Н. Б.*

[2] Такое ударение, привычное и для Шиллера (ср.: Eh' noch Hyperion in Tethis Bette steigt, / Versprach er zu erscheinen...), говорит, по-видимому, о том, что слово воспринималось — в свете неверной, но обычной для XVIII в. этимологии — как причастие от (ὑπερ) ἰέναι (ср. выше пояснение Гесихия). Вольфганг Биндер, приводящий эти сведения в своей работе «Символика наименований у Гёльдерлина», считает, что из сочетания ὑπερ ἰών естественно получалось слово с ударением на -е-.

го Анахарсиса в Грецию» аббата Бартелеми (1789). Он просто жаждал высказаться.

Задумать такой роман — большая дерзость. Но то было время дерзаний. Идет 1792 год, 3-й год революции во Франции. 20 апреля Франция объявляет войну Австрии, в которую тотчас же вступает Пруссия. Позиция Гёльдерлина не вызывает никаких сомнений. В письме к сестре (июнь 1792 г.) есть такая фраза: «Поверь мне, милая сестра, дурные настанут для нас времена, если возьмут верх австрияки. Злоупотребления княжеской властью будут ужасны. Ты уж мне поверь! И молись за французов, защитников прав человека» (см. № 51). Это позиция не только Гёльдерлина, но и других студентов Тюбингенского университета, где связи с Францией во многом поддерживались в живом общении. Иные сведения студенты получали «из первых рук», что позволяло хорошо корректировать официальные сообщения. Летом в Тюбингене создается политический клуб, объединивший ряд революционно-патриотических студенческих кружков

Симпатии Гёльдерлина к Французской революции не поколебались и осенью 1792 г., когда после сентябрьских убийств и упразднения королевской власти многие в Европе отшатнулись от Франции. Во второй половине ноября он пишет матери: «Да, верно, есть вероятность того, что и у нас произойдут изменения. Но, благодарение богу, мы не принадлежим к тем, у кого могли бы быть отняты принадлежащие им права, кого могли

бы наказать за насильственные действия и угнетение...». К моменту написания этих строк у Гёльдерлина уже готовы первые куски «Гипериона».

Нет, видно не Ламбро Каццони стоял перед глазами Гёльдерлина, когда он размышлял о своем романе, а тот «внутренний человек», которого поэт ощущал в себе и который требовал дать ему слово. Гиперион — Солнце. Стоит вспомнить свидетельство соученика Гёльдерлина: «Когда он так ходил взад и вперед вдоль столов, нам казалось, что по залу идет Аполлон». А ведь чтобы так ходить, надо и чувствовать себя Аполлоном. Мы можем припомнить и знаменитое двустишие Ангелуса Силезиуса «Будь солнцем сам»:

Будь солнцем, о душа! И пусть лучей лавины
Окрасят божества бесцветные глубины.

(*Перевод И. Белавина*)

Однако недаром старый Шубарт, рецензируя в своей «Хронике» «Альманах Муз на 1792 год», написал, что «Муза Гёльдерлина — серьезная муза...» (29 сентября 1791 г., за 20 дней до смерти). Гёльдерлин серьезно берется за дело. Его главным чтением по-прежнему остаются Кант и греки, но также и Руссо, и романы Фр. Г. Якоби «Вольдемар», «Бумаги Эдуарда Альвиля» (и его письма «Об учении Спинозы»), и роман Т. Г. фон Гиппеля «Жизнеописания по восходящей линии». Он понимает, что никогда не сможет придумать и написать что-либо подобное этим произведениям, даже если бы и захотел. Это

свойство его дарования, которое он сам уже в себе заметил: *он ничего не умеет придумывать. Он умеет видеть* то, о чем узнаёт, и это входит в него как частица его собственной биографии. Вот почему ему удалось создать образ никогда не виденной им страны с такой силой узнаваемости, что до сих пор изумляются и его исследователи, побывавшие в Греции, и сами греки, подписывающие его стихи под фотографиями островов Архипелага. Вот почему он в предисловии к предпоследней редакции «Гипериона», дошедшем до нас в рукописи, мог написать, что «с самой ранней юности живет, предпочитая эти места всем другим, на берегах Ионии и Аттики», но тут же добавляет, что его мечта — «когда-нибудь на самом деле побывать там». Правда, иногда воображение играет с ним шутки: но оно действует совершенно одинаково как в отношении воспринимаемой чувствами реальности, так и в отношении литературы. «Редкая птица долетит до середины Днепра!» Как не вспомнить русскому Гоголя, читая описание Рейна в письме (№ 23), оформленном под дневниковые записи? Все немецкие исследователи дружно уверяют, что Рейн у Шпейера вовсе не так широк, как пишет Гёльдерлин. А в июле 1793 г. в письме к Нойферу он «возвращается из платановых рощ на Илисе», размножая их из одного-единственного платана, правда высокого и развесистого, под которым беседовали два босоногих афинских философа (см. у Платона диалог «Федр»). Возможно, тогда Гёльдерлин еще не читал «Пу-

тешествия в Грецию» Ричарда Чандлера, описания которого легли в основу топографии будущего «Гипериона». Между тем уже в мае 1793 г. Гёльдерлин читал отрывки из романа приезжавшему в Тюбинген Штойдлину, а в июле послал ему вместе со стихотворением «Фрагмент фрагмента», который до нас не дошел. Это и неудивительно, потому что 1793 год означал для Штойдлина запрет на «Хронику» и последующее изгнание из Вюртемберга; его идея издания своего журнала тоже не получила поддержки, и через три года пророческими оказались слова Гёльдерлина из посвященной ему в 1793 г. оды «Греция»:

Час придет! спасешься из неволи,
Прах отринешь в горестной борьбе!
Дух нетленный! в сей земной юдоли
Нет стихии, родственной тебе!

(Перевод Д. Сильвестрова)

Осенью 1796 г. Штойдлин утопился в Рейне у Келя (город на правом берегу, против Страсбурга).

Про тот не дошедший до нас «Фрагмент фрагмента» сам автор сообщал в письме к Нойферу, что это «более смесь случайных настроений, нежели продуманное развитие верно схваченного характера...» и т. д. (см. № 60); Штойдлин в письме от 4 сентября похвалил язык и просил скорее присылать начало романа. И добавил: «И не преминьте вставить в сие произведение скрытые намеки на дух времени!!!».

О каком же времени идет речь в романе? Если герой вместе с автором возвращается «из платановых рощ», то, быть может, «свободолюбивый грек» переместился в античность? Или же они вместе изучают курс античной философии? Между прочим (даже если сам Гёльдерлин этого не знал), именно таков был путь греков к освобождению от турецкого ига: уже с начала XVIII в. по всей стране стали возникать эллинистические школы (новые или на основе старых христианских институтов) — в Фессалии, в Адрианополе, в Эпире, в Янине, на острове Патмосе, и турецкие власти не чинили к тому препятствий, по-видимому не осознавая потенциальной их опасности. Но более всего характеристика «Гипериона» в письме № 60 напоминает описание состояния души самого автора.

Надеясь на совместное с Штойдлином издание журнала, Гёльдерлин усердно пишет — к июлю готово 9 листов (что из них было «Гиперионом» — неизвестно). Но план рухнул. Штойдлин успел еще раз помочь Гёльдерлину: обратился к Шиллеру с просьбой о месте гувернера для своего питомца. Шиллер откликнулся и после краткой аудиенции (он жил тогда в Людвигсбурге) порекомендовал Гёльдерлина гувернером в дом своей давнишней приятельницы Шарлотты фон Кальб. 6 декабря Гёльдерлин сдал в Штутгарте консисториальный экзамен и 28 декабря прибыл в Вальтерсхаузен под Мейнингеном. В тяжелые месяцы перед отъездом он,

кажется, пришел к выводу о невозможности продолжать роман. Он снова начинает сочинять гимны. Про «подругу героев», «Железную Необходимость», из которого возникло стихотворение «Судьба» с эпиграфом из «Прикованного Прометея» Эсхила (знаменательная замена солнечного титана титаном прикованным). «У него есть некоторые планы, но все они выполнимые, и это меня радует,— писал Магенау Нойферу в ноябре,— Гимн Судьбе — ближайшая работа, где его занимает борьба человеческой природы с необходимостью».

Но оснований для радости было мало. Отказавшись от поприща лютеранского священника, Гёльдерлин обрек себя на разлуку с родиной — Швабией, с родными и близкими. Вот где истоки его темы странничества: они не только общебиблейские, как у каждого европейца его эпохи. Он и сам homo viator.

Тихий Вальтерсхаузен поначалу благотворно подействовал на поэта; он снова погружается в Канта и Платона, читает Шиллера и Гердера и вновь берется за роман. «Меня занимает сейчас почти что исключительно мой роман. Я полагаю, что в нем теперь имеется большее единство плана, а все в целом глубже проникает в человека»,— писал он Нойферу в начале апреля 1794 г. И немного позднее, ему же: «Мое стихотворение Судьбе выйдет, наверное, этим летом в «Талии». Но я к нему теперь вовсе охладел. Вообще я сейчас думаю только о своем романе. Я твердо решил оставить искусство, если и здесь я в конце концов

окажусь посмешищем в собственных глазах. Впрочем, я теперь постепенно выбираюсь из области абстракций, в которой я потерялся душой и телом. И читаю я теперь только будучи не в духе. Последнее, что я прочитал,— статья Шиллера «О грации и достоинстве». Не припомню, чтобы мне доводилось читать что-либо, где лучшее из царства мысли и области чувств и фантазии сливалось бы в *единое целое*».

Шарлотта фон Кальб принимает в Гёльдерлине самое теплое участие. В августе (или сентябре) она пишет Шиллеру, а затем его жене, прося о благожелательном рецензировании присланной Гёльдерлином рукописи. В ноябре 1794 г. «Фрагмент „Гипериона“» вышел в Лейпциге в 5-м номере 4-й части журнала Шиллера «Новая Талия» за 1793 г. Там же было опубликовано стихотворение «Судьба».

Публикуя «Фрагмент», Гёльдерлин вряд ли мог считать его началом романа. И как мало здесь осталось от его первоначальных идей! Куда девался «свободолюбивый герой и настоящий грек»? В каком времени блуждает герой по Греции? В какое время жил он в Смирне? «Много лет прошло с тех пор...» Значит, между двумя пластами повествования лежат долгие годы. Но точка отсчета не указана. Это может быть любое время, начиная со второй половины XVI в. и кончая... будущим, если считать более глубокий план уровнем 90-х годов XVIII в. Автор намеренно вносит смятение в умы читателей, упоминая основателя ордена иезуитов Игнатия Лой-

олу (1491—1556) и обращаясь к другу по имени Беллармин: как известно, Роберт Беллармин (1542—1621) был младшим современником Лойолы, и некоторые исследователи (например, Ф. Цинкернагель) полагали, что он мог быть автором эпитафии, цитируемой в «Фрагменте» и вынесенной в эпиграф первого тома (ср., однако, примеч. 1 на с. 599).

В описании места действия четко проступает первый источник «Фрагмента» — «Путешествие в Малую Азию» Ричарда Чандлера, вышедшее по-английски в 1775 г., в переводе на немецкий — в 1776: «Reisen in Kleinasien». «Путешествие в Грецию» вышло через год — в 1776 г., перевод — в 1777. Гёльдерлину вторая книга тоже была уже известна: имя Горгонды Нотары взято из нее (ср. примеч. 2 на с. 617). Ричард Чандлер путешествовал в 60-е годы XVIII в. на средства «Общества дилетантов», которое внесло значительный вклад в изучение многих стран. Его описания в высшей степени добросовестны, хотя и суховаты.

О чем же рассказано нам в этом «Фрагменте»? У друга Гёльдерлина Нойфера не было на этот счет никаких сомнений: «Милый Гёльдерлин! Ты будто сам стоял здесь передо мной. Я узнал тебя в твоем творении — ты весь в нем, это твои чувства и твои максимы». Значит, герой — юноша «из рода Гиперионидов», но в возрасте «гадкого утенка», в пору своей первой любви, когда ее объект потрясает тебя своим совершенством и своей самодостаточностью, главным признаком божественности своей природы. Нам рассказана

история любви и разлуки, краха любви и краха первой философской системы, привитой герою в детстве. Потеряв любовь, он пускается на поиски истины, но обретает лишь друга, которого зовут Беллармин. Промелькнувший в юности тиниот Адамас исчезает безвозвратно, как и Мелите, и Горгонда Нотара. Мир стал еще непонятней, чем был вначале, и единственный выход, который видит герой,— это пантеизм.

«...Я гляжу то в небесный эфир, то вниз, в священное море, и мне чудится: отворяются ворота в Невидимое и я исчезаю со всем, что есть вокруг меня; но тут вдруг шорох в кустах пробуждает меня от блаженной смерти и против моей воли вновь призывает меня на то место, которое я покинул».

Что могло следовать за этими «пятью первыми письмами»? Совершенно ясно, что ничего: биография героя (он же автор) на этом кончалась. Ему надо было жить дальше свою жизнь и подыскивать к ней параллели. Но нельзя не заметить, что лето 1794 г. — это низшая точка Французской революции: переворот 9 термидора (27 июля), и, что будет дальше, никто предсказать тогда не мог.

Между тем внешняя жизнь шла своим чередом. Поначалу безоблачные, отношения с юным учеником стали напряженными. Не помогли ни поездка в Йену, ни переезд в Веймар. В середине января 1795 г. Гёльдерлин получает свободу, поселяется в Йене, где надеется продолжить образование, зарабатывая себе на жизнь литературным трудом. Шиллер

ему симпатизирует, предлагает сотрудничество в своем новом журнале «Оры» и в «Альманахах Муз», он знакомится с Вильгельмом Гумбольдтом, Фихте, Новалисом, наконец с Гёте, сближается с известным ему уже с Тюбингена Исааком Синклером — юристом и дипломатом, который позднее станет почти что единственным его другом. Он читает Фихте, слушает его лекции, он весь захвачен новыми идеями — его поиски истины переходят на новую ступень. Между тем Шиллер договаривается с издателем Коттой о публикации романа Гёльдерлина. Но есть ли роман?

Дошедшие до нас материалы и письма йенского периода говорят о том, что смятение поэта нарастает. Он ищет прибежища в философии, которая должна дать точку опоры в этом зыбком, колеблющемся, быстро меняющемся мире. В письме к Гегелю (который жил тогда в Швейцарии) 26 января 1795 г. (№ 94) Гёльдерлин пытается изложить некоторые свои мысли по поводу философии Фихте (к сожалению, в письме есть пробел): «...его абсолютное *Я* (=субстанция Спинозы) содержит всю реальность; оно — все, и, кроме него, нет ничего; следовательно, для этого абсолютного *Я* нет никакого объекта, ибо иначе в нем была бы не вся реальность, но сознание без объекта немыслимо, и даже если этот объект — я сам, то я как таковой необходимо являюсь ограниченным, даже если это происходит во времени, то есть не абсолютным; следовательно, в абсолютном *Я* созна-

ние немыслимо, в качестве абсолютного *Я* я не имею сознания, поскольку я (для себя) ничто, и следовательно, абсолютное *Я* (для себя)[3] ничто.

Такие мысли записал я еще в Вальтерсхаузене, читая первые выпуски, непосредственно после чтения Спинозы; Фихте заверяет меня...». И дальше, после пропуска: «Его трактовка взаимодействия Я и Не-Я[4] (так он выражается) в самом деле примечательна, также его идея стремления[5] и т. п. Я должен прерваться, и прошу тебя, считай, что все это не было написано...» (очень характерно это «считай, что...», свидетельство сомнений).

Понятно, что такие мысли могли занимать ум двадцатипятилетнего человека, склонного видеть мир обобщенно, но как сделать из этого роман? Все дальше удаляется от него реальное переживание встречи с Прелестным

---

[3] В оригинале — описка, исправляемая Большим Штутгартским изданием (см.: StA. Bd. 6/2. S. 724): für mich — для меня. Нелогичность эта была сохранена в русском переводе. См.: *Гёльдерлин*. Сочинения. М., 1969. С. 476.

[4] Ср. его «Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre» (Jena; Leipzig, 1794. 2. Th., § 4).

[5] Ibid. 3. Th., § 5: «Результатом наших разысканий является следующее: чистая, обращенная на самое себя деятельность Я есть *в отношении к возможному объекту стремление;* а именно, согласно вышеприведенному доказательству, *бесконечное стремление*. Это бесконечное стремление есть обращенная в бесконечность *обусловленность возможности объекта* (alles Objects): нет стремления — нет объекта» (цит. по: J. G. Fichte's sämmtliche Werke. 1., Abt., Bd. 1. S. 261—262).

Образом, уже напечатанный «Фрагмент» он пренебрежительно (в письме к матери) называет mein bißchen Schreiberei — примерно: «то, что я накропал» (хотя и добавляет, что оно принесло ему «не один приветливый поклон и не одно вежливое приглашение»), а весь роман — Werkchen, «произведеньице» — в другом письме, уже в марте 1795 г. (№ 96).

Он чувствует себя чужим в этом «профессорском мире», где питаются «амброзией и нектаром», и, как бы ни хвалил он «человечность в сочетании с величием» великого Гёте, более значимым остается факт, что он *не узнал* Гёте, встретив его у Шиллера, хотя и был ему представлен. Для профессоров же Гёльдерлин — своего рода бедный родственник, одаренный, но нуждающийся в покровительстве. «Хотел бы я знать,— писал 17 августа 1797 г. Шиллер Гёте,— абсолютно ли и при всех ли обстоятельствах эти Шмидты, эти Рихтеры (имеются в виду швабский поэт Зигфрид Шмид и Жан Поль Рихтер.— *Н. Б.*), эти Гёльдерлины остались бы такими субъективными, такими перенапряженными, такими односторонними, связано ли это с чем-то первичным, или же только отсутствие эстетической пищи и влияния извне и оппозиция эмпирическому миру, в котором они живут, произвели это неблагоприятное действие на их идеальную склонность. Я весьма склонен верить в последнее, и, хотя сильная и удачливая натура преодолевает все, однако же мне думается, что не один прекрасный талант погиб таким образом.

Вы делаете очень правильное замечание насчет того, что у тех, кто приходит в поэзию и т. д. из определенного сословия, есть известная серьезность и самоуглубленность (Innigkeit), но нет свободы, покоя и ясности. Серьезность и самоуглубленность суть естественные и необходимые следствия, когда склонность и род занятий находятся в противоречии, когда человек одинок и предоставлен самому себе...».

От йенского периода сохранились, хотя и не полностью, рукописи романа Гёльдерлина. Автор *все начал сызнова.* Отброшена эпистолярная форма; более того, теперь проза перерабатывается в стихи — белый стих. Эту редакцию «Гипериона» принято называть Metrische Fassung, Метрической (т. е. стихотворной) редакцией; ее датируют ноябрем 1794—январем 1795. До нас дошло два отрывка: 184 и 64 стиха (один двойной лист и три одинарных). Начиная (или продолжая) работу, автор перегнул двойной лист еще раз вдоль и стал писать слева прозаический текст, справа — стихотворный. Так на первой, второй и третьей страницах; на четвертой оба столбца исписаны стихами, которые продолжаются на следующих листках. На двойном листе — стихи 1—81, на прочих — 82—248.

Но отброшена не только форма; похоже, что отброшены и идеалы «Фрагмента»:

«Я почти вовсе утратил вкус к тихим мелодиям человеческой жизни, ко всему уютному, детскому.	...Не слышал **боле сла**достных мелодий Уютной жизни, детских светлых чувств.

Мне было непонятно, как мог мне когда-то нравиться Гомер.	Когда-то сердце покорил мне кроткий Сын Меонии, но теперь отпал И от него, и от его богов я.
Я стал путешествовать; и часто желал я вечно быть в пути».	В чужой стране скитался я, порой Брести так вечно, без конца желая.

В своих скитаниях герой, будучи в городе W., слышит о человеке, о «мудреце», недавно поселившемся в загородном доме, и решается посетить его.

«Я нашел его в его тополевой роще. Он сидел возле статуи,— и прелестный мальчик стоял перед ним...

Он спросил меня, каковы показались мне люди во время моего путешествия.

— Более животны, нежели божественны,— ответствовал я ему.

— Это потому,— молвил он,— что столь немногие из них человечны».

И дальше:

«Мы не смеем отрекаться от нашего благородства, мы должны хранить в чистоте и святости прообраз (Vorbild) всяческого бытия. Масштаб, коим мы мерим природу, должен быть безграничен, и неодолимо стремление сформировать бесформенное по тому праобразу (Urbild), который мы носим в себе, и подчинить неподатливую материю священному закону единства. Но чем горше страдание в борьбе с нею, тем больше для нас искушение

нетерпеливо отбросить прочь божественное оружие, отдаться в плен судьбе и нашим чувствам, отречься от разума и превратиться в животных,— или же если мы, ожесточенные сопротивлением природы, боремся с нею не для того, чтобы в ней и тем самым между ею и божественным в нас воцарился мир, но для того, чтобы уничтожить ее, если мы насильственно уничтожаем всякую потребность, отвергаем всякую восприимчивость и таким образом разрываем прекрасные узы, соединяющие нас с другими умами,— мы превращаем мир вокруг себя в пустыню, а прошедшее делаем прообразом безнадежного будущего; 〈...〉

Не думай, что речи мои детски-наивны, милый чужестранец!

Я знаю, что лишь необходимость заставляет нас признавать родство меж природой и бессмертным в нас, верить, что в материи живет дух, но я знаю, что эта необходимость дает нам на то право, я знаю, что там, где прекрасные формы природы возвещают нам присутствие божества, мы, мы сами, одушевляем мир *своей* душой; но чтó тогда, когда не через нас все стало, как оно есть?».

В образе мудреца одни исследователи усматривали фигуру Шиллера, другие — Фихте.

В феврале Гёльдерлин оставил стихотворный вариант и начал переделывать его снова в прозу. Дошедшие до нас куски содержат первую главу, начало второй, конец третьей, четвертую, несколько больших кусков из пятой и первую половину шестой главы. Все это

называется «Юность Гипериона. Часть первая. Издано Фридрихом Гёльдерлином». Возможно, это мыслилось как наборный экземпляр, ибо издатель Котта положительно ответил на просьбу Шиллера.

Из «Юности Гипериона» мы узнаём, что Гиперион — не наш герой-путешественник, разуверившийся в Гомере, а мудрый старец, рассказывающий ему свою историю. Стилистически неразличимые пласты заставляют вспомнить, что Шиллер поначалу узнавал в Гёльдерлине самого себя. А место действия?

Та же тополевая роща, но уже без города W. «Был ясный, голубой апрельский день. Мы сидели на балконе под лучами солнца; вкруг нас шелестели листвой деревья, и сквозь воскресную тишину доносился далекий звон колоколов, и звуки органа с близкого холма, где стояла часовня».

Проза «Юности Гипериона» позволяет восполнить нехватку первоначальной прозы — той, что переводилась в стихи. Какую страну видел перед собой автор? В его поздних гимнических набросках есть три редакции текста под названием «Греция». Первая начинается:

Дороги скитальца!
Ибо Тени деревьев
И холм, под солнцем, где
Дорога
К церкви
Дождь, ровный как стрелы,
И деревья стоят, дремля, и все ж
Нарастают шаги солнца...

В третьей редакции это самый конец (вернее, обрыв):

Сладко нам под высокою сенью деревьев
И холмов жить, под солнцем, там, где дорога
Мощеная к церкви. Но тому, чей путь лежит
Дальше, кто послушной стопою мерит
Пространство и жизнь кому в радость,
Тому цветут
Прекрасней дороги другие

Как далеко ушел от своей юности автор «Гипериона»... Но он все бредет по знакомым местам с названием страны, где никогда не был.

После приведенной выше цитаты следовал рассказ Гипериона:

«Я как раз сегодня настроен,— прервал он меня дружески,— вызвать на свет чудесные невинные фигуры, и также более мятежные. Ты останешься у меня до тех пор, пока я не кончу свой рассказ. Уверяю тебя, я должен был долго держаться от них в стороне из-за того, что я потерял, я должен был остерегаться страдания и радостей воспоминаний, я был как больное растение, что не переносит солнца...».

На этом вторая глава обрывается.

Мы узнаём переведенные в план прошедшего фразы из «Фрагмента» (см. с. 30), но как странно — бледно и прозаично — смотрятся они здесь. Попав в иной контекст, они — в оригинале повторенные точно — требуют для себя даже другого перевода.

«Да не шокирует тебя эта книжица! Я пишу ее, коль скоро уж она была начата, и это лучше, чем совсем ничего, и утешаю себя надеждой вскоре восстановить свой кредит кое-чем другим»,— писал он 28 апреля 1795 г. Нойферу, и, когда мы читаем «Юность Гипериона», нам становится понятна неудовлетворенность автора. Знакомые по «Фрагменту» фразы не вписываются в прозаичный текст, который распадается, рассыпается, не скрепленный страстной мыслью и чувством. Мелите, превратившись в Диотиму, стала бледнее тени, повествование утратило стержень, слова звучат пусто — похоже, что фраза «Мне стало трудно собирать воедино обломки некогда думанных мыслей» и т. д., повторяемая здесь, отражает продолжающееся состояние души автора. «Сырая масса», из которой он извлек прекрасный кристалл «Фрагмента», не хотела формоваться в роман.

А ведь прошло три года!

В последовавшем в конце мая бегстве Гёльдерлина из Йены, быть может, не последнюю роль сыграл этот роман, который был уже обещан и запродан, но не мог быть осуществлен. Но было и другое — и, скорее всего, все действовало в комплексе: тайное общество (орден Черных Братьев), к которому, видимо, был причастен Синклер, студенческие беспорядки, страх перед консисторией, о котором он говорит в письме № 108, стремление избавиться от мягкого гнета гения Шиллера — кризисное состояние, которое всегда предшествует рождению нового.

Ничего хорошего не ждало его в Нюртингене. Его уважаемая матушка настоятельно советовала ему принять пасторскую должность с женой в придачу и каждую копейку, выданную ею «милому Фрицу», аккуратно заносила в книгу расходов. Значит, надо было снова покинуть родину, снова искать гувернерского места в других частях — для того времени *в других государствах* — Германии.

В августе 1795 г. он вновь пересматривает концепцию и план романа, вновь решительно отбрасывает все написанное и *начинает заново*. От этой предпоследней редакции, отосланной издателю в первой половине декабря, сохранилось немногое, но видно, что автор возвратился к форме повествования в письмах — он опять обращается к Беллармину. Однако с удивительным постоянством сохраняет он фразы об обломках мыслей, о нищете и гибели (см. «Фрагмент», с. 7). Только по сравнению с «Фрагментом» еще сильнее звучит глухое отчаяние, а некоторые описания заставляют вспомнить слова из переписки его друзей: «живой мертвец» (см. с. 687 наст. изд.).

«Состояние мое поистине печально. Я охотно удалился бы в себя самого, окружил себя, как окружал уже некогда, цветами и плодами своего сердца и жил бы как блаженные души, заброшенные бурей с их житейской ярмарки на некий гостеприимный остров, но у меня больше не было меня, я потерял себя самого, ах, продал за ломаный грош — вот теперь-то и стал я действительно бедным, совсем бедным! Я стучался в чужие двери и просил Хри-

ста ради, а они меня прогоняли, выталкивали, и вот теперь он, этот нищий, воротился домой, и заперся в доме, и предался рассмотрению своей нищеты среди мрачных убогих стен. И, чем дольше я задумывался о себе в моем одиночестве, тем пустынней становилась моя душа».

И далее: «Часто часами сидел я, пытаясь описать происходящее во мне,— несчастный! Как если бы мука твоя вышла из тебя, когда бы излилась на бумагу! — Я все еще ношу их при себе, эти печальные листы. Странное сожаление удерживает меня от того, чтобы их уничтожить.

Милый мой! Однажды ты уже разделил со мной горе, ты можешь почитать и это. Я знаю, ты не будешь на то сердиться. Да тут и немного оборванных нот.— Ах, если б мое сердце излилось, истекло кровью и погреблось в этих бедных, бренных словах!

Когда я был ребенком, говорят, я протягивал руки, ища радости и насыщения, и земля дарила мне цветы и плоды, и могучая природа с улыбкой предлагала себя дитяти для игр.

Когда море выбросило меня на берег и я бессильно лежал среди обломков, меня поднял один человек, и, очнувшись, я увидел сострадательный взгляд, устремленный на себя.

Разве то была не любовь? разве не она, та, что живит растения дождем и росой, что изливает свет небесный на цветы, и сердца их раскрываются, и они поднимаются к радости? — Так почему ж я теперь оставлен? Оставлен!—

Хотя нет у меня больше ничего, что могло

бы подвигнуть чье-то сердце к жалости; мертвые не чувствуют признательности.

Оставьте же меня, оставьте меня в покое!—».

Но вдруг тон меняется:

«О, не плачьте, что совершенное отцветает! Скоро оно восстанет. Не печальтесь, что смолкли мелодии вашего сердца! Скоро найдется рука, чтобы его настроить!». На этом текст кончался.

В декабре 1795 г. Гёльдерлин выехал к новому месту назначения и, встретив рождество в дороге, прибыл в торговый город Франкфурт, где вступил в качестве учителя в дом банкира Гонтара.

* * *

Для чего нужно было излагать всю эту длинную и не во всем ясную предысторию? Прежде всего для того, чтобы стало понятно, что ни о каком единстве замысла и плана с самого начала и об осуществлении его впоследствии, пусть даже в течение нескольких лет, говорить не приходится. У автора была идея, зародившаяся на подъеме эпохи, был герой, которого он ощущал внутри себя, было чувство причастности к миру культуры, у истоков которой стояла древняя Эллада, и чувство принадлежности к новой эре, чреватой революционными преобразованиями и новой философией. Но какими преобразованиями, какой философией, что вообще впереди — было неизвестно.

Вместить все это в роман — дело абсолютно нереальное, что хорошо понимал викарий Магенау. Но идея исторического параллелизма, упав на благодатную почву, сама со временем дала побег и принесла плод, какого никто вначале не мог предвидеть. Как позднее писал сам Гёльдерлин в гимническом наброске «Тиниан»:

Цветы есть такие,
Землею не зачаты, сами
Из рыхлой почвы растут, отраженье
Ушедшего дня. Нельзя нам
Их обрывать, потому что
Стоят золотисто,
Нежданные,
И даже без листьев,
Как мысли,

Он писал свои «нежданные мысли» в надежде, что потом они как-то склеятся, что из «сырой массы» выкристаллизуется естественное чудо второй реальности, и так оно в конечном счете и произошло, когда в реальной его жизни произошло чудо, и поэт встретился со своей Диотимой. «Пусть мир тонет в пучине, я знать не хочу ни о чем, кроме моего блаженного острова»,— говорит Гиперион в конце первого тома. Но катастрофа была неотвратима.

* * *

Гёльдерлин приехал во Франкфурт, отправив издателю какую-то часть своего романа. От этой предпоследней редакции не сохрани-

лось почти ничего (из нее мы публикуем предисловие и небольшой отрывок — см. с. 36 и 258). Получив начало, Котта прислал автору письмо с просьбой о сокращении, с тем чтобы все вместилось в один том. Это письмо не сохранилось, но есть ответ Гёльдерлина, где он просит прислать ему назад начало, чтобы он мог сократить и его, «чтобы привести в соответствие части». Он обещал вернуть его «через несколько недель и примерно через два месяца все прочее» (№ 120, 15 мая 1796 г.).

Но проходят семь или восемь месяцев, прежде чем он отсылает издателю наборный экземпляр — и опять это только первый том (в декабре 1796 или январе 1797 г.). Да, у него есть «уважительная причина»: война подступила к Франкфурту, и семейство Гонтар, за исключением супруга, спасается бегством. Первоначальный их пункт назначения — Гамбург — по дороге заменяется вестфальским курортом Бад-Дрибургом; лишь в октябре они вернутся во Франкфурт. Но дело не в уважительности причин — дело в том, что роман *опять переписывается.* Об этом писал сам Гёльдерлин в письме Шиллеру, посылая ему 20 июня 1797 г. книгу: «Вы поддержали эту книжечку, когда она — под влиянием тяжелого настроения ума и не вполне заслуженных обид — была совершенно обезображена и так суха и скудна, что о том и вспоминать не хочется. И я, по свободном размышлении и в более счастливом состоянии духа, начал ее сызнова и теперь прошу Вас, не откажитесь, по Вашей доброте, прочесть ее при

случае...» (№ 139, см. с. 372 наст. изд.). Но это свидетельство почти избыточно. Невооруженным глазом видно его «счастливое состояние духа». К нему даже воротилось чувство юмора; правда, по сравнению с начальной стадией «Гипериона» (ср. в письме № 54, осенью 1792 г., где он уподобляет себя библейскому фиговому дереву) юмор этот легок и мягок. (Ср. письмо № 122, брату, конец июня 1796 г., с. 351—352).

Спасен от гибели заботливым уходом. Это и есть Диотима — Сюзетта Гонтар. Мать четверых детей. Жена человека, для которого дела превыше всего. Рассказать о ней очень непросто. Может быть, лучше не говорить ничего? Все необходимое для размышления читатель найдет на страницах книги: в романе, в письмах и стихах Гёльдерлина, в письмах самой Сюзетты Гонтар. Как сказал Гиперион в романе: «Дар речи — великое излишество».

ДИОТИМА

Героев мог бы назвать я
    И смолчать о прекраснейшей из героинь,

Это начало не нашло продолжения. Оно найдено в рукописях Гёльдерлина.

Но другие строки были опубликованы. Правда, подписаны они псевдонимом: Хильмар. Рецензировавший их А. В. Шлегель, не зная, что Хильмар — тоже Гёльдерлин, дал

высокую оценку обоим авторам, и оба автора радостно переписали рецензию для своей матушки — в тщетной надежде убедить ее в полезности литературных занятий ее сына. Матушка лишь встревожилась, прочитавши стихотворение «К Паркам»:

Еще одно мне дайте, могучие,
Благое лето — и тучной осенью
Пожну я звуки! Будет сердце
— Песнью насытясь — готово к смерти.

(*Перевод И. Белавина*)

Гёльдерлин, как мог, ее успокоил. Но при всей убедительности его аргументации, выраженной в предельно доступной форме, о том, что правда художественная отнюдь не равна правде житейской и он вовсе не собирается умирать, истина все равно всегда остается с правдой именно поэтической: на вершине счастья сердце должно быть готово к смерти.

Стихотворение «К Паркам» написано в 1798 г. «Одно лето» еще было даровано поэту, но осенью конфликт с господином Гонтаром вылился в открытый скандал, и Гёльдерлин вынужден покинуть этот дом и переселиться в недалекий Гомбург, к своему другу Синклеру, занимавшему солидный пост при дворе ландграфа Гессен-Гомбургского.

Второй том «Гипериона», по-видимому, был закончен им уже в Гомбурге и вышел в свет осенью 1799 г.

* * *

Второй том романа уже в эпиграфе показывает смену тона по сравнению с первым, дис-

сонирует с предисловием и «Фрагментом». Внешний мир ворвался в стихию романа. История вступила в свои права, и автор в сноске ставит первую дату: 1770 год. Так что же перед нами исторический роман? Война России с Турцией, восстание греков? Да. Но не только. Вспомним: «Мы все пробегаем по эксцентрическому пути, и нет другой дороги от детства к совершенству»; «эксцентрический путь... всегда один и тот же». Этим строчкам посвящено не одно исследование, ибо они, конечно, отражают одну из ключевых гёльдерлиновских идей. Были попытки трактовать *эксцентрический* как «эксцентричный» — значение, уже имевшееся в ту пору в языке, но не имеющее отношения к нашей теме. Позднее было выявлено значение астрономическое, существующее со времен Гиппарха (давшего во II в. до н. э. теорию видимого движения Солнца), а в новое время отраженное в законах Кеплера, которые Гёльдерлин хорошо усвоил в Тюбингене вместе с системой Коперника. Упоминалось, что Гегель позднее написал диссертацию об орбитах планет и что Гёльдерлин должен был знать следствие из Ньютонова закона всемирного тяготения и общей теории движения планет: орбитами небесных тел могут быть не только эллипсы, но любое коническое сечение: гипербола, парабола...

Как ни заманчиво приписать идею «эксцентрического пути» самому Гёльдерлину, нам все-таки придется от этого отказаться. В упоминаемом им в письме к брату (середина ав-

густа 1793 г.) двухтомнике Гемстергёйса (см. № 62 и примеч. к нему) есть одна работа, имеющая прямое касательство к нашей проблеме. Это «Письмо о человеке и его отношениях» („Lettre sur l'homme et ses rapports", 1772). «Человеческое познание или, точнее, человеческий ум, видимо, движется вокруг совершенства, как кометы вокруг солнца, описывая сильно вытянутые эксцентрические кривые, и у него даже есть перигелии и афелии, но нам из истории известно всего каких-нибудь полтора оборота, иными словами, два перигелия и один разделяющий их афелий» (за неимением немецкого перевода 1792 г. цитирую по оригиналу: Oeuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis. P., 1792. T. I. P. 230).

Для Гемстергёйса, родившегося в 1722 г., зрелище кометы Галлея должно было быть очень впечатляющим.

В I томе «Гипериона» присутствует образ именно кометы:

«Только не говори никому, будто нас разъединяет судьба! Мы в том виновны, мы! Любо нам ринуться во мрак неведомого, в холодную чуждость иного мира, и, будь оно возможно, мы покинули бы сферу солнца и вынеслись бы за пределы блуждающей звезды» (перевод Я. Э. Голосовкера; ср. с. 55 наст. изд.).

И это сразу придает повествованию космическое измерение.

Развивая свою мысль, Гемстергёйс говорит о перигелии древних греков и о перигелии наступающего нового времени, и даже тут он остается в рамках образа, потому что многие

кометы имеют афелии в тысячи астрономических единиц и возвращаются к Солнцу лишь спустя тысячелетия.

«...В каждом перигелии царил некий общий дух, сообщавший свою окраску и придававший тональность всем наукам и всем искусствам, то есть всем отраслям человеческого знания. В нашем перигелии этот общий дух мог бы определяться духом геометрии, или симметрии; в перигелии греков — духом морали или чувства; а рассматривая стиль в искусствах египтян и этрусков, можно тотчас заметить, что общий дух предыдущего перигелия был дух чудесного» (там же, с. 230—231).

Отталкиваясь от рассуждений Гемстергёйса, оставалось сделать только один шаг: перенести идею с общего (цивилизации), на частное (человека). Но на «человека вообще и в частности».

В частности, сам автор «Гипериона», «ринувшись во мрак неведомого, в холодную чуждость иного мира», в реальной жизни называемого Йеной, а в мире Гипериона — Смирной, попадает в тенета фихтеанских идей, из которых не так-то просто выбраться. Но пути назад нет, и афелий далек. В философии Фихте, так резко выделившей Я, для поэта Гёльдерлина, помимо удручающего принижения природы, выступавшей как некое досадное препятствие на пути Я, был момент со знаком плюс — это мысль об интеллектуальном созерцании. Вернувшись домой, в Нюртинген (или на остров Тине), Гёльдерлин спешит встретиться с Шеллингом, обсудить с ним фило-

софские проблемы, которые он осознавал как жизненно для него важные.

У Шеллинга есть одна работа, очень хорошо обрисовывающая ситуацию,— это «Философские письма о догматизме и критицизме» («Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kritizismus», 1795). Эти «письма» местами кажутся прямо обращенными к Гёльдерлину. «...И мне чудится: отворяются ворота в Неведомое, и я исчезаю со всем, что есть вокруг меня»,— писал Гёльдерлин во «Фрагменте». «Вряд ли нашелся бы мечтатель,— будто возражает ему Шеллинг,— который удовольствовался бы мыслью быть поглощенным бездною Божества, если бы на место Божества он не ставил бы всегда снова своего собственного Я... Эта необходимость повсюду мыслить еще *себя* самого, приходившая на помощь всем мечтателям, помогла также и Спинозе. Созерцая себя самого *погибшим* в абсолютном объекте, он все же созерцал еще *себя самого*, он не мог мыслить себя *уничтоженным*, не мысля себя вместе с тем существующим... Здесь, мой друг, мы стоим перед принципом всякой фантастики (в оригинале Schwärmerei — мечтания, фантазии.— *Н. Б.*)» [6]. «...И тогда кажется,— читаем мы во втором письме „Гипериона", — будто некий родной дух раскрывает мне объятья, будто я со своею скорбью одиночества растворился в жизни божества» (ср. с. 44 наст. изд.). Но

[6] Цит. по переводу С. И. Гессена в сборнике «Новые идеи в философии» (СПб., 1914. Сб. 12. С. 99—101).

это уже не та мысль, что была во «Фрагменте». Здесь другое: «Слиться воедино *со всем живущим*!». Тогда «из круга живых исчезает смерть». Такая философия рождается из естественного чувства жизни — и она погибает от прикосновения трезвого рассудка. «Ах, лучше бы я никогда не ходил в ваши школы!»

Но пройти через эти школы было необходимо. Только осознав свое Я, можно было вновь, но уже по-иному вернуться к природе, и это имеет самое прямое отношение к роману. Вчитайтесь в текст Гёльдерлина «Суждение и бытие» (с. 261).

«Я только и возможно через это отделение Я от Я. Как могу я сказать „Я" без самосознания? Но как возможно самосознание? Только так, что я себя противопоставляю себе самому, отделяю себя от себя самого, но невзирая на это отделение опознаю себя в противопоставлении как то же самое. Но до какой степени как то же самое?..»

Противопоставляя себя себе, Гёльдерлин получил свое второе Я — Гипериона, и он сознательно создает текст как ледяную гору, айсберг, где над поверхностью воды поднимается только верхушка — история грека по имени Гиперион, а под поверхностью лежит огромный массив жизни самого автора и его народа, Европа 90-х годов.

Не следует думать, что Гёльдерлин «забывался», выражая свои чувства от имени героя, и вносил нелогичности в ткань повествования по небрежности. Нет — он вполне осознанно оставлял вехи, по которым читатель мог заме-

тить, что роман — не только о том, о чем в нем говорится явно. Не случайно почти в самом начале прозвучало имя автора знаменитых «Сравнительных жизнеописаний» — Плутарха. В разных местах разбросаны упоминания о его героях: это Агид и Клеомен, это Демосфен, это Порция — жена Брута и дочь Катона. Фигуры античности, реальные и вымышленные, дают дополнительные параллели героям романа, но только как бы туго свернутые в пружины, готовые в любую минуту развернуться. Героев в романе — всего несколько человек, и их можно обозначить родовыми словами, написанными с большой буквы: Герой (Я), Учитель, Друг, Возлюбленная. Поименно: Гиперион, Адамас, Алабанда, Диотима.

Как мало мы знаем о их внешности! Ничего о Гиперионе и Адамасе; у Алабанды — высокий рост и римский профиль, у Диотимы — легкие локоны. Но разве мы, думая о тех, кого любим, описываем себе их внешность? Они присутствуют в нас целиком, и нам нужды нет себе их описывать. Не делает этого и Гиперион. Он хочет сказать о них *главное*. И ради этого главного привлекаются античные (и не античные) сравнения. Так, отношения дружбы даны полной гаммой: Кастор и Поллукс, Ахилл и Патрокл, Гармодий и Аристогитон, Платон и Стелла; но и для Диотимы не последнюю роль играют упоминания Сапфо, Порции, Поликсены, Аретузы.

Есть еще один персонаж в романе — внесценический персонаж Беллармин. У него еще

меньше признаков, чем у прочих. Во «Фрагменте» он был, по-видимому, итальянцем, в романе он немец. Ф. Цинкернагелем было сделано предположение, что это человек, которому рассказывается история, мы с вами (см. *Zinkernagel F.* Die Entwickelungsgeschichte von Hölderlins Hyperion. Straβburg, 1907), однако во второй книге второго тома Гиперион, обращаясь к нему, называет его «последним из тех, кто был дорог моему сердцу», и это наводит на мысль, что за ним тоже стоит кто-то живой.

Можно было бы перечислить и других жителей этого малочисленного мира — Горгонду Нотару, мать и брата Диотимы, слугу Гипериона, двух караборнийских разбойников и трех незнакомцев из союза Немезиды и «остальных друзей», которым передают поклоны,— но они скорее фон, нежели необходимые компоненты смысловой структуры.

И все же мы забыли одно из главных действующих лицо: Солнце. Называя его то Гиперионом, то Гелиосом, то Фебом-Аполлоном, Гёльдерлин всегда имеет в виду его суть: он свет и несет с собой жизнь. И если Гиперион — титан, сын Неба и Земли, то Гелиос, Селена и розоперстая Эос — его дети и, следовательно, Geschwister («братья и сестры») Герою романа, осознающему свое родство с божеством. «Да, человек — солнце, всевидящее, всепреображающее, если он любит...»; «О солнце, о ветерки, с вами, только с вами, живет еще мое сердце, как сердце братьев!»

Весь роман насыщен и пронизан светом. «Утренний свет и я — мы стремились друг к другу, точно помирившиеся друзья...» Утро и вечер, предрассветные сумерки, ясная ночь и полуденный зной, лазурное небо и звезды во время затмения, святое вечное солнце — на каждой странице мы встречаемся с ними не единожды. Реальный свет, и свет как сравнение, и свет в переносном смысле — «искра разума», «светлая моя звезда» — к Диотиме, «Как луч света, ты должен нисходить в юдоль смертных, должен светить, как Аполлон...»; «Дети земли живут только солнцем; я живу только тобою, у меня иные радости...»

Но Солнце не только несет с собой жизнь. Рядом со светом идет и огонь, рядом с «ласковым весенним солнцем» мы читаем: «иссыхаю под полуденным солнцем»; «человек, истомленный солнцем»; «луч солнца опаляет им же вызванные к жизни земные растения». Мы видим все виды и обличья огня: блуждающие огни, вспышки зарниц, искры, вылетающие из раскаленных углей, пламя свечи и грозовые тучи, горящий факел и костер, кадило и лампаду, гнилушки и кремень, полезный для всех огонь в очаге и пожар, и горящие корабли, и горы, поднимающиеся из морской пучины, выталкиваемые подземным огнем, кратер вулкана, в который уходит философ, и пламя, уносящее Диотиму... Это можно продолжать очень долго — закончим примером с последней страницы: «Я... говорил какие-то слова, но они были как шорох пламени, когда оно взлетает, оставляя после себя пепел». Харак-

терно отсутствие света в самые тяжелые моменты рассказа — после крушений. После бегства героя из Смирны. После краха в Мизистре. «И ты, счастливое дитя природы, пожертвовала собой, обрекла себя на мрак во имя любви?» — пишет Гиперион в последнем письме Диотиме.

Нетрудно заметить, что свет у Гёльдерлина имеет не просто переносное, но метафизическое значение; это всепроникающее, всенаполняющее божество. Если вновь обратиться к Ф. Гемстергёйсу, к другой его работе — «Аристей, или о Божестве» (1779) (ср. примеч. 26 на с. 682), то там есть примечательное рассуждение о пространстве, которое автор считает атрибутом бога. «Это единственный атрибут, по которому мы узнаём это великое существо даже посредством наших органов чувств. ⟨...⟩ Но что геометрически вытекает из этого великого атрибута, так это всеприсутствие Божества. Весь мир, действительный и возможный вместе, не смог бы составить частицы, атома или модуса этого бесконечного Бога. Однако же он повсюду: он здесь; нет ни в этом кусте, ни в вас, Аристей, ни во мне ни одной частицы, сколь бы неделимо малой она нам ни представлялась, которую бы он не проникал. Он так же совершенно присутствует в вас, как и во вселенной, как в себе самом: и вы еще сомневались, что Аристей имеет с ним связь!» (Oeuvres philosophiques... T. II. P. 88—89).

Но из видимых вещей только свет проникает Вселенную. И свет же является понятием,

объединяющим разные религии. Уже в «Гиперионе» начинает формироваться та особая система мифологии Гёльдерлина, в которой на равных правах будут сосуществовать Христос и Геркулес (ср. его поздний гимн «Патмос»).

Можно заметить, как последовательно из окончательного варианта романа убраны все детали, указывающие на принадлежность греков к христианской религии. Например, на Калаврии друг героя живет на горе, где по описанию Чандлера был монастырь. В Метрической редакции без прозаического соответствия был, например, такой отрывок:

Однажды проходил я мимо церкви.
Открыты двери: я вступил вовнутрь.
В ней ни души, и тишина такая,
Что шаг мой гулким эхом отдавался.
От алтаря, перед которым стал я,
Глядела на меня Святая Дева
С любовью и скорбя. И я пред ней
Склонился молча, преклонил колена
И плакал, и сквозь слез ей улыбаясь,
Глядел на лик ее, и долго так,
Не в силах оторвать мой взгляд, когда
По улице вдруг экипаж промчался
И грохот этот испугал меня.
И тихо я пошел опять к дверям,
И в щёлку выглянул, и ждал, пока
Не опустеет улица совсем;
Скользнув за дверь проворно, побежал я
К себе домой и затворился там.

Этот эпизод так и остался единичным, нигде более не повторенным. Упоминаемая здесь

Святая Дева, в оригинале Панагия, ясно указывает на византийскую церковь. По-видимому, уничтожая в романе такие элементы, Гёльдерлин хотел подчеркнуть общечеловеческий характер творимого им мира, и не случайно он поминает «арабского купца, посеявшего свой коран». В работе «О религии», относящейся к 1799 г., дошедшей до нас фрагментарно и без заголовка, он пишет: «...и именно это и не что другое должен он иметь в виду, говоря о божестве, если он говорит по велению сердца, а не по долгу службы или в силу рутинной привычки. Ни из себя самого, ни из предметов, его окружающих, как таковых человек не может узнать, что мир — не просто заведенная машина, что в нем есть дух, есть бог,— он узнаёт это только в живых, поднимающихся над первой потребностью (Notdurft) отношениях, в которых он состоит со всем, что его окружает.

И в силу этого каждый должен бы иметь своего собственного бога, коль скоро каждый имеет свою собственную сферу, в которой он действует и которую он познает, и коль скоро несколько человек имеют общую сферу, в которой они по-человечески, то есть поднявшись над первой потребностью, действуют и страдают, лишь в той степени они имеют общее божество; и если существует некая сфера, в которой все одновременно живут и чувствуют себя связанными не только отношениями первой потребности,— тогда, и только тогда, они имеют общее божество» (цит. по:

Hölderlin F. Sämtliche Werke und Briefe. 4. Aufl. München, 1984. Bd. I. S. 861).

В этой же связке листов (Stuttgart I, 39) на странице 11 написан набросок стихотворения «Gestalt und Geist» («Облик и Дух»), которое начинается словами: «Alles ist innig» («Всё внутри, всё в нас самих»).

В этой же связке содержится теоретический фрагмент, называемый «Смена тонов», продолжающий мысли фрагмента «О различии родов поэзии». Троичное деление: идеальное, наивное, героическое, в сочетании которых Гёльдерлин рассматривает лирическую, эпическую и трагическую поэзию, исследователи[7] попытались приложить к трем главным фигурам нашего романа. Гиперион — идеальное начало, Диотима — наивное, естественное, Алабанда — героическое[8]. Тогда надо сделать

[7] См., например: *Hof W.* Hölderlins Stil als Ausdruck seiner geistigen Welt. Weisenheim am Glau, 1954.

[8] В дошедшем до нас фрагменте статьи Гёльдерлина «О различных родах поэзии» («Über die verschiednen Arten zu dichten», 1799?) содержится вольный перевод начальных шести стихов «Первой олимпийской оды» Пиндара:

Первое — это, конечно, Вода; как злато
Блещет пылающий
Огнь в ночи,
Подарок Плутона,
Но пришло ты воспеть победу,
Сердце мое!
И не сыскать другой,
Более ярко блистающей звезды,
Как солнце среди дня
В одиноком эфире.

следующий шаг и примерить к роману серию вопросов из «Смены тонов»:

«Не разрешается ли идеальная катастрофа — таким образом, что естественный начальный тон переходит в свою противоположность,— в героическом?

Не разрешается ли естественная катастрофа — таким образом, что героический начальный тон переходит в свою противоположность,— в идеальном?

Не разрешается ли героическая катастрофа — таким образом, что идеальный начальный тон переходит в свою противоположность,— в естественном?» (SWuB. Bd. I. S. 896).

Разрешение диссонансов в некоем человеческом характере, заявленное в предисловии к первому тому, обернулось во втором неразрешимой трагической коллизией. Сама жизнь продиктовала автору ситуацию, из которой лучший выход — вернуться туда, откуда ты пришел.

Для Гёльдерлина параллельность Греции (древней и новой) его родине носит сложный характер. Считая Древнюю Грецию колыбелью и родиной человеческой культуры, он в то же время осознавал себя сыном открывшей

В этом кусочке собрались три стихии — вода, огонь и эфир; в статье идет речь о наивном, «естественном характере» и «тоне» — и назван его символ: вода. Фридрих Байснер предполагает, что далее могли быть названы огонь и эфир как символы героического и идеального характеров соответственно. Цит. по: SWuB. Bd. II. S. 1026.

новую эру революции 1789 г. и потому сыном Франции. Но при этом он оставался немцем и сыном своей страны, преданно любившим свою землю. Любя идеалы революции, он был готов абстрактно восторгаться поступью древних греков, прогнавших персов из Аттики через Геллеспонт «до самых их варварских Суз» (образ восходит к стихотворению Штойдлина), но осенью 1796 г. он уже видел, сколько реальных бед пришло на его родную землю вместе с «освободителями». Он ненавидел насилие вообще, но особенно пронзительно воспринимал ситуацию, когда падало с пьедестала то, что еще недавно стояло в его глазах, недосягаемо высоко (ср. его письмо к Эбелю, № 102). И это главная общая трагическая коллизия романа — крушение надежд на преобразование общества на основах справедливости. Трагическая судьба героев логически вытекает из трагической ситуации в мире, персонифицирует гибель идеалов и надежд. Предчувствовал ли автор, что та же судьба ждет и живых людей, о которых он рассказывал?

Реальность прочитывается не только в общем, но и в многочисленных деталях. Все их упомянуть невозможно, но хотя бы кое-что. Детство и отрочество Гипериона на Тине — это Нюртинген, Маульбронн, Тюбинген Гёльдерлина; его друг и учитель Адамас — скорее всего, Штойдлин; потом Смирна — Йена, где в фигуре Алабанды сплавлены черты Синклера, Шиллера и Фихте (разные исследователи в разное время подчеркивали то одно, то дру-

гое); эпизод с незнакомцами и бегство из Смирны — тайное общество, к которому имел отношение Синклер, и бегство из Йены в конце мая 1795 г.; «Я жил теперь очень тихо, очень скромно на Тине» — ср. письма № 102 и след. и примеч. к ним.

С книги второй начинается новый подъем. Калаврия — Франкфурт, и Диотима — Сюзетта Гонтар, и даже поездка в Афины — это бегство в Кассель летом 1796 г., с его музеями, художниками и пятидесятилетним стариком Гейнзе, автором романа «Ардингелло». Судя по последнему письму первого тома, франкфуртские беженцы много времени посвящали эстетическим и философским беседам, прогулкам в прекрасных садах («О, сады Ангеле, где маслина и кипарис...») и прекрасным планам просвещения соотечественников. «Мир тебе,— думал я, когда мы шли назад, на корабль,— мир тебе, спящая страна! Скоро здесь зазеленеет юная жизнь и потянется навстречу благодатному небу...» Казалось, ничто не предвещало событий второго тома.

Второй том открывается эпиграфом из Софокла, одного из любимейших авторов Гёльдерлина. (В 1796 г. он перевел стихи 666—693 из трагедии «Эдип в Колоне», где впервые проявился свойственный ему стиль; позднее он переведет его трагедии «Эдип-царь» и «Антигона», которые обретут новую жизнь после второй мировой войны, когда К. Орфф создаст оперы на тексты Гёльдерлина). Эпиграф — хор из III действия.

Высший дар — нерожденным быть;
Если ж свет ты увидел дня —
О, обратной стезей скорей
В лоно вернись небытья родное!

(*Перевод Ф. Зелинского*)

Ведомый Антигоной, слепой царь Эдип, у которого нет родни между богами, приходит в рощу Эвменид, ища место для упокоения.

Вместо движения от детства к совершенству, заявленного в начале романа, мы имеем перед собой свидетельство серьезнейшего и глубочайшего отчаяния, и нам нельзя преуменьшать его масштабы. Никакие философские или теоретические поэтические построения не могут заслонить от нас реальность, свидетелем которой был поэт и которую он сумел вместить в свой роман. Катастрофа, даже целая серия катастроф в реальной жизни — общественной и его собственной,— отразилась здесь.

«Катастрофа Икара»,— написал он под заголовком «Песня Муз и полдень» (Stuttgarter Foliobuch. Bl. 50b, N15 в разделе «Планы и фрагменты»: SWuB. Bd. I. S. 463). Потом зачеркнул «Икара» и надписал: «Фаэтона». Отрывок из Овидия о Фаэтоне он переводил по прямой просьбе Шиллера для «Новой Талии» весной 1795 г.; Шиллер отверг его; предполагается, что Гёльдерлин перевел текст полностью (I 750 — II 329), но до нас дошел лишь небольшой фрагмент (стихи 1—101, соответствующие 31—99 стихам II книги «Метаморфоз»). Гёльдерлин пе-

реводил стансами, пятистопным рифмованным стихом, вольно передавая смысл. Катастрофа Икара (VIII книга «Метаморфоз»), улетавшего вместе с отцом из плена на крыльях, скрепленных воском, и поднявшегося слишком близко к Солнцу, была, выражаясь грубым техническим языком, просто аварией (как ни трагична она сама по себе); он упал в море и был горько оплакан Дедалом. До сего дня пронзительной скорбью звучат эти строки:

В горе отец — уже не отец! — повторяет: «Икар мой!
Где ты, Икар? — говорит,— в каком я найду тебя крае?»
Все повторял он: «Икар!» — но перья увидел на водах,
Проклял искусство свое, погребенью сыновнее тело
Предал, и оный предел сохранил погребенного имя.

(*Здесь и далее перевод С. Шервинского; стихи 231—235.*)

Катастрофа Фаэтона была одновременно катаклизмом вселенского масштаба; не справившись с конями отца своего Феба, он не только погиб, но и сжег землю.

...Города с крепостями великие гибнут
Вместе с народами их, обращают в пепел пожары
Целые страны. Леса огнем полыхают и горы...

(*Стихи 214—216*)

И дальше читаем мы знакомые по «Гипериону» названия: Тмол с Афоном, «дотоль ключами обильная Ида», «Дев приют — Гели-

кон», «И двухголовый Парнас и Кинт», Киферон, Осса, Олимп. Горят и реки: Алфей и Эврот, Меандр и Каистр. Гибнет земля. И тогда сам отец посылает молнию на сына — «и вмиг у него колесницу и душу / Отнял зараз, укротив неистовым пламенем пламя» (стихи 312—313).

По-видимому, для Гёльдерлина в серии личных поражений одним из тяжелейших было разочарование в Шиллере, который, как известно, не принял не только путей и методов Французской революции, но самую ее суть. Эпоха Вальтерсхаузена — Йены оказалась самой бесплодной в творчестве Гёльдерлина, и не случайно он отбросил почти все написанное в этот период. Не менее, а скорее даже более глубоким было переживание всего хода Французской революции, имевшей внешний выход в войне с коалицией, начавшейся под лозунгом «Война дворцам — мир хижинам!» [9], войне, которую «*все* считали справедливой, оборонительной, и она *была* на *деле* таковой» [10], и которая превратилась в захватническую и антинародную. «Трагично то,— писал Энгельс в письме В. Адлеру от 4 декабря 1889 г.,— что партия войны на смерть, войны за освобождение народов оказалась права и республика победила всю Европу, но только

---

[9] Именно так сказал Пьер Жозеф Камбон, выступая 15 декабря 1792 г. в Национальном конвенте. См.: Gazette nationale ou le Moniteur universell. N 353: XIV. P. 758—760.

[10] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 34. С. 196.

уже после того, как сама эта партия давно была обезглавлена; и вместо пропагандистской войны наступил Базельский мир и буржуазная оргия Директории»[11]. Отчаяние по поводу крушения идеалов революции во Франции усугублялось тем, что́ поэт видел у себя дома; его знаменитая обличительная речь против немцев в конце «Гипериона» могла быть произнесена только немцем, человеком, *изнутри* наблюдающим и болеющим за все происходящее: «Это жестокие слова, но я все же произношу их, потому что это правда: я не могу представить себе народ более разобщенный, чем немцы. Ты видишь ремесленников, но не людей; мыслителей, но не людей... господ и слуг, юнцов и степенных мужей, но не людей; разве это не похоже на поле битвы, где руки, ноги и все части тела, искромсанные, лежат вперемешку, а пролитая живая кровь уходит в песок?». «Гёльдерлин в «Гиперионе».— Вот мотто моего настроения, и, к сожалению, оно не ново»,— писал Арнольд Руге Карлу Марксу в марте 1843 г.[12] Руге мог бы процитировать Руссо, сказавшего *то же самое о французах* (!) в «Речах о науках и искусствах» (см. примеч. 32 на с. 664), но он, по-видимому, этого не знал.

Ранней весной 1800 г. Гёльдерлин сделал набросок, который можно прочесть как вполне законченное произведение. И даже пробелы,

---

[11] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 37. С. 267.
[12] Deutsch-französische Jahrbücher. P., 1844. S. 18.

оставленные на листе, не мешают, а скорее помогают пониманию. Это набросок № 16 (SWuB. Bd. I. S. 463). Заголовок сначала гласил: «Новейшие судьи». Перечеркнув его, Гёльдерлин исправил:

ВО ВРЕМЕНА СОКРАТА

1 Некогда правил Бог.
4 Цари.
6 Мудрецы.
9 кто правит днесь?
12 Правит единый
13 народ? святая община?
14 Нет! о нет! так кто ж правит днесь?
15 племя гадюк! подлых и лживых
16 честного слова нет боле
17 На губах
18 О, во имя
19 зову я
20 Тебя, старый демон! сойди
22 Или пошли
23 Героя
25 Или
26 мудрость.

Слова начиная от «племя гадюк» и до конца он отчеркнул и написал: Nachwelt. Потомки, грядущие поколения. Буквально: Мир после нас.

Это грозное обличение должно бы, кажется, отучить любителей изящного воспевать «неземную абстрактность» творчества Гёльдерлина. За его небесными построениями всегда прочитывается реальная, земная жизнь, ко-

торую он воспринимал тем более остро, что видел ее в философской и космической перспективе. Он никогда не парил в облаках — он врастал в них своей вершиной, как горный дуб, и не случайны его слова в стихотворении «Дубы»:

Если сносить ярмо я мог бы, то к вольной дубраве
Зависти горькой не знал, тогда я сжился легко бы
С общим миром людским. Ах, когда б, как цепями, любовью
Не был прикован к нему, больный, жил бы я с вами!

(*Перевод И. Белавина*)

Не странно ли, что поэт находит *свободу, волю* среди того, что *прикреплено* к земле? Нет, не странно: для него мир живой природы, свободно тянущийся к небу, не опутанный тысячами нитей социального,— свободный мир. Из всех стихий, воспетых Гёльдерлином, земля, быть может, элемент наиболее незаметный, но оттого не менее весомый. Самый дорогой кусок земли для него — его малая родина, «милая Швабия», но он чувствует себя не только швабом, не только немцем — но и гражданином Земли, и жителем Вселенной. «Земля — колыбель человечества,— как сказал наш соотечественник К. Э. Циолковский,— но нельзя вечно жить в колыбели».

Вот стоит он на вершине Глейхберга, откуда видны другие края немецкой земли — Франкония, Гессен, Тюрингия; «а в сторону моей милой Швабии, на юго-запад — Штейгервальд до конца моего горизонта. Вот так было бы мне милей всего изучать географию

обоих полушарий, если б это было возможно». Так писал Гёльдерлин брату Карлу из Вальтерсхаузена 21 августа 1794 г. Но при этом он думал и о том, что 28 июля казнили Робеспьера и что война все продолжается. «Пусть сначала придут к нам два ангела, Человечность и Мир, и тогда процветет то, что есть дело человечества!»

В примечании 23 к первой книге первого тома «Гипериона» приводятся слова В. Биндера, заметившего как бы подмену пейзажа Малой Азии пейзажем Вюртемберга. Против этого можно бы и не возражать. Но вот насчет «усмешки»... «...Уважение к поэту, который из бедности своей внешней жизни добыл богатство жизни внутренней, поэтической».

Может быть, в сравнении с бурными биографиями «сынов века», сражавшихся в Америке, возвращавшихся домой, переходивших на сторону неприятеля, становившихся министрами в иностранных государствах, внешняя жизнь Гёльдерлина и покажется скудной.

Нюртинген и Штутгарт, Маульбронн и Тюбинген, Вальтерсхаузен, Веймар и Йена — вот и всё? Но родные его живут по всей Нижней Швабии, и он мерит расстояния больше ногами, чем верхом или в почтовой карете. Может быть, для кого-то это скучная география, но для поэта лучше всякой музыки эти названия: Лёхгау, Биссинген-на-Энце, Блаубойрен, аббатство Эльхинген, поле битвы при Лютцене, поле битвы под Росбахом, Луизиум и Вёрлиц, Рёнгебирге и Фульдерланд. Потом будут Франкфурт и Гомбург (Хомбург-фор-

дер-Хёэ), поездка в Раштадт на конгресс, Хауптвиль в Швейцарии, Бордо во Франции. Так ли уж «бедна» его «внешняя жизнь»? Человек буквально исходил доступный ему кусок планеты, а по недоступному прошел с другими, при помощи этих других. «Я украсил стены своей комнаты картами четырех частей света»,— пишет он сестре в июле 1799 г. (№ 188), и надо сказать, что карты того времени уже довольно точно изображают мир — недаром говорят о революции в картографии после 1700 г.,— их контуры почти совпадают с теми, что мы имеем сегодня. Когда карта земного шара, поделенная на полушария, висит у тебя на стенах, стены раздвигаются и в твою жизнь входят новые моря, и земли, и острова. Тиниан. Остров в Тихом океане, с трагической судьбой от начала и до конца, стал как бы братом Тине, острова в Эгейском море, родины Гипериона, как Holde и Holder, Hölderlin, Диотима и Гёльдерлин. Мог ли поэт, задумывая стихотворение «Тиниан», из которого мы уже цитировали конец, предполагать, что позднее это испанское владение будет продано Германии? Что с острова Тиниана 9 августа 1945 г. стартует самолет, чтобы сбросить бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и главная достопримечательность там теперь — взлетная полоса?

Сладко блуждать мне
В священной чащобе,—

писал Гёльдерлин, зная начало печальной судьбы острова. Британский адмирал Энсон,

посетивший Тиииаи в 1744 г. и не обнаруживший па нем жителей, узнал, что туземцев переселили по приказу испанских властей на Гуам, обезлюдевший после чумы, и за несколько лет они все там умерли — «с горя и тоски по родине и привычному образу жизни», как пишет Энсон в своем «Путешествии вокруг света». «И в самом деле, даже если оставить в стороне сильную привязанность, которую все люди во все времена испытывали к тем местам, где они родились и воспитались,— уже из того, что здесь было рассказано, должно быть достаточно ясно, что мало на свете стран, по которым можно горевать столь сильно, как *Тиниан*» (цит. по: *Anson*. Reise um die Welt. Leipzig; Göttingen, 1749. S. 288). Эта книга была спутницей отрочества Гёльдерлина. В 1796 г. в первом наброске элегии «Странник» он вспоминает свое детство:

Снова я очарован бескрайним пологом леса,
Манит меня тропа мимо садов к родникам,
Где за ширмой зарослей пышных, в безмолвии полдня
Я о Таити читал, видел в мечтах Тиниан.

(*Перевод И. Белявина*)

В следующем варианте Гёльдерлин правит третий стих:

Под знакомую сень, где часто в безмолвии полдня...

В тексте, опубликованном Шиллером в «Орах» (№ 6 за 1797 г., вышел в свет в августе 1797 г.), два последних стиха вовсе исчезли.

* * *

В замечательном фрагменте «Гермократ к Кефалу» (см. с. 262 наст. изд.) Гёльдерлин формулирует свой диалектический принцип: «Я привык думать, что человеку для познания и действования необходим бесконечный прогресс, безграничное время, чтобы приблизиться к безграничному идеалу; мнение, будто научное знание в какое-то определенное время может оказаться завершенным, или совершенным, я назвал бы сциентивным квиетизмом...». Остается только сожалеть, что фрагмент обрывается на вопросе: «в самом деле, гипербола соединяется со своей асимптотой, [в самом деле] переход от... [?]».

Ответ содержится в предисловии к последней редакции романа: «определенная линия соединяется с неопределенной лишь в бесконечном приближении» (см. с. 38 наст. изд.). Но дочитаем текст до конца: «Оно [бесконечное соединение] существует — и это есть красота; нас ждет, если сказать словами Гипериона, новое царство, где царит королева Красота». Красоту же Гёльдерлин определяет как «единое, различаемое в себе самом» (см. с. 148 наст. изд.), опираясь на «великое определение Гераклита»: ἓν διαφέρον ἑαυτῷ. Как и в другой формуле, ἓν καὶ πᾶν, , сотворенной в ту же эпоху, мы имеем весьма произвольное толкование (ср. примеч. 88 на с. 637). Но, если вдуматься в примеры Гераклита: *лира* и *лук*, можно понять основу идеи Гёльдерлина — это мысль о гармонии

частей в предмете. (Заметьте, что в «Пире» Платона речь идет о музыке.)

И здесь нам следует коснуться одного существенного обстоятельства. Сюзетта Гонтар определила «Гипериона» как «прекрасные стихи». Характеризуя героев как идеальное, наивное и героическое начала, исследователи пользуются градацией, установленной для поэзии — лирической, эпической, трагической. Проза «Гипериона», конечно же, сродни стихам. И форма «романа в письмах» дает возможность строить его как серию стихотворений — лирических, эпических, трагических. И смена тонов тоже здесь явственна. Но более того: эта проза построена как музыкальное произведение. Четыре книги «Гипериона» — как четыре части симфонии, и их можно описать так, как описываются симфонии, имеющие программу.

Как известно, Гёльдерлин хорошо играл на флейте и клавесине и язык музыки был для него родным языком. Но, будучи философом, он знал и музыку сфер, ведущую начало от пифагорейцев. «И мы, мы тоже остаемся неразлучными, Диотима,— только слезы мои по тебе того не знают. Мы живые тоны, мы созвучны в твоей гармонии, Природа! Кто разорвет ее, кто может разлучить любящих?» (с. 257). Из музыки пришло и начальное «разрешение диссонансов», повторенное в конце, как в рондо.

Учение Гёльдерлина о смене тонов сложилось окончательно — если можно говорить о какой-то окончательности у поэта и мыслите-

ля его склада — в 1797—1799-е годы, когда «Гиперион» был уже закончен. Однако даже такой осторожный в выводах и очень основательный исследователь, как Лоренс Дж. Райан (Laurence J. Ryan), в своей работе «Hölderlins Lehre vom Wechsel der Töne» (Stuttgart, 1960) посвящает главу этому роману, рассмотрев уже все теоретические построения Гёльдерлина и в свете их его стихи, в том числе и «маленькие оды» (см. примеч. на с. 669). Л. Райан упоминает работу В. Хофа (см. сноску на с. 559), но считает его выводы чересчур прямолинейными. «Да, Алабанда, по-видимому, ⟨...⟩ воплощает героический тип. ⟨...⟩ Но вот Диотиму, несмотря на ее простоту и тишину, мы не можем посчитать наивным характером уже потому, что ее божественно-умиротворенное совершенство должно рассматриваться более как небесная чистота, нежели как человеческая ограниченность,— о ней нельзя сказать, что ее нрав и ее рассудок «были сформированы для довольно ограниченного, но тем не менее соответствующего человеческой природе положения», что она «нас особенно глубоко и не интересует» (StA, III, 248, 251). Подобное описание наивного человека заставляет думать о «беззаботном народе», который невозмутимо пребывает в своей самодовольной ограниченности» (Указ. соч. С. 319—320).

«Если к сущности идеального относится то, что оно направлено на целое и потому является нам как более всеобъемлющее, чем наивное и героическое, тогда, наверное, можно

считать Гипериона идеальным характером. Ибо он в определенном смысле как будто бы стоит между Алабандой и Диотимой в своей разносторонней связанности (Bezogenheit), как будто бы дополняет их обоих» (там же, с. 320).

Насчет Диотимы позволю себе не согласиться. Во-первых, следует заметить, что свойства, перечисленные Райаном в обороте с «несмотря», суть как раз «божественные свойства»: тишина — это Stille и Ruhe, в понимании древних *покой как божественная гармония*, а простота — это признак Бога в противопоставлении сложности человека. Далее, следует вернуться к цитате из «Юности Гипериона». Люди «более животны, нежели божественны» потому, что «столь немногие из них человечны», т. е. они *мало люди*. Но главное и последнее доказательство мы находим в основном тексте «Гипериона», в последнем письме Диотимы: «...или природа во мне через тебя, мой прекрасный, стала чересчур гордой, чтобы ей по-прежнему нравилась жизнь на этой посредственной звезде? Но, если ты научил мою душу летать, почему не научил ее, как вновь к тебе возвратиться? Если возжег ты эфирный огонь, почему не уберег его от меня?» (с. 237).

Это конец. Второй том, вторая книга.

В первой книге: «Я уже не та...».

В письмах Сюзетты Гонтар: «Я очень переменилась...».

По-видимому, мы наблюдаем здесь то, что можно обозначить как «смену тонов», Wechsel der Töne.

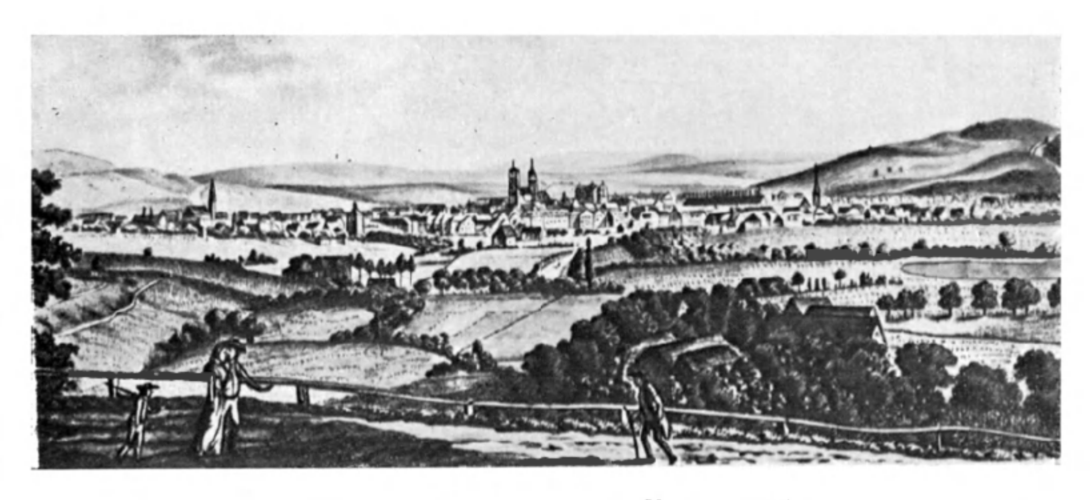
Когда Гиперион приезжает на Калаврию и узнает Диотиму, его поражает в ней именно естественность: ее лицо — как распускающийся бутон, она называет цветы по именам, будто старшая сестра идет по лугу среди трав... «И все это было в ней вовсе не напускное, не надуманное, а естественное» (с. 112). А дальше — целое письмо, состоящее из одного абзаца: гимн очагу и Диотиме. «Тысячу раз я от души смеялся над людьми, которые воображают, что натуре возвышенной отнюдь не положено знать, как готовится овощное блюдо. Диотима же умела вовремя и попросту упомянуть об очаге, и нет, разумеется, ничего благородней, чем благородная девушка, которая поддерживает полезный для всех огонь в очаге и, подобно самой природе, готовит приятное яство». В Мелите из «Фрагмента» такого еще не было.

Но приходит любовь, трагизм которой понятен только при взгляде через призму реальной жизни автора,— и тон меняется. «Отреклась я вероломно от мая, от лета, от осени, не различаю белого дня от темной ночи, как прежде различала, не подвластна теперь ни небу, ни земле, а подвластна только ему, одному-единственному...» (с. 139).

Том второй. Война. Гиперион готовится к отъезду. «После того дня в Диотиме произошла удивительная перемена... В глазах ее горело пламя, вырвавшееся на волю из теснившей его груди... Она больше не принадлежала к числу смертных» (с. 168—169).

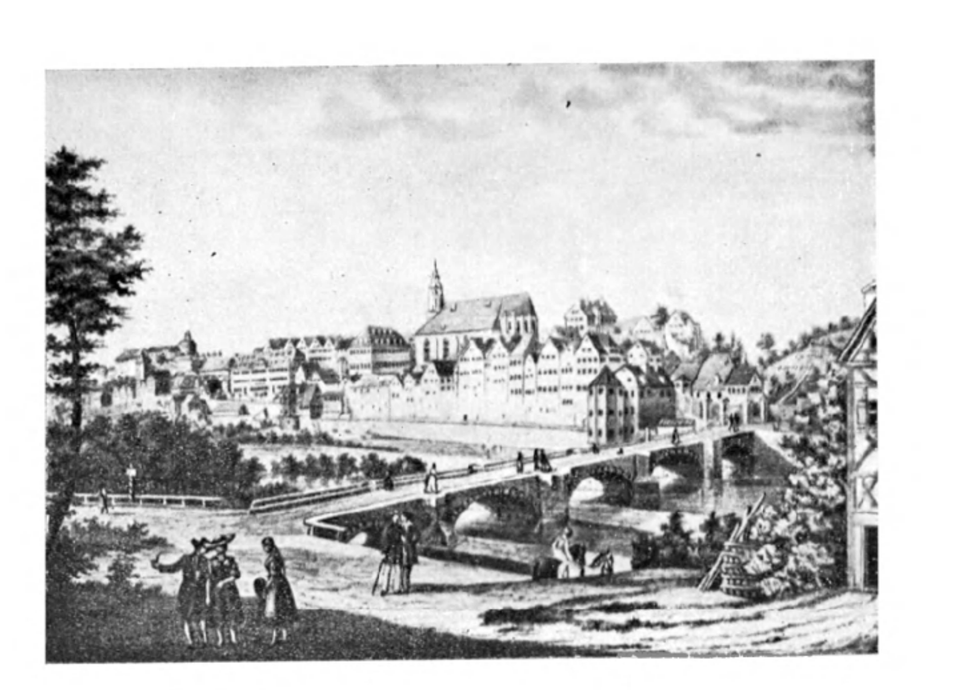


Лауффен. Дом, где родился Гёльдерлин.
Рисунок Ю. Небеля. Ок. 1800.



Штутгарт. Рисунок пером Р. Хубера. 1795.

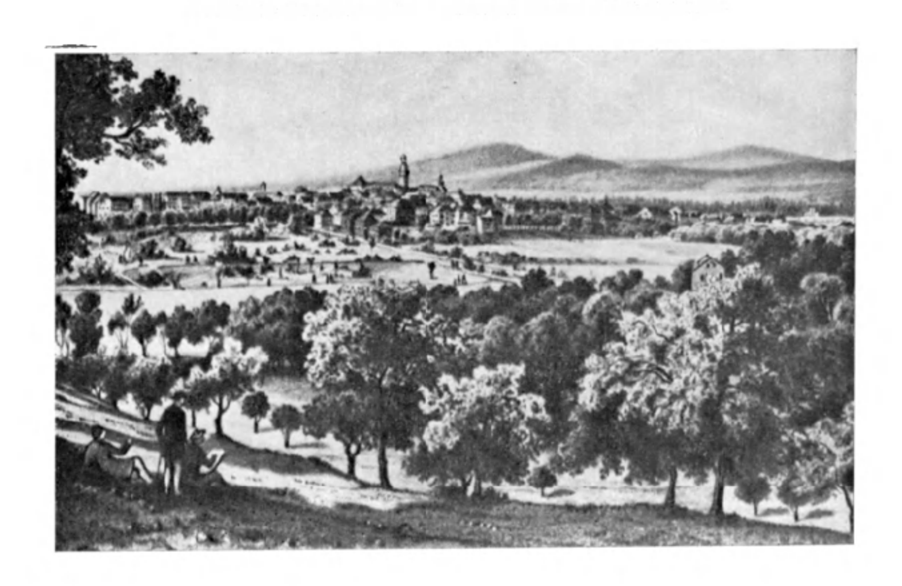
Тюбинген. Литография по рисунку Венга. Ок. 1800.

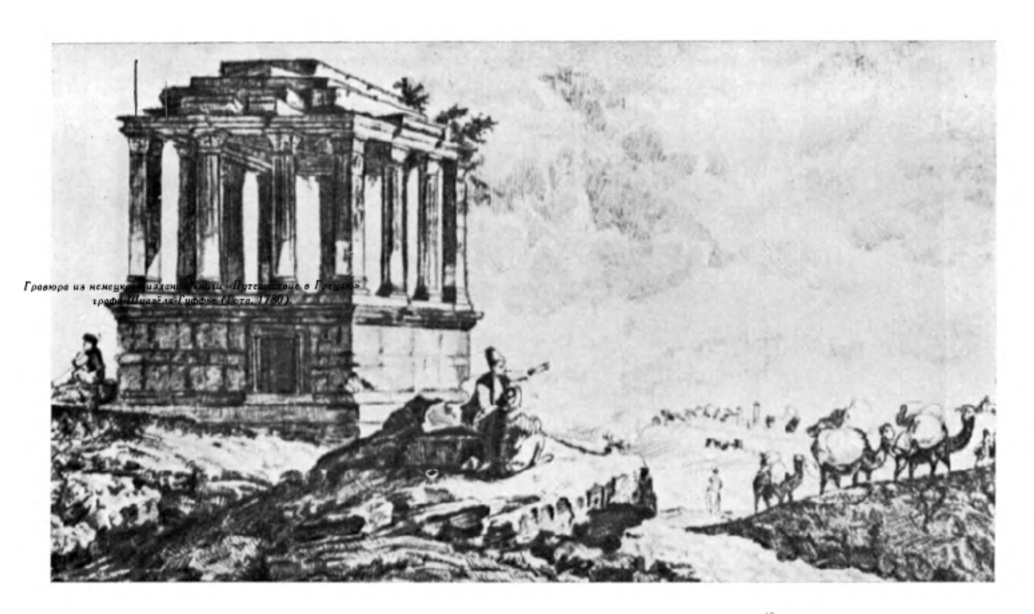




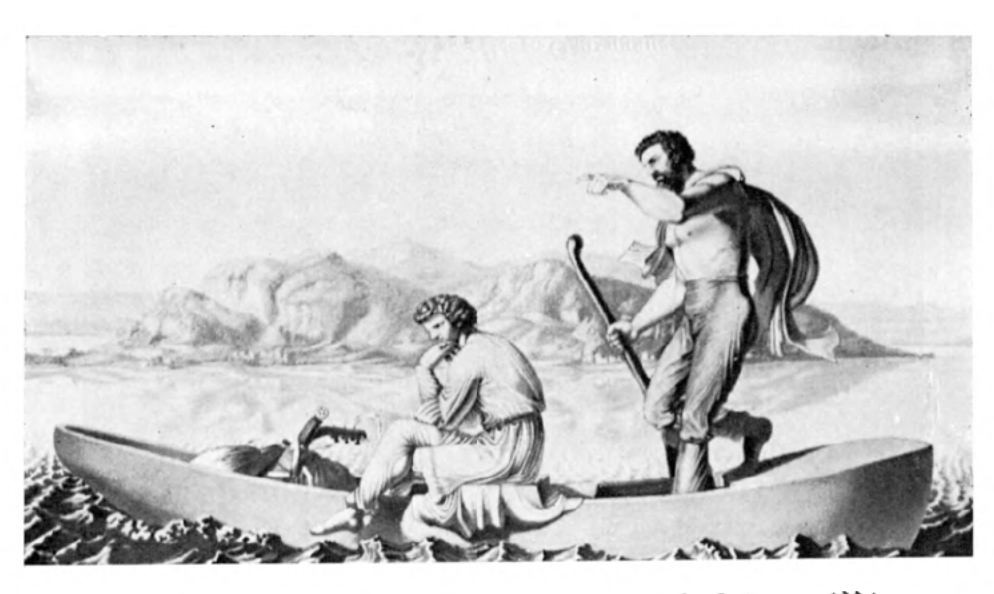
Франкфурт-на-Майне. Дом Гонтаров «Белый олень». Литография начала XIX в.

Хомбург-фор-дер-Хёэ. Гравюра эпохи Гёльдерлина.

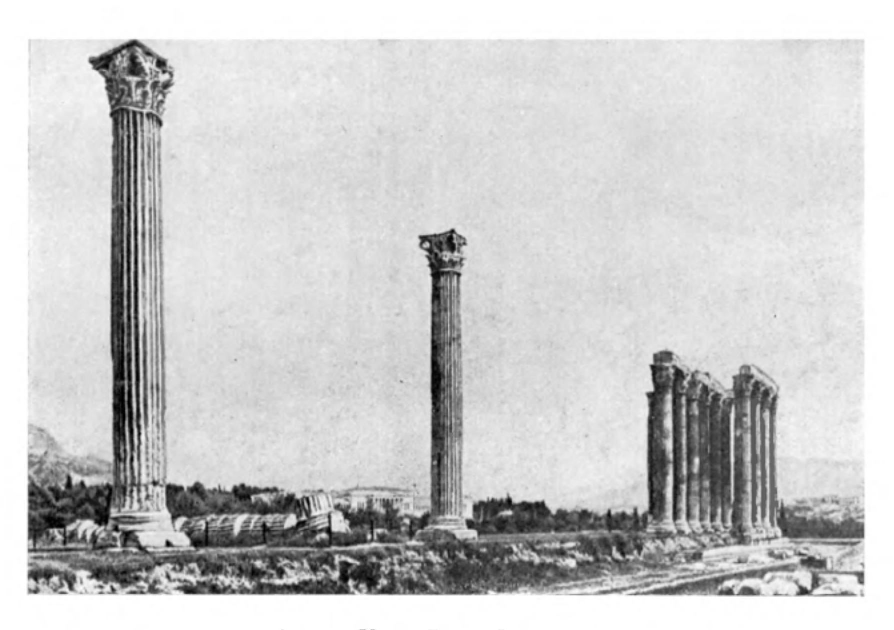




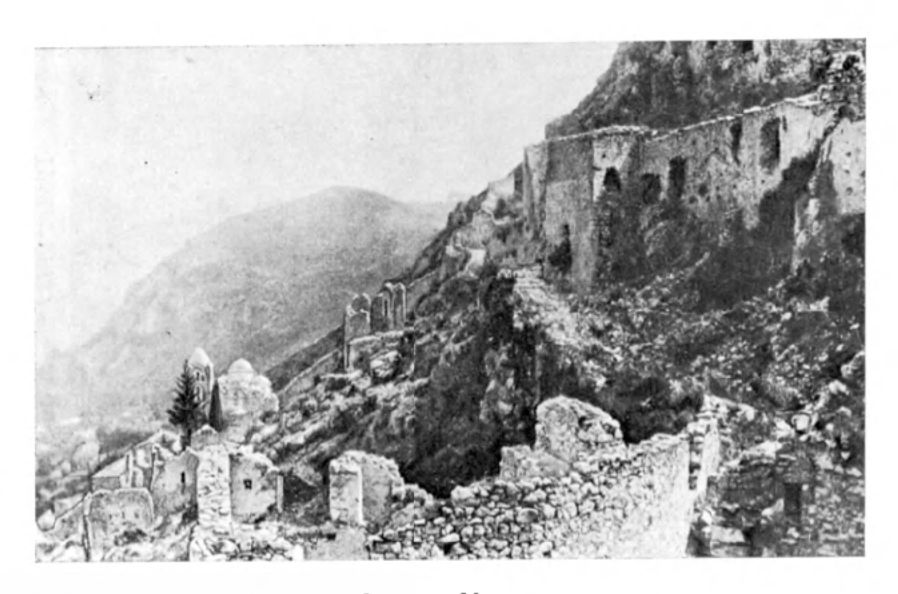
Гравюра из немецкого издания книги «Путешествие в Грецию» графа Шуазёля-Гуффье (Гота, 1780).



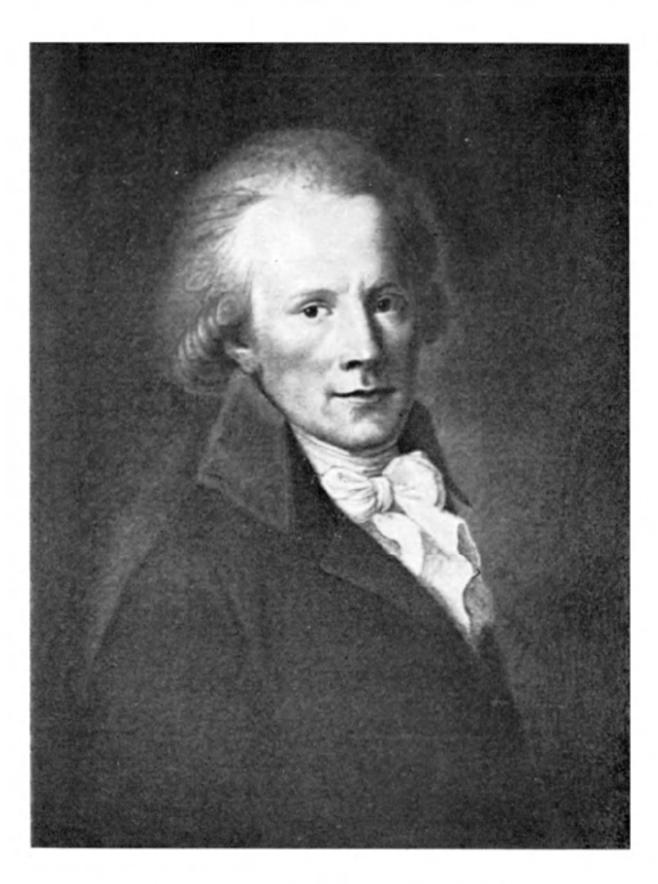
Гиперион переправляется на Калаврию. Акварель Р. Лобауэра. 1824.



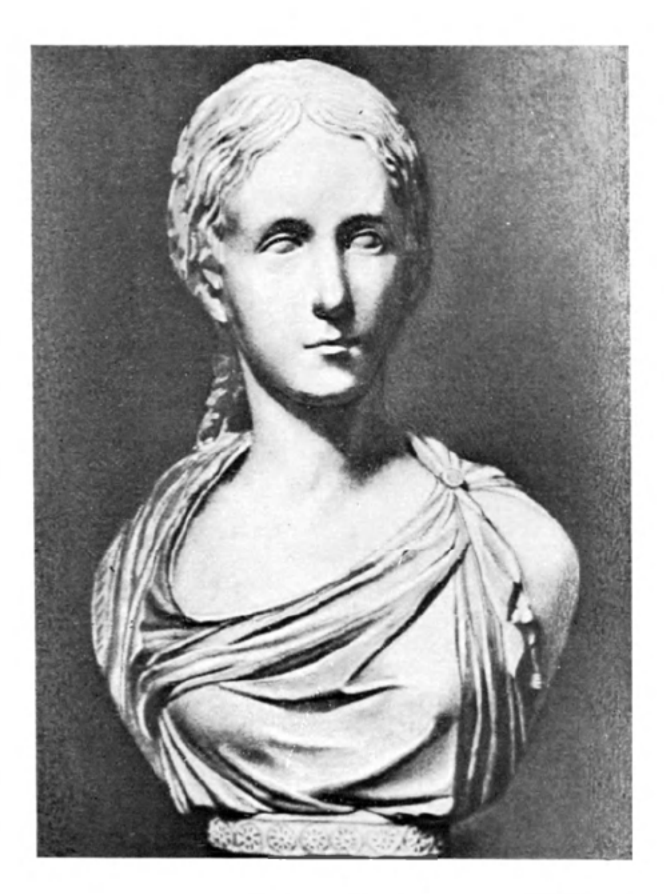
Афины. Храм Зевса-Олимпийца.



Лакония. Мистра.



Готхольд Штойдлин (1758—1796).
Портрет работы Ф. Ф. Хетча.



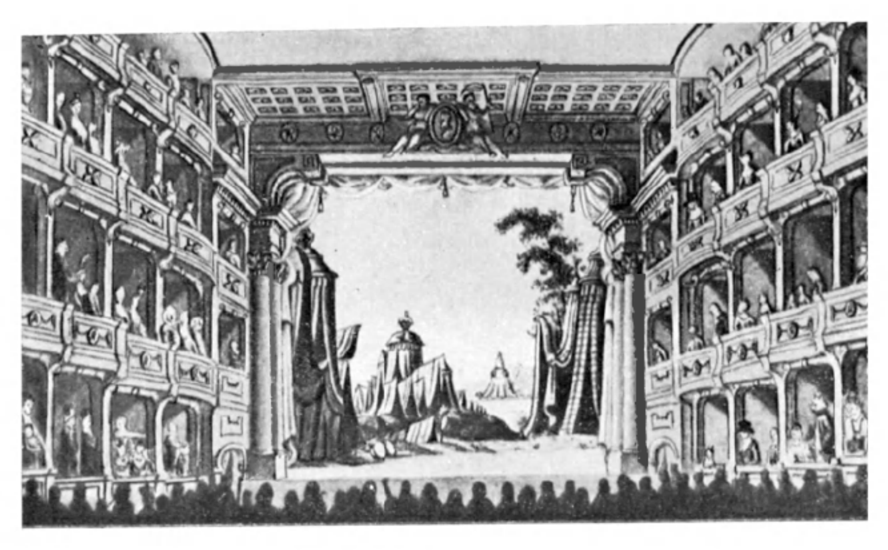
Сюзетта Гонтар.
Бюст работы Л. Омахта. 1795.



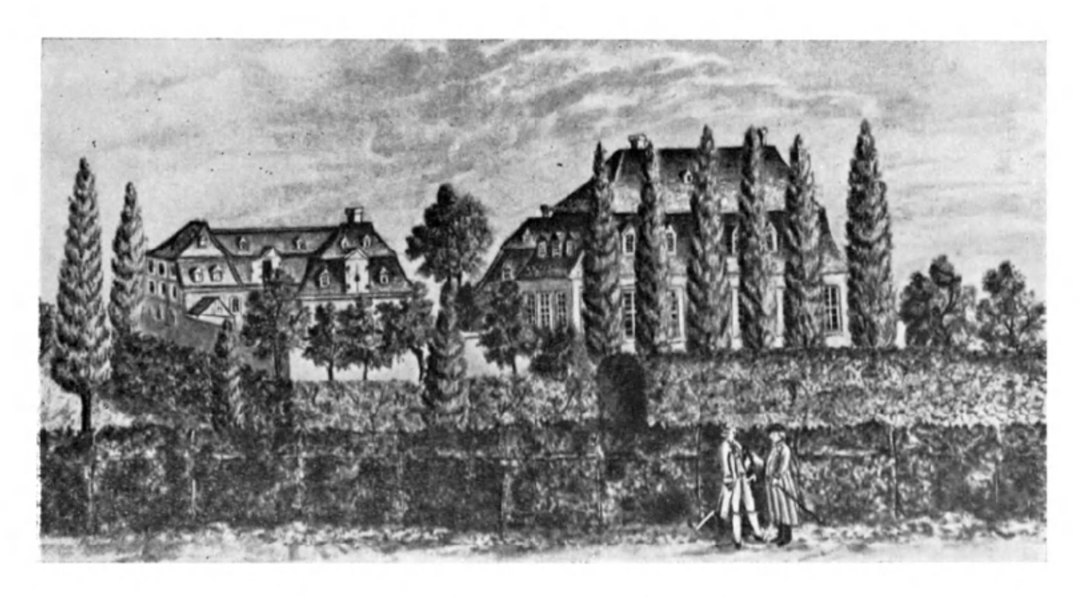
Фридрих Вильгельм Шеллинг (1775—1854).
Рисунок карандашом Ф. Тика.



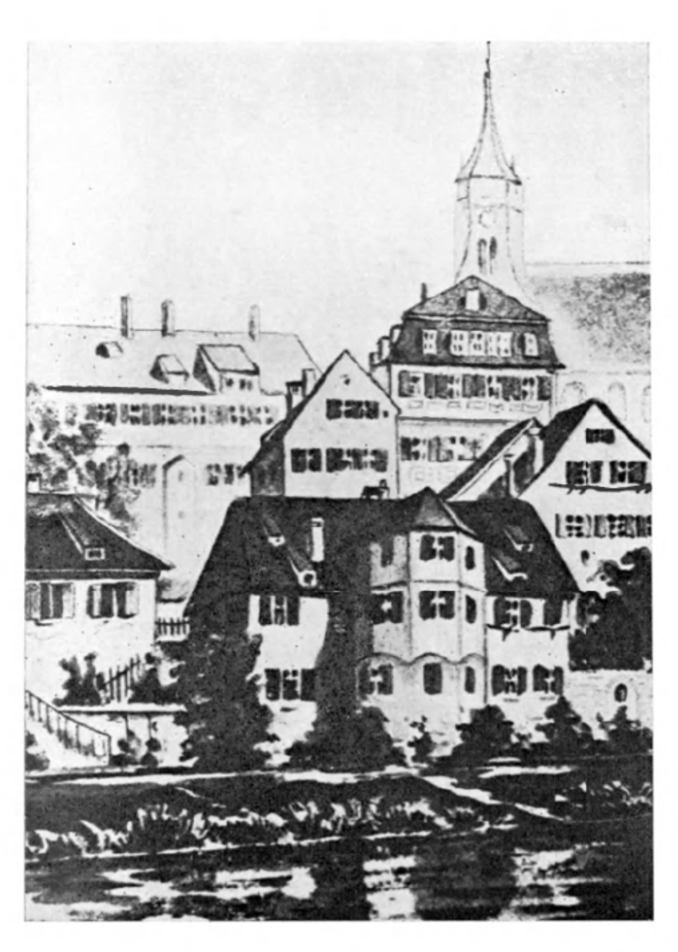
Исаак фон Синклер (1775—1815).
Масло.



Франкфуртский театр комедии.



«Адлерфлюхтхоф». Рисунок гуашью И. Г. Мейера. 1779.



Башня над Неккаром.

Последняя квартира Гёльдерлина.
Акварель М. Елина. Ок. 1850.

«Не разрешается ли идеальная катастрофа — таким образом, что естественный начальный тон переходит в свою противоположность,— в героическом?».

Применительно к стихотворениям катастрофа у Гёльдерлина — цезура в стихе, после чего наступает перепад тона. Но у Гёльдерлина нет случайных обозначений. Почти каждый термин он воспринимает и употребляет во всей полноте значения и с какой-то этимологической глубиной [13].

После серии из трех вопросов (см. с. 560) в рукописи следовало такое продолжение: «Наверное, это действительно для эпического стихотворения. Трагическое идет на один тон дальше, лирическое использует этот тон как противоположный и возвращается, таким образом, в любом стиле в свой начальный тон, или: эпическое кончается на своей начальной противоположности, трагическое — на тоне своей катастрофы, лирическое на своем собственном...».

Диотима, пройдя стадию героического, кончает на тоне идеальном, т. е. на тоне своей катастрофы. Следовательно, перед нами трагедия?

Гиперион в своей любви к Диотиме приобщается ее естественности, как она его идеальности. «Мы были с ней *одним* цветком, и наши души черпали жизнь друг в друге, подобно цветку, который в пору любви прячет на дне

[13] Ср.: *Zuberbühler R.* Etymologie bei Goethe, Novalis und Hölderlin // Hölderlin-Jahrbuch. 1969/1970. Bd. 16. S. 195 ff.

чашечки свои хрупкие радости» (с. 118). Образ древний как мир. За тысячу лет до Гёльдерлина Бо Цзюй-И так кончает свою бессмертную поэму «Чан-Хэнь-Гэ» («Песнь о бесконечной тоске»):

Вместе на небе хотели мы с ним
Парой крылатых птиц летать,
Мы на земле хотели стать
Парою веток с корнем одним.

(*Перевод Б. А. Васильева*)

Идеальный тон Гипериона завершается, повидимому, им же. Значит, перед нами лирическое произведение?

Похоже, что и героический Алабанда кончает на том же идеальном тоне. То есть на тоне своей противоположности. Эпически?

Если соединить все вместе, получается три разных линии движения характеров в «Гиперионе».

Среди маленьких од 1797—1798 гг. есть одна, на которой можно наглядно представить смену тонов на минимальном пространстве: четыре строки. Это «Lebenslauf» («Пvть жизни»).

Hoch auf strebte mein Geist,/aber die Liebe zog
Schön ihn nieder; das Leid/beugt ihn gewaltiger;
So durchlauf ich des Lebens
Bogen und kehre, woher ich kam.

Русский перевод (на с. 284) очень близок к оригиналу. Только «без труда» не вполне отражает schön («прекрасно») и «круг жизни» заменяет Lebens Bogen — ту самую дугу, по которой идет комета.

В отличие от этой оды в «Гиперионе» дуга не вполне замыкается. В ней не только оставлен разрыв в неопределенное количество лет (между отъездом Гипериона из Германии и первым его письмом Беллармину), что вполне понятно, потому что *на самом деле их не было*, но и концы не сведены с концами. И это тоже понятно: Гёльдерлин умел писать только так, как чувствовал в данный момент, и не мог и представить себя вернувшимся к прежним мыслям. В первой книге первого тома он мрачен совсем не так, как в конце первой книги тома второго. «Благо тому, в чье сердце вливает радость и силу процветающее отечество! А у меня всякий раз, когда кто-нибудь упомянет о моей родине, такое чувство, будто меня бросили в трясину, будто надо мною забивают крышку гроба; а ежели кто назовет меня греком, мое сердце сжимается, словно его стянули собачьим ошейником» (с. 42—43). Здесь есть боль за порабощенную родину — но нет стыда за соотечественников, который доминирует во втором томе. Более того, здесь Гиперион как будто и не в Греции вовсе: «когда кто-нибудь упомянет о моей родине...». Это могут быть осколки разговоров с греками-изгнанниками в Штутгарте.

Между первым и последним письмами Беллармину не должно было пройти особенно много времени. Но мысли, к которым приходит Гиперион к концу своего пребывания в Германии, совершенно неотличимой от Греции (потому что в сущности это пространство души героя и автора),— это светлые мысли,

мысли о нетленной красоте мира и вечной пылающей жизни.

Сам видя, что круг не замкнулся, Гёльдерлин кончает: «Так думал я. Остальное потом».

Этот открытый конец некоторые исследователи считают свидетельством совершенной завершенности романа. Ср. в комментариях Ф. Байснера в Малом Штутгартском издании: «Эта формула, завершающая обе книги, подчеркивает художественную композицию... Слова «Остальное потом» вносят контрапунктом в финал завершающую мысль открытости. Таким образом все повествование получает в точных координатах тонких временны́х отношений свою неповторимую художественную форму, и как в начале романа тон задается мотивом конца, тут, в финале,— мотивом открытости... По праву композицию «Гипериона» обозначали как большую инверсию» (Указ. соч. Т. 3. С. 389—390). Однако близкие друзья Гёльдерлина полагали, что роман будет продолжен, «плоско-буквально», по выражению Ф. Байснера (там же), понимая последние слова. Но что значит открытость как не возможность продолжения? Сейчас, когда мы уже знаем, что продолжения не последовало, легко сказать, что автор и не думал о нем. Если б оно было написано, сегодняшние критики нашли бы способ показать, что так оно и было задумано с самого начала. Но разве можно себе представить, что Гёльдерлин написал первую фразу предисловия, уже зная, как он будет обличать немцев в конце? Нет, вывод может быть только такой: автор сам

двигался вместе со своим романом, сам «воспитывался» вместе с ним (и именно в этой мере это и есть «роман воспитания») и все время по ходу дела старался оставлять себе открытые двери, не зная, как все обернется дальше. Он знал действующие характеры — но не мог знать еще не совершившиеся события.

* * *

Вернемся опять к началу, к словам авторского предисловия, вынесенным нами в эпиграф. В оригинале там не цветок, а Pflanze («растение»). Но не случайно *питомец* и *питомник* — слова одного корня. Попробуем рассмотреть композицию романа под таким углом зрения, уже не вдаваясь в лежащие под спудом биографические параллели, а только исходя из ткани самого повествования и поначалу только в нижнем временно́м слое, отделенном от времени повествования «долгими годами». Попробуем проследить, как развертывается в нем реальное время, начав с самой нижней точки.

Гиперион рассказывает о своем детстве на острове Тине, о годах учения — всего несколько слов, и многое в общей форме, но эта общая форма полностью «по мерке» герою — и чистота и богатство детского сердца, и крылья, распахнутые навстречу небу, и наивная вера, не требующая обоснований. «Виноградная лоза без подпоры», — говорит он о себе. Потом приезжает Учитель — Адамас, вносящий «покой и порядок в юношеские стремления», он выводит его в широкий мир Греции

и островов Архипелага, знакомит с миром Плутарха и древних богов.

Этот первый период завершается уходом Адамаса, отправившегося на поиски «народа редкостных душевных качеств» «где-то в глубинах Азии».

«Мой остров стал тесен мне с тех пор, как ушел Адамас». Гиперион едет в Смирну, где усердие его в учении быстро приносит плоды. Но не науки вдохновляют его, не беседы с «благовоспитанными ближними, а только горы, и небо, и море, и рассказчики» — «живые каталоги иноземных городов и стран, говорящие волшебные фонари». Там в его жизнь вступает «добрый великан» Алабанда, его друг и соратник. Второй период завершается отъездом Гипериона из Смирны после тяжелого и принципиального конфликта с другом. «Я жил теперь очень тихо, очень скромно на Тине. События внешнего мира проходили мимо меня, как осенние туманы...» Сознание бога покинуло его. «О мои бедные ближние... вы ведь ясно сознаете, что цель нашего рождения — Ничто, что мы любим Ничто, верим в Ничто, трудимся, не щадя себя, чтобы обратиться постепенно в Ничто...» Глубокое и тяжелое безвременье. «Мы стремимся расти ввысь и раскинуться в вышине всеми своими сучьями и ветками, но, что из этого выйдет, решают почва и погода, и если в твою макушку ударила молния, бедное дерево, расщепив тебя до самых корней, то что́ тебе стремление ввысь?» На этом безвременье заканчивается первая книга.

Вторая книга — Калаврия, Диотима. «Мы были с ней одним цветком...» Поездка в Афины, божественное ἓν διαφέρον ἑαυτῷ, сады Ангеле. На этом кончается первый том — и третий период.

Если свернуть эту картину, то в трех словах можно сказать: стебель, листья, цветок.

Том второй поначалу продолжает подъем. Чтобы «надо всем царила лишь одна-единая красота», надо, чтобы родина твоя стала свободной. Гиперион покидает Возлюбленную, чтобы присоединиться к отряду Алабанды под Короном. Афины кончились, настает время Спарты. И тут повествование вдруг сходит с привычной колеи: Герой уже не просто вспоминает, а прямо переписывает письма тех давних времен — свои, Диотимы, Нотары, и эта «документальность» сообщает непосредственность самым драматическим событиям романа. «Дождь с неба, животворящий», к которому герой взывал еще в Смирне, который он сам готовил в селении под Короном с лозунгом «Все за одного и один за всех!», обернулся темной грозой. «Один день отнял у меня юность, на Эвроте изошла слезами моя жизнь, ах, на Эвроте, каждая волна которого оплакивает над прахом Лакедемона наш неизбывный позор». Бесчестие твоих соратников, твоей страны, даже если сам ты в том неповинен, предполагает только один выход: смерть. И герой ищет смерти. Он прощается навек с Диотимой, не зная, что этим убивает ее; он бросается в гущу боя в надежде погибнуть, но получает лишь спасительную рану,

он отпускает Алабанду куда-то «на восток», где того ждут «друзья»-отмстители, сам же, узнав о кончине Диотимы, плывет на запад — на Сицилию... И дальше — в Германию...

На Германии, на высоком светлом тоне кончается роман. Но конец ли это? Из начала мы знаем, что Гиперион вернулся в Грецию. И пересказанное выше — это его рассказ в письмах, отправляемых другу Беллармину в Германию. «Благодарю тебя, что ты просишь меня рассказать о себе...» — эта фраза возвращает нас к верхнему временно́му слою. Он вернулся в Грецию — но не в родные места, а на Коринфский перешеек (Истм), на остров Саламин: оттуда видна Калаврия, где покоится Диотима.

Что держит его при жизни? Просто невозможность умереть естественной смертью? Христианский запрет на самоубийство? Страх смерти? Поиски истины?

Присмотримся еще раз к тому, что́ он рассказывает. Первый том содержит три стадии, каждая из которых имеет подъем и крах, и каждая последующая поначалу отрицает предыдущую, но при этом каждая является предпосылкой следующей. Кульминацию мы видим в Афинах, где герой над руинами вдохновенно витийствует о преображении мира красотой. Первая книга второго тома содержит стремительный взлет и крушение; и начало ее опять отрицает вершину первого тома, восторженному гимну Элладе противостоит столь же вдохновенная проповедь

реального дела, реальной борьбы: «Диотима! Я не променял бы это нарождающееся счастье на самые прекрасные времена Древней Греции, и даже самая незначительная наша победа мне милей, чем Марафон, Фермопилы и Платея. Разве не верно?» — и так же реально рушится надежда после боя в Мизистре,— вот где действительно ударила молния в заботливо выращенное дерево. Но судьба своенравно обошлась с героем: его видимым ранам суждено закрыться, чтобы открылись незримые и незаживающие. Смерть скосила его Диотиму, ушел в неизвестность Алабанда, а сам он скитается по чужим странам, да и в своей стране — как чужой: ведь турецкое иго не сломлено.

Так что же держит его при жизни? Ответ, по-видимому, таков: его держит ответственность перед живыми и перед будущим. Он считает своим долгом передать дальше добытую им крупицу истины *и самый путь* добывания истины, по которому он не дошел до конца и до которого, ему уже ясно, дойти невозможно. Это и долг перед ушедшими: рассказать о них, чтобы они были живы для живущих, если не могут быть живы иначе. Это поиски умерших — в иных формах, в иных сферах; не уверенность в их личной жизни где-то по ту сторону, а только поиск.

Здесь мы опять оказываемся на повороте романа из конца в начало. Для Гипериона нестерпима мысль о том, что Диотима не живет больше; он призывает ее, он слышит ее голос: она среди родных; он плачет от радости, что

ему даровано такое блаженство... «Расходится кровь по сосудам из сердца и вновь возвращается в сердце, и все это есть единая, вечная, пылающая жизнь. Так думал я. Остальное потом». Но почему же слезы, которые он льет по Диотиме, не понимают, что любящие неразлучны? Почему, вернувшись к началу, мы читаем: «Милые сердцу далеко или умерли, и ничей голос не принесет мне вести о них?». Почему героя всюду настигает «смертельный ужас» при мысли о могиле Диотимы? Любовь его погребена вместе с возлюбленной, и тоска его неизбывна. Тем самым начало романа вновь отменяет весенний конец, объявляет его «фантазиями», «временно облегчающими средствами». «Я строю склеп своему сердцу, чтобы оно отдохнуло; я прячусь в кокон, потому что вокруг зима, в блаженстве воспоминаний я ищу приюта от бури».

Во втором томе очень мало упоминаний о нынешней жизни рассказчика.

В первой книге Гиперион, предваряя «документальную часть», объясняет Беллармину, зачем он пишет. Он хочет убедить друга, что стал спокоен, и при этом знает, что тот ему не поверит. Перечитайте это письмо (с. 176—177), оно несколько велико, чтобы его цитировать. Заметьте там одно сравнение: «Разве наша душа, если она отрешилась от своего бренного опыта и живет одиноко, в священном спокойствии, не похожа на дерево, лишенное листьев?».

В книге второй — первый абзац: «и вот я пишу тебе снова, мой Беллармин, и спускаюсь с тобой по ступеням все ниже и ниже, к глубинам глубин моих страданий, а затем ты — последний из тех, кто был дорог моему сердцу,— поднимешься со мной туда, где навстречу нам засияет новая заря»,— и последний: «Так думал я. Остальное потом». Это самая верхняя временна́я граница текста. Но где же «новая заря»? Если это явление Диотимы весной в Германии — голос ее, то оно уже опровергнуто началом романа. Значит, что-то еще? Что-то еще не рассказанное. Еще не найденное?

Открытость структуры романа несомненна. Линия повествования свернута улиткой, конечных ответов на вопросы нет.

Так же открыты его стихи. И не только первые оды, посвященные Диотиме, написанные еще по старинке, но уже полные новым чувством, они хлынули из «горячей груди» поэта весной 1796 г., будто высвобожденные встречей с Сюзеттой Гонтар; Шиллер отнесся к ним неодобрительно даже после переделки. Не только стихи, подобные элегии «Странник», которые можно продолжать и расширять (и даже усекать, как показывает перевод Н. И. Познякова на с. 504) и которые при этом не теряют своей естественной гармоничности; ведь живое всегда может еще подрасти в какой-то части, река плывет все дальше и дальше, пока не вольется в море; известно, что Клеменс Брентано, прочитав в альманахе Зекендорфа часть элегии «Хлеб и вино» под

названием «Ночь», принялся сам продолжать ее... Открытыми оказались даже созданные по совету Гёте «маленькие оды», которые иногда называют «эпиграмматическими»: восемь из них поэт расширил в 1800 г., и из четырех строчек оды «Любящие» возникло стихотворение «Прощанье» — опять же с тремя вариантами конца, из оды «Непростительное» — «Любовь»; будто раскрылось заложенное в них изначально и стало видно, что маленькая ода — как семя, несущее в себе зародыш, дающее росток.

Открытость — признак растущего живого. В смерти все сворачивается. В «Гиперионе» это свертывание к смерти прослеживается очень четко. Уже в эпиграфе из эпитафии Лойолы, где «содержаться в самом малом» относится не к проникновению в малое, а к праху умершего, в эпиграфе из Софокла, в упоминании царя Эдипа и в этом «я строю склеп... я прячусь в кокон»... И в огненной могиле великого философа античности Эмпедокла из Агригента, по преданию добровольно окончившему свою жизнь в кратере Этны. «Замерзший поэт решил погреться у огня». (Невольно вспоминается смерть Штойдлина в холодных волнах Рейна!) Гиперион находит себя слишком ничтожным, чтобы последовать примеру философа. С той поры прошло много лет. Чем жив он? Эксплицитный ответ мы найдем уже за рамками романа. «Стремление породить из своего существа нечто, что останется здесь, когда мы уйдем,— это, пожалуй, единственное, что удерживает нас при жиз-

ни»,— писал он брату 2 июня 1796 г. (№ 121). Иными словами: коль скоро ты уцелел — надо принести плод.

Но плод, поданный нам в «Гиперионе»,— очень странный плод: это плод растущий, будучи сорванным; изменяющийся без всякой видимой к тому причины; это вовсе и не плод — не результат, не достигнутая цель, а *путь*, хронологическую нить которого мы искусственно размотали выше. Если же присмотреться к тому, как она сплетена в структуре романа, картина не получится однозначной. Да, есть ясные места, где Гиперион повествует о настоящем («Я живу теперь на острове Аякса...»— с. 99); есть такие же ясные места, где он говорит о событиях, давно минувших («После нашего возвращения из краев Аттики...»— с. 162); но между этими ясными случаями есть много размышлений и общих суждений, которым не так-то просто найти координаты. Дистанция между двумя планами часто становится зыбкой; порой они сталкиваются на половине фразы. Перечитайте четвертое и пятое письма первой книги: вам будет очень трудно разделить планы. Прошлое продолжает жить в настоящем, и автор все время переходит из одного плана в другой, соединяя их общими высказываниями. Или конец 18-го письма второй книги: «...и милое мне дыханье проникло в самую душу... о Беллармин! Мысли мои мешаются, я совсем теряю рассудок.— Вижу, вижу, чем это кончится. Волны сорвали кормило, хватают корабль, как хватают младенца за ножки, и ударяют о скалы» (с. 140).

Если начало явно принадлежит нижнему плану, слова от «о Беллармин!» и до тире — верхнему, то куда отнести предложение после тире? Это взгляд как бы из третьей точки.

Между тем, дистанция между двумя планами — существенный признак, отличающий «Гипериона» от «Вертера» Гёте и других романов в письмах XVIII в. Это наблюдение Л. Райана[14] послужило первой опорной точкой для гипотезы Юргена Линка о том, что композиция «Гипериона» «соединяет непосредственную дистанцию в мещанском эпистолярном романе и абсолютную дистанцию гомеровского всеведущего рассказчика»[15].

«Милый Беллармин! Как хотелось бы мне поведать тебе обо всем досконально, как Нестор. Я бреду по былому, словно собиратель колосьев по жнивью, где хозяин уже снял урожай...»

Развернутые сравнения «Гипериона» не находят аналога ни в «Вертере», ни в каком-либо другом романе в письмах; их плотность намного выше, чем в любом «греческом романе» (Линк сопоставляет его с «Телемаком» Фенелона).

«...И я не раз лежал не видимый никем, утопая в слезах, точно поваленная ель, что лежит у ручья, уронив в воду свою увядшую крону» (с. 58). Сравните в «Илиаде»:

---

[14] *Ryan L.* Hölderlins ‚Hyperion': Ein ‚romantischer' Roman? // Über Hölderlin. Frankfurt. 1970. S. 175.

[15] *Link J.* «Hyperion» als Nationalepos in Prosa // Hölderlin-Jahrbuch. 1969—1970. Bd. 16. S. 160.

...и на землю нечистую пал он, как тополь,
Влажного луга питомец, при благе великом возросший,
Ровен и чист, на единой вершине раскинувший ветви ⟨...⟩
В прахе лежит он и сохнет на бреге потока родного.
(*Перевод Н. И. Гнедича; IV, 482—488*)

В сравнениях с пчелой, северным ветром, непогодой, горным ручьем Ю. Линк усматривает гомеровские образцы эпических сравнений. Плотность же их в «Гиперионе» местами втрое превосходит плотность в «Илиаде» (см.: *Link J.* Op. cit.).

Сравним еще:

Словно как мак в цветнике наклоняет голову набок,
Пышный, плодом отягченный и крупною влагой весенней,—
Так он голову набок склонил, отягченную шлемом.
(*«Илиада», VIII, 306—308*)

«И как во время затишья чуть-чуть колышется лилия, так и моя душа незаметно погружалась в свою стихию, в завораживающие мечты о тебе» («Гиперион», с. 65).

Формальный анализ как будто бы дает основание концепции Линка о «Гиперионе» как «национальном эпосе в прозе»; но нам не следует обольщаться насчет возможностей формального анализа. Сравнения в «Илиаде» — как и все другое — служат для создания внешней картины, эпического полотна, и даже когда речь идет об отдельном человеке — это все равно «внешний человек», не «че-

ловек изнутри». Очень хорошо это сказано М. М. Бахтиным в работе «Формы времени и хронотопа в романе»[16]. «Сплошная овнешненность» греческого человека в классическом искусстве, зримое и звучащее бытие, эффект площади («агора́»), сегодня кажущиеся нам столь очевидными, оставлены без внимания Гёльдерлином, более того, превращаются в собственную противоположность. Если там все было *вовне*, здесь все внутри. Alles ist innig; мир *ввернут внутрь*, если воспользоваться образом, антонимичным выражению — душа «вывернута наизнанку». Если представить себе мир как сферу — как надутый резиновый мячик, то попробуйте его перевернуть так, чтобы внутри оказалась не только его внешняя поверхность, но и все то, что над ним и вокруг него. А также и то, что первоначально было в нем. Это и будет душа поэта, в которой бесконечность оказывается внутри. Вместо «овнешненного человека»—«овнутренненный мир». У Гёльдерлина все эпические сравнения Гомера обращены вовнутрь; он и в Ахилле видит «enfant gâté природы» и думает, что Гомер уводит его со сцены, «чтобы не профанировать в свалке перед Троей (ср. с. 610 наст. изд.). Аналогичным образом он выводит своего благородного героя из игры накануне Чесменского боя — после боя при острове Хио. Всё внутри — и тогда становятся понятными странности пространст-

[16] См: *Бахтин М. М.* Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. С. 284—286.

венно-временны́х отношений в романе (то, что М. М. Бахтин называет «хронотопом»). Для мира внутри безразличны разновидности научных градаций — и Гёльдерлину, наверное, было невдомек, какие мучения будут испытывать ученые с их сетками и рубриками. Гиперион путешествует в абстрактном времени-пространстве «греческого романа», но абстрактно-чужой мир Греции, будучи внутри, приобретает черты близкого и родного, неслучайного, органического, драгоценного для автора, героя — и для читателя тоже; здесь присутствует и другой тип времени — *биографическое время* человека, проходящего свой жизненный путь (выделяя этот тип, М. М. Бахтин указывает на «Апологию Сократа» и «Федона» Платона и формулирует хронотоп: «жизненный путь ищущего истинного познания»); мы найдем здесь идиллическое время с его сменой сезонов и постоянством места и историческое, образующее двойной слой,— и все это естественным образом сплетено в единое и единственное время-пространство романа. В разных частях усиливается то одно, то другое его свойство, отчего и проистекает такой разброс во мнениях критиков: эпос — трактат — идиллия — фантастический роман...

Уточнение следует сделать, пожалуй, только для последнего. В эпоху, когда А. В. Луначарский писал о Гёльдерлине, слово *фантастика* употреблялось не совсем так, как сейчас (ср. перевод из Шеллинга на с. 551 наст. изд.). Так что «фантастический роман» здесь

следует понимать как роман-фантазия, умозрительный, философский роман, Schwärmerei.

Формула «мир внутри» позволяет объяснить и феномен отсутствия субъективности, вывернутости наизнанку, сдержанности в выражении даже самых сильных чувств. Субъективные чувства все время поверяются миром, растворяются в нем. Сосредоточенность в себе не означает при этом сосредоточенности *на* себе.

Отсюда же вытекает и другое свойство романа — мир, вмещенный внутрь, неизбежно становится обобщенным; вся пестрота конкретности не умещается там. Море и острова в нем; ручьи и источники; горы — земля, окруженная небом; леса́ — деревья, кустарники, травы; солнце и ветер... Статистический анализ словаря Гёльдерлина покажет, сколь велик в нем удельный вес существительных с общим значением, прилагательных высокого стиля — будто и здесь он стремится не профанировать текст. Многое увидено сверху, издалека, когда частности сглаживаются. Но вот он спустился с горы, и общий план — как в современном нам кинематографе — сменяется средними: встречный прохожий с приветливым лицом, девочка с букетиком земляники, человек, обрывающий вишни. И крупным планом: окно Диотимы — открытое, добрый знак. «И вот я стоял перед ней, запыхавшись и шатаясь, прижимая сплетенные руки к сердцу, чтобы заглушить его трепет, боролся и противился, силясь не захлебнуться в

беспредельной любви» (с. 124 наст. изд.).

Все географические и исторические реалии, астрономия, древняя мифология образуют в этом внутреннем мире наполненную смыслом систему — это не просто названия, безразличные к тому, что рассказывается, технический антураж действия (как было не только в греческом романе, но и в «греческом романе» XVII—XVIII вв.; даже в знаменитых балладах Шиллера оказывается несущественным, идет ли речь о сицилийском ныряльщике, тиране острова Самоса или американских индейцах; и античные боги в его стихах — лишь знаки системы, иероглифы, понятные для посвященных, не более того). Мир, опрокинутый внутрь, оказывается и пространственно измененным: то, что дальше всего, должно быть в самом центре души, бесконечность, стянутая узлом, втесненная в бесконечно малое пространство.

Теперь становится понятной и поразительная современность Гёльдерлина — и резкие перепады восприятия его в разные эпохи. Авторы, писавшие о Гёльдерлине,— а это не только литературоведы, но и поэты и романисты, философы, крупные мыслители, политики — гораздо больше сообщают о себе и о времени, в котором они жили, нежели о нем. Но в течение многих десятилетий усилиями многих людей в разных странах любовно собирались материалы и создавались труды «Im Dienste Hölderlins», как безукоризненно точно сказал один из крупнейших исследователей Гёльдерлина — Адольф Бек, противо-

поставив этот лозунг лозунгу Пьера Берто: «Im Namen Hölderlins». «Служа Гёльдерлину» против «От имени Гёльдерлина», «Во имя Гёльдерлина». П. Берто несколько лет назад предпринял попытку доказать, что Гёльдерлин, подобно Гамлету, искусно разыгрывал душевную болезнь[17]. Сам понимая тщетность своих усилий, Берто в конце этой пространной книги объясняет, чтó им двигало в этом предприятии: то была обида и боль за то, что один из величайших поэтов Германии часто именуется помешанным, полоумным, психом... Если все дело в словах, то по-русски есть высокое слово: безумец. Никто не может выразить лучше безумное время на разломе эпох, чем эта порода людей. Об этом писал А. В. Луначарский в Предисловии к «Смерти Эмпедокла»: «Он [Гёльдерлин] поставил себе непомерную задачу. Будучи поэтом-мессией, провозвестником мира, борцом за новые пути, казавшиеся ему ясными, пути восторженного энтузиазма, романтики, слияния с сущностью бытия и на этом построенной культуры, не уступая никому и ни в чем, непрактичный, всем чуждый, как редкий металл, не могущий войти ни в какое химическое соединение с окружающими, Гёльдерлин погиб. Но он погиб как великий человек. И из его могилы растет

---

[17] *Bertaux P.* Friedrich Hölderlin. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1978. Из последних публикаций, опровергающих его версию, см.: *Peters U. F.* Hölderlin: Wider die These vom edlen Simulanten. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1982.

живое дерево, к которому многие ходят теперь на поклон»[18].

Он умер 7 июня 1843 г. в возрасте 73 лет и в субботу 10 июня в 10 часов утра был похоронен на тюбингенском кладбище. «С ним ушел от нас поэт,— писал накануне брату Кристофу Густав Шваб,— один из тех, ὧν οὐκ ἄξιος ὁ κόσμος: которых мир недостоин».

Около ста студентов и несколько преподавателей университета шли за гробом. Не было ни официальных представителей, ни оркестра, ни прочих церемониальных символов. Когда гроб опустили в могилу, хмурое небо вдруг прояснилось и выглянуло солнце.

---

[18] *Гёльдерлин Ф.* Смерть Эмпедокла. М.; Л.: Academia, 1931. С. 12—13.

ПРИМЕЧАНИЯ

ОБОСНОВАНИЕ ТЕКСТА

В основу настоящего издания «Гипериона» положен текст романа, вышедшего в Тюбингене в издательстве Котта в 1797—1799 гг.: Hyperion oder Der Eremit in Griechenland von Friedrich Hölderlin. Erster Band. Tübingen: 1797. In der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

Hyperion oder Der Eremit in Griechenland von Friedrich Hölderlin. Zweiter Band. Tübingen: 1799. In der Cotta'schen Buchhandlung.

От этого издания до наших дней дошло лишь несколько экземпляров. Второе издание вышло также в издательстве Котта в 1822 г. без изменений, с той лишь разницей, что вместо Тюбингена указано два города: Штутгарт и Тюбинген.

До этого, в ноябре 1794 г., был опубликован «Фрагмент „Гипериона"», который принято называть «Фрагмент из „Талии"»: он вышел в журнале, издававшемся Фридрихом Шиллером, «Новая Талия»: Neue Thalia. Hrsg. von F. Schiller. Vierter Teil. Fünftes Stück des Jahrganges 1793. Leipzig, bei Georg Joachim Göschen.

Кроме этих опубликованных при жизни поэта текстов (наборный экземпляр не сохранился), имеется большое количество рукописных (42 рукописи — на отдельных одинарных и двойных листах, на двойных листах, вложенных один в другой), свидетельствующих о работе, которая продолжалась с весны 1792 г. и вплоть до (а может быть, и после) публикации второго тома.

Имеющиеся рукописные тексты принято делить следующим образом: 1. Вальтерсхаузенская редакция; 2. Метрическая редакция; 3. Юность Гипериона; 4. Предпоследняя редакция; 5. Окончательная

редакция. О них подробно говорится в статье об истории создания романа.

Перевод романа на русский язык, выполненный Е. А. Садовским в 1939 г., был впервые опубликован в 1969 г. (*Гельдерлин*. Сочинения. М.: Худож. лит.); перевод «Фрагмента» публикуется впервые. Далее помещены стихи и письма Гельдерлина, имеющие непосредственное отношение к созданию романа; письма эти часто лучше всякого комментария показывают эволюцию идей поэта, метод формирования образов, глубинное соотношение «поэзии» и «правды». Многие из них публикуются впервые, все — в новом переводе. Книгу завершает документ, впервые увидевший свет лишь в 1921 г.,— это письма Сюзетты Гонтар, известные под названием «Письма Диотимы». Они не только позволяют судить о той, кто во многом определила облик главной героини романа и самый его дух, о характере отношений между ней и поэтом, о содержании написанных им и не дошедших до нас писем,— но и сами по себе являются замечательным памятником; читая их, мы понимаем, что эта женщина была не просто предметом поклонения и вдохновения поэта, а человеком, достойным своего высокого места. Эти письма публикуются на русском языке впервые. В основу перевода положен текст издания: *Hölderlin F.*, *Gontard S.* Hölderlin und Diotima. Zürich, 1957 — следующего в порядке расположения материалов за Большим Штутгартским (т. 7).

ФРАГМЕНТ «ГИПЕРИОНА»

1 *...эпитафия Лойоле...*— Полный текст эпитафии (Elogium sepulcral S. Ignatij) находится в книге «Картина первого века Общества иезуитов во Фландро-Бельгийской провинции...» (Imago primi saeculi Societetis Jesu a Provincia Flandro-Belgica eiusdem Societatis repraesentata, Antverpiae ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti anno saeculari Societatis 1640) на с. 280—282. В этом фолианте эпитафия занимает три страницы, 95 строк. Интересующее нас место близко к началу: «Дух его

не знал предела в безмерности мира, тело его заключено в этой низкой и тесной гробнице. О ты, что взираешь как на великих на Помпея, или Цезаря, или Александра, отверзи очи твои истине: и превыше их всех ты поставишь Игнатия. Не знать предела в величайшем и притом содержаться в наималейшем — божественно...». Откуда была известна эта надпись Гёльдерлину, не установлено. В окончательном тексте романа последняя фраза стоит эпиграфом к I тому.

2 *Занте* — итальянское название острова и города Закинфа, в XVIII в. даже более распространенное, чем греческое; тут жило много итальянцев и итальянский язык употреблялся наравне с греческим. Турецкое владычество сюда не простиралось — здесь господствовала Венецианская республика. Путешественники XVII в. Жакоб Спон и Джордж Уилер восхищенно отзываются об этом острове, называя его «земным раем». В их описании есть один момент, возможно существенный для выбора его Гёльдерлином: «Ботерус когда-то назвал Занте Золотым островом...» (Voyage de l'Italie, de Dalmatie, de Grece, et du Levant, Fast aux années 1675 & 1676 par Jacob Spon Docteur Medecin Aggregé à Lyon, & George Wheler Gentilhomme Anglois. Lyon, MDCLXXVIII. T. 1. P. 142.) Эта книга часто фигурирует в главном источнике романа — «Путешествии в Грецию» Ричарда Чандлера); полную ссылку см. на с. 530.

3 *Слова были повсюду; облака — но без Юноны.* — Намек на миф об Иксионе, который, пируя с богами, заигрывал с Герой (лат. Юнона): тогда Зевс создал облако в облике Геры. Этот миф впервые встречается у Пиндара (Pyth., 2, 21—80). Ф. Цинкернагель считал иепосредственным источником статью Шиллера «О грации и достоинстве», которую Гёльдерлин прочел весной 1794 г. Ср.: «Как только мы заметим, что грация притворна (erkünstelt ist), наше сердце внезапно закрывается и отшатывается стремившаяся ей навстречу душа. Мы видим, что дух вдруг обернулся материей, а небесная Юнона — облачным образом» (*Zinkerna-*

gel F. Die Entwicklungsgeschichte von Hölderlins Hyperion. Straßburg, 1907. S. 55—56). Но есть и другой источник, тоже наверняка известный Гёльдерлину: «Агид и Клеомен» в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха. Ср.: «1. Вполне разумно и основательно предполагают некоторые, будто миф о том, как Иксион сочетался с облаком, приняв его за Геру, и как от этой связи родились кентавры, придуман в поучение честолюбцам. Ведь и честолюбцы, лаская славу, то есть некое подобие или призрак доблести, никогда не следуют истине, единой, строго согласной с собою, но совершают много неверных, как бы стоящих между злом и добром поступков и, одержимые то одним, то другим стремлением, служат зависти и прочим страстям...» (*Плутарх.* Сравнительные жизнеописания: В 3 т. М.: Наука, 1964. Т. III. С. 75). Следующая фраза «Фрагмента» («Как смертельно ненавижу я их...») также подтверждает эту связь. Таким образом, уже с самого начала заявлено две темы: тема любви и тема политики.

4 *Мой Беллармин!* — Появление этого имени сразу же вслед за именем Игнатия Лойолы заставляет думать о кардинале Роберте Беллармине (1542—1621), труды которого (особенно его «Disputationes de contraversiis christianae fidei») фигурировали в списках тем для студенческих работ в Тюбингене с давних пор и вплоть до наших дней. Его Автобиография («Venerabilis Roberti Bellarmini S. R. E. Cardinalis Vita, quam ipsemat scripsit anno aetatis suae LXXI») также могла быть известна Гёльдерлину: ее перевод на немецкий был опубликован в «Sammlung der neuesten Schriften, welche die Jesuiten in Portugal betreffen» (Frankfurt; Leipzig, 1762. Bd. 4. S. 48—70). При чтении начала этой автобиографии поражает явный параллелизм некоторых обстоятельств внутренней и внешней жизни Беллармина с жизнью самого Гёльдерлина. «N. (он пишет о себе в 3-м лице.—*Н. Б.*) родился 4 октября 1542 года. Его родители были набожные люди, особенно его мать, которая звалась Цинтией и была сестрой папы Марцелла II 〈...〉.

Она питала теплые чувства к Обществу [иезуитов] и желала, чтобы все ее пять сыновей стали его членами. 〈...〉. Очень рано она приучила их к исповеди, к посещению мессы, к молитве и к прочим духовным упражнениям.

Еще в раннем детстве, я думаю лет с пяти-шести. N. любил произносить проповеди 〈...〉. В юности он полюбил искусство поэзии, и порой случалось, что большая часть ночи проходила у него за чтением Вергилия, которого он изучил так хорошо, что впоследствии, когда он сам начал писать стихи гекзаметром, он не употреблял ни одного слова, которого не было у Вергилия.

Юношей, я думаю на шестнадцатом году, N. произнес проповедь, или слово ободрения, в страстной четверг в самом почтенном братстве города 〈...〉. В ту же пору он с легкостью научился петь и играть на различных музыкальных инструментах. 〈...〉

〈...〉 и однажды он начал серьезно размышлять о том, как бы достичь ему истинного спокойствия души 〈...〉.

В Римской коллегии он пробыл три года, где изучал логику и философию 〈...〉 и все три года болел — в первый год он страдал сильной сонливостью, в первый и второй — постоянными головными болями, в третий стали думать, что у него чахотка 〈...〉.

В 1563 году он был послан во Флоренцию для преподавания гуманитарных наук. Там его здоровье начало поправляться. Он обучал молодых людей в школах, прилагая все свои усилия, но примешивал к этому философские вопросы, чтобы приобрести авторитет, и летом прочел лекцию по астрономии и трактат о неподвижных звездах, а в кафедральном соборе держал две речи по-латыни. По большим праздникам он писал стихи 〈...〉.

Во время пребывания во Флоренции N. вместе с патером Марком совершил паломничество в Камальдоли, Овернь и Вальямброзу 〈...〉.

Во Флоренции N. пробыл только год и один месяц, после чего был послан в Мондови 〈в Пье-

монт⟩. При этом путешествии испытал он многие опасности для тела и души ⟨...⟩» (цит. по кн.: Die Selbstbiographie des Cardinals Bellarmin, lateinisch und deutsch mit geschichtlichen Erläuterungen. Hrsg. von Joh. Jos. Ign. von Döllinger und Fr. Heinrich Reusch. Bonn, 1887,— где параллельно дается латинский оригинал и немецкий перевод). Так что мысль, высказанная в самом начале «Фрагмента» («Эксцентрический путь... всегда один и тот же»), находит подтверждение в Автобиографии и могла возникнуть в результате знакомства с нею. Поэтому же возможно, то имя *Беллармин* выбрано Гёльдерлином не просто как благозвучное, но и как внутренне связанное с исторической личностью. Отсюда же понятно, почему герой «Фрагмента» встречает его «на развалинах древнего Рима» (в окончательном варианте — в Германии, и даже называет его немцем).

5 *...к приветливому морю Смирны...*— Новая Смирна (совр. Измир) была основана Александром Македонским в знак глубокого почитания памяти Гомера: во исполнение какого-то предсказания он решил восстановить родину поэта. Город был основан на базе крепости и окрестных деревушек, частично на склонах горы Пагус, частично на равнине, ограниченной морем. По Страбону, Смирна находится примерно в трех четвертях часа пути от своего первоначального места. После смерти Александра Смирна была провозглашена столицей Ионии. Когда Греция стала римской провинцией, многие римские императоры заботились о ее украшении, и долгое время Смирна считалась прекраснейшим городом в мире, а его жители образцовыми в своих нравах и образовании. Еще в правление императора Адриана (76—138) в школах Смирны обучались юноши с многочислённых островов Архипелага и из континентальной Греции. Эти сведения сообщаются в изданиях XVIII—XIX вв. (например, цитируемый «Журналь де Смирн», 1833 г.).

6 *...в сад Горгонды Нотары.*—Имя Горгонды Нотары заимствовано из книги Чандлера. Это одно из не-

многих имен романа, носящих не условный, а реальный характер (см. полную цитату в примеч. 2 на с. 617).

[7] *Мелите, о Мелите!* — Имя встречается в античной литературе (ср.: Илиада, XVIII, 42). В книге Чандлера на карте Афин им обозначен один из районов города. Кроме того, так назывался остров Мальта (лат. Ме́лита, греч. Мели́те), что зафиксировано не только в словаре Хюбнера, но и в Новом завете (Деяния апостолов, 28), на Мелите зимовал высоко чтимый Гёльдерлином апостол Павел; если Гёльдерлин читал библию по-гречески (что весьма вероятно), то ударение в имени героини «Фрагмента» должно соответствовать греческому. Имя Мелите у Гёльдерлина может служить косвенным доказательством знакомства его с Шекспиром, в частности с «Гамлетом»: ведь имя *Офелия* тоже географическое название — это название графства в Ирландии (1599 г.). Ср.: *Hauff G.* Shakespeares Hamlet, Prinz von Dänemark. Hamburg, 1891. Выбор этого имени мог быть подкреплен, помимо благозвучности и этимологии, еще одним обстоятельством: как раз в 1792 г., к которому относится первый замысел романа, французские газеты извещают о спектакле итальянского театра «Мелита, или Сила природы».

[8] *...в какой-нибудь период вечно текущего бытия...* — отголосок чтения Платона (см.: «Федр», 249).

[9] *...ко всему, что было с ней рядом!* — Описание Мелите находит аналог в народной греческой лирике — в двустишиях, известных вплоть до наших дней. Например:

> Когда ты идешь по земле, то украшаешь поля, доставляешь радость птицам, заставляешь цвести цветы.

(Цит. по: *Дмитриевский А.*) Патмосские очерки. Киев, 1894. С. 253).

[10] *...на брегах Пактола, в уединенной долине Тмола...* — Тмол — горный хребет в Малой Азии, откуда берет начало Пактол, река, известная в древности золотоносным песком.

[11] *о... Сапфо и Алкее, и Анакреоне...* — Сапфо и Ал-

кей были родом с Лесбоса, Анакреон — из Теоса, порта к юго-западу от Смирны.

12 *...на берегу Мелеса...* — По поводу Мелеса «Журналь де Смирн» писал в статье, посвященной городу, в 1833 г.: «Ручей Мелес, который все наше уважение к роли поэзии не может заставить нас назвать рекой...». Ср. далее об Илисе, примеч. 21 на с. 680.

13 *Павсаний* — греческий писатель из Малой Азии (ок. 175 г. н. э.), автор описания Греции в 10 книгах. Цитаты из него обильно приводят все путешественники, в частности Чандлер, Спон и Уилер и др. Гёльдерлин, судя по всему, здесь опирался не на оригинал.

14 *...о Диоскурах...* — См. примеч. 5 на с. 619.

15 *...об Ахилле и Патрокле...* — Ср.: «Как говорит Филострат (II—III вв. до н. э.), Аякс так обратился к Ахиллу:

— Какой из твоих подвигов более всего заставил тебя забыть об опасности?

— Тот, — ответствовал он, — который я совершил во имя друга.

— А какой, — сказал Аякс, — дался тебе легче всего?

— Тот же самый, — был ответ Ахилла.

— А из твоих ран какая заставила тебя всего более страдать?

— Та, что нанес мне Гектор.

— Гектор? Я не знал, что он нанес тебе рану.

— Он ранил меня смертельно: он убил моего Патрокла» (Auszüge aus den besten Schriftstellern der Franzosen. Leipzig, 1791. T. II, 2. S. 349. — Книга весьма известная в свое время).

16 *...где лежали развалины Смирненской крепости...* — «Из всех древностей, составляющих предмет восхищения прошедших столетий, Смирна сейчас имеет только цитадель, построенную герцогом Иоанном (конец XI — нач. XII в. — *Н. Б.*), которая занимает на вершине Пагуса место древнего акрополя или храма, посвященного Юпитеру Вышнему Еще сегодня можно видеть над западными воротами, при входе направо, бюст амазонки Смирны,

согласно одним археологам, или Аполлона, согласно другим. На прекрасном северном портике можно еще различить двух орлов и не поддающиеся расшифровке следы надписи в честь герцога Иоанна и его супруги. В черте акрополя существует церковь, которая, как полагают, была посвящена святым апостолам, а сейчас — просто заброшенная мечеть; наконец, рядом с этим маленьким храмом находится древний и весьма обширный подземный резервуар, опирающийся на шесть больших арок по длине и на пять по ширине. По всей вероятности, этот резервуар предназначался для наполнения водой для нужд войск, защищавших цитадель» (Notice sur la ville de Smyrne // Journal de Smyrne. 1833. P. 10—11).

17 *Пирго в Морее.*— Пиргос лежит к западу от Олимпии. Мореей со времен средневековья называют Пелопоннес (по некоторым источникам, название дали переселившиеся сюда славяне — от слова *море*). В книге «История полуострова Мореи в средние века» Фальмерайера в главе 5 есть такое замечание: «Что полуостров Пелопоннес в настоящее время носит это старое наименование только среди европейских ученых, а у местных жителей уже более тысячи лет называется Мореей, в общем можно считать известным» (Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters: Ein historischer Versuch von prof. J. Phil. Fallmerayer. Stuttgart; Tübingen, 1830. T. 1. S. 240).

18 *...но не для меня.*— Ср. патмосское двустишие:

> Я запутался в ветвях кустарника, в сетях любви, и уже не в состоянии различить дня от ночи.
>
> (*Дмитриевский А.* Указ. соч. С. 255).

19 *Коракс* — горный кряж к югу от Смирны.

20 *«Аякс-Мастигофорос»* — «Аякс-биченосец», трагедия Софокла. Герой Аякс, оскорбленный присуждением доспехов погибшего Ахилла Одиссею, хочет расправиться с греками, но Афина насылает на него безумие, и он нападает на стадо быков. Искупить позор он может только смертью — на берегу моря он бросается на свой меч. Гёльдерлин упо-

требляет латинизированную форму имени *Айас* (другой вариант: *Аянт*).

21 *...ее гений остерег ее передо мной.*— Понятие гения (или демона, δαιμονιον) как внутреннего голоса, живущего в человеке, восходит к Сократу. В «Путешествии юного Анахарсиса» об этом рассказывается так:

«Беседуя с ними, он часто рассказывал им о гении, сопровождавшем его с детства (Plat. in Theag T. 1. P. 128 — *Н. Б.*), воздействие которого никогда не подвигало его на какое-либо предприятие, но часто останавливало его в момент осуществления. Если его спрашивали о прожекте, исход которого был гибелен, тайный голос подавал знак, если же дело должно было преуспеть, он хранил молчание» (Т. 5. Р. 302).

В христианские времена эта роль перешла к ангелу-хранителю.

22 *Все это как мечом пронзило мне душу.*— Ср.: «И тебе самой оружие пройдет душу» (слова Симеона деве Марии — Лк 2,35); однако здесь фразеологизму как бы возвращается изначальный, дохристианский смысл (ср. выше о смерти Аякса).

23 *...напрасно искать мира вне себя, если ты сам не можешь дать его себе.*— Эта мысль была прекрасно выражена Шамфором в словах, которые через полвека после его смерти Шопенгауэр поставит эпиграфом к своим «Афоризмам житейской мудрости»: «Счастье — нелегкое дело: его очень трудно найти в нас самих и невозможно найти ни в каком другом месте». Однако еще лучше сказал это Марк Аврелий: «И ищут себе люди места, куда бы удалиться: в деревню, или на море, или в горы. И ты тоже порой тоскуешь по тем же местам. И все же все эти желания в высшей степени наивны, ведь в любое время, если угодно, мы можем удалиться в самих себя. Ибо ни в каком другом месте не находит человек большего покоя и большей тишины, нежели в своей собственной душе, и прежде всего тот, кто имеет в себе такую душевную глубину, что, как только он в нее погрузится, сразу же обретает совершенный покой. Под «по-

косм» же я понимаю не что иное, как совершенную гармонию. Поэтому постоянно ищи в себе это убежище и обновляй сам себя» («Разговоры наедине», IV, 3). Среди книг Гёльдерлина в Нюртингене сохранилось лейпцигское издание 1775 г. (Marci Antonini Philosophi Commentarii), которое он мог читать, еще учась в Маульбронне.

Удалиться в самих себя. εἰσ ἑαυτὸν ἀναχωρεῖν. Так появляется глагол anahoreo, который в окончательной редакции романа выльется во вторую половину его названия: *Гиперион, или Отшельник в Греции*. Наверное, Eremit оригинала было бы правильней перевести как «анахорет». Ведь даже «Онегин жил анахоретом».

24 *...юношей с острова Тинé.*— Остров Тинé (итальянский вариант названия, греч. Тенос) не был под властью турок. Спон и Уилер, посетившие его в 1676 г., пишут: «Наконец мы прибыли на Тенос, в настоящее время называемый Тине, последний из островов, которыми венецианцы владеют в Леванте» (Op. cit. P. 168). Шуазёль-Гуффье также называет остров Тине. Следует заметить, что некоторые комментаторы считают форму слова искажением исходного Тенос Гёльдерлином. Выбор Гёльдерлином острова Тине (который в окончательном варианте романа станет родиной Гипериона), возможно, связан с его особым положением, о котором пишет, например, Герцберг в «Истории Греции»: «В то время как экономическое положение и культура Ионических островов, находившихся под непосредственной властью Венеции, в последние десятилетия XVIII века обнаруживают определенный застой, что выражалось самым неприятным образом в грубости и актах насилия среди низших слоев населения, остров Тинос в Эгейском море, в течение столетий мягко и гибко управляемый Республикой, неизменно считался самым благоустроенным и процветающим среди многих греческих островов, когда-либо находившихся в руках итальянцев. Только Хиос имел в те времена еще более высокий статус, хотя бремя податей на острове с 1727 года вновь существенно

возросло. Не говоря уже о расцвете его сельского хозяйства, его промышленности, культуры и торговли, это в особенности относится также к моральному характеру и образованию греков-*хиотов*, которые в самом деле не без оснований считались в ту эпоху самыми просвещенными, самыми честными и достойными из греков, рядом с которыми могли быть поставлены только прилежные, вежливые и порядочные греки с Тиноса» (*Hertzberg G. F.* Geschichte Griechenlands seit dem Absterben des antiken Lebens bis zur Gegenwart. Gotha, 1876—1879. Bd. 3. S. 208).

25 *Эолийское побережье* — название связано с древним племенем эолийцев, живших в этих местах.

26 *Адамас* — имя Адамаса Гёльдерлин почерпнул из книги Шуазёля-Гуффье, второго главного источника романа: *Choiseul-Gouffier.* Voyage pittoresque de la Grèce. P., 1782. В пояснении к гравюре на вклейке № 34 автор пишет: «Я велел сделать гравюру с пещерой, образующей вход в один из этих карьеров. На ней виден античный барельеф, выбитый на глыбе мрамора; это нечто вроде вакханалии: можно различить нимф, танцующих вокруг то ли Вакха, то ли Силена. Исполнение и композиция этого куска одинаково дурны, и красавицы Пароса, которым он посвящен, вряд ли были польщены этим приношением; ниже надпись:

ΑΔΑΜΑΣ, ΟΔΡΥΣΗΣ, ΝΥΜΦΑΙ.

„Адамас, Одрисес — нимфам [этих мест]“». В окончательной редакции «Гипериона» автор перенес имя Адамаса на своего учителя, наименовав своего друга Алабандой.

27 *...столько городов спорят о чести быть родиной Гомера.*— В антологии Плануда (1260—1310), напечатанной в 1494 г. во Флоренции, есть следующая эпиграмма:

Семь городов, пререкаясь, зовутся отчизной Гомера:
Смирна, Хиос, Колофон, Пилос, Аргос, Итака, Афины.

(*Перевод Л. Блуменау*)

28 *...к бессмертию Мэонида!* — Гомер, как уроженец Мэонии, назывался Мэонидом.

29 *...бросился на землю и громко плакал.* — В комментариях к этому месту часто указывают на параллель с Ахиллом в «Илиаде» Гомера. Действительно, есть основания считать, что Гёльдерлин в какой-то мере отождествлял себя с этим героем. Сохранились два фрагмента из «Писем о Гомере» для планировавшегося им в 1798—1799 гг. издания журнала «Идуна».

(1) «Я рад, что ты заговорил об Ахилле. Это мой любимец среди героев, сильный и нежный, самый удачный и самый бренный цветок мира героев, «на краткое время рожденный», как говорит Гомер, именно потому, что он так прекрасен. Мне даже часто кажется, что поэт лишь потому так мало разрешает ему явиться в действии, и, в то время как другие буйствуют, герой сидит в своем шатре, чтобы насколько только возможно меньше профанировать его в этой свалке перед Троей. Об Улиссе он может рассказать кучу всего. Этот — мешок разменной монеты, которую надо долго пересчитывать; с золотом же можно покончить быстро».

(2) «В особенности же я люблю и восхищаюсь этим поэтом из поэтов за его Ахилла. Поразительно, с какой любовью и с каким умом провидел, и удержал, и воспел он эту фигуру. Возьми почтенных мужей Агамемнона, и Улисса, и Нестора со всей их мудростью и безумием, возьми буяна Диомеда, безумствующего в ослеплении Аякса, и поставь их против этого гениального, всемогущего, нежно-меланхолического сына бога, Ахилла, против этого enfant gâté природы, и посмотри, как поэт ставит его, этого юношу с силой льва, умом и грацией, в центр между старческой мудростью и грубостью, и ты увидишь в характере Ахилла чудо искусства. В прекраснейшем контрасте находится этот юноша с Гектором, благородным, верным, благочестивым мужем, который становится героем из чувства долга и своей чуткой совести, в то время как другой — по велению своей щедрой, пре-

красной натуры. Они настолько же противоположны, насколько родственны друг другу, а это делает еще более трагичным конец, когда Ахилл должен выступить смертельным врагом Гектора. Приветливый Патрокл так естественно становится другом Ахилла и так хорошо гармонирует со строптивым.

Мы видим, как высоко ценил Гомер своего героя. Критики часто удивлялись, почему Гомер, желавший воспеть гнев Ахилла, почти совсем не выводит его на сцену. А он не хотел профанировать юношу в свалке перед Троей.

Идеальное не должно было явиться как обыденное. И он действительно не мог воспеть его прекрасней и нежней, чем заставив его отступить на задний план (ибо этот юноша в своей гениальной натуре чувствовал себя — сам безмерный — безмерно униженным чванным Агамемноном), так что вечные потери греков с того дня, когда в войске недосчитались этого единственного, напоминают об его превосходстве над всей этой роскошной толпой господ и слуг, а редкие моменты, в которые поэт позволяет ему явиться перед нами, еще более подчеркиваются его отсутствием. И сии моменты обрисованы с чудесной силой, и юноша выступает попеременно то как скорбящий, то как отмститель, то неизреченно трогательный, то вновь гневно-грозящий, пока наконец, когда его страдания и его гнев достигают апогея, после ужасного взрыва, стихия не угомонится и сын бога, незадолго перед смертью, которую он предчувствует, примирится со всеми, даже со старым отцом [Гектора] Приамом.

Эта последняя сцена божественна — в контрасте с тем, что ей предшествовало».

Но образ Ахилла вовсе не однозначен в сознании поэта. В последнем из законченных им стихотворений — «Мнемозина», 1803 г.— Ахилл — это умерший друг. Первые слова гимна, написанные посередине листа бумаги и позднее обозначившие

начало третьей строфы, были:

Am Feigenbaum
Ist mir Achilles gestorben

Под смоковницей
умер мой Ахиллес.

30 *...поклониться от нее берегам Скамандра, Иде и всей старой троянской земле.*— Скамандр — река, Ида — горы в северо-западной части Малой Азии, где лежала древняя Троя.

31 *...что я слышу жрицу в Додоне.*— В «Путешествии юного Анахарсиса», которое несомненно знал Гёльдерлин, в томе 3-м есть следующее описание: «В одном из северных районов лежит город Додона. Именно здесь находится храм Юпитера и оракул, самый древний в Греции (Геродот, кн. 2, гл. 52). Он существовал с той поры, когда жители этих пределов имели лишь самую смутную идею божества, однако уже обращали беспокойные взоры в будущее, ибо ведь правда, что желание узнать его есть одна из древнейших болезней духа человеческого и одна из наиболее пагубных. Добавлю, что есть и другая, не менее древняя у греков: они объясняют сверхъестественными причинами не только явления природы, но и обычаи или установления, происхождение коих им не известно. Если удосужиться проследить все цепочки их традиций, то увидишь, что они все упираются в чудеса. Чтобы основать оракул в Додоне, им тоже требовалось чудо, и вот как об этом рассказывают жрицы храма (Там же. Гл. 55).

Однажды две черные голубки улетели из города Фивы, что в Египте, и прилетели одна в Ливию, другая в Додону. Эта последняя, усевшись на дуб, произнесла внятным голосом следующие слова: «Воздвигните в сих местах оракул в честь Юпитера». Другая голубка предписала то же самое жителям Ливии, и обе они почитаемы как посланницы, возвестившие волю богов. Сколь бы абсурдным ни представлялся нам этот рассказ, он, кажется, имеет реальную основу. Египетские жрецы утверждают, что некогда две жрицы отправились от них в Ливию и Додону, чтобы передать их

священные обряды, а на языке древних народов Эпира одним словом обозначали голубку и старую женщину (см., напр., Страбон)» (С. 252—253). «Свои тайны боги сообщали жрицам этого храма разными способами. Иногда эти жрицы идут в священный лес, и садятся у вещего дуба, и слушают — то шепот его листвы, оживляемой зефиром, то стон ветвей, ломаемых бурей. Другой раз, остановившись у ручья, ключом выбивающегося у подножия дерева, они слушают немолчный говор его бегущих волн» (Там же. С. 254—255).

Эти отрывки, где говорится именно о жрицах, должны снять сомнения некоторых комментаторов, утверждавших, что «толкования в Додоне давались прорицателями, а роль жриц неясна».

32 *...о том, что было, и есть, и будет...*— это место сопоставляют со стихом «Илиады» (I, 70), где говорится о Калхасе: «Мудрый, ведал он все, что минуло, что есть и что будет».

33 *Мирты* — в Большом Штутгартском издании Р. Байснер правит Myrten на Mythen («мифы»), считая Myrten опечаткой.

34 *Кастри у Парнаса* — эта деревня была построена на склоне Парнаса на развалинах древних Дельф (в юго-западной Фокиде) с храмом, посвященным Аполлону, и оракулом (VI в. до н. э.). Сейчас ее там нет: с началом раскопок деревню перенесли.

35 *...среди могильников, быть может насыпанных Ахиллу и Патроклу, и Антилоху...*— Ср.: Одиссея, XXIV, 71—84.

36 *...и Аяксу Теламону...*— Здесь Аякс назван по имени своего отца, царя Саламина. См. примеч. 20 выше (Аякс-Мастигофорос).

37 *...через Тенедос и Лесбос.*— Эти острова тоже связаны с историей Троянской войны: за Тенедосом укрывались греческие корабли, когда к воротам Трои подвели «троянского коня», через Тенедос и Лесбос возвращались герои после победы домой.

38 *Инбат* (новогреч. 'εμβάτης или μπάτης — морской бриз) — это экзотическое название Гёльдерлин почерпнул у Чандлера, где оно упоминается неоднократно. Это западный ветер, в жаркое время года регулярно дующий в течение дня, а к ночи сме-

няющийся береговым. Характерный пример у Чандлера: «Мы заметили и здесь [у Миоса], как и подле Смирны, инбат, ветерок, который сначала легонько скользит над гладкой поверхностью моря, потом поднимается, среди дня усиливается, вздымает волны и гонит их друг за другом к берегу» (*Chandler R.* Reisen in Kleinasien. Leipzig, 1776. S. 238).

39 *На Кифероне* — Киферон — горы на границе Аттики и Беотии.

[ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот текст был обнаружен в бумагах брата поэта Карла Гока после его смерти и опубликован К. Виетором в мартовской книжке журнала «Швебишер Бунд» в 1920 г. К. Виетор относит его ко второй половине 1796 г., Г. Мит указывает как самую раннюю границу конец 1795 г. (SWuB. Bd. I. S. 1097).

1 *...на прекрасных островах Архипелага...* — Под Архипелагом, в соответствии с обиходом времени, Гёльдерлин понимает не группу островов, а море, где они находятся. Таково было в XVIII в. значение слова и во французском языке, а в испанском сохраняется и по сей день. Немецкий лексикон Хюбнера 1789 г. дает следующее определение: «*Архипелаг*, так зовется часть моря, где лежат многие острова и островки; однако не все участки моря, густо набитые островами, так называют. В особенности же под Архипелагом подразумевается Эгейское море, каковое на западе ограничено берегами Мореи, Греции и Македонии, на востоке — Анатолией, а на юге — Кандией. Бо́льшая часть островов, находящихся в этом архипелаге, томится под турецким игом. Это имя относят также к некоторым другим местам в морях» (Hübners Zeitungs- und Konversations Lexicon, 1789; экземпляр этого словаря сохранился в книгах поэта). Даль, толкуя слово вообще как «купу островов», добавляет: «*Имя собств.* восточная,

островная часть Средиземного моря». Происхождение слова неясно.

[2] *Но надобно придти соблазнам.*— Цитата из Евангелия от Матфея (18,7): «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам, но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит».

[3] Ἓν καὶ πᾶν — Одно и Всё (греч.). Приведем комментарий Гюнтера Мита:

«Одно и Всё: Одно (Бог) тождественно Всему (Миру). Фридрих Генрих Якоби в своем сочинении «Об учении Спинозы в письмах к г-ну Мозесу Мендельсону» (1785) сообщает о признании учения Спинозы Лессингом: «Ортодоксальные понятия божества для меня уже ничего не значат; они для меня чужеродны (Ich kann sie nicht genießen). Ἓν καὶ πᾶν Только это я и знаю!». Судя по этой публикации, из которой Гёльдерлин делал выписки, данная формула концентрирует в себе мировоззрение пантеизма. Живой интерес Гёльдерлина к спорам о пантеизме доказывается также тем, что он располагал и ответом Мендельсона: «Мозес Мендельсон — к друзьям Лессинга» (1786). Насколько эта формула обнаруживает скрытые мировоззренческие связи, подтверждается появлением этого символа в альбоме Гегеля под записью, сделанной Гёльдерлином 12 февраля 1791 г.; весьма вероятно, что он написан самим Гегелем. У самого Спинозы эта формула не встречается. Что касается ее смысла, то он отмечен уже в греческой досократовской философии. Может быть, она восходит к Лессингу.— Пантеистические и досократовские идеи были знакомы Гёльдерлину также из романа Вильгельма Гейнзе «Ардингелло, или Острова блаженных» (1787), к которому восходит его эпиграф к «Гимну богине Гармонии». В период работы над «Ардингелло» Гейнзе жил в Дюссельдорфе в гостях у Якоби, который именно тогда создавал свой труд о Спинозе. После «Гипериона» формула «Одно и Всё» еще раз возникает в том же виде у Гёльдерлина, и вновь в связи с Гейнзе, с которым он лично познакомился в 1796 г.,— в посвященной ему

элегии „Хлеб и вино"» (SWuB. Bd. I. S. 1116—1117).

4 *...высший мир, который превыше всякого разума...*— Ср. послание апостола Павла к филиппийцам (4, 7): «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе»; *высший мир* — в оригинале den Frieden alles Friedens, то есть «мир всякого мира», что невозможно передать из-за полной омонимии слов *мир* «покой» и *мир* «свет» в русском языке; *всякого разума* — всякого ума: в оригинале Vernunft, так же как в тексте, переведенном Лютером.

5 *...определенная линия...*— асимптота — прямая, которая бесконечно приближается к гиперболе, кривой, но никогда не достигает ее. Ср. в связи с этим письмо к Шиллеру от 4 сентября 1795 г. (№ 104) и к Нитхаммеру от 24 февраля 1796 г. (№ 117). Об этом же говорит Гемстергёйс в работе 1770 г. «Письмо о желаниях» («Lettre sur les desirs») и Гердер в статье «О любви и эгоизме» (1781); Гёльдерлин хорошо знал обе работы (см. примеч. 26 на с. 682).

ГИПЕРИОН, ИЛИ ОТШЕЛЬНИК В ГРЕЦИИ

ТОМ ПЕРВЫЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

1 *...когда бы стоял здесь тысячелетием раньше!* — Этот срок: тысяча лет — никак не связан с историей Греции. По Платону (см.: «Федр», 249 B), бессмертная душа может выбрать себе новую земную жизнь через тысячу лет после первой. Город Коринф процветал уже в VIII—VII вв. до н. э., т. е. за 2500 лет до времени действия романа. В VIII же веке нашей эры герой попадал бы в византийскую эпоху, в период ожесточенной борьбы светской и духовной власти, «иконоборчества», что вряд ли приходило в голову автору. Не

исключено, что этот пассаж возник в результате чтения словаря Хюбнера, где о Коринфе говорится: *Corintho*, или *Coranto*, турецкое *Gereme*, лат. *Corinthus*, город в Морее, что лежит перед перешейком (истмом), который получил от него свое имя. С давних пор он был одним из красивейших городов Греции, преукрашен роскошнейшими зданиями, из коих в строительном искусстве знаменит прекрасный коринфский ордер в капителях колонн и *Aes Corinthiacum*. Ныне же город сей более походит на деревню, стены его развалились и жителей совсем мало.

2 *Между райской равниной Сикиона и величаво пустынными Геликоном и Парнасом...*— Ср. у Чандлера: «Мы продолжали наше путешествие, и вот впереди показался Коринфский залив, слева же от нас лежала равнина, покрытая виноградниками и оливковыми рощами. На плодородие этой области было указано проницательным оракулом, который в ответ на вопрос человека, что нужно сделать, чтобы разбогатеть, сказал, что ему надо только получить всю землю между Коринфом и Сикионом. Мы достигли Истма и к вечеру вошли в город. Мы были гостеприимно приняты в доме грека по имени Горгонда Нотара, баратария, то есть персоны, находящейся под покровительством английского посла в Константинополе» (*Chandler R.* Travels in Greece. Oxford, 1776. P. 234).

«Геликон был одной из самых плодородных и лесистых гор в Греции. Необыкновенно сладки были на ней плоды адрахнуса, разновидности земляничного дерева; и жители утверждали, что и растения, и корни были весьма дружелюбны к людям; что даже у змей яд более слабый под воздействием их пищи. Он примыкает к Парнасу с северной стороны, там, где он соприкасается с Фокидой, и весьма походит на эту гору в возвышенности, протяженности и величии.

Геликоном владели Музы. Там была их тенистая роща и их изображения; статуи Аполлона и Вакха, Лина и Орфея, и знаменитых поэтов, декламировавших свои стихи под звуки лиры ⟨...⟩

Здесь происходили празднества феспийцев, с играми, называвшимися *Мусеа*. Долины Геликона описаны у Уилера как зеленые и цветущие весной и оживляемые прелестными водопадами и потоками, и ключами, и колодцами чистой воды» (P. 258).

«Теперь мы отправились ⟨...⟩ в Кастри, или Дельфы. Этот город был на южном склоне Парнаса, с крутой горой, называемой Сирфис, перед ним, и рекой, называемой Плейстус, протекающей через рощу под ним» (P. 259).

В книге Чандлера нет иллюстраций, как у Шуазёля-Гуффье, но есть карты.

3 *...веселые корабли, исчезавшие за горизонтом.*— Гёльдерлин впервые увидел море лишь в 1802 г., во Франции. Аналогом моря в его мировосприятии был, по-видимому, могучий Рейн, одно из самых сильных впечатлений его юности (ср. письмо № 23, написанное в июле 1788 г.).

4 *И когда я, бывало, лежал среди цветов, согретый ласковым весенним солнцем...*— Этот абзац исследователи сопоставляют с письмом от 10 мая из первой части «Страданий молодого Вертера» Гёте:

«10 мая

Душа моя озарена неземной радостью, как эти чудесные весенние утра, которыми я наслаждаюсь от всего сердца. Я совсем один и блаженствую в здешнем краю, словно созданном для таких, как я. Я так счастлив, мой друг, так упоен ощущением покоя, что искусство мое страдает от этого. Ни одного штриха не мог бы я сделать, а никогда я не был таким большим художником, как в эти минуты. Когда от милой моей долины поднимается пар и полдневное солнце стоит над непроницаемой чащей темного леса и лишь редкий луч проскальзывает в его святая святых, а я лежу в высокой траве у быстрого ручья и, прильнув к земле, вижу тысячи всевозможных былинок и чувствую, как близок моему сердцу крошечный мирок, что снует между стебельками, эти неисчислимые, непостижимые разновидности червяков и мошек,

и чувствую близость всемогущего, создавшего нас по своему подобию, веяние вселюбящего, судившего нам парить в вечном блаженстве, когда взор мой туманится и все вокруг меня и небо надо мной запечатлены в моей душе, точно образ возлюбленной,— тогда, дорогой друг, меня часто томит мысль: „Ах! Как бы выразить, как бы вдохнуть в рисунок то, что так полно, так трепетно живет во мне, дать отражение моей души, как душа моя — отражение предвечного бога!“. Друг мой... Но нет! Мне не под силу это, меня подавляет величие этих явлений».

5 *...когда мирно всходила вечерняя звезда вместе с древними Близнецами...— вечерняя звезда* — Венера; *Близнецы*, то же, что Диоскуры,— зодиакальное созвездие, где главные звезды, Кастор и Поллукс, получили имена мифологических героев, сыновей Леды. Полидевк (лат. Поллукс), сын Зевса, не захотел пользоваться бессмертием, если его брат Кастор, рожденный от смертного (царя Тиндарея), обречен сойти в Аид; тогда Зевс разрешил разделить бессмертие сына так, что оба брата вместе находятся то в чертогах богов, то в подземном царстве.

6 *...и другими героями...*— Следует иметь в виду, что к героям в древнегреческом мире относились не только мифические воители полубожественного происхождения, но и люди — основатели городов, государственные деятели, воины, павшие на войне, основатели философских школ, поэты, все те, к кому можно было взывать о помощи в трудную минуту. (Институт героев имеет аналогию в христианском институте святых).

7 *...кого я называл творцом неба и земли...*— ясное указание на то, что имеется в виду христианский бог. Делая своего героя атеистом, Гёльдерлин следует за Шеллингом. Однако показательно, что герой обращается к тому, чье существование отрицает.

8 *...Платон и его Стелла?* — Гёльдерлин имеет в виду неизвестного нам юношу, которого Платон в своих эпиграммах называет Астер («звезда, све-

тило»); *Стелла* — латинский перевод греческого слова.

Взором ты звезды следишь, о Звезда моя!
Быть бы мне небом,
Чтоб мириадами звезд мог я смотреть на тебя.
(*Перевод Ф. Зелинского*)

9 *Прости мне, дух моего Адамаса...* — Об имени Адамаса см. примеч. 26 на с. 609; о прототипе героя мнений много. Думаю, нам не следует забывать, что первым человеком, вдохновившим Гёльдерлина на создание «Гипериона», был Штойдлин. Именно ему посвящена ода «Греция». Однако какие-то черты Шиллера тоже здесь присутствуют.

10 *...как тени минувшего...* — В оригинале Manen — духи умерших в римской мифологии; в эпоху цезарей души усопших были приравнены к богам и на могильных надгробиях писали: DM, т. е. Dis Manibus (дат. падеж от di manes).

11 *...взбирались на Афон...* — Здесь особенно заметна умозрительность путешествия, даже подкрепленного книгой Чандлера. От острова Тиноса, лежащего в 135 км (по прямой) к юго-востоку от Афин, до Афона — около 300 км (на север), оттуда до Геллеспонта (Дарданелл) — 165 км на восток, оттуда до Родоса — на юг, вдоль побережья Малой Азии — не менее 500, оттуда до Тенарума на запад 330 км (мыс Тенарон — крайняя южная точка Пелопоннеса); Эврот впадает в Лаконский залив Критского моря в 60 км от Тенарона; Элида и Олимпия лежат в западной части Пелопоннеса (от Тенарона по прямой около 200 и 160 км resp.), Немея — в восточной (165 км). Об иллюзорности говорят и употребленные автором наименования: Пелопоннес, а не Морея, Геллеспонт, а не Дарданеллы.

12 *...к колонне храма забытого Юпитера...* — речь идет о храме Юпитера в Немее. Чандлер, вышедший к Немее со стороны Коринфа, так описывает этот ландшафт:

«Горный проход Третус узок, горы поднимались с обеих сторон. Дорога ведет вдоль русла глубокой реки, в густых зарослях олеандров,

мирт и вечнозеленой растительности; вода прозрачна и неглубока ⟨...⟩. Мы свернули с дороги влево и вскоре по тропе, густо заросшей кустами, поднялись к бровке горы, где находятся пещеры в скалах, приют пастухов в зимнее время. В одной из них, возможно, было логово Немейского льва, как его показывали еще во II веке. С кромки горы над пещерами видны Науплия, Аргос и Акрокоринф. Мы спустились по другой стороне горы в длинную долину, и перед нами открылся вид на *Колонны*, или руины храма, рядом с котооыми в древности лежала деревня под названием Немея.

Храм Юпитера Немейского упоминается Павсанием как достопримечательный. Кровля тогда уже обрушилась и скульптурные изображения удалены. Вокруг храма была роща кипарисов. ⟨...⟩

Храм Юпитера принадлежал к дорическому ордеру и имел шесть колонн в фасаде. Сохранились только две колонны, поддерживающие архитрав, и несколько фрагментов. Руины оголены, и земля вокруг них была недавно вспахана. Мы поставили нашу палатку внутри целлы, на чистом и ровном месте. Кровля, видимо, была разобрана вскоре после того, как обрушилась». (Ibid. P. 231—233).

13 *...как Нестор.*— Нестор, сын Нелея, старший среди греческих героев Троянской войны, после окончания которой он благополучно возвратился на родину, в Пилос, названный позднее Наварино (Наварин), на юго-западе Пелопоннеса.

14 *...на вершинах Делоса... на гранитную стену Кинфа...*— По преданию, на Делосе разрешилась от бремени богиня Латона (Лето), преследуемая гневом Геры. Пустынный и голый остров носился тогда по волнам моря. Лишь только Латона вступила на остров, как из морской пучины поднялись столбы и остановили его на том месте, где стоит он и сейчас (неподалеку от Тиноса) и называется Микро-Дилос. Здесь родился от Латоны бог света Аполлон — и все кругом зацвело и засверкало: и гора Кинт, и долина, и море. На Делосе находилось и святилище Аполлона, не менее знамени-

тое, чем в Дельфах. В 425 г. до н. э. в Афинах постановили раз в четыре года праздновать здесь так называемые *Делии*, после чего на острове был наложен запрет на рождения и смерти; все могилы были перенесены на соседний остров Рению.

15 *...бессмертный титан...* — Гиперион, титан, сын Урана (неба) и Геи (земли), отец Гелиоса (солнца), Селены (луны) и Эос (утренней зари). Впоследствии это имя стало эпитетом его сына Гелиоса. Ударение в греческом — на втором -и-, у Гёльдерлина на -е-.

16 *Нио* — остров из группы Кикладских, к югу от Наксоса (совр. Иос), от Тиноса около 90 км. Этот остров также оспаривал право называться родиной Гомера.

17 *...на берегах Ахерона.* — В основе мифологического представления о подземной реке, за которой лежит царство мертвых и которую душа должна пересечь в челноке Харона, лежит реальная река Ахерон в Эпире, протекающая по болотистой местности и под землей и впадающая в Ионическое море. Ср. в «Путешествии юного Анахарсиса»: «Среди рек, орошающих его [Эпир], выделяют Ахерон, уходящий в болото того же имени, и Коцит, воды которого дурны на вкус» (Т. 3. Р. 250).

18 *...испытай все и выбери лучшее!* — Комментаторы указывают на аналогию в первом послании к фессалоникийцам апостола Павла: «Всё испытайте, хорошего держитесь! (V, 21). Однако это «выбери лучшее» скорее указывает на Марка Аврелия (в лейпцигском издании 1775 г. параллельно греческому дается латинский перевод: «Tu vero, inquam, quod praestantius est, id simpliciter et libere elegito eique strenue adhaerescito: praestat autem, quod prodest...» (III, 67).

19 *От Сардской равнины...* — Столица Лидийского царства Сарды, лежавшая у подножия Тмола, была разрушена в 499 г. до н. э.

20 *по утесам Тмола... в... волнах Пактола...* — См. примеч. 10 на с. 604.

21 *...древний храм Кибелы.* — Храм Кибелы был также разрушен в 499 г. до н. э.

22 *...повергнутый царственный портал.*— Это описание часто сравнивают с картинами художников-классицистов, например, Р. Гвардини упоминает Клода Лоррена (см.: *Guardini R.* Form und Sinn der Landschaft in den Dichtungen Hölderlins, 1944). Вольфганг Биндер называет его «lieblich-idyllisch, aber auch etwas Staffage und Ruinenromantik». («Значение и образ родины в творчестве Гёльдерлина», цит по: *Binder W.* Hölderlin-Aufsätze. Frankfurt a. M., 1970. S. 99).

23 *Передо мной, словно море...*— Вольфганг Биндер в работе «Значение и образ родины в творчестве Гёльдерлина» (1954) пишет в связи с этим: «Нетрудно догадаться, откуда это пришло [...]. Это вид с Альбранда вниз, на Вюртемберг. А если быть точным, то придется сказать, что в прорезанных ущельями горах, поднимающихся из моря позади Смирны, вряд ли найдется место, с которого можно увидеть широкую землю, раскинувшуюся у твоих ног, как море. Но не усмешку должно вызвать у нас это, а уважение к поэту, который из бедности своей внешней жизни добыл богатство жизни внутренней, поэтической» (цит. по: *Binder W.* Op. cit. S. 99). Там же, в сноске, Биндер замечает: «Продолжение рассказа, по-видимому, связано с воспоминаниями о Хохгебирге, которые Гёльдерлин увидел во время своего путешествия в Швейцарию в 1791 г., что отразилось в его элегии „Кантон Швиц"».

24 *...над лесами Сипила...*— О Сипиле статья в «Журналь де Смирн» (см. примеч. 16 на с. 605) информирует «С северо-восточной стороны города поднимается гора Сипил, по которой в древности Смирна называлась Сипилиной; этим же именем называли Кибелу, почитавшуюся смирнийцами, а также жителями Магнезии». Следует добавить, что гора Сипил, лежащая между Смирной и Магнезией, знаменита скальным рельефом, изображающим Великую Матерь Кибелу.

25 *Каистр* — река Каистр также берет начало в горах Тмола, но течет на юг.

26 *Мессогин* — горная цепь к юго-западу от Тмола.

27 *Мимас* — горы на полуострове к западу от Смирны.

28 *...двое караборнийских разбойников...* — от названия местности Караборну (совр. Карабурун) на полуострове к западу от Смирны.

29 *Алабанда* — имя друга — географическое название, древний город в Карии (Малая Азия).

30 *...отрывок из нашего Платона...* — Имеется в виду миф, излагаемый в диалоге «Политик» (268е—274е). Речь идет о перемене в направлении движения небесных светил, когда власть Хроноса сменяется властью Зевса и обратно. «При каждом повороте полностью сменяются законы возникновения и развития. Если в один период, когда правит Зевс, люди рождают детей, которые растут, достигают старости, седеют и умирают, а их сменяют новые поколения людей, то в другой период люди выходят из земли старыми, седыми, потом становятся все моложе и моложе, пока не уходят в землю, превратившись в зародыши новой жизни, которые, принятые ею, дают начало новым поколениям седоголовых людей».

31 *Хиос* — остров Хиос лежит на одной широте с заливом Смирны, повторяя очертания образующего его полуострова Чесме (Чешме). Ср. также примеч. 24 на с. 608—609.

32 *...я вижу юного Геркулеса в схватке с Мегерой.* — Еще в Тюбингене, в 1790 г., Гёльдерлин перевел первые 590 стихов поэмы Лукана «Фарсалия», где есть строки, раскрывающие этот образ.

33 *Так пусть государство к этому не прикасается...* — Ф. Цинкернагель связывает эту мысль с идеями Вильгельма Гумбольдта, развиваемыми им в работе «Идеи в связи с попыткой определить границы деятельности государства» («Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen»), написанной весной 1792 г., которую Гёльдерлин мог видеть в рукописи в доме Шиллера. Выдержки из этой статьи, полностью опубликованной лишь в 1851 г., публиковались в 1792 г. в журналах. «Принцип, согласно которому правительство должно заботиться о счастии и благоден-

ствии, физическом и нравственном, своего народа,— писал В. Гумбольдт,— и есть наизлейший, наижесточайший деспотизм» (цит. по: *Zinkernagel F.* Op. cit. S. 159). Сам Гёльдерлин писал позднее своему другу Кристиану Ландауэру (в связи с Люневильским миром): «...в конечном итоге совершенно верно, что чем меньше человек узнаёт и знает о государстве (т. е. имеет дело с государством.— *Н. Б.*), какова бы ни была форма последнего, тем он свободнее» (№ 229, вторая половина февраля 1801 г.).

34 ...*дождь с неба* — т. е.. революция.

35 ...*когда любимица века, самая юная, самая прекрасная его дочь, новая церковь...*— Как писал в январе 1795 г. Гегель Шеллингу, завершая письмо: «Да приидет царствие божие, и да не останутся наши руки без дела! [...]. Разум и Свобода остаются нашим лозунгом, а местом встречи — невидимая церковь» (№ 8 в изд.: Briefe von und an Hegel/Hrsg. von J. Hoffmeister. Hamburg, 1952—1954. Bd. 1—4). С лозунгом «Царства божия» друзья расстались в Тюбингене; смысл его тот же, что и у другой их формулы прощания: «Клянусь погибшими при Марафоне»; теологическая оболочка никого не должна обманывать. Гегелю принадлежит стихотворение «Элевзин», впервые опубликованное в 1843 г. и посвященное Гёльдерлину:

...и блаженно знаю,
Что старый наш союз найду я крепче, зрелей, верным
Той клятве, коей мы и не клялись:
Во имя правды и свободы
Жить и со всем, что нам
Исправить хочет мнения и чувства, не мириться!

Ср. также письмо Эбелю (№ 106).

36 ...*в этой мрачной темнице?* — Имеется в виду тело как вместилище души. В оригинале аналогичный образ и выше, где переведено «в нашей больной плоти»; там сказано: «in unsern Krankenhäusern»

(в XVIII в. Krankenhaus обозначало дом, в котором есть больной). Однако не следует думать, что герой призывает друга умереть. Связь тут сложнее. Не случайно «темница» идет вслед за «больницами» и «юной церковью». Для Гёльдерлина как теолога (впрочем, как и для всякого европейца той эпохи) церковь была многозначным понятием и символом. Это не только место соединения, встречи людей, не только сами люди, объединенные верой (то, что иначе называют конгрегацией), но и просто человек, один человек. По евангелию, Иисус был осужден иудеями на смерть за «богохульство»: он сказал, что может разрушить церковь и за три дня снова ее воздвигнуть, имея в виду свое тело и свое воскресение после смерти, но также и (тем самым) возрождение и обновление веры.

37 *Один из вошедших особенно поразил меня.*— Дальнейшее описание заговорщика Ф. Цинкернагель сопоставляет с фигурой Андреа Козимо в романе Л. Тика и его прототипом — «русским офицером» в «Духовидце» Ф. Шиллера. Ср. в русском переводе («Наука и жизнь» № 3 за 1983 г.): «В физиономии последнего было что-то совершенно необыкновенное, привлекшее наше внимание. В жизнь мою не видел я столько черт и так мало характера; столько привлекательной ласковости, соединенной в человеческом лице с такой отталкивающей холодностью. Казалось, все страсти тешились этим лицом и снова покинули его. Ничего не осталось, кроме тихого проницательного взгляда глубокого знатока людей, пугавшего всякий встречавшийся с ним взгляд» (с. 119—120).

38 *Если никто не захочет собрать урожай...*— Евангельская аллюзия: в притче о талантах человек, закопавший талант, данный ему господином, мотивирует это так: «Господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое» (Мтф. 25, 24—25).

39 *Кто проклянет яблоню...*— Евангельская аллюзия:

Иисус проклял смоковницу, на которой не оказалось плодов.

40 *«Они обманщики!..»* — Весь эпизод, включая отъезд Гипериона из Смирны, может иметь под собой биографическую основу. Друг Гёльдерлина Синклер, с которым он жил в Йене в одном доме, принадлежал к тайному обществу «гармонистов» (орден Черных Братьев); в конце мая в Йене начались студенческие волнения, после чего Гёльдерлин, бросив все, внезапно уехал домой в Нюртинген.

41 *...и делишь со смертным Кастором свое бессмертие!* — См. примеч. 5 на с. 619.

42 *...по лесам Иды...* — См. примеч. 30 на с. 612.

43 *...Ахилл и его любимец...* — См. примеч. 15 на с. 605.

44 *...погуляем у акрополя!* — См. примеч. 16 на с. 605.

45 *Тмол* — см. примеч. 10 на с. 604.

46 *Эфес, Теос и Милет* — *Эфес* в древности был одним из крупнейших городов Ионии. Он располагался в устье Каистра (см. примеч. 25 на с. 623); *Теос* — город в северной Ионии, к юго-западу от Смирны; *Милет* — самый значительный город эллинского мира в VII—VI вв. до н. э., лежал на побережье Малой Азии примерно на широте острова Самоса.

47 *...подобно Орфею...* — Мифический фракийский певец Орфей своим пением покорял не только людей, но и диких зверей и растения, и даже камни. Для Гёльдерлина это сравнение особенно значимо, потому что Орфей поклонялся Солнцу, называя его Аполлон. В «Гимне гению Греции» он пишет:

Ты явился — и любовь Орфея
Воспарила к Оку Мира...

48 *...как птица, клюющая нарисованную гроздь винограда...* — Рассказывают, что птицы прилетали клевать виноградную гроздь, написанную Паррасием из Эфеса, афинским художником V в. до н. э.

49 *«Зачем человеку так много нужно?..»* — Ср. то же место в переводе Я. Э. Голосовкера: «Отчего это столь многого хочет человек? часто спрашивал я. Что это за бесконечность в груди его? Бесконеч-

ность? Где же она? Кто и когда слышал ее? большего хочет человек, чем может. Вот она — истина! О, не однажды уже ты испытал это! но оно и должно быть так, как оно есть. То и дает человеку сладостное, волшебное чувство силы, что она не изливается своевольно. Это именно и рождает прекрасные мечты о бессмертии и все те светлые, чудовищные фантомы, которые тысячекратно восторгают человека. Это и создает человеку его элизиум и его богов, что линия его жизни не вытягивается непрерывной прямой, что не уносится он, как стрела, и чужая сила становится на дороге его полета» (ЦГЛА. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 617. С. 46).

50 *Если бы я воспитывался с Фемистоклом...— Фемистокл* (ок. 524—459 до н. э.) — афинский государственный деятель и полководец; построенный им флот во многом обусловил победу греков над персами при Саламине (480 г. до н. э.).

51 *...или жил среди Сципионов...— Сципионы* — римский род, давший в 3—2 вв. до н. э. выдающихся государственных деятелей и полководцев.

52 *Где же твои сто рук, титан...—* Сто рук было не у титанов, а у великанов-гекатонхейров, которых Зевс освободил из недр земли и призвал на помощь в борьбе с титанами. Битву богов-олимпийцев в древности локализовали в районе гор Пелион и Осса, из которых титаны хотели сделать лестницу в небо, чтобы подняться на Олимп и низвергнуть богов. Ср. описание Оссы в «Путешествии юного Анахарсиса» (Т. 3. Р. 243): «Тогда он повел меня в одно из ущелий горы Осса, где, по преданию, произошла битва титанов с богами. В этом месте бурный поток несется по скалистому ложу, разрушая его яростью своих водопадов. Мы достигли места, где его волны, сжатые с силой, пытались пробить себе проход. Они напирали, поднимались и падали с ревом в пучину, откуда с новой яростью бросались на приступ, чтобы разбиться, столкнувшись в воздухе.

Душа моя была захвачена этим зрелищем, и когда я поднял глаза и посмотрел вокруг, то обнаружил себя зажатым с двух сторон горами, черными и бесплодными, подножиями которым служили бездны. Ближе к вершинам, среди мрачных деревьев, бродили тяжелые тучи и застывали, повисая на их голых сучьях. Внизу природа была в хаосе, разрушенные горы были покрыты зарослями, скалы угрожающе нависли. Какая же сила разбила узы этих чудовищных масс? Ярость аквилонов? Потрясение шара земного? Или в самом деле страшное мщенье богов титанам? Не знаю. Как бы то ни было, именно в эту страшную долину должны приходить завоеватели, дабы видеть картину опустошений, причиненных ими земле».

КНИГА ВТОРАЯ

53 *...на острове Аякса, на бесценном Саламине.*— Саламин лежит против Афин в Сароническом заливе; об Аяксе см. примеч. 36 на с. 613.

54 *...я восхищаюсь умом...*— имеется в виду Фемистокл (см. примеч. 50 на с. 628); описание Саламинского боя есть и у Чандлера (P. 204—205).

55 *...священными парками.*— Римские богини судьбы парки соответствуют греческим мойрам (первоначально у римлян была лишь одна Парка — богиня родов, под влиянием Греции образовался полный аналог, и в эпоху Гёльдерлина это было просто другое название греческих богинь Клото (которая прядет нить жизни), Лахезис (которая определяет жребий) и Атропос (которая обрезает нить). Ср. стихотворение «К Паркам» на с. 282.

56 *...пьют из ее пенистых ручьев.*— Здесь и далее описание острова поразительно контрастирует с тем, что мы находим в источнике Гёльдерлина — в книге Чандлера (P. 210—212).

«Остров Поро в древности назывался Калаврея (Калаврия), длина его берегов — 30 стадий, или три и три четверти мили. Он протянулся вдоль побережья Мореи невысокой грядой гор и отделен от него проливом шириной всего в четыре стадии,

или в полмили. Сей пролив, именуемый Поро, что значит Паро́м, Переправа, в тихую погоду можно преодолеть вброд, ибо вода неглубока. Он дал имя всему острову, а также городу, который состоит из примерно двух сотен домов, низких и убогих, с плоскими крышами, взбирающихся по неприветливому, голому каменистому склону; жители получают дрова главным образом с континента ‹...›. После краткой остановки в Поро мы на веслах прошли узкое место, где мелкая вода, обогнули мыс и, выйдя на открытое пространство залива, подняли паруса, направляясь к монастырю Панагии (Пресвятой девы), или девы Марии. ‹...› мы высадились на берег и пошли к монастырю, находящемуся в некотором удалении от моря, он расположен высоко и романтично, рядом с глубокой расселиной. Он окружен зелеными виноградниками; заросли мирта, апельсиновых и лимонных деревьев в цвету; земляничное дерево с плодами, крупными, но незрелыми; олеандры или «пикро-дафне», и оливы, осыпанные цветами, нежно пахнущие сосны и вечнозеленые кустарники. Против него — источник, очень знаменитый. Вода холодна и целебна ‹...›.

От монастыря мы на рассвете отправились в Палатию («Дворцы»), как зовется теперь то место, где был город Калаврия, на мулах и ослах, животных столь же уважаемых, сколь и полезных в этой гористой местности. ‹...› Тропа, ведущая в Палатию, находящуюся в часе пути от моря, неровная и каменистая ‹...›. Рассказывают, что Нептун принял остров Калаврию от Аполлона в обмен на Делос. Город стоял на высокой скале почти что в середине острова, господствуя над местностью; отсюда открывался прекрасный вид на залив и берега. Здесь находились его святилище и храм. Жрицей была дева, которую смещали, когда ей подходила пора выходить замуж. Семь городов поблизости от острова собирались на нем для собраний и совместно приносили жертвы божеству. Афины, Эгина и Эпидавр были в их числе, а также Науплия, за которую вносил долю

Аргос. Македоняне, завоевавшие Грецию, побоялись осквернить святыню...».

57 *...мы скоро пристанем к Калаврии...*— От Тиноса до Калаврии совсем не так близко, как изображается в романе: не менее 80 миль.

58 *...и над звездами сердце забывает и свое горе, и свой язык.*— Поэтический образ восходит к описанию у Платона («Федр»).

59 *палладий* — обычно деревянное изображение Афины-Паллады, защищающее город от врага, по мифу некогда упавшее с неба; палладий Трои был похищен Одиссеем и Диомедом; по преданию, палладий Афин и Рима считался троянским. Здесь в переносном смысле: сокровище, святыня, то, что хранит тебя от зла.

60 *О Диотима, Диотима...*— Впервые имя *Диотима* появляется в «Юности Гипериона» (см. статью, с. 540). В XVIII в. в Европе уже было традицией давать это имя возлюбленной или музе поэта, философа. Так называл например, княгиню А. Голицыну голландский философ Гемстергёйс, посвящая ей свои сочинения. Работа «Аристей, или О божестве» (1779), где это посвящение появляется впервые, была известна Гёльдерлину в немецком переводе (см. примеч. 26 на с. 682). Автор выдает свой трактат за рукопись, «найденную, как полагают, на острове Андрос во время экспедиции русских в Архипелаг. Греческий текст сильно пострадал». И далее: «Что касается автора этого сочинения, то он, видимо, принадлежал к школе Сократа ‹...›. По-видимому, он афинянин и жил в эпоху Деметриоса Фалерского (ок. 350—283 гг. до н. э.— *Н. Б.*). Работа посвящена Диотиме. Известно, что Диотима была та святая и мудрая женщина, которой Сократ обязан всем своим знанием о природе дружбы и которая была в цветущем возрасте в эпоху 82-й олимпиады; но смешивать ее с той, о которой идет речь здесь, значило бы предположить ее возраст по меньшей мере в сто сорок лет» (цит. по: Oeuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis. P., 1792. T. 2. P. 9).

На с. 11 текст начинался так:

Dioclès à Diotime,
Bonheur

Sage et sacrée Diotime...
Все это могло произвести впечатление на автора «Гипериона».

61 *Нам было приятно изливать свое сердце перед доброй матушкой Диотимы.*— «Es tat uns wohl den Überfluß unsers Herzens der guten Mutter in den Schoß zu streuen». В оригинале речь идет о матери-земле, природе. Ср. перевод Я. Э. Голосовкера: «Нам было отрадно излить избыток нашего сердца на грудь доброй матери» (Там же. С. 63).

62 *Мы называли землю цветком неба...*— Это и некоторые другие места заставляют предположить знакомство Гёльдерлина с идеями рано умершего Иоганна Вильгельма Риттера — замечательного физика и натурфилософа; его короткие записи, поделенные на разделы и данные под номерами (всего 700 номеров), были опубликованы после его смерти под названием «Фрагменты из наследия молодого физика» (Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers. Heidelberg, 1810). Ср., например: «Всякая жизнь есть поцелуй, который солнце дарит земле, как любовь есть нулевая точка рода человеческого. Когда живое целует живое, тогда в жизни восходит жизнь, это день восстания небесного бога в земном человеке. Мужчина и женщина суть символы дуализма в Солнечной системе. Кто из них Солнце и кто Земля? ‹...›. Солнце светит, так и мужчина стремится вперед, как свет. Так что это тоже свет солнца, что в лоне земли вновь и вновь производит зародыш жизни. В любви появляется он на свет *мира* и впервые познает радость своего бытия...».

63 *...словно орел с Ганимедом...*— Прекрасный юноша Ганимед, сын троянского царя Лаомедонта, был похищен с вершин гор Ида Зевсом, принявшим облик орла. Этот миф неоднократно отражен в произведениях искусства начиная с античности. Ему посвящено стихотворение Гёльдерлина «Га-

нимед», первоначально называвшееся «Скованный поток» (1801).

64 *...я люблю представлять себе мир единой семьей...*— Ср. письмо № 43: «Пусть каждый будет тем, что он есть на самом деле. Пусть каждый говорит и действует так, как велит ему его сердце», и т д. (с. 298).

65 *...могила Диотимы так близко.*— От Саламина до Пороса около 40 км. Между ними лежит только остров Эгина. Смерть Диотимы упомянута здесь впервые. Возможно, здесь есть какая-то связь с переживанием смерти Розины Штойдлин, невесты Нойфера (см. письма № 87, 88, 100).

66 *...в каждом звучании жизни?* — Как пишет Ф. Цинкернагель, после этого абзаца в черновике было следующее: «Мне дан был дух вершить свой суд и править. Он рано поднял меч и словно пыль основы рабства разорвал и вымел, и он, сей бог, моя защита. И у кого ее украл я? У кого?». И далее по тексту (см. Zinkernagel F. Op. cit. S. 165). Очень похоже, что эта часть романа писалась уже после знакомства с Сюзеттой Гонтар.

67 *Гармодий и Аристогитон* — афиняне, в 514 г. до н. э. во время панафинейского празднества убившие Гиппарха, брата афинского тирана Гиппия. Гармодий был убит на месте, Аристогитон подвергнут пыткам и казнен. После изгнания в 510 г. тирана Гиппия Гармодий и Аристогитон были провозглашены тираноборцами, Антенор создал их скульптурную группу. Для образованных людей XVIII в. имена Гармодия и Аристогитона были символом борьбы против тирании. В «Путешествии юного Анахарсиса» (Т. 1. Р. 250) приводятся со ссылкой на Афинея (ок. 200 г. н. э.) следующие четыре песни, сложенные в их честь (это так называемые сколии — песни, которые пели на пирах).

«Я укрою свой меч под листьями мирта, как это сделали Гармодий и Аристогитон, когда убили тирана и тем восстановили в Афинах равенство перед законом.

Любезный Гармодий, нет, вы не умерли, говорят, вы живете на островах блаженных, где легкой стопой ступают Ахилл и Диомед, сей доблестный отпрыск Тидея.

Я укрою свой меч под листьями мирта, как это сделали Гармодий и Аристогитон, когда убили тирана Гиппарха в дни панафинейских празднеств.

Пусть слава ваша пребудет вовеки, любезный Гармодий и любезный Аристогитон, ибо вы убили тирана и восстановили в Афинах равенство перед законом» (Athen. lib. 15. Cap. 15. P. 695).

Гёльдерлин перевел три сколии из четырех, по-видимому, в 1793 г. и с текста Афинея, потому что по ошибке приписал стихи Алкею, который у Афинея шел непосредственно перед сколиями: «Reliquie von Alzäus». В его переводе выдержан размер оригинала, но вместо четырех строк — пять.

68 ...*как Тантал.*— Тантал, сын Зевса, отец Пелопса и Ниобы, был царем в Малой Азии, на горе Сипил близ Смирны. Пируя вместе с богами, он то ли украл амброзию и нектар, то ли выдал их тайны людям. Был проклят богами и осужден испытывать голод и жажду в Аиде, видя перед собой плоды, до которых невозможно дотянуться.

69 ...*брал я на руки детей...*— Любовь к детям — характерная черта самого Гёльдерлина. Много лет спустя племянница Сюзетты Гонтар вспоминала об этом: «Я хорошо помню всех этих людей (учителей.— *Н. Б.*), но ни один из них не был с нами, детьми, так мил и приветлив, как Гёльдерлин» (*Belli-Gontard M.* Lebens-Erinnerungen. Frankfurti a. M., 1872).

70 ...*земляничный букет...*— Речь идет не о землянике, которая не растет на скалистом острове, а о земляничном дереве, плоды которого похожи на землянику, но совершенно невкусны.

71 ...*не смейтесь над хромотой этого Вулкана, ведь боги дважды сбрасывали его с неба на землю.*— *Вулкан* (рим.), или *Гефест* (*греч.*), по одной из версий мира, был сброшен на землю Зевсом из боязни, что сын станет на сторону своей матери

Геры против отца (см.: Илиада, I, 590—594). Герой имеет в виду, что его дружбу предавали дважды: учитель Адамас и друг Алабанда.

72 *...как Алфей свою Аретузу...*— Алфей, бог самой большой реки Пелопоннеса, преследовал нимфу Аретузу, бежавшую от него под морским дном до самой Сицилии, где она выбивается ключом на острове Ортигия близ Сиракуз, сейчас соединенном с главным островом.

73 *...я не желаю метать бисер перед глупой толпою.*— Евангельская аллюзия, вошедшая в поговорку: «Не мечите бисер перед свиньями» (Мтф. 7, 6).

74 *...точно скованный титан.*— После победы олимпийцев титаны были низвергнуты в кромешную тьму Тартара, где их стерегут сторукие гекатонхейры (ср. примеч. 52 на с. 628).

75 *Ты способна на такое самоотречение, святая смиренница...*— в оригинале: «Kannst du so dich verleugnen, selige Selbstgenügsame!». Перевод далеко уходит от авторского текста: дело не в смирении, а в самодостаточности Диотимы, в ее устойчивости без других людей. Ср. перевод Я. Э. Голосовкера: «Можешь ли ты отречься от себя, ты блаженно-полная собой?» (Там же. С. 87).

76 *...человек — одно из обличий, которое подчас принимает бог...*— В оригинале: «...der Mensch ist ein Gewand, das oft ein Gott sich umwirft...», т. е. одеяние, которое набрасывает на себя бог.

77 *...твой великий тезка, небесный Гиперион, воплотился в тебе.*— «...dein Namensbruder, der herrliche Hyperion des Himmels, ist in dir», т. е. «небесный Гиперион — в тебе», но это не значит, что он «воплотился»: ты остаешься самим собой, бог может прийти и уйти, а ты останешься как сосуд, одежда, где есть содержимое, но нет божества. Правильнее было бы сказать: «вошел в тебя» или просто «в тебе».

78 *...этот лев, Демосфен, встретил здесь свой конец...*— см. «Жизнеописания» Плутарха: «Демосфен» 29; Демосфен погиб 12 октября 322 г. до н. э.; на Калаврии он искал защиты от македонцев у алтаря Посейдона, но, под угрозой насилия,

предпочел принять яд, содержавшийся в кончике тростникового пера. О его смерти на Калаврии упоминает и Чандлер (Op. cit. P. 212).

79 *Мы должны немедля собраться туда, все вместе!* — «День пути» — большое преувеличение, особенно заметное при сравнении с «прогулками» через все острова Эгейского моря первой книги. От Калаврии до Пирея, порта Афин,— почти столько же, сколько до Саламина. Скорее всего, поэт думал о своем реальном путешествии летом 1796 г.— в Кассель, до которого даже по прямой от Франкфурта 150 км.

80 *...и в чем заключается.*— Для дальнейшего ср. в «Истории искусства древних» И. И. Винкельмана («Geschichte der Kunst des Altertums», 1764) раздел «Об основаниях и причинах подъема и превосходства греческого искусства перед другими народами», где Винкельман опирается на сочинение Ж.-Б. Дюбо (Jean-Baptiste Dubos) «Критические рассуждения о поэзии, живописи и музыке» («Réflexiones critiques sur la poésie, la peinture et la musique», 1719). Ср. также «Идеи к философии истории человечества» И. Г. Гердера («Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit») (М.: Наука, 1977. Ч. XIII).

81 *...что и мы живем в этом климате.*— Идея эта довольно долго сохраняла актуальность. Ср. в русском периодическом издании «Дух журналов», часть XXIV (1817), в переводе «Путешествия Г. Майра из Иерусалима в Сирию»: «...Гердер в Сочинении своем «Мысли, относящиеся к философии человечества», утверждает, что климат и местное положение земли имеют величайшее влияние на физическое, умственное и нравственное образование жителей и, так сказать, перерождают их. Есть ли мнение сие справедливо, то от чего же между жителями Леванта — *греками* и *турками* — находится такая разительная противоположность в физическом и нравственном образовании? От чего такое несходство в характере, темпераменте, нравах, обычаях и в наружном телесном виде? Отчего греки, в продолжение стольких веков, сохра-

нили свою первобытную веселость, живость и ласковую общительность, беспрестанно забавляются играми, шутками, насмешками и всякими шалостями, как малые ребята;— а напротив того, турки, живучи в одной с ними стране, всегда важны, малоречивы, тихи, редко веселы и никогда не занимаются ребяческими играми и шутками?» (С. 309).

82 *...до эпохи Писистрата и Гиппарха.*— Писистрат был тираном в Афинах с 560 по 528 г. до н. э.; Гиппарх, его сын, был убит в 514 г. до н. э. (см. примеч. 67).

83 *Лакедемон* — античное название Спарты.

84 *Ликург* — легендарный законодатель Спарты (предположительно IX в. до н. э.).

85 *Тезей* — Тесей, легендарный герой Аттики, правитель Афин; его биография, напоминающая во многом подвиги Геракла, содержится в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха. Тесей считается отцом афинской демократии.

86 *...и гóтов.*— Готы здесь олицетворяют вообще народы севера.

87 *Драконовские законы афинянину ни к чему.*— Законы Дракона 624 г. до н. э. были отменены при реформе Солона в 594 г. до н. э. Эти первые писаные законы Греции отличались крайней жестокостью, вошедшей в поговорку.

88 *Великое определение Гераклита...*— Это одно из принципиальных положений в системе Гёльдерлина, создано им на основе довольно темного высказывания Гераклита, приведенного в диалоге «Пир» Платона, который он наверняка знал, но может восходить и к другой передаче — пресвитера и отца церкви Ипполита Римского, где оно звучит так: [1] «Они не понимают, как оно [одно], разделенное в самом себе, совместно входит в мысль (?): разнонаправленное соединение, как у лука и лиры. (Трактовка Г. Дильса, 1951 г.)

[2] Они не понимают, как оно [всё и одно], стремясь одно от другого, согласуется само с собой: внутренне напряженная гармония, как в луке и лире». (Трактовка В. Капелле, 1961 г.)

В «Пире» соответствующее место гласит:

«Что касается музыки, то каждому мало-мальски наблюдательному человеку ясно, что с нею дело обстоит точно так же (как с врачебной наукой; ср. чуть выше: «...тут требуется умение установить дружбу между самыми враждебными в теле началами и внушить им взаимную любовь».— *Н. Б.*), и именно это, вероятно, хочет сказать Гераклит, хотя мысль его выражена не лучшим образом. Он говорит, что, раздваиваясь, единое сохраняет единство, примером чего служит строй лука и лиры. Очень, однако, нелепо утверждать, что строй — это раздвоение — или что он возникает из начал различных (*Платон.* Избранные диалоги. М., 1965. С. 136. Перевод С. К. Апта).

89 *...безмолвная мрачная Изида...*— статуя, изображающая богиню Исиду под покровом в Верхнем Египте. Ей посвящено стихотворение Шиллера «Das verschleierte Bild zu Saïs», о ней пишет Мерсье в «Ночном колпаке», Новалис в «Учениках в Саисе». Надпись на ней гласила: «Я есмь всё то, что было, то, что есть, и то, что будет: нет смертного, кто бы поднял покров, меня скрывающий».

90 *Мы поднимались теперь на вершину Ликабета...*— В дальнейшем описании Афин Гёльдерлин опирается на очень подробное изложение и карту Афин у Чандлера: не случайно на с. 155 появляются «два английских ученых».

91 *Они растащили колонны и статуи...*— Кое-что из этого богатства Гёльдерлин мог видеть в Касселе (см. примеч. 81 на с. 694).

92 *...развалины Парфенона...*— Парфенон стоит того, чтобы мы привели то место из книги Чандлера, где говорится о нем (Op. cit. P. 44—49):

«Главным украшением акрополя был Парфенон, или большой храм Минервы (т. е. Афины-Паллады.— *Н. Б.*), самое превосходное и блистательное сооружение. Персы сожгли здание, которое стояло на этом месте раньше и называлось гекатопедон, имея сто футов. Честолюбие Перикла и всех афинян заставило их построить гораздо более обшир-

ное и величественное обиталище для их любимой богини. Архитекторами были Калликрат и Иктин; и трактат о строении был написан последним и Карпионом. Оно было из белого мрамора, дорического ордера, колонны с каннелюрами и без баз, числом восемь, и украшено замечательной скульптурой. История рождения Минервы была изображена на переднем фронтоне, а на заднем — ее спор с Нептуном за обладание страной. Вьючные животные, которые доставляли сюда материал, считались священными и вознаграждались пастбищами; а одно, добровольно возглавлявшее караван, пожизненно освобождалось от работы и содержалось на общественные средства. Статуя Минервы, сделанная для этого храма Фидием, была из слоновой кости, высотой 26 локтей, или 39 футов. Она была покрыта чистым золотом на сумму в 44 таланта 〈...〉.

Искоренение язычества в Афинах связано, по-видимому, с Аларихом и его готами 〈...〉.

Тогда могущественный и почитаемый идол Минервы, похоже, не устоял перед их совместными грабежами, что стерли с лица земли все ее изображения независимо от того, спустились они с неба или были работой Фидия.

Парфенон стоял невредимым еще много лет, после того как лишился своего божества. Христиане превратили его в церковь, а магометане в мечеть. Она упоминается в письмах Крузиуса (1575 г. и др.— *Н. Б.*) 〈...〉. Венецианцы под водительством Конингсмарка (?), осаждая акрополь в 1687 г., бросили бомбу, которая разбила крышу и сильно повредила здание, потому что от огня воспламенился порох. На полу все еще видно место ее падения. Это было печальное предвестие дальнейшего разрушения; турки стали выламывать камни, используя их для строительства новой мечети, которая стоит сейчас внутри руин, и для ремонта своих домов и стен крепости 〈...〉.

Храм Минервы был в 1676 году, как свидетельствуют Уилер и Спон, самой прекрасной мечетью в мире, вне сравнения. Греки приспособили

здание для своих обрядов, пристроив с одного конца полукруглое помещение для алтаря с престолом, с одним окном, до этого здание освещалось только через двери, поскольку сумрак был предпочтителен при языческих обрядах, за исключением празднеств, когда он уступал место ослепительной иллюминации; вот причина того, как предполагается, почему храмы обычно так просты и неукрашены внутри ⟨...⟩.

Турки побелили стены, чтобы замазать изображения святых и прочую живопись, которой греки украшают свои святилища ⟨...⟩.

Нелегко представить себѣ более потрясающий предмет, чем Парфенон, хоть он сейчас просто руина. Колонны внутри наоса все исчезли, но на полу еще видны круги, которые чертили рабочие, когда их ставили [...]. Наос наполовину разрушен, а в колоннах, окружающих его, зияет широкий провал почти в середине ⟨...⟩».

93 *...древний театр Вакха...*— театр Диониса.

94 *...храм Тезея...*— так называемый Тезейон, на самом деле был посвящен Гефесту (отсюда Гефестейон); он сохранился лучше других храмов, потому что уже в VI в. н. э. был превращен в христианскую церковь.

95 *...шестнадцать уцелевших колонн... храма Юпитера Олимпийского...*— строительство святилища Зевса Олимпийского было начато еще при Писистрате, в VI в до н. э., но закончено лишь при Адриане, во II в. н. э. Эти шестнадцать колонн стоят по сей день (см. вклейку). Приведем описание Чандлера.

«От храма Юпитера Олимпийского остались лишь величественные колонны, высокие и прекрасные, коринфского ордера, с каннелюрами, одни стоящие отдельно, другие поддерживающие свои архитравы,— и немного массивных глыб мрамора под ними — остаток обширной массы, которую лишь многие годы могли довести до таких скудных размеров. Колонны эти имеют удивительные параметры — около шести футов в диаметре и примерно шестьдесят в высоту. Количе-

ство их снаружи было сто шестнадцать или сто двадцать. Семнадцать еще стояли в 1676 году; но за несколько лет до нашего приезда одну из них, с большими трудами, опрокинули и приспособили для постройки новой мечети на базаре, то есть рыночной площади» (Op. cit. P. 76).

96 *древние ворота* — ворота Адриана. Чандлер пишет:

«После храма Тезея за пределами города больше не было никаких развалин, пока мы, держась по-прежнему левой стороны, так что акрополь все время был у нас справа, не дошли до конца скалы, где находилась арена. Там, в некотором отдалении, на равнине стоят мраморные ворота, отделявшие некогда старый город от Адрианополиса, или Новых Афин. Рассказывают, что Тезей воздвиг стелу или колонну на Коринфском истме, когда он был разбит пелопоннесцами. У меня были надписи по-гречески. С одной стороны: „Здесь Пелопоннес, не Иония", а с другой: „Здесь не Пелопоннес, а Иония". Ворота, служившие границей, имеют надписи большими буквами, сделанные аналогичным образом. Над воротами с одной стороны: „То, что ты видишь, суть Афины, старый город Тезея", а с другой: „То, что ты видишь, есть город Адриана, не Тезея"» (Op. cit. P. 73).

В работе «Язык и действительность в творчестве Гёльдерлина» (1955) Вольфганг Биндер делает к этому месту следующее замечание: «Почему Гипериона более всего захватили старые ворота, ворота Адриана? Ведь среди архитектурных сооружений, перечисленных им, это — самое незначительное. Он говорит об этом сам: потому что они ведут из Ничего в Ничто; оба города, и старый, и новый, город Адриана, лежат в руинах. Ворота — это место перехода, где жизнь имеет наиболее оживленные формы. Они подобны настоящему, в котором то, что еще не есть (das Noch-nicht), постоянно становится тем, что уже не есть (Nicht-mehr), а бытие (das Dasein) действительно. Гиперион находит пустым место перехода, переход

здесь уже не совершается. Храмы для него — свидетели прошлого, но ворота суть свидетельство того, что прошлое прошло, ибо в своем фактическом настоящем они олицетворяют собой полное отсутствие настоящего. «Пустынник в Греции» у этих ворот вновь познает, что он пустынник, что ушло то прекрасное время, которому принадлежат все его помыслы. Эти несколько, вдобавок ретроспективно написанных, фраз делают зримой — через посредство конкретного рассказа Гипериона — косвенно и символически в пластическом слове чудовищную нереальность современной жизни, в которой Гёльдерлин усматривает собственную историческую ситуацию» (цит. по: *Binder W.* Op. cit. S. 43).

97 *...чем в прихоти Клеопатры...* — рассказано у Плиния (23—79) в его «Естественной истории».

98 *О, сады Ангеле...* — Ср. у Чандлера: «На следующий вечер мы спустились с Пентеле на равнину и через Калландри, деревню, окруженную оливами, прошли в Ангеле-кипос, *сады Ангеле*. Это место летом часто посещается греками из Афин, дома которых расположены в рощах олив, кипарисов, апельсинных и лимонных деревьев, перемежаемых виноградниками. Старое название его было Ангеле; и рассказывают (*Уилер.* С. 450), что народ Паллене не вступал в брак с его обитателями из-за какого-то предательства, от которого они пострадали во времена Тезея» (Op. cit. P. 171).

99 *Пускай мир тонет в пучине...* — Может быть прочитано как биографическое: война и бегство из Франкфурта в Кассель, а затем Дрибург совпали с самыми счастливыми в жизни поэта днями.

100 *...по-детски простодушных греков...* — Ср. выше примеч. 81.

101 *Арабский купец посеял свой Коран...* — Согласно арабо-мусульманскому преданию, после смерти основателя ислама Мухаммеда (Магомета) возвещавшиеся им откровения хранились преимущественно «в сердцах людей» и только частично были записаны. Но уже первый, полулегендарный ха-

лиф Абу-Бекр (632—634) предписал собрать записанные и записать хранившиеся «в сердцах» суры и стихи корана. До того как стать «пророком», Магомет был купцом. Канонический текст корана был составлен при третьем халифе Османе (644—656), османовская редакция является единственной дошедшей до нас.

ТОМ ВТОРОЙ

1 *Эпиграф* — хор в трагедии Софокла «Эдип в Колоне», близко к концу, когда измученный Эдип уже готовится к отходу в подземный мир.

КНИГА ПЕРВАЯ

2 *После нашего возвращения из краев Аттики...* — Автор все чаще будто забывает о своем сюжете: ведь в Калаврию он приехал «погостить» к своему «знакомому», а в Афины они ездили на несколько дней (ср. с. 151: «времени было в обрез»). Но поэт имеет в виду возвращение во Франкфурт, из которого они бежали 11 июня, а вернулись в самом конце сентября.

3 *...наконец час пробил.* — Здесь Гёльдерлин наконец вступает на историческую почву: 1770 год. Февраль. Считается, что основной источник здесь — немецкий перевод Г. А. О. Рейхарда книги Шуазёля-Гуффье, который в этой части, действительно, допустил большое количество отклонений от оригинала. До последнего времени было принято считать, что Гёльдерлин просто следовал за Рейхардом и вместе с ним отклонялся от истины. Однако это не совсем так. Русские материалы XIX в., базирующиеся на первоисточниках, свидетельствуют о том, что Гёльдерлин следовал исторической истине. (В его библиотеке зафиксировано издание под названием «Русская и турецкая хроника» («Russische und türkische Chronik»), но содержание его мне не известно.) Чтобы читателю была яснее историческая канва событий 1770 г., приведем отрывки из следующего изда-

ния: Война России с Турцией и польскими конфедератами с 1769—1774 год / Составлено преимущественно по неизвестным до настоящего времени рукописным материалам Генерального штаба капитаном А. Петровым. Т. II. Год 1770. СПб., 1866. Далее: А. Петров).

Прибытие русского флота к Морее

Действие русского флота в Морее и архипелаге

Зная враждебность греческого населения и славянских племен, томящихся под властью Порты, императрица Екатерина II разослала к ним манифесты, призывая их к восстановлению своей свободы при помощи русского оружия. Отправление флотилии в Средиземное море, к берегам Мореи и к островам архипелага давало надежду на всеобщее восстание греков, видевших в российском флаге, развевающемся в архипелаге, зарю своего возрождения к свободе и независимости.

Папа-Огли (посланный Орловым и организовавший сеть агентов (из Италии) по всей Греции.— *Н. Б.*) давно уже успел возбудить в греках надежду на их освобождение и действовал преимущественно на храброе племя маниотов, потомков древних спартанцев. Наследуя храбрость своих знаменитых предков, маниоты, живя в неприступных горах своей родины, наводили ужас на турок во времена войны за покорение Пелопонеза. С этих пор маниоты получили их настоящее имя, от греч. слова *мания*, означающего «ужас». Храбрые предводители маниотов, по имени Мауро-Миколи и брат его Иованни, сойдясь с Папа-Огли, открыли ему все средства и способ восстания греков. Они сказали, что маниоты, защищаясь в своих горах, непобедимы, но сами не способны к нападению, что их постоянная раздельность препятствует предпринять что-нибудь общее, если общая опасность не соединит их, и что вообще на единодушие греков не слишком можно положиться. Неопределенное положение Папа-Огли, как лица никем не аккредитованного, не позволило ему

приступить к составлению каких-либо договоров с греками.

Тем не менее с ним были в сношениях почти все представители греческих племен. Все они, не обязуясь никаким договором, дали слово всеми средствами содействовать русскому оружию в Пелопонезе. В особенности много оказал Папа-Огли услуг богатейший во всей Греции начальник города Каломаты (Каламея), грек Бенаки. Он пользовался обширными связями и уважением в стране и с помощью своих друзей дал письменное обязательство выставить до 100 000 греков, если только им будет доставлено оружие и окажется содействие русского флота. Но при этом необходимо было поставить в сношение с греками лиц, уполномоченных императрицей, на которых бы греки могли смотреть как на представителей русской монархии. Поэтому в конце 1768 года два брата Алексей и Федор Орловы, прибыли в Венецию в качестве русских путешественников.

Здесь сосредоточилась тогда вся деятельность по делу восстания Греции.

В Венецию прибыли главнейшие русские агенты в Греции и греческие депутаты для вступления с Орловым в переговоры.

Греки, живущие в Венецианских владениях, также записались в число охотников защищать свободу их общего отечества, с которым они не потеряли еще связи. В Тоскане, на о. Сардинии и в Порт-Магоне были уже сделаны значительные заготовления разных припасов для русского флота.

Нужно отдать полную честь Орлову и его агентам. Они так искусно вели свои дела, что, когда уже все почти было готово к действию, мало кто догадывался о возможности и важности появления русского флота в архипелаге.

Одна Россия понимала важность экспедиции в Средиземное море; что же касается до прочей Европы, то это великое предприятие в состоянии было только вызвать в ней одни насмешки, пока гром Чесменского боя не обратил этих насмешек в справедливое удивление.

Шуазель в письме своем к Жерару, посланнику Франции в Данциге, писал: «Предприятие это может иметь столь же несчастный исход, как самая идея его романтична» *.

Что касается до самих турок, то, по словам Тотта, также агента Франции при крымском хане, «в то время турки предполагали, что Россия вовсе не имеет кораблей, потому что ни один даже торговый корабль никогда не появлялся в Константинополе».

Но вдруг неожиданно разнеслась тревожная весть о появлении русской эскадры при берегах Мореи. Со всех приморских портов в Морее поскакали в Константинополь курьеры с требованием припасов и подкреплений **.

Судорожная деятельность закипела в Константинополе. В Родос, Антивари, Дульчины и Солоники отправлено приказание выслать суда и десантные войска в Морею для подкрепления морейского губернатора Муссина-Заде, бывшего верховного визира. В то же время капитан-паша (адмирал флота) Гассан-Един наскоро вооружил 20 военных кораблей в Константинополе и готовился выступить в архипелаг.

Между тем греки в Морее были уже в поголовном восстании и дожидались только прибытия русского флота для начала действий. Значительное число греческих вооруженных галер, собравшись у Балеарских островов, соединились с шедшею прежде других 1-ю русскою эскадрою адмирала Спиридова и прибыли вместе с ним 17-го февраля к морским берегам. Эскадра адмирала Спиридова состояла из 3-х больших кораблей: Евстафия, Ианнуария и Трех святителей; 2-х фрегатов: Соломбал и Летучий; из них последний, не доходя до Мореи, был послан к порту Виту-

* Versaille. 12 sept. 1769.

** Событие это многие сравнивали с отважным и неожиданным походом Аннибала, когда он из Испании предпринял вторжение в Италию, чтобы поразить римлян в самом их сердце.

лу для указания, нет ли в нем турецких судов, и для отыскания в этом месте гавани для стоянки нашего флота ***.

На другой день, по получении сведений, что в порте Витуле не было неприятельских судов и есть удобная гавань, эскадра Спиридова направилась туда и вступила в гавань того же дня. Здесь уже находился 36-типушечный венецианский корабль Св. Николая, нанятый графом Алексеем Орловым на всю кампанию. Множество греков, собравшихся на пристани, приветствовали наш флаг радостными восклицаниями и салютациею из ружей.

4 *...в селении под Короном... едучи через Мизистру.*— *Корон* (совр. Корони) — город на Пелопоннесе, на западном берегу Мессинского залива, *Мизистра* (Мисистра, Мистра́) — город и крепость неподалеку от Спарты.

5 *Золото оттого такого же цвета...*— Ср. у Риттера № 126 и 208: «Металлы — служители света, жрецы солнца; из них свет светит второй раз. Они заменяют свет повсюду, они говорят языком красок». И: «Золото — это окаменевшее пламя».

6 *...ведь даже кони Феба живут не одним воздухом: так уверяют нас поэты.*— Овидий: «...изрыгающих пламя,/Сытых амброзией, вслед из высоких небесных конюшен/Четвероногих ведут, надевают им звонкие узды» («Метаморфозы», кн. II, ст. 119—121).

7 *...об Агиде и Клеомене...*— Об Агиде и Клеомене пишет Плутарх; спартанские цари Агид IV (244—241 гг. до н. э.) и Клеомен III (235—221 гг. до н. э.). Гёльдерлин собирался написать о них драму.

8 *...эпидаврийских гор.*— Гёльдерлин называет горы по древнему городу Эпидавру.

9 *...воды Эврота и Алфея.*— Эти главные реки Греции можно сравнить с Рейном и Дунаем.

*** Журнал, веденный в эскадре адмирала Спиридова, с 17-го февраля по 24-е мая 1770 г. Архив. воен. топ. и истор. (рукопись).

10 *...по роще Додоны...*— См. примеч. 31 на с. 612.

11 *...и не становится Пелопидом...*— Пелопид — фиванский полководец, бежавший в Афины, когда Фивы были захвачены Спартой. В 379 г. до н. э. вел войско для освобождения своей родины.

12 *...которая могла бы ему противостоять.*— Можно процитировать еще один русский источник: Первый поход российского флота в Архипелаг, описанный Адмиралом Грейгом: (Из собственной его рукописи) // Отечественные записки/Изв. П. Свиньин 1823. Май, № 37.

«Граф Орлов по дошедшим до него сведениям знал, что жители возвышенного гористого мыса (горной части древней Македонии), ныне Майною именуемого, от коей Майноты получили наименование свое, есть из всех греческих племен народ отличнейший своею храбростию. Майноты снискивают свое пропитание одним грабежом и разбоями и никогда не были совершенно покорены турками, от преследования коих скрываются они в неприступные свои горы, откуда никоим образом нельзя их вытеснить. С сих вершин чинят они набеги на низменные места, уводя с собою скот, и награбленными съестными припасами питаются в диких своих убежищах, нимало не опасаясь нечаянного на них нападения неприятеля...» (С. 175—176).

13 *Я почти все время жила затворницей...*— Ср. реальное письмо Диотимы — Сюзетты Гонтар на с. 417. По-видимому, Гёльдерлин дописывал роман уже в Гомбурге, т. е. после сентября 1798 г.

14 *...его матери Красоты...*— В этом контексте особенно четко проступает смысл слова «Красота» — в XVIII в. это часто был синоним Свободы, Равенства, Братства.

15 *Наварин теперь наш...*— *Наварин* (в древности и в настоящее время Пилос) — город к северу от Модоны.

16 *...и мы стоим перед крепостью Мизистрой...*— Продолжим рассказ адмирала Грейга:

«Выше сего упомянуто уже было [с. 178], что для овладения разными городами и знатнейшими

укрепленными местами в Морее отправлены были многочисленные отряды Греков под начальством Российских Офицеров.

Первой таковой отряд, названный Восточным Легионом, состоял под командою капитана Баркова. При нем находился Лейтенант Псаро родом из Греков, один сержант, 12 Русских солдат и небольшое число Майнотов. Барков имел от Графа Федора Орлова приказание следовать к Псаро и там укомплектовать Легион свой Майнотами и греками.

Отправясь из Витулии 20 февраля, прибыл он на другой день к назначенному месту и через три дни набрал 1200 человек, предводительствуемых Майнотами и Греческими Капитанами, из коих каждый пришел с особым отрядом присоединиться к Российскому знамени. 26-го выступил он прямо к Мизитре, древней Спарте. Узнав на пути, что в небольшой деревне, именуемой Бердона, находилось около тысячи Турецкого войска, старался он всеми способами напасть на них нечаянно, но за появлением его пред сею деревнею 27-го на рассвете Турки и всякой, кто в состоянии был бежать, ушли, остальные же жители, вышед навстречу Российскому отряду, сдались ему и просили только о пощаде живота. Просьба их тем паче была уважена, что никто и не помышлял посягать на жизнь их; а потому Барков, обязав их клятвою ни в каком случае впредь не действовать противу Русских, позволил им спокойно возвратиться восвояси, сам же двинулся к Мизитре. Авангардию его составляли 50 человек Майнотов под начальством собственного их Капитана Занети, которые, приближаясь к Мизитре, встретились с Турецкою ариергардою, бежавшею сюда из Бердона. Они немедленно атаковали Турок, бывших в числе несравненно их превосходнее; но за появлением всего легиона неприятель обратился в бег и соединился с корпусом, стоявшим лагерем под самым городом Мизитрою. Число Турок могло простираться до 3000 человек.

Капитан Барков, приближась к Турецкому корпусу, разделил свой легион на две части. Одной под командою Лейтенанта Псаро, состоявшей из шести Российских солдат и пятисот Майнотов, приказал он обойти форсированным маршем некоторые возвышения, укрывавшие его от Турок, и ударить на них в тыл, а с другою сам он шел прямо на неприятеля. Лейтенант Псаро произвел сие движение с таким стремлением, что он успел атаковать тыл правого крыла Турок точно в то время, как Капитан Барков начал атаковать фрунт их. Неприятель, приведенный в замешательство, обратился в бег и укрылся в предместьях Мизитры; но как тогда же был он преследован, то вскоре ретировался в крепость, которая и была обложена со всех сторон. При сем случае Турки потеряли около ста человек убитыми, со Российской же стороны. вся потеря состояла из 30 убитых и одиннадцати раненых Майнотов» (С. 186—190).

Следует добавить, что Мизистра или Мисистра в XVIII в. уже называлась Мистра́ и она вовсе не была древней Спартой (Спарта восточнее).

17 *Все погибло, Диотима! Наши солдаты...*— Подробно рассказано у Грейга:

«По девятидневной блокаде Турки, увидя акедюк [акведук], снабжавший город водою, перерезанным, принуждены были сдаться на условие, что они положат оружие и всякую собственность, с обещанием не служить противу Русских в продолжении войн, а им дана будет свобода оставить Морею. Согласно с сею капитуляциею Турки числом около 3500 человек опорознили город Мизитру 8 Марта и выдали как оружие свое, так и амуницию. Едва сие воспоследовало, как Майноты, не знающие на войне никаких законов, свято соблюдаемых между просвещенными народами, и к тому быв ослеплены своим успехом, напали зверским образом на безоружных Турок и начали немилосердно умерщвлять их, не щадя ни женщин, ни детей. Капитан Барков, имея при себе только 12 Русских солдат, тщетно старался остановить сие кровопролитие и, укрывая беззащит-

ных Турок, неоднократно подвергал самого себя и людей своих очевидной опасности сделаться жертвою их лютости. При сем случае Майноты истребили до тысячи Турок. С крайнею трудностию успел Капитан Барков остальных довести до предместьев и укрыл их в Греческих домах, дав им приказание завалить двери и окны и приставя к оным столько часовых, сколько малолюдная команда его то позволила. Наглость Майнотов до того простерлась, что они стреляли по Российским часовым. Чтоб укротить их ярость, Капитану Баркову не оставалось другого средства, как, удовлетворяя врожденной их склонности к грабежу, отдать им оставленной жителями город на расхищение. Между тем удалось ему спасти жизнь множества бедных людей, на коих устремлено было их зверство. Пока занимались они грабежом города, Барков употребил время на доставление Туркам способов выбраться из Мореи, несмотря, однако же, на все принятые им меры осторожности, некоторые из Майнотов, предпочитая месть и кровь самой корысти, продолжали преследовать Турок и убивали многих на дороге. Хотя подлинное число погибших Турок никогда не было приведено в известность, но вообще полагают, что немногие из них успели спастись. Всех их с женщинами и детьми считалось свыше 8000.

Сей зверский поступок Греков извинить можно только одною тяжкою неволею, в каковой Турки их содержат. Они жестоко ныне отомстили им, но месть сия, сделавшаяся столь пагубной для Турок, не менее того обратилась во вред для самих Русских и была впоследствии времени причиной всех их неудач в Морее. Если б сделанное условие сохранено было в точности, то весьма вероятно, что ни один город не сделал бы значительного сопротивления, ибо Турки тогда со всех сторон начинали опорожнивать Морею и заботились только об одном безопасном для себя выходе из оной. Корунна, правда, все еще держалась, но не потому, чтоб запершиеся в ней Турки не желали

сдаться на капитуляцию, а, вероятно, не решались проходить местами, кои заняты были тогда многолюдными партиями раздраженных Греков. Как бы то ни было, с сего времени начали быть все предприятия Русских в Морее неудачны, даже и тогда, когда военные их силы весьма умножились с прибытием остальной части флота» (С. 190—193).

Стоит привести и более краткий рассказ у Петрова:

«22-го числа восточный легион, при капитане Баркове и 10-ти наших солдат, отправился для покорения Мистры. Легион этот, следуя к Мистре, выгнал по дороге 1000 Турок из деревни Бердани, которые отступили к Мистре. Небольшие укрепления не могли долго сопротивляться усилию греков. Неприятель, число которого доходило до 2000 человек, оставив укрепление, заперся в замке, но после двухдневной осады принужден был сдаться. Тогда начались страшные сцены в Мистре. Ожесточенные греки всех предавали смерти. Даже маленьких детей бросали с турецких минаретов. Иностранцы не поскупились и в этом случае приписать такие поступки варварству русских; но для успокоения их достаточно сказать, что при взятии Мистры было только 11 человек русских. Турки потеряли здесь свое знамя *».

18 *Русские... долго держались одни, но они все погибли.*— Продолжим изложение Грейга (Отечественные записки. 1823. № 39. С. 73 и след.).

«Но мы обратимся паки к Экспедиции Капитана Баркова. Пробыв в Мизитре по 26-е марта, старался он по возможности привести город и крепость в наилучшее оборонительное состояние, употребляя на то собравшихся под начальство его людей, столь же ненавидящих труды, сколько пад-

---

* Впрочем, в этом случае легко могла произойти ошибка оттого, что многим грекам даны были русские мундиры, нарочно привезенные из Петербурга, согласно еще прежде заявленному греками желанию. См.: *Rulhière*. Т. III. P. 435.

ких к грабительству. Когда место сие, по мнению его, достаточно было удержать нечаянное нападение неприятеля, то, оставя в нем гарнизон из 500 греков, отправился сам 26-го с прочим своим войском по горам, ведущим узкими каменистыми проходами, к открытому городу Леонтари, где, однако же, никого не нашел, кроме Греков. Здесь же имел он удовольствие встретиться с посланным к нему от графа Федора Орлова на помощь отрядом Российских войск. Оный состоял из одного Лейтенанта, одного сержанта и 20 рядовых с двумя небольшими полевыми орудиями, при коих находился один сержант, один капрал и 12 матросов, что для Капитана Баркова показалось быть тогда знатным подкреплением. Греки с своей стороны, почитая побиение Турков при Мизистре важною и решительною победою, положившею конец Турецкому владычеству в том крае, стекались со всех сторон под Российское знамя. Легион капитана Баркова в течение нескольких дней превзошел уже 8000 человек, которые вместе с присоединившимися к нему сказанными Российскими солдатами почитали себя не менее как непобедимою армиею. В сем состоянии спешил Барков по весьма гористой области и, пробираясь многими узкими проходами, достиг без всякого сопротивления до Триполицы. Город сей лежит на пространной плодородной равнине и почитался одним из многолюднейших в Морее. Гарнизон оного, по вернейшим сведениям, доставленным Грекам, состоял из 6000 Турок.

По прибытии к сему городу учинено было Селиму-Паше требование о немедленной сдаче оного. Греки, возгордясь своими прежними удачами, а также полагаясь на число свое, никогда не воображали, чтоб сей Паша стал сопротивляться, и думали, что он безоговорочно согласится выполнить требование, на которое, однако же, со стороны Турок не было дано никакого ответа. Жители здешние, узнав о жестоком жребии, постигшем товарищей их, при Мизитре давших обезоружить себя, решились с отчаяния лучше умереть с ору-

жием в руках и продать жизнь дорогою ценою, нежели быть очевидцами растерзания жен и детей своих, и как город Триполица вовсе не был приготовлен к выдержанию осады, то они, оставя оный, вышли встретить неприятеля. Греки, при появлении их вообразя, что они идут сдаваться, ожидали их с крайним нетерпением и готовили уже ножи свои, чтоб начать новую сечу, и из рапорта самого капитана Баркова видно, что и он, будучи одинакового с ними мнения, думал более, как предупредить новое кровопролитие, нежели заниматься распоряжениями на отражение неприятеля. Движения их, однако же, вскоре убедили его в ошибке. Турки, обойдя нескольких русских солдат, действовавших во фронте двумя маленькими полевыми орудиями, из коих Барков приказал стрелять по них, устремились незапно на Греков с такою решимостию, какую может вселить только одно отчаяние. Сии последние, столько же изумленные, сколько испуганные таким быстрым непредвиденным нападением, бросили оружие и рассыпались, не делая ни малейшего сопротивления. Разъяренные Турки убивали их без всякой пощады, и кто только в состоянии был в городе владеть саблею или кинжалом, то бежал на поле взять участие в победе. Капитан Барков, лейтенант Псаро и горсть русских солдат, оставшихся посреди поля, были покинуты Греками, окружены были со всех сторон. Турки хотя торжествовали, но еще столь боялись искусного действия и неустрашимости сего малолюдного отряда, что не смели приблизиться к оному и потому издали производили по нем беспрестанную ружейную пальбу, сами укрываясь позади камней и кустарников. Русские стояли неподвижно и потеряли уже одного Сержанта и 10 человек рядовых; но, приметя, что, в какую сторону они ни двигались, Турки немедленно оттоле убегали, решились силою открыть себе дорогу, которая неподалеку вела к узкому проходу в обратный путь; но для сего надлежало им оставить два небольшие орудия, кои наиболее устрашали Турок; но хотя и не преграждали они

пути Русским, однако же производили по ним столь сильный огонь, что большая часть их легла на месте убитыми или ранеными, и из всего отряда удалось только Капитану Баркову (получившему две опасные раны), Лейтенанту Псаро, одному сержанту и двум солдатам достигнуть до сказанного узкого прохода, куда турки не осмелились их уже преследовать. Лейтенант Псаро о[т]правлен был защищать Мизитру; а Капитана Баркова привезли на лошадке в Каламату, а оттуда перевезли на флот, и сим образом кончились все действия восточного легиона.— Между тем Мизидра оставалась в руках Майнотов, покуда Россияне вовсе не опорожнили Мореи; после чего они, оставя сей город, удалились в свои горы, увлеча с собою все то, что только они могли похитить».

19 *Поверь мне, для нас есть еще одна радость.*— Ср. конец письма № 198 — последнего из дошедших до нас писем к Сюзетте Гонтар.

20 ...*так сказала Поликсене мать*...— Речь идет о 415-м стихе «Гекабы» Еврипида; Поликсена — дочь Гекабы и троянского царя Приама. Однако Гёльдерлин то ли не понял, то ли намеренно превратно истолковал греческий текст.

21 *Завтра наш флот вступает в бой*...— 20 июня 1770 г.

22 ...*такие желанья, как мое, исполняются легко и сразу.*— В «Мемуарах Барраса» в главе XX тома II под датой «10 плювьёза V года» (30 января? 1797 года) читаем: «У меня рассказывали, что генерал Марсо, умирая в Альтенкирхене, сказал, сжимая руку друга: «Я вовсе не чувствую себя несчастным оттого, что умираю: это единственно достойный выход для тех, кто служил своей родине и хотел видеть ее уважаемой». Генерал Лефевр, который находится сейчас в Париже и не менее, чем другие, настроен против журналистской трескотни, много раз говорил мне, что он сам придерживается мнения Марсо, что республиканские генералы полны решимости дать себя убить или подать в отставку...» (Mémoires de Barras,

membre du Directoire. P., 1895. T. II. P. 297). Под датой «4-й дополнительный день IV года» (25 сентября? 1796 года): «Генерал Марсо смертельно ранен во время сражения под Альтенкирхеном тирольцем, стрелявшим из лесной засады. Марсо было только двадцать пять лет. Он уже был командующим, и в его лице Франция имела надежду получить один из первейших воинских талантов. В то же время это был гражданин, какие еще случаются в армиях наших времен. Французы почувствовали всю огромность постигшей их утраты. Даже вражеская армия отдала ему воинские почести» (Ibid. P. 204). Генерал Франсуа Северен Марсо был почти ровесником Гёльдерлина.

КНИГА ВТОРАЯ

23 *...русские сожгли весь флот турок...*— Описание этих событий в основном совпадает в разных источниках, хотя детали дискутировались долго. Приведем в виде связного рассказа изложение событий у А. Петрова.

Из главы «Соединение русского флота в заливе Наполи-ди-Романия»:

«Соединенный флот графа Алексея Орлова в архипелаге состоял из кораблей: 1) Евстафия, на кот. находился адмирал; 2) Ианнуария; 3) Европа; 4) Трех святителей; 5) Святослава, на котором находился контр-адмирал Эльфинстон; 6) Не-тронь-меня; 7) фрегат Саратов; 8) Трех иерархов; 9) Почтальон; 10) Надежда; 11) Африка; 12) Николай; 13) граф Чернышев; 14) граф Панин; 15) граф Орлов; 16) св. Павла и 6 английских и греческих больших судов.

По соединении всего флота на корабле Трех святителей поднят был кайзер-флаг, и 11-го числа (июня.— *Н. Б.*) граф Орлов двинулся к острову Паросу, чтобы отрезать неприятеля от Дарданелл.

15-го июня флот наш прибыл к острову Паросу, но, по дурному помещению, в ночь на 16-е число перешел в пролив между островами Парос и Нак-

сио, к порту Трио. Здесь корабли запаслись водою и пекли хлеб до 19-го числа ⟨...⟩. Турецкий флот ⟨...⟩ отступил сперва от острова Идра к о-ву Андрос, а потом в пролив между Анатолией и о-вом Хио.

Поэтому граф Орлов, сделав нужные заготовления при Паросе, также двинулся 20-го числа к о-ву Хио отыскивать неприятельский флот [...].

Следуя между о-вами Хио и Никария, флот наш приблизился 23 числа к острову Хио. [...]».

Из главы «Сражение при острове Хио» (между с. 378—379 — карта: Сражение при о-ве Хио и Чесме).

«Около 5-ти часов пополудни с этого корабля (Ростислава.— *Н. Б.*) замечена была часть неприятельского флота, стоявшего в довольно узком проливе между анатолийским берегом и о-вом Хио *.

Неприятель стоял в выгодной позиции при анатолийском береге, в полумиле к северу от Чесмы. Правый его фланг примыкал к мелям и был прикрыт небольшим каменным островом; а левый фланг был обращен к Чесменскому заливу. На берегу стоял турецкий лагерь (в).

По приближении нашего флота неприятель открыл сильнейшую пальбу. Капитан-Паша счел за лучшее перебраться на берег под предлогом управлять оттуда с бо́льшим удобством. Евстафий, идя впереди всех, управляемый адм. Спиридовым, и на котором был граф Федор Орлов, мужественно выдерживал неприятельский огонь и направился к правому флангу неприятельского расположения; Европа стала против его средины; оба корабля открыли вскоре сильный огонь; в половине первого часа бой достиг уже полного разгара. Тогда выдвинуты были вперед корабли Трех святителей и Ианнуарий, ставшие между двумя

* Журнал, веденный офицерами во флоте, состоящем под начальством гр. Орлова и адмирала Спиридова, во время войны 1769—1771 гг. (рукопись архива воен. топ. и ист.).

первыми. Еще через некоторое время вступили в бой Три иерарха, на котором находился главнокомандующий, и Ростислав, где был князь Долгоруков. Дым от частой пальбы сделался так густ, что не только нельзя было различать корабли, но и самые лучи солнца, в ясный и жаркий день, были помрачены.

В это время неприятельский корабль правого его фланга, на котором был сам главнокомандующий турецкого флота, приблизился к кораблю Евстафия на расстояние пистолетного выстрела и потом кинулся на абордаж с Евстафием. Отчаянный бой загорелся с обеих сторон, а между тем действием огня с Евстафия неприятельский адмиральский корабль загорелся; упавшая с него мачта зажгла снасти на Евстафии, и вскоре оба корабля обнялись общим пламенем, не будучи в состоянии отделиться друг от друга. Увидя опасность, угрожающую Евстафию, граф (Алексей.— *Н. Б.*) Орлов обрубил якорь у корабля Трех иерархов и готовился идти на спасение экипажа, но, заметя, что и неприятельский адмиральский корабль также горит и что пожар сделался уже слишком силен, подал сигнал, чтобы все шлюпки с кораблей спешили в Евстафию. «Спасайся кто может»,— сказал Спиридов, когда приблизились шлюпки. Но едва успели спуститься на шлюпки адмирал Спиридов и граф Федор Орлов с несколькими людьми, как оба корабля один за другим взлетели на воздух.

Увидя это и полагая, что граф Федор Орлов погиб, Алексей Орлов, несмотря на свое колоссальное сложение, упал без чувств. Прийдя через несколько минут в себя, он сказал: «Брат, ты погиб — отомстим за него!» — и тотчас отдал приказание идти на абордаж. Но устрашенные турки обрубили уже якоря и поспешно отступили в чесменскую гавань. Легкость их судов спасла их от преследования.

Чесменская гавань представляет вид довольно правильного полукруга. Высокие, крутые берега

ея образуют глубокую котловину. Тут расположился разбитый турецкий флот (с), под защитой крепости Чесмы.

Уничтожение турецкого флота при Чесме

Следуя за отступавшим неприятельским флотом, граф Орлов подошел к чесменской гавани и закрыл из нее выход неприятелю.

Тут он решился сжечь весь турецкий флот. В течение всего следующего дня (т. е. 25-го числа) бомбардирское судно Гром, выставленное в гавани, выдерживало огонь неприятельского флота; а между тем в этот день с нашей стороны были приготовлены из греческих полушебек четыре брандера для сожжения неприятельского флота. Со своей стороны турки для воспрепятствования входа в гавань устроили при входе в нее, на правом ее фланге, батарею (д) на 22 орудия.

Готовясь атаковать противника, граф Орлов снова собрал военный совет, на котором было положено вести атаку ночью. Для атаки назначались корабли: Нетронь-меня, Ростислав, Саратов и Европа и фрегаты Надежда и Африка, под общею командою контр-адмирала Грейга, который находился на корабле Ростислав. В одиннадцатом часу вечера 25-го июня подан был сигнал четырьмя фонарями о выступлении назначенных к атаке кораблей и фрегатов. Сзади этой флотилии следовали заряженные брандеры, из которых два были под начальством русских, а два — под командою английских волонтеров *.

Едва суда наши двинулись в атаку, как неприятель, отгадав наше наступление по данному Грейгом сигналу к атаке, открыл сильнейший огонь с кораблей и береговой батареи. Хладнокровное и искусное управление Грейга заставило неприятеля вскоре почувствовать действие и нашего огня. От брошенных брандскугелей загорелся один из его кораблей. Тогда Грейг, остановив флотилию,

* Рюльер упоминает только о двух брандерах, бывших под командой английских волонтеров ⟨...⟩

выслал вперед брандеры, которые превосходно исполнили свое дело. Брандер г. Ильина спокойно подошел к одному неприятельскому кораблю; несмотря на выстрелы, начальник ея зажег брандер в глазах неприятеля и потом на шлюпке возвратился назад; остальные брандеры сделали то же. Вскоре загорелись от брандеров ближайшие турецкие корабли; пожар, распространяясь быстро от одного корабля к другому, охватил весь турецкий флот *.

В это самое критическое для неприятеля время с кораблей наших открыта была сильнейшая пальба, чтобы препятствовать туркам тушить пожар. Вскоре неприятельские корабли, один за другим, взлетели на воздух. От этого в гавани поднялось такое сильное волнение, как во время сильной бури. Гром от взрывов, вопли погибающих, зарево пожара во время темной ночи представляли поразительную картину. Контр-адмирал Грейг, видя, что неприятельский флот уже почти уничтожен, кроме нескольких судов, еще не занявшихся пламенем, отправил на шлюпке капитан-лейтенанта Булгакова вывести незагоревшиеся суда из гавани — что и было исполнено. Один большой турецкий корабль «Родос» о 60-ти пушках и пять галер были приведены на присоединение к нашему флоту. Вслед за тем сделана была высадка, которая овладела неприятельскою батареей с 22 медными пушками. К рассвету 26 июня наш флот расположился на том самом месте, на котором только что были погребены все морские силы Порты.

---

* Замечательно, что когда турки заметили приближение наших брандеров, то думали, что часть нашей флотилии намерена передаться на их сторону. Гассан-Паша с восторгом ожидал прибытия мнимых дезертиров и заранее решился заковать весь передавшийся экипаж в железа и отправить его к султану для доказательства победы. Все это было лично рассказано Гассан-Беем барону Тотту. См.: Memoires de Tott. Vol. 2. P. 244.

По собранным сведениям, турецкий флот при Чесме состоял из 15-ти больших линейных кораблей, а именно: 1) флагманский, капитана-паши, о 68 пушках; 2) капитан, о 84-х пушках; 3) патрона, о 72-х пушках; 4) реала, о 72-х; 5) саферсбея, о 66 пушках; из остальных пять были от 80—90 пушек, а четыре — от 60—70 пушек. Сверх того, 6 фрегатов, несколько шабек и бригантин; много полугалер, фелук и многих малых судов; всего же до 100 судов. Из числа 16 000 человек, бывших на турецком флоте, погибло до 13 000 человек. Остальные 3000 отступили к Смирне *.

В награду за победу при Чесме граф Алексей Орлов получил название чесменского, чин генерала-аншефа и 100 000 рублей; граф Федор Орлов — 50 000 и орден св. Георгия 2-го класса, адмирал Спиридов — 2500 душ мужеского пола; Грейг — орден св. Георгия 2-го класса. На корабли, участвовавшие в деле, выдано 200 000 рублей.

На другой день, 27-го числа, несколько рагузских судов с провиантом прибыло к Чесме, не зная о случившемся; так как привезенный провиант назначался для неприятеля, то он и был забран нами в добычу.

Говорят, что вода в Чесменском заливе долго оставалась красноватого цвета **.

Весть об уничтожении турецкого флота при Чесме до того раздражила турок, что в Смирне большая часть христиан сделалась жертвой их ярости.

Граф Орлов объявил, что за смерть одного христианина он велит казнить десять турок, и готовился идти к Смирне для наказания виновных в произведенных убийствах.

Магистрат города прислал своих депутатов к графу Орлову с письмом ‹...›. Депутаты города

---

* Донесение графа А. Орлова о чесменском деле и записки офицеров его флота (рукопись архива воен. топ. и истор.).

** Лефорт. Царствование Екатерины II. Т. III. С. 103.

оправдывали магистрат, говоря, что слабые его средства не могли воспротивиться насилию войска и народа. Но как Смирна есть преимущественно город торговый, населенный европейцами, поддерживающими его торговлю, из которых многие и теперь находятся в руках народа, то приближение русского флота к Смирне будет стоить жизни остальным христианам, захваченным там турками.

Граф Орлов отвечал, „что, действуя строго по полученным от ея величества инструкциям, он не намерен обращать своего оружия на те города, в которых нет ничего враждебного нашим интересам. Поэтому, как волнение в городе уже успокоилось и в убийстве христиан были виновны турецкие войска, вышедшие уже из Смирны, то он отлагает свое намерение идти к этому городу, если вперед не представится к тому необходимости“» (С. 375—384).

Отсюда видно, что Гёльдерлин очень точно помещает своего героя на передовой корабль *Евстафий*, управляемый адмиралом Спиридовым, на котором был и граф Федор Орлов, и заканчивает его участие в военных действиях в канун Чесменского боя, 23 июня 1770 г., *во время сражения при острове Хио.*

24 *Все, что живет,— неистребимо...*— Ср. в письме к брату от 4 июля 1798 г. (№ 162)

25 *...как прекрасный голубь...*— библейская аллюзия (1-я кн. Моисея, VIII, 8—12).

26 *Так пел я под рокот струн.*— На этот текст существует замечательная музыка рано ушедшего из жизни композитора-романтика Теодора Фрёлиха, предвосхитившего многие музыкальные идеи Шумана; ноты опубликованы в приложении к «Гёльдерлиновскому ежегоднику» 1953 г. (Hölderlin-Jahrbuch. 1953. nach S. 148). Перевод Е. Садовского. Публикуется впервые.

27 *...а ведь великая римлянка умерла молча...*— Жена Брута, дочь Катона Утического Порция была достойной спутницей своего мужа; она знала о заговоре против Цезаря.

Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях» в главе «Брут», 53 (в 52 говорится о самоубийстве Брута, бросившегося на свой меч) сообщает:

«Супруга Брута, Порция, как сообщает философ Николай и вслед за ним Валерий Максим, хотела покончить с собой, но никто из друзей не соглашался ей помочь, напротив, ее зорко караулили, ни на миг не оставляя одну, и тогда она выхватила из огня уголь, проглотила его, крепко стиснула зубы и умерла, так и не разжав рта. Впрочем, говорят о каком-то письме Брута к друзьям, где он обвиняет их и скорбит о Порции, которую они, по его словам, забыли и бросили, так что, захворав, она предпочла расстаться с жизнью. А так как письмо — если только, разумеется, оно подлинное — говорит и о болезни Порции, и о ее любви к мужу, и об ее мучительной кончине, разумно предположить, что Николай просто-напросто перепутал сроки и времена».

Николай из Дамаска — современник Октавиана Августа, автор всеобщей истории, дошедшей до нас во фрагментах; *Валерий Максим* (1-я пол. I в. н. э.) — автор сохранившейся компиляции «Достопамятные поступки и изречения», где о Порции говорится в кн. VI, гл. 6, § 5.

Поэтому не стоит, как это делают некоторые комментаторы, с уверенностью утверждать, что Порция умерла *после* Брута.

28 *великий сицилиец* — Эмпедокл.

29 *...сказал о нем один насмешник* — Гораций (Ars Poetica, v. 463—466). Э. Штайгер пишет по этому поводу: «Холодный, греющийся у огня, или, если выразиться более в духе Гипериона, тот, кто боготворит пламя, хочет соединиться с пламенем,— эта мысль была хорошо известна веку Гёльдерлина. Мы встречаемся с ней постоянно в метафорике огня у пиетистов:

О пусть скорей огонь твой вспыхнет!
О чистый огнь! О сладкий жар!
Ах, выжги пыль и мусор мне из сердца.

Или, особенно выразительно, у Магдалены Сибиллы Ригер:

Схлестнитесь во мне,
Языки божия огня,
Дабы к сему благу
Ответной любовью
И я воспылала».

(*Hölderlin-Jahrbuch. 1963—1964.* [*Bd. 13*]. *S. 3f*).

[30] *Смиренно пришел я, словно слепой изгнанник Эдип...*— См. «Эдипа в Колоне» Софокла, откуда взят эпиграф ко второму тому.

[31] *Варвары испокон веков...*— Знаменитую «обличительную речь» Гёльдерлина против немцев нелишне сопоставить с письмом его к И. Г. Эбелю от 10 января 1797 г. (№ 132). Ср. также с. 566.

[32] *...а пролитая живая кровь уходит в песок?* — Этот абзац К. Штирле сопоставляет с одним местом из Руссо: «Мы имеем докторов, геометров, аптекарей, астрономов, поэтов, музыкантов, живописцев: но у нас нет более граждан; если какие и остались, рассеявшиеся по пустующим деревням, то они погибают там, непризнанные и презираемые» («Речи о науках и искусствах») (Hölderlin-Jahrbuch. Bd. 22. S. 50).

[33] *...как многострадальный Улисс* — *Улисс* — латинское имя Одиссея; ср. 20-ю песнь «Одиссеи» Гомера.

ИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ НАБРОСКОВ

Фрагмент «Гермократ к Кефалу» вместе с другими философскими фрагментами впервые был опубликован В. Бёмом в 1911 г. в 3-м томе Собрания сочинений Гёльдерлина. Написан не ранее марта 1795 г.

«Суждение и бытие» впервые всплыло на аукционе в 1930 г. Первая публикация — Ф. Байснера в 4-м томе Большого Штутгартского издания (1961), ему же принадлежит заголовок. Текст написан на лицевой и оборотной сторонах листа, вырванного из книги, по-видимому форзаца, и датируется (по характеру начертания букв) началом апреля 1795 г. Есть предположение, что порядок чтения должен быть обратным: «Бытие», а потом «Суждение».

СТИХОТВОРЕНИЯ

Греция

Первую редакцию стихотворения автор послал Г. Штойдлину в июле 1793 г., который переслал ее в «Уранию» Иоганна Людвига Эвальдса, где она вышла (без ведома Гёльдерлина) в апрельском номере 1795 г., в то время как третья редакция уже была опубликована Шиллером в «Новой Талии» (№ 6 за 1793 г., вышедший в феврале 1795 г.).

[1] *Штойдлин* — Готхольд Фридрих Штойдлин (1758—1796), адвокат по профессии, издатель литературных альманахов, стремившийся объединить вокруг себя молодые таланты. В его «Альманахе муз» на 1792 год и «Поэтическом цветнике» на 1793 год были опубликованы тюбингенские гимны Гёльдерлина. После изгнания из Вюртемберга осенью 1793 г. пытался обосноваться в Ларе в Брейсгау, но безуспешно. В сентябре 1796 г. покончил с собой. См. также с. 517 и след.

[2] *Илис* — см. примеч. 21 на с. 680.

[3] *Агорá* — в оригинале «шумная агóра» (с ударением на ó против греческого), базарная площадь, где происходили собрания афинян.

[4] *Аспазия* — знаменитая афинская гетера, возлюбленная, а позднее вторая жена Перикла.

[5] *...Где Платон...* — Ср. письмо № 60 (к Нойферу, между 21 и 23 июля 1793 г.).

[6] *...пламень Весты...* — Веста — римское наименование Гестии, греческой богини очага и горевшего в нем огня.

[7] *Парки* — примеч. 55 на с. 629.

К Нойферу

В марте 1794 года

Это стихотворение Гёльдерлин послал Нойферу в письме, написанном, по-видимому, в начале апреля 1794 г. (№ 75). «Ты можешь сию мелочишку переправить — мне то ли в наказание, то ли в награду — в „Отшельницу" или куда пожелаешь». Ной-

фер переслал стихотворение в Цюрих Марианне Эрман, издававшей журнал «Отшельница в Альпах», где оно и вышло в том же, 1794 г.

К весне

Этот отрывок, написанный на отдельном листе и впервые (не полностью, без последних семи стихов) опубликованный в 1896 г. Б. Лицманом в I томе сочинений Гёльдерлина, датировался сначала 1798, затем 1796 годом. Г. Мит (SWuB. Bd. I. S. 969) датирует его, на основании орфографических особенностей, 1794 или даже 1793 г. Наверное, весна 1794 г.— наиболее вероятная датировка. После первой строки в рукописи стоит «рр.», что означает «и т. д.».

[1] *Как Селена любимца...*— в оригинале римское имя богини: Луна; любимец ее — Эндимион, прекрасный юноша-пастух, которого она посещала ночью.

Юноша отвечает мудрым советчикам

Первый вариант этого стихотворения Гёльдерлин послал Шиллеру 24 июля 1796 г. (ср. примеч. 71 к письмам). Шиллер сильно отредактировал текст, но так и не опубликовал (впоследствии его обнаружили в его бумагах). Публикуемый нами вариант Гёльдерлин прислал через год, в августе 1797 г. Но и эта редакция не удовлетворила Шиллера.

[1] *...Вы, мертвецы, останьтесь с мертвецами...*— евангельская аллюзия. Речь идет о призыве учеников Иисусом; в ответ на просьбу одного из них задержаться, чтобы похоронить отца, Иисус сказал: «...предоставь мертвым погребать своих мертвецов; а ты иди, благовествуй царствие божие» (Лк 9,60).

Эпиграммы

Следующие эпиграммы были написаны Гёльдерлином на полях листа с его переводом из Софокла и первым наброском оды «Битва» (ср. с. 672) и датируются приблизительно концом 1796 г. Г. Мит цитирует в этой связи письмо Ф. Шиллера Гёльдерлину от 24 ноября, где тот писал: «Избегайте, насколько возможно, философских материй, это самая не-

благодарная тема; в бесплодной борьбе с нею потерпел поражение не один светлый ум; держитесь больше чувственного мира, где Вам меньше грозит опасность утратить трезвость суждения в порыве восхищения или впасть в искусственность выражения» (SWuB. 1984. Bd. I. S. 979). Впервые опубликованы Б. Лицманом в 1895 г.

Дубы

Первый вариант стихотворения (стихи 1—12) относится, по-видимому, к 1796 г., второй, возникший год спустя, Шиллер опубликовал в журнале «Оры» в № 10 за 1797 г., который вышел в свет в феврале 1798 г.

Позднее, видимо в 1799 г. (самое позднее — в 1800 г.), автор переписал этот текст из журнала, собираясь его продолжить. Под последними словами («wie gern würd ich unter euch wohnen») он подписал новый вариант: «wie gerne würd ich zum Eichbaum», т. е. «лучше был бы я дубом».

Далее шел прозаический текст, из которого, видимо, должно было возникнуть продолжение начиная с 14-го стиха (стихи 14—17 взяты в скобки).

К Эфиру

Опубликовано Ф. Шиллером в «Альманахе муз на 1798 год», который вышел в свет в начале октября 1797 г. Ср. также письмо № 139 и примеч. 92 к письмам. Существуют три рукописных варианта, значительно отклоняющихся от печатного. Два из них содержатся в «Гомбургской тетради ин-кварто» — главном источнике этого периода. В частности, в ней написаны публикуемые нами стихотворения «К Диотиме» («Солнце жизни!..»), «Диотима» («О приди и утешь...»), «К Нойферу» («Братское сердце!..»), «Дубы», «Досуг», «Безмолвные народы спали...», а также предпоследняя редакция «Гипериона».

«...и по вечному кругу...»

Отрывок, представляющий, видимо, конец оды и относящийся к 1797 г., сохранился, написанный рукой Кристофа Теодора Шваба, в материалах к изда-

нию 1846 г. Впервые опубликовано в 1905 г. Вильгельмом Бёмом в Собрании сочинений Гёльдерлина с заголовком «К дереву». В Собрании сочинений, начатом Хеллингратом, оно публиковалось под названием «К Диотиме». Фрагмент II».

К Диотиме

Датируется 1797 г., первая публикация — в «Йене и Веймаре», альманахе издательства «Ойген Дидерихс» в Йене на 1908 г.

Единственный случай употребления Гёльдерлином архилоховой строфы (сочетание гекзаметра с половиной пентаметра). Фрагмент обрывается на 33-м стихе. После 15-го стиха пропуск в полторы строки, между 32-м и 33-м, видимо, в одну.

К Диотиме

Первая публикация Б. Лицмана в 1896 г. в т. I Собр. соч. Это и последующие стихотворения, включая «Безмолвные народы спали...», датируются предположительно 1797 г, во всяком случае не позднее 1798 г. Все они написаны поэтом в одной тетради, называемой «Гомбургская тетрадь в одну четвертую».

Диотима («О приди и утешь...»)

Впервые опубликовано в издании 1826 г., с. 125.

К Нойферу («Братское сердце...»)

Впервые опубликовано Зеебасом в «Дер грундгешайте антиквариус» I, № 6 в 1921 г.

Досуг

Впервые опубликовано полностью Зеебасом в «Дер грундгешайте антиквариус» (I, № 6); стихи 27—37 — во 2-м издании В. Бёма (Т. 2. С. 394). Вернер Кирхнер (см.: *Kirchner W.* Hölderlin. Aufsätze zu seiner Homburger Zeit. Göttingen, 1967) связывает это стихотворение с событиями весны 1797 г. (ср. письмо сестре № 138) и датирует весной 1798 г.

«Безмолвные народы спали...»

Первая публикация — Манфред Шнайдер: Hölderlins Werke. 1921. Bd. II. В датировке исследователи расходятся. Ф. Байснер называет осень 1797 г., В. Кирхнер (см.: Op. cit.) — конец 1798 г.— после того, как Гёльдерлин вернулся с Раштадтского конгресса, где велись мирные переговоры с Францией.

Буонапарте

Написано, по-видимому, в 1797 или 1798 г.

Маленькие оды

В июне и августе 1798 г. Гёльдерлин послал Нойферу для его «Карманной книги для образованных женщин» на 1799 г. 18 маленьких од, которые Байснер называет эпиграмматическими одами, а сам поэт — «маленькими стихотворениями». Из них Нойфер опубликовал 14; четыре оставшиеся — год спустя. Не все оды были подписаны именем Гёльдерлина: «К ее гению», «Мольба» («Просьба о прощении»), «Любящие», «Родина», «Упование», «Ее выздоровление» и «Непростительное» вышли под псевдонимом Хильмар (Hillmar). Альманах Нойфера на 1799 г. рецензировал в «Альгемайне литератур-цайтунг» (№ 71 от 2 марта 1799 г.) Август Вильгельм Шлегель, высоко отозвавшийся о стихотворениях Гёльдерлина и Хильмара.

Для истории создания этих од небезынтересно письмо Гёте Шиллеру, в августе 1797 г. навещавшего свою матушку во Франкфурте:

„Франкфурт, 23 августа 1797 года

⟨...⟩ Вчера был у меня и Гёльдерлин; он выглядел несколько подавленно и болезненно, но при этом был поистине очарователен и при всей скромности, даже застенчивости, откровенен. Он затрагивал различные материи в манере, которая выдает Вашу школу, некоторые генеральные идеи он очень хорошо усвоил раньше, так что кое-что он мог опять легко воспринять. Я посоветовал ему особо писать короткие стихотворения, выбирая для каждого по-человечески интересный предмет. Его, кажется, интересуют

средние века, в чем я не мог его поддержать. ‹...›". (см.: Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. Jena. Diederichs. 1910. S. 425).

Размеры, которыми написаны «маленькие оды», воспроизводят античные: это алкеева и асклепиадова строфа. Приведем их на примерах:

К Паркам (алкеева строфа)

Еще одно мне дайте, могучие,
Благое лето — осенью тучною
Пожну я звуки, будет сердце,
Песнью насытясь, готово к смерти.

Любящие (асклепиадова строфа)

Нам расстаться с тобой? Здравый и мудрый шаг?
Что же, дело свершив, словно убийство зрим?
Ах, себя мы не знаем,
Ибо правит в нас некий бог.

К солнцебогу

Эту оду вместе со стихотворениями «Человек», «Сократ и Алкивиад», «Ванини» и «Нашим великим поэтам» Гёльдерлин послал 30 июня 1798 г. Шиллеру, который опубликовал в «Альманахе Муз на 1799 год» (вышел в свет в середине октября 1798 г.) только два: «Сократ и Алкивиад» и «Нашим великим поэтам».

Сократ и Алкивиад

См. предыдущее примеч.

Ванини

Первая публикация — Зойферт в «Ежеквартальнике истории литературы» (Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte. 1891. IV. S. 608).

Итальянский философ-пантеист Лучилио Ванини (ок. 1585—1619) был сожжен в Тулузе как еретик

за сочинение «О чудесных тайнах природы» («De admirandis naturae arcanis». P. 1616). Главное произведение Ванини — «Божественно-чудесная и христианско-естественная арена вечного Провидения» («Amphiteatrum aeternae providentiae divino-magicum christiano-physicum». Lyon, 1615), из которого Гердер в своем сочинении «Бог. Несколько диалогов» («Gott. Einige Gespräche», 1787) цитирует оду «Бог» («Deo»).

Песнь судьбы Гипериона

Стихотворение написано, по-видимому, во Франкфурте в 1798 г., а может быть, и раньше. Вошло во второй том романа (см. с. 233 наст. изд.). Его место и функция аналогичны «Песне Парок» в «Ифигении в Тавриде» Гёте. Однако контраст между классицистическим текстом Гёте и романтическим духом стихотворения Гёльдерлина очевиден даже на первый взгляд.

Род людской,
Страшися богов!
Бессмертной рукою
Власть они держат
И могут по воле
Направить ее.

Кто ими возвышен,
Страшись их вдвойне!
На тучах, утесах
Стоят их престолы,
Вкруг трапез златых.

Возникнет вражда,
То падают гости
С обидой, с позором
В глубокие бездны
И ждут там напрасно,
Что суд справедливый
От уз разрешит.

Они же сидят,
Блаженствуя вечно
Вкруг трапез златых.
Они переходят

Чрез горы, чрез бездны.
Из пропастей темных,
Дымясь, к ним струится,
Как жертвенный дым
Иль облак прозрачный,
Дыханье титанов,
Задавленных ими.
Властители-боги
От целого рода
Дарующий счастье
Свой взор отвратят
И видеть во внуке
Они избегают
Любимые прежде,
Безмолвно гласящие
Прадеда черты.
(*Перевод В. Водовозова*)

«Когда я был дитя...»

Отрывок, дошедший до нас без заголовка на отдельном листе, предположительно датируется 1797—1798 гг. Первая полная публикация — К. Т. Шваба в «Hölderlins Ausgewählte Werke» (1874. S. 5).

Битва

Датируется предположительно 1797 г. Это первый вариант оды «Смерть за родину».

Первый набросок оды относится к 1796 г.

O Schlacht fürs Vaterland,
Flammendes, blutendes Morgenrot
Des Deutschen, der, wie die Sonn, erwacht
Der nun nimmer zögert, der nun
Länger das Kind nicht ist,
Denn die sich Väter ihm nannten,
Diebe sind sie,
Die den Deutschen das Kind
Aus der Wiege gestohlen
Und das fromme Herz des Kinds betrogen
Wie ein zahmes Tier, zum Dienste gebraucht.

(Ср. письмо № 125 брату от 6 августа 1796 г.)

Ахилл

Написано, скорее всего, весной 1799 г. Первоначально был написан прозаический текст (в той же рукописи, где находится отрывок «Об Ахилле (2)»,— см. с. 610 наст. изд., фрагмент № 10 и начало письма к Сюзетте Гонтар — см. примеч. к письму № 176). Последние 4 строки не имеют рукописного источника — они опубликованы К. Т. Швабом в издании 1846 года.

Приведем прозаический текст, соблюдая авторское деление на строки:

Ахилл

Прекрасный сын богов, когда у тебя
отняли любимую, пошел ты
на берег,
И катились из глаз героя
слезы в священные
волны, стремясь
в тихие глубины, где под водами
в мирном гроте
живет его мать
богиня моря
синеватая Фетида.
Мил был ей юноша, на
брегах их родных
островов воспитала она его,
волн в него вложила и руки
отвагу с песней
мальчика укрепила в купели.
И она услыхала стоны
сына, у которого наглые
отняли возлюбленную,
нежно всплыла наверх,
утешала мягкою речью
страдания сына.
Если бы я был равен тебе, прекрасный
юноша, с доверием, как ты,
одному из богов
мог бы пожаловаться, потому что — —
Но вам, благие,
вам внятно всякое моление,

и с тех пор, как
живу я, я свято люблю тебя,
о священный свет,
и твои источники, о мать
Земля, и твои молчаливые
леса, но слишком мало, отец
Эфир! знала в любви тебя душа.
О, смягчите, вы священные
боги природы, мое страданье
и укрепите мне сердце, чтобы
мне не умолкнуть совсем, чтобы
не умереть и на краткое время еще
кроткой песней вас, небес-
ные, благодарить, за радости
прошедшей юности, а
тогда примите благосклонно
к себе одинокого.

В первой половине стихотворения довольно точно передаются стихи из первой песни «Илиады».

«Некогда боги с людьми...»

Отрывок элегии создан в марте 1799 г. Перед строфой «Дай же нам в жизни пожить...» в рукописи стояла цифра 4.

Первая публикация в Собрании сочинений, изданном В. Бёмом (1909 г.).

Эпиграммы

Эти эпиграммы, возможно, были написаны для предполагавшегося журнала «Идуна» летом 1799 г., но, может быть, и позднее. πρὸς ἑαυτόν (*греч.*) — к себе самому. Заголовки «Сердитый поэт» и «Шутники» даны Людвигом Уландом и Густавом Швабом в первой публикации стихотворений Гёльдерлина в 1826 г.

Сердитый поэт

[1] *Злости поэта не бойтесь...* — Ср.: Новый завет, второе послание апостола Павла к коринфянам, III, 6: «Он дал нам способность быть служителями Нового завета, не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух животворит».

Корень всех зол

Ср.: Первое послание апостола Павла Тимофею, VI, 10: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Однако существенней в эпиграмме философский аспект проблемы: критика абсолютного Я Фихте (ср. с. 532 наст. изд.) и философии тождества Шеллинга.

ПИСЬМА

Отбирая письма Гёльдерлина для данного издания, мы руководствовались двумя соображениями. Во-первых, эти письма (и отрывки из них) должны составить необходимую параллель Wahrheit к Dichtung романа «Гиперион», во-вторых, они расширят представление русского читателя об эпистолярном наследии поэта (в большинстве это материалы, на русском языке не публиковавшиеся). Вряд ли следует специально комментировать стилистику этих писем, читатель без труда заметит их поразительную современность. Но стоит привести мнение тонкого стилиста Стефана Цвейга, хотя согласиться с ним никак невозможно. «Гёльдерлин затруднен в речи (hat im Sprechen schwere Lippe), его проза в письмах и статьях спотыкается о философские формулы, она неуклюжа в сравнении с божественной легкостью естественной для него стихотворной речи...» (*Zweig S.* Der Kampf mit dem Demon. Leipzig, 1925. S. 116).

Нумерация писем дана по Большому Штутгартскому изданию (Grosse Stuttgarter Ausgabe. Bd. 6), которое является основополагающим; издание Гюнтера Мита (*Hölderlin F.* Sämtliche Werke und Briefe. Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag, 1970. Bd. 4; 4. Aufl. München: Carl Hanser Verlag, 1984. Bd. 2) также в основном следует ему.

Публикуемые нами письма относятся к 1792—1799 гг. Исключение сделано для двух отрывков из письма № 23 и № 42, потому что в них содержатся мысли, важные для понимания «Гипериона».

Маульбронн

Из № 23.

Письмо это начиналось так: «Милая мама! Вот отрывок из моего путевого дневника...» Однако в письме есть целый ряд признаков, позволивших исследователям сделать вывод о том, что эти записи, помеченные 2, 3, 4, 5 и 6 июня, были сделаны уже по возвращении в Маульбронн.

[1] ...самого Теодора (курфюрста).— Курфюрст Карл Теодор пфальцский (1724—1799).

Тюбинген

Из № 43.

Приводимый отрывок заставляет подумать, что Гёльдерлину был знаком шекспировский «Гамлет». Ср.: «Мне *кажется*? Нет, есть. Я не хочу/ /Того, что *кажется*. Ни плащ мой темный,/Ни эти мрачные одежды, мать,/〈...〉 Не выразят меня; в них только то,/Что *кажется* и может быть игрою;/То, что во мне, правдивей, чем игра; а это всё — наряд и мишура» (пер. Лозинского). О том, что он «посвятил Шекспиру гимн», Гёльдерлин писал Нойферу из Нюртингена в декабре 1789 г., но сам гимн неизвестен, как неизвестно и то, что́ он знал к тому времени из Шекспира.

Комментаторы сопоставляют это письмо с тем местом в «Гиперионе», где Диотима говорит о мире: «Я люблю представлять себе мир единой семьей...» (см. с. 113 наст. изд.).

№ 50.

Письмо другу в Штутгарт по возвращении в Тюбинген. Ср. «Фрагмент „Гипериона“» (с. 5 и след. наст. изд.).

[2] *Берго* — Панайотис Берго (1767—1843), оптовый торговец хлопком в Штутгарте, грек из Константинополя; Гёльдерлин был введен в его дом Нойфером. Позднее переселился в Канштадт.

[3] *Каффро* — Джузеппе Каффро (род. ок. 1776 г. в Неаполе), знаменитый гобоист, автор нескольких концертов для гобоя с камерным оркестром, фортепьянных произведений, неоднократно гастролировавший в Германии; в 1807 г. возвратился

на родину, после чего сведений о нем нет. Гёльдерлин слышал Каффро в апреле в Штутгарте и затем в Тюбингене; в январе Каффро выступал в Париже. Ср. объявление в «Журналь де Пари» (№ 3, вторник, 3 января 1792 г.): «*Музыка.* Первый концерт для солирующего гобоя, двух скрипок, альта и баса, двух гобоев, рогов и чембало ad libitum, сочинение Жозефа Каффро, профессора гобоя при Неаполитанском дворе, исполнявшееся многократно в Духовном концерте и в концерте Королевы *Автором*, цена 6 ливров».

Из № 51.

[4] *Теперь уже скоро решится спор между Францией и австрияками.*— Война, объявленная революционной Францией Австрии 20 апреля 1792 г., сначала шла с перевесом для коалиции (к Австрии присоединилась Пруссия); только 20 сентября, после «канонады при Вальми», в ходе военных действий произошел перелом. Но до окончательного «решения спора» было еще далеко.

№ 54.

[5] *Вот тебе то письмо.*— Исследователи предполагают, что «то письмо» было адресовано Аугусте Бройер. Предположение было высказано впервые А. Беком в статье «Die holde Gestalt» (Hölderlin-Jahrbuch. 1953).

[6] *Я читал недавно пророка Наума...*— См.: Ветхий завет, Наум, III, 12.

[7] *...Аутенриту!*— Речь идет об умершем 14 сентября соученике Гёльдерлина, в апреле 1792 г. переведенном из Тюбингенского института в «Карлову школу» (военная школа, которую курировал лично герцог Карл; жестокую муштру этой школы испытал на себе в свое время Фридрих Шиллер).

[8] *...и в связи с другими новостями в мире.*— По-видимому, имеются в виду события во Франции; 10 августа была упразднена монархия и созван Национальный конвент. Г. Мит указывает на речь Дантона от 2 сентября, которую он завершил знаменательной фразой: «...чтобы разбить врагов отечества, нам необходима смелость, смелость и еще раз смелость — тогда Франция спа-

сена» (SWuB. Bd. IV. S. 542). Ф. Энгельс цитирует то же место в оригинале в работе 1852 г. «Революция и контрреволюция в Германии», говоря о франкфуртских событиях 1845 г.: «...словом, действуй по словам величайшего из известных до сих пор мастера революционной тактики, Дантона: de l'audace, de l'audace, encore de l'audace!» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 8. С. 100—101).

9 *...о Шубарте в могиле.*— Предполагается, что Кристиан Фридрих Даниэль Шубарт был похоронен живым. Судьба этого замечательного публициста, яростного противника деспотизма, драматична с самого начала: за выступление в печати против герцога вюртембергского Карла он был в январе 1777 г. хитростью заманен из вольного имперского города Ульма на территорию Вюртемберга, схвачен в Блаубойроне и без суда и следствия брошен в тюрьму — крепость Хоэнасперг. Столь же неожиданно он через 10 лет был выпущен — в мае 1787 г. и в начале июля с разрешения герцога возобновил издание своей газеты под названием «Шубартова Патриотическая хроника». С 1790 г. она называлась просто «Хроника», ее тираж составлял 2400 экземпляров. Шубарт умер утром 10 октября 1791 г. После его смерти Штойдлин придал газете резко радикальное звучание, тираж ее упал до 1000 экземпляров. Последний номер газеты (32-й) вышел 12 апреля 1793 г. Герцогским декретом от 24 апреля газета была запрещена. См.: Deutsche Zeitschriften des 17. bis 20. Jh. München. 1973.

10 *Гимн Смелости* — первое упоминание стихотворения «Dem Genius der Kühnheut»; первую редакцию его Гёльдерлин читал в Тюбингене Штойдлину, Нойферу и Маттисону 27 июня; оно предназначалось для планируемого альманаха Штойдлина. Слово Kühnheit в заголовке Г. Мит связывает с audace в речи Дантона (см. примеч. выше).

№ 55.

[11] *...сладостно и достойно принести на алтарь отечества...*— Ср.: Гораций, Оды, III, 2, 13: «Dulce et decorum est pro patria mori».

[12] *...при великой победе под Монсом...*— Победа французов над австрийцами под Монсом в Бельгии (в немецкой историографии Монс называется Jemappes) была одержана 6 ноября; первые сведения о ней содержались в «Швебишер меркур», № 138 от 16 ноября, подробный рассказ — № 139 от 19 ноября. Это позволяет датировать письмо.

№ 57.

Г. Мит датирует письмо маем 1793 г.

[13] *...весточку из своего рая.*— Нойфер обручился с Розиной Штойдлин.

[14] *Моя царица сердца...*— Элиза Лебре, дочь Иоганна Фридриха Лебре (1732—1807), канцлера университета; Гёльдерлин был обручен с ней, но не она (как долго считали ранее) — «прелестный образ» и Мелите «Фрагмента „Гипериона“». На выпускном экзамене в июне Гёльдерлин вместе с Гегелем и шестью другими студентами защищал (как это было тогда принято) диссертацию И. Ф. Лебре.

[15] *Si magna licet componere parvis* или наоборот...— Действительно, у Вергилия наоборот: «Si parva licet componere magnis» — «Если малое подобает сравнивать с большим» (см.: Georgicon lib. IV. 176).

[16] *...фрагмент моего романа.*— Первое упоминание о работе над «Гиперионом».

[17] *...нашего милого доктора.*— Имеется в виду Штойдлин.

№ 58.

[18] *Котта* — Кристоф Фридрих Котта (1758—1838), старший брат издателя Иоганна Фридриха Котта, в июле 1791 г. переехал в Страсбург и принял французское подданство. Он был членом страсбургского клуба якобинцев, впоследствии вместе с армией Кюстина прибыл в Майнц.

[19] *...свой национальный праздник...*— в оригинале Bundesfest.— Годовщина взятия Бастилии 14 июля

1789 г. торжественно праздновалась на Марсовом поле в Париже в 1790 и 1792 гг. (см.: *Posselt E. L.* Chronologisches Register der fränkischen Revolution. Tübingen, 1808. Bd. 1. S. 41, 90). 1793 год прошел без упомянутых в тексте «великих дел» (hohe Taten). Есть сведения, что в 1793 г. этот день (пришедшийся на воскресенье) был отмечен революционно настроенными студентами Тюбингена (среди которых могли быть Гёльдерлин, Гегель и Шеллинг), воздвигнувшими дерево свободы (см. статью А. Бека в: Hölderlin-Jahrbuch. 1947. S. 38).

20 *...9 листов моей продукции для нашего будущего журнала...*— для планировавшегося журнала Штойдлина: под «девятью листами», возможно, имеется в виду «Гиперион».

№ 60.

21 *...из платановых рощ над Илисом...*— В диалоге Платона «Федр» Сократ и Федр бредут босиком по руслу Илиса, ища, где бы присесть, чтобы прочитать сочинение Лисия о любви, и видят впереди высокий платан, когда же они к нему подходят, между ними происходит такой диалог:

«Сократ: Клянусь Герой, прекрасный уголок! Этот платан такой развесистый и высокий, а верба здесь прекрасно разрослась, дает много тени; к тому же она в полном цвету, так что все кругом благоухает. Да и этот прелестный родник, что пробивается под платаном: вода в нем совсем холодная, вот можно ногой попробовать. Судя по изваяниям дев и жертвенным приношениям, здесь, видно, святилище каких-то нимф и Ахелоя. Потом, если хочешь, здесь и ветерок продувает ласково и очень приятно, несмотря на то, что знойным звоном отдается стрекотание цикад. Всего же наряднее здесь трава, ее вдоволь на этом пологом склоне. Если вот так прилечь, голове будет совсем удобно. Выходит, что ты отличный проводник, Федр.

Федр: Ах ты чудак, до чего же ты странный человек! Говоришь словно ты не местный житель, а какой-то чужеземец, нуждающийся в проводни-

ке. А ведь ты из нашего города не только не ездишь за границу, но, по-моему, вообще никогда не выходишь за городскую стену» (*Платон*. Избранные диалоги. М., 1965. С. 189. Перевод А. Егунова).

Более двух тысячелетий спустя Чандлер так описывал те же места:

«Илис сейчас, как и прежде, река непостоянная. Летом он совершенно пересыхает. В пору нашего пребывания в Афинах я не раз приходил поглядеть на его русло, когда в горах выпадал снег или после большого дождя, надеясь увидеть его полным до краев и мчащимся с величественным неистовством; но ни разу не нашел его ложе даже полностью покрытым водою; вода заполняет углубления между камнями и переливается из одного в другое.

И здесь будет уместно заметить, что поэты, прославлявшие Илис как поток, орошающий поля, прохладный, прозрачный и тому подобное, создавали и передавали ложную идею об этой знаменитой реке. Они могут воспевать вербы на его голых берегах, янтарные волны мутного Меандра, висячие леса на лысых склонах Дельф, если им это угодно; но им будет не хватать подкрепления со стороны природы; человеку же, описывающему свое путешествие, нетрудно придерживаться сферы собственных наблюдений, чтобы избежать того, что в местных условиях будет нелепицей и неправдой (to avoid falling into local absurdity and untruth)» (*Chandler R*. Travels in Greece. L., 1776. P. 79).

Ситуация примерно такая же, как и с Мелесом в Малой Азии во «Фрагменте „Гипериона"» (см. примеч. 12 на с. 605).

Далее речь идет о диалоге «Пир».

22 *Так ли это будет в моем романе...*— Фраза весьма красноречиво говорит о том, что автор еще слабо различал «даль» своего «свободного романа».

23 *То, что ты так прекрасно сказал о terra incognita...*— Нойфер писал: «До той поры, пока не

вскрыты все лабиринты сердечных переходов, пока существуют бесчисленные новые положения, в которых может оказаться один человек в отношении другого человека, пока философия и мораль остаются богинями под покрывалом, пока природа не во всех своих проявлениях доступна нашим чувствам,— до той поры поэт имеет обширное поле для открытий, если сила воображения, сердце и дар наблюдения не откажут ему в том. Я не понимаю примитивных жалоб на то, что в наши времена нельзя сказать ничего нового. Есть неоткрытые земли в области искусства поэзии; но скрытые дороги ведут к ним, и мужество и отвага бросают на них далекие, сумеречные лучи. Давай открывать их на нехоженых тропах. Полет вдохновения легче несет нас над скалами к цели, чем боязливая застенчивость».

24 *...и погребу их под щебнем времени.*— Нойфер писал: «Грядущее поколение будет нам судьей, и если я сам не смогу предсказать это себе с пророческой уверенностью, то я сорву все струны со своей лиры и погребу их под щебнем времени».

Из № 61.

Марат был убит 13 июля, что позволяет датировать письмо.

25 *Бриссо* — Жак Пьер Бриссо де Варвиль (1754—1793), адвокат и журналист, один из вождей жирондистов, вначале был членом якобинского клуба. Опасения Гёльдерлина были вполне обоснованны: 31 октября Бриссо был казнен.

№ 62.

26 *Гемстергёйс* — Франс Гемстергёйс (Frans Hemsterhuis, 1722—1790), голландский философ, в учении которого совмещались идеи Платона и Локка; его идеями увлекались в Европе на протяжении всего XIX в. По-видимому, Гёльдерлин послал брату немецкий перевод 1782 г.: «Смешанные философские сочинения» («Vermischte philosophische Schriften»).

27 *Макиавелли* — Никколо́ Макиавелли (1469—1527), итальянский государственный деятель, дипломат, писатель и философ. Интерес к его фи-

гуре в годы крушения французской монархии явно не случаен.

№ 65.

28 *Я больше не держусь так горячо за одного человека.*— Ср. в письме № 57: «Сердце наше не выдерживает груза любви к человечеству, если у него нет людей, которых оно любит». Между этими письмами временная дистанция менее трех месяцев.

29 *Вот тебе кое-что другое.*— Это «другое» — «Дон Карлос» Шиллера, «любимейшее место» — действие III, явление 10.

Из № 68.

В конце сентября или 1 октября Гёльдерлин ездил в Людвигсбург представляться Шиллеру. Весь октябрь он ожидал ответа насчет гувернерского места в доме Шарлотты фон Кальб. Солнечного титана — Гипериона сменяет прикованный титан Прометей: стихотворение про Железную необходимость — это ода «Судьба», дописанная по дороге в Вальтерсхаузен, куда он прибыл 28 декабря.

Вальтерсхаузен, Йена, Нюртинген

Из № 86.

30 *Что Робеспьер должен был сложить голову...*— Робеспьер был казнен 28 июля.

№ 87.

Ответ на письмо Нойфера с сообщением о том, что Розина неизлечимо больна туберкулезом.

№ 88.

31 *От моих старых бумаг не осталось почти ни строчки.*— Обычно это место толкуется так, что он все написал заново, а старое выбросил. Но возможно и другое: все пошло в дело. На эту мысль наводит настойчивое повторение некоторых мест в разных редакциях, относящихся к разным годам.

32 *...для альманаха Рейнхарда...*— Речь идет о «Гёттингенском альманахе муз», основанном Г. А. Бюргером; с 1794 г. его издавал Карл Рейнхард.

33 *для «Академии»* — «Академия изящной словесности», журнал, также основанный Г. А. Бюргером.

34 *[для] «Музеума» Кóнца* — в 1794—1795 гг. вышли три номера журнала, издававшегося Карлом Филиппом Концем (1762—1827). К. Ф. Конц, друг юности Шиллера, поэт-классицист; в 1789—1791 гг. был преподавателем (Repetent) в Тюбингенском институте, с 1804 г.— профессором классической филологии и красноречия. Полное название журнала — «Музей греческой и римской литературы».

35 *...статью об эстетических идеях...*— Статья, повидимому, не была написана.

Из № 98.

36 *...поле битвы под Росбахом...*— Под Росбахом во время Семилетней войны прусские войска Фридриха II разбили соединенную армию французов и имперских войск (5 ноября 1757 г).

37 *...поле под Лютценом, где пал великий Густав Адольф...*— Густав Адольф погиб во время Тридцатилетней войны 16 ноября 1632 г., сражаясь против войск Валленштейна и Католической лиги.

38 *...по распоряжению князя.*— Князь — Леопольд Фридрих Франц фон Анхальт-Дессау (1740—1817).

39 *...сиротский и воспитательный дом.*— Этот дом, основанный Августом Германом Франке (1663—1727), впоследствии был очень знаменит.

40 *...новое кладбище.*— Новое кладбище было заложено в 1787 г. и организовано со строгим соблюдением итальянского образца («camposanti»).

41 *Луизиум и Вёрлиц* — сады *Луизиум* неподалеку от Дессау были устроены в 1774 г. для княгини Луизы, покровительствовавшей Маттисону. В бумагах Гёльдерлина сохранился набросок оды, сделанный в 1799 г.

Пришла из рощ ты светлых Луизия;
Ступени святы там, и беззвучные
Зефиры веют, мирно кров твой
Там осеняют листвой деревья...

Насчет адресата стихов полного согласия среди специалистов нет.

Парк *Вёрлиц* был сделан по английскому образцу, все постройки в нем гармонично сочетались с окружающей местностью.

Из № 99.

42 *...я довольствуюсь... общим впечатлением...*— Для XVIII в. общее впечатление, *Totaleindruck*,— эстетический термин (само слово *Eindruck* — вновь возрожденный к жизни средневековый перевод латинского impressio), опирающийся на разграничение двух способностей души, понимаемой как зеркало,— способность к восприятию и способность к воспроизведению. В работе «Гёльдерлиновская idea vitae» Клеменс Хезельхаус указывает на книгу Гемстергёйса, о которой Гёльдерлин писал брату в августе 1793 г. (см. письмо № 62 и примеч. к нему). Там Гемстергёйс в общем эстетическом введении «Письма о скульптуре» определяет прекрасное через «принцип максимума идей в минимальном объеме» и различает рецептивную и репродуцирующую способности души. Рецептивный образ создается «со стороны предмета», т. е. возникает механически; в творческом акте душа заново порождает идею предмета, воссоздает его образ мгновенно и целиком, не воспроизводя отдельных частей. Таким образом, Гемстергёйс определяет важное для XVIII в. различие между наблюдением и эстетическим восприятием. Это определение основывается еще на старом представлении о «зеркале души». В очень темном наброске статьи, названной позднее издателями «Об образе действия поэтического духа», относящемся к 1798—1799 гг., Гёльдерлин опять говорит об «общем впечатлении» и «репродукции»; Хезельхаус определяет его мысль так: «„общее впечатление“ Гёльдерлина — это сфокусированный в зеркале души (эстетический) образ, ждущий своего художественного воплощения» (*Heselhaus C*. Hölderlins idea vitae // Hölderlin-Jahrbuch. 1952. S. 19—21).

43 *Я живу в садовом домике...*— Весной 1795 г. Гёльдерлин освободился от своих гувернерских обязанностей. В Йене он записался в университет и слушал лекции Фихте. В садовом домике он жил

вместе со своим новым другом, Исааком фон Синклером, юристом и дипломатом.

44 *К Шиллеру я, правда, все еще хожу, где теперь обыкновенно встречаю Гёте...*— Диссонанс в отношениях Гёте и Гёльдерлина был предопределен уже их первой встречей, также у Шиллера, когда молодой поэт не узнал маститого. Об этом Гёльдерлин писал Нойферу в ноябре 1794 г. (№ 89; перевод его см. в кн.: *Гёльдерлин.* Сочинения. М., 1969. С. 468—471).

45 *Да не шокирует тебя эта книжица!* — Материалы, дошедшие до нас от йенского периода, фиксируют низшую точку в работе над «Гиперионом».

46 *Сохрани вас бог, ее и тебя, такими, какие вы есть!* — Розина Штойдлин умерла за три дня до того, как было написано это письмо, 25 апреля.

№ 100.

Письмо свидетельствует о глубочайшем потрясении поэта смертью Розины. Очень может быть, что «могила Диотимы» в первом томе «Гипериона» (см. с. 117) возникла в результате этого переживания.

Из № 101.

47 *...место гувернера в одном франкфуртском семействе....*— О каком предложении идет речь, неясно, во всяком случае, это не дом Гонтаров.

№ 102.

48 *...решиться уехать...*— Причины внезапного отъезда Гёльдерлина из Йены и возвращения на родину до сих пор полностью не раскрыты. Помимо студенческих выступлений, отъезда Фихте, следует принять во внимание и то, что говорится в данном письме ниже.

49 *...чтобы преуспеть.*— Содержательно раскрывается как известная евангельская притча о талантах (Мтф., XXVI; Лк., XIX).

50 *...что я прилагаю...*— перевод из «Метаморфоз» Овидия, над которым поначалу Гёльдерлин трудился с большим энтузиазмом. Возможно, что он перевел полностью отрывок о Фаэтоне (1, 750—2, 329), но до нас дошел лишь кусок 2, 31—99.

По-видимому, Шиллер не без умысла предложил своему юному другу тему Фаэтона, сына Феба, не умевшего править конями.

51 *М. Гёльдерлин* — М. означает «Магистр».

№ 104.

На предыдущее письмо Шиллер не ответил. С данным письмом Гёльдерлин, по-видимому, отправил стихотворения «Бог юности» и «К природе», предназначенные для «Альманаха Муз на 1796 год», куда Шиллер их (по совету Вильгельма фон Гумбольдта) не взял, как не взял и «Фаэтона» в «Новую Талию».

52 *res nullius* — термин римского права (*лат.*): бесхозное имущество.

53 *«греться у льда»* — цитата из «Годов учения Вильгельма Мейстера» (2-я книга, 11-я глава): «Да,— сказала Филина,— должно быть, это весьма приятное ощущение: греться у льда».

54 *...редкий человек.*— Возможно, что здесь содержится реминисценция шиллеровского «Дон-Карлоса»: «Gib mir/Den seltnen Mann mit reinem, offnen Herzen» (Молитва Короля, III, 5; в русском переводе утрачено).

55 *...как каменный.*— Ср.: 5-я кн. Моисея, XXVIII, 23: «И небеса твои, которые над головою твоею, сделаются медью, и земля под тобою железом». Возможен намек и на более широкий библейский контекст, где речь идет о проклятии, ниспосылаемом за отречение от Бога. Стих 24: «Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен».

Состояние Гёльдерлина в этот период описывает ретроспективно Магенау в письме Нойферу от 24 ноября 1796 г.: «С Гольдерлином разговаривал я в прошлом году у моих родителей [в Маркгронингене, когда он ездил в Нижнюю Швабию], то есть, я хотел сказать, виделся, потому что говорить он уже не мог, в нем умерло всякое сочувствие к себе подобным, это живой труп. Он наговорил кучу фантастических вещей о каком-то путешествии в Рим, где добрые немцы обыкновен-

но простуживают себе душу». (Возможно, имелся в виду Гёте и его итальянское путешествие?)

№ 105.

56 ...*освободить свое сердце!* — То есть разорвать помолвку с Элизой Лебре.

57 ...*стихи Шиллера в «Орах»...* — скорее всего, это «Царство теней» («Das Reich der Schatten»), позднее «Идеал и жизнь» («Das Ideal und das Leben»), опубликованное в сентябрьской книжке.

Из № 106.

С Иоганном Готфридом Эбелем Гёльдерлин познакомился по дороге домой из Йены, в Гейдельберге, в середине июня 1795 г. И. Г. Эбель (1764—1830) — врач, естествоиспытатель и писатель, сторонник Французской революции, с 1796 по 1802 г. неоднократно бывавший во Франции (он вел официальные и полуофициальные переговоры от имени города Франкфурта и Швейцарии). По рекомендации Эбеля Гёльдерлин зимой 1795 г. получил место в доме франкфуртского банкира Гонтара.

58 ...*Пришествие господне.* — Имеется в виду апостол Павел и его Первое послание к фессалоникийцам. Ср. также «Гиперион» (с. 77—78 и примеч. 35).

№ 108.

59 ...*они ничего бы мне не сделали насильно, если б я остался...* — «Они» — это «наши господа в Штутгарте», церковные власти, которым Гёльдерлин как стипендиат Тюбингенского института был подчинен.

60 ...*обещанную элегию...* — По-видимому, не была написана.

Франкфурт и Гомбург

№ 115.

Гёльдерлин прибыл во Франкфурт в конце декабря 1795 г. и сначала жил в гостинице «Город Майнц».

№ 116.

61 *Deus nobis haec otia fecit.* — Бог нам послал этот мир и покой (*лат.*) — слова пастуха Титира из Первой Эклоги Вергилия.

[62] *Фрипон* — по-видимому, собака (fripon (*фр.*) означает «плут»).

Из № 117.

[63] *Нитхаммер* — Фридрих Иммануэль Нитхаммер (1766—1848), с 1793 г. профессор философии в Йене; Гёльдерлин был знаком с ним еще в Тюбингене.

[64] *Я взялся за Канта и Рейнгольда...*— Карлу Леонгарду Рейнгольду (1758—1823), профессору Йенского университета, принадлежит работа «Письма о Кантовой философии» (1786—1787), позднее он обратился к философии Фихте.

[65] *В моих философских письмах...*— «Письма» эти так и не были написаны. Возможно, какое-то отношение к ним имеет отрывок «Гермократ к Кефалу», публикуемый нами (см. с. 262).

№ 121.

[66] *«Радость и любовь дают крылья для великих деяний».*— «Ифигения в Тавриде», стих 665 и след.

[67] *Стремление породить...*— См. диалог Платона «Пир».

№ 122.

[68] *10 июн.*— явная описка, свидетельствующая о волнении. Упоминание конкретных исторических событий позволяет уточнить: 10 *июля* (Вецлар был взят французами 8 июля, Франкфурт капитулировал 14-го).

[69] *Говорят, что французы в Вюртемберге.*— Что соответствовало истине. Можно сослаться на члена французской Директории Барраса. В своих «Мемуарах» под датой 17 мессидора IV года (мессидор — 10-й месяц, начинается 20 июня; следовательно, это 7 июля 1796 г.) он пишет: «Дела республики идут не менее успешно у армий на Рейне. Журдан и Моро во многих мелких стычках нанесли поражение врагу; Журдан обосновался на правом берегу Рейна 〈...〉. Его штаб-квартира уже в Вельмюнстере. 〈...〉 Моро выбил неприятеля с его позиций: его штаб-квартира в Раштадте, где он дал бой» (Mémoires de Barras. P., 1895. T. II. P. 164).

70 *...слишком много реального зла.*— Война уже вступила в новую фазу; из освободительной она все более превращалась в захватническую. Не получая жалования от правительства, солдаты беззастенчиво грабили оккупированные земли.

№ 124.

71 *...небольшой материал для... «Избранного чтения»...*— стихотворения «К неведомой», «Геркулесу», «Диотима» (2-я редакция), «Мудрым советчикам». Однако Шиллер не включил их в «Альманах Муз на 1796 год».

№ 125.

72 *...в связи с тревожными слухами... с войной в рейнских землях.*— Очень точно обрисована ситуация в четвертом томе работы немецкого историка Генриха Зибеля (см.: *Sybel H.* Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1800. 2. Aufl. (Neue Ausgabe). Frankfurt a. M., 1882. Bd. 4). Процитируем из нее наиболее характерные места, относящиеся именно к 1796 г.: «...единственная помощь солдату в его лишениях было разрешение грабить вражескую страну. И сии эскадроны набросились на немецкое мирное население как стаи голодных волков. В этом отношении не было ни малейшего различия между сомбрской и рейнской армиями, как не было различия между этими войсками и отрядами армии итальянской. Все, что можно было унести с собой, грабилось, все, что было прочно прибито к земле, уничтожалось. Людей подвергали издевательствам п пыткам, чтобы они указали, где спрятаны деньги; девушки и женщины оказывались жертвами разгула животных страстей. Если офицеры пытались вмешаться, в отрядах вспыхивали очаги неповиновения, и не раз эти храбрые люди видели свою жизнь в опасности со стороны своих разгулявшихся подчиненных. Но достаточно часто и сами командиры становились участниками разгула солдатни; офицеры, генералы (в сноске автор называет имена: Дюэм, Вандамм, Тюнк, Тапонье и др. Исключение составляли, как показывают документы, Сен-Сир и Делаборд.— *Н. Б.*), комиссары и

интенданты наперегонки усердствовали, чтобы для собственной выгоды обложить контрибуциями и реквизициями оккупированные населенные пункты. ‹...› Донесения французских полководцев в полной мере подтверждают жалобы пострадавших. «Я делаю все возможное,— писал Моро 17 июля,— чтобы воспрепятствовать мародерству, но армия уже два месяца не получала денег, а колонны с провиантом не поспевают за нашим быстрым маршем; крестьяне ругаются, что солдаты громят пустые дома. Восторга в связи с нашим приходом (как освободителей от власти князей) тут никто не испытывал, теперь же жители многих округов, подстрекаемые австрийцами, берутся за оружие». 23-го он докладывает, что обнищание войска вынуждает многих достойных генералов закрывать глаза на мародерство; другие же, менее щепетильные, сами принимают участие в грабежах. 29-го правительственный комиссар Осман писал, что грабежи стали повсеместным явлением, проистекающая из этого деморализация войск может в определенных условиях стать в высшей степени опасной; население пребывает в отчаянии и ярости... Точно так же звучали донесения из Сомбрской армии. 23 июля Журдан писал о том, что его бойцы не имеют ни пропитания, ни боеприпасов; солдаты, продолжал он, довели страну до крайности, мне стыдно командовать армией, которая ведет себя столь недостойно; если офицеры поднимают свой голос против бесчеловечности, их жизнь под угрозой, в них даже стреляют. Армия, рассказывает Журдан в своих «Мемуарах», не имела транспортных средств; а приходилось все время продвигаться вперед и располагать войска на больших территориях далеко друг от друга, чтобы они могли прожить на свои реквизиции. Но все это, продолжает он, не шло ни в какое сравнение с бесчинствами мародеров; в богатой Франконии солдаты повсюду находили большие запасы вина и все время пили, строжайшие запреты не производили никакого действия; устрашенные жители бежали

вместе со скотом и орудиями труда в леса; большое число их, доведенное до отчаяния, взялось за оружие...» (*Sybel H.* Op. cit. S. 236—237 со ссылкой на: *Jourdan.* Mémoire p. s. à l'histoire de la campagne de 1796).

Читателю следует сравнить это со с. 196—197.

73 *...прогнав их через Геллеспонт до самых их варварских Суз...* — Параллель с греко-персидскими войнами все время возникает у Гёльдерлина (ср. с. 193). Следует обратить внимание, как осторожно выражается он в письме: не зная сути дела, невозможно понять, кого он сравнивает с греками, а кого с персами. Но динамика развития его взглядов говорит нам, что он все еще на стороне Франции, но уже видит, что происходит реально, и стыдится за нее и ужасается...

74 *...через Геллеспонт...* — Ксеркс приказал построить мост через Геллеспонт (ср.: Эсхил, Персы, ст. 65), готовясь к походу на Грецию. *Сузы* — зимняя резиденция персидских царей, «гордый град», где происходит действие трагедии Эсхила (см.: Там же. Ст. 118).

75 *Сен-Сир* (1765—1830) — позднее маршал Франции, министр и государственный деятель.

76 ...о *чудищах Конде...* — Речь идет об «армии» принца Конде (1736—1818), бесчинствовавшей в Южной Германии. Сражаясь формально на стороне коалиции, эта эмигрантская «армия» вызывала единодушную антипатию и у союзной австрийской армии, и у местного населения, выступавшего против нее с оружием в руках. Интересно ее характеризует Баррас в своих «Мемуарах» (см. примеч. 69 на с. 689):

«В упоминаемую эпоху (весна 1796 г. — *Н. Б.*) армия Конде (если правда, что подобное наименование предполагает объединение некоторого количества вооруженных лиц), или то, что упорно продолжали именовать армией Конде, было армией чисто номинальной. В ней состояла кучка жалких дезертиров из всех полков Франции, где каждый считал себя офицером и, следственно, не было солдат. Однако, чтобы почтить прибытие короля

(Людовика XVIII, объявленного королем в армии Конде после получения известия о смерти в Англии юного Людовика XVII.— *Н. Б.*) были собраны те, кто служил в одном полку, и одеты в соответствующие мундиры. Иные полки имели в составе 15, 10, а то и четыре человека. Людовик XVIII сделал им смотр со всей торжественностью, которая искупалась его серьезностью. „Сир, вот ваш овернский полк“, так же серьезно объявлял принц Конде. Вот ваш овернский полк, вот ваш шампанский полк, ваш куронский полк, ваш лангдокский полк и т. д. В лагере били барабаны, стреляла пушка...

Несмотря на всю невинность подобных парадов, главнокомандующий австрийской армии немедля запретил их: дескать, гром артиллерии может вызвать тревогу на боевой линии. Австриец даже доставил себе удовольствие в тот же час сообщить об этой мере генералу республиканской армии, давая таким образом понять, что их армии связаны между собой, и он отмежевывается от армии Конде» (Mémoires de Barras. T. II. P. 110—111).

77 *Гейнзе* — Иоганн Якоб Вильгельм Гейнзе (1746—1803), старый знакомый Гонтаров. В ту пору он состоял в должности чтеца и библиотекаря курфюрста майнцского и так же, как семейство Гонтар, спасался от нашествия. Любопытно, что Гёльдерлин говорит о нем как о старом человеке.

78 *...тоже разыгрываются спектакли...*— Король Пруссии Фридрих Вильгельм II посетил ландграфа Гессен-Кассельского Вильгельма IX 3 августа.

79 *Белый Камень* — гора, позднее (в 1798 г.) переименованная в Вильгельмсхёэ («Вильгельмова высота»).

80 *Картинная галерея* — галерея, основанная ландграфом Вильгельмом VIII Гессен-Кассельским, была открыта для посетителей в 1775 г., ее главным смотрителем назначен художник и гравер Иоганн Генрих Тишбейн-младший, племянник и тезка директора Академии искусств. В каталоге 1783 г. (2-е изд. 1799) числилось 605 картин.

Запись о посещении галереи в июле 1796 г. Гёльдерлином в книге посетителей см.: *Vogel H.* Die Besucherbücher der Kasseler Museen aus der Goethezeit. Kassel, 1956. S. 8, Taf. I:

Mad. Gontard.
Dem. Rezer. } aus Frankfurt.
M. Hoelderlin

В галерее тогда были представлены Рембрандт, Кранах, Тинторетто, Рейсдаль, Поттер, Воуверман, Доу, Тенирс, Ван-Дейк, Аннибале Карраче, Рубенс и др. Осенью 1806 г., когда Кассель был занят французами, многое было вывезено во Францию, украдено, разбазарено. В частности, из галереи навсегда ушли лучшие картины, увезенные в Мальмезон — замок императрицы Жозефины, из которых 38 были проданы за огромные деньги в 1814—1815 гг. русскому императору Александру I. Так что Гёльдерлин мог видеть полотна, находящиеся сейчас в Эрмитаже: «Снятие со креста» Рембрандта (1634), «Четыре времени суток» Клода Лоррена (1651, 1663, 1666, 1672), «Торговку сельдями» Герарда Доу (ок. 1670—1675), «Ферму» Пауля Поттера (1649), «Мадонну с младенцем, св. Екатериной, св. Елизаветой и Иоанном Крестителем» Андреа дель Сарто (1519) и др.

81 *...несколько статуй в Музее...*— Речь идет о Museum Fridericianum (мрамор, бронза, геммы и камеи), основанном ландграфом Гессен-Кассельским Фридрихом II; первые греческие подлинники были привезены в 1687 г. гессенскими войсками, воевавшими против турок на службе Венецианской республики. Основная часть коллекции составилась из закупок вещей и целых коллекций в Италии и Германии (1750—1782 гг.); многие вещи происходят с территории Германии; в 1777 г. Фридрих II сам производил раскопки к северо-востоку от Франкфурта. В 1807 г. коллекция была вывезена французами в Париж (Лувр), в 1815 г. возвращена. Гёльдерлин видел статуи Музея не совсем такими, какими они выглядят сейчас: в 90-е годы XVIII в. они иногда состав-

лялись из разнородных элементов, например к торсу Афины Лемнии была приделана голова Афины Джустиниани. Самой знаменитой статуей Музея является «Кассельский Аполлон», приобретенный в Риме зимой 1776—1777 гг., он относится к середине V в. до н. э. Авторство приписывалось Мирону, Пифагору, Фидию, Каламиду.

№ 126.

Франкфурт был освобожден 8 сентября (после победы эрцгерцога Карла), но наши беженцы только 13-го выехали из Дрибурга в Кассель, где оставались еще две недели. В конце сентября, когда они возвратились во Франкфурт, глава семьи был уже в Нюрнберге.

82 *...от того луга, на котором Герман побил легионы Вара.*— Речь идет о битве в Тевтобургском лесу в 9 г. н. э. *Герман* — вождь херусков Арминий (16 г. до н. э.—21 г. н. э.), разбивший войско римского полководца *Вара* (53 г. до н. э.— 9 г. н. э.).

83 *...под Гардтом.*— Гардт — название деревни.

84 *«Битва Германа»* — первая часть драматической трилогии (Bardiet — «героическая оратория») Клопштока (1769). Германом Арминий ошибочно называется с XVII в. Для Гёльдерлина фигура Германа, вождя, возглавившего борьбу германских племен за освобождение от Рима, дорога́ с ранней юности (ср. стихотворение 1788 г. «Покорность»).

№ 129.

Шиллер не отвечал на предыдущие письма Гёльдерлина (см. № 102, 104, 124); на это он ответил тотчас же. Далее пауза возникла со стороны Гёльдерлина: он написал Шиллеру только 20 июня 1797 г.

№ 132.

Эбель уехал в Париж в сентябре 1796 г.

85 *Германия тиха, скромна...*— Эта оценка поразительно контрастирует с тем, что мы читаем во второй книге второго тома «Гипериона» (см. с. 247—253). Но, видимо, эти мысли навеяны глубоким разочарованием во Франции.

№ 136.

86 *Посылаю тебе стихотворение, посвященное ей...*— «Диотима (3-я редакция): «Юность нам невозвратима, / Но поэзии цветы / Вновь раскрылись, Диотима,/Когда мне явилась ты...»

87 Первый том моего «Гипериона» выйдет в свет к... пасхе.— По-видимому, новый оригинал автор отослал издателю лишь по возвращении во Франкфурт (ср. конец второй книги первого тома и начало второго тома романа).

88 *«Кого любят боги, тому уделом великая радость и великая скорбь».*— Кавычки могут указывать на автоцитату из «Гипериона», однако эта фраза осталась в черновиках. По мысли же она напоминает известное стихотворение Гёте:

Всё даруют боги бесконечные
Тем, кто мил им, сполна!
Все блаженства бесконечные,
Все страданья бесконечные — всё.
(*Перевод Н. Вильмонта*)

№ 138.

89 *...в Гомбург, к Синклеру...*— Друг Гёльдерлина Синклер после смерти своего отца возвратился из Йены в Гомбург и занял официальный пост при дворе графа Гомбургского. *Гомбург* — Хомбург-фор-дер-Хёэ, лежащий неподалеку от Франкфурта.

90 *...в майнцской революции...*— В марте 1793 г. в Майнце была провозглашена республика — первая демократическая республика на германской земле. Она просуществовала до 23 июля. Во время осады прусскими войсками летом 1793 г. город сильно пострадал. Насчет участия в революции профессора всеобщей истории в Майнце Николауса Фогта (1756—1836) ничего не известно: вместе с другими профессорами он покинул Майнц, когда французские войска приблизились к городу (октябрь 1792 г.), и возвратился после их ухода. В 1797 г. он переехал в Ашаффенбург и после смерти Гейнзе (в 1803 г.) стал библиотекарем курфюрста.

91 *На другой день после отъезда Карла... и сейчас мы опять живем спокойно.*— «Своеобразная ситуация», о которой пишет Гёльдерлин, сложилась в результате стремительного продвижения французских армий, которыми командовал генерал Луи Лазар Ош (или Гош, 1768—1797), разработавший план кампании. В начале апреля Ош перешел Рейн и двинулся форсированным маршем в глубь немецкой территории, гоня противника, захватывая большое количество пленных, артиллерию и знамена. «Сомбрско-маасская армия вновь стала достойной своего имени под началом этого энергичного и умного генерала»,— писал Баррас 20 жерминаля V года (10 или 11 апреля 1797 г.) (Mémoires de Barras. T. II. P. 383). И далее: «Ош идет на Франкфурт. Каждый шаг его отмечен новыми успехами. 3 флореаля [22 апреля] он не знал ни о перемирии, ни о мире, ни о переходе Моро [через Рейн]: ему не было нужды брать за отправную точку то, что делали или что сделали другие. Человек, наделенный талантом, разработал свой план, человек, полный решимости, выполнял его; он шел вперед, не оборачиваясь, не интересуясь, что делает Бонапарт, в то время как последний, снедаемый беспокойной завистью, все время осведомлялся у вновь прибывших: „А что там у Гоша?"» (P. 386—387). И далее: «Генерал Ош получил известие о подписании соглашения о мире под стенами Франкфурта. Бонапарт передал ему это сообщение непосредственно, как и генералу Моро, по своей собственной инициативе, с курьером, который пересек Швейцарию. Нельзя не заметить, что нетерпеливое желание ускоренного умиротворения было усилено ревностью к успехам Оша, перед которым, как мы только что видели, уже не оставалось препятствий, чтобы сокрушить врага, и который вполне резонно сказал: «Мне отсюда до Вены осталось *на одну прогулку*». 〈...〉 Ош мог бы с таким же резоном, какова была его сила, отвергнуть сообщение Бонапарта, ответить, что он ожидает его от своего правительства, которое одно имеет право давать ему указа-

ния; чего не преминул бы сделать сам Бонапарт. Но судите о разности характеров: Ош — прежде всего гражданин, он предпочитает прекратить кровопролитие и сложить оружие перед лицом Победы» (P. 387—388).

Ситуация, увиденная изнутри, живо изображена матерью Гёте в письме сыну от 2 июня 1797 г.: «Последняя (дай боже, чтобы так оно и было!) история грозила принести нашему городу больше бед и потерь, чем все предыдущие, ибо мы были похожи на людей, что с величайшим спокойствием и уверенностью покоятся в глубоком сне — потому что они, как они думали, потушили огонь и погасили свет,— и мы тоже думали нечто подобное — и вдруг как по мановению руки все предосторожности и усилия пошли прахом и мы оказались в величайшей беде. Сенатор Милиус уже 2 декабря прошлого года привез нейтральный статус для нашего города от Национального конвента в Париже (где он был полтора месяца) — Декларация конвента была замечательно составлена в нашу пользу, особенно нас хвалили и превозносили за последнее отступление 8 сентября 1796 года — кто бы тут не был спокоен? Мы и были спокойны — никто не уехал — никто не отправил никаких вещей — бóльшая часть приехавших на ярмарку купцов, особенно торговцы серебром из Аугсбурга, открыли свои лавочки и спокойно глядели — а французы были близко от города — мы ожидали их прихода приблизительно через час — императорские войска были слишком слабы, чтобы удержаться,— мы же объявили себя нейтральными, так что ни о какой бонбандировке (госпожа советница Гёте пишет: Bompatemant.— *Н. Б.*) и речи быть не могло — ну ладно, я смотрю в окно — я хотела поглядеть, когда они войдут,— было два часа пополудни — и вдруг врывается ко мне в покой Фриц Метцлерн и кричит, прямо задохнувшись, Советница! Мир! К коменданту Милиусу приехал курьер от Бонапарта — все ликуют — оставайтесь с богом — мне надо бежать дальше, сообщить хорошую новость и т. д. Тотчас вслед за этим вы-

шел бургомистр Швайцер и адвокат Зегер в карете, чтобы ехать во французский лагерь к Лефевру и поздравить его — когда же они доехали до Гауптвахты, их окружили горожане, карета остановилась — и они подтвердили добрую весть о мире — стар и млад стали кидать в воздух шляпы, кричать виват, такое ликование, что и высказать словами невозможно,— кому бы пришло в голову подумать о беде? Не прошло и пяти минут после этой неописуемой радости, как к Бокенхаймерским воротам прискакала императорская кавалерия (такое нужно видеть самому, описать это невозможно!), один без кивера, там лошадь без седока — и так волочила брюхо по земле вдоль по Цайле (главная улица города.— *Н. Б.*), послышались выстрелы — все застыли в удивлении: что ж это за мир такой, кричал один другому, для нашего спасения? Один австрийский лейтенант сохранил (и без приказа!) присутствие духа, галопом к воротам и опустил решетки и поднял мосты — хотя и не все императорские вошли в город — и это было наше счастье, не то бы французы ворвались внутрь; тогда пошла бы резня в городе — а вмешайся в дело кто из горожан, пошло бы мародерство и всякий ужас — а под конец сказали бы, что это *мы* нарушили нейтралитет — перебили французов и т. д. Бургомистр Швайцер и Зегер были ограблены, и Лефевр ни за что не хотел поверить, что уже мир,— к нему курьер еще не прибыл, насчет нашего нейтралитета он не знал ничегошеньки. Наконец австрийский комендант уговорил генерала Лефевра вместе отправиться в город, он заверил его своим честным словом, что мир подписан и что, возможно, курьер не успел прибыть сразу ко всем генералам, после того он согласился и поехал, бургомистр Швайцер с ним, и многие из магистрата поехали все вместе пить к „Римскому Императору“ — и все окончилось для нас благополучно» (*Frau Rat Goethe*. Gesammelte Briefe. Hrsg. Ludwig Geiger. Leipzig, o. J. № 261. S. 360). Это было 22 апреля.

№ 139.

92 *...стихи, которые я прилагаю...* — «К эфиру», «Скиталец» и, возможно, «Дубы». Первое стихотворение вышло в «Альманахе Муз на 1798 год», два других — в «Орах».

№ 147.

93 *дьякон Конц* — Карл Конц, возможно, является автором рецензии на роман Гёльдерлина, опубликованной в 1801 г. в «Тюбингенских ученых записках».

94 *Поэты, что играют...* — вероятно, цитировалось по памяти. Это эпиграмма Клопштока из «Республики ученых» (1774) «Очень хорошее замечание».

95 *...у доктора Зёммеринга...* — знаменитый анатом и ученый-естествоиспытатель Самуэль Томас Зёммеринг (1755—1830), автор работ «О строении человеческого тела» («Vom Bau des menschlichen Körpers», 1791—1796) и «Об óргане души» («Über das Organ der Seele», 1796), профессор Майнцского университета и частнопрактикующий врач во Франкфурте. Был дружен с Форстером и Гейнзе, знаком с Гёте, Гердером, Гумбольдтами. Во Франкфурте посещал дом Гонтаров. Ему адресованы две эпиграммы Гёльдерлина.

№ 162.

96 *«Все, что живет, неистребимо...»* — то ли автор цитирует по памяти, то ли это черновой вариант (ср. с. 231 наст. изд.).

97 *«Нам повсюду...»* — ср. с. 200 наст изд.

№ 163.

98 *...насчет нашего* θεῖον ... — Это тот самый демон, о котором говорил Сократ. Ср. примеч. 21 на с. 607.

№ 176.

На том же листе было написано начало стихотворения:

Обновление

Солнца свет пробуждает во мне уснувшую радость...

Это письмо, как и три следующих (№ 182, 195, 198),— лишь черновики, найденные в бумагах

Гёльдерлина. Его письма к Диотиме до сих пор не обнаружены. Скорее всего, они были уничтожены после ее смерти родственниками.

№ 182.

99 *Мурбек* — с Фридрихом Мурбеком Гёльдерлин познакомился на Раштадтском конгрессе, куда его пригласил с собой Синклер.

100 *«Французов опять разбили в Италии»...* — По-видимому, речь идет о победе Суворова 19 июня.

№ 195.

101 *Юнг из Майнца* — Франц Вильгельм Юнг (1757—1833), переводчик Оссиана.

102 *...моей трагедии...* — «Смерть Эмпедокла».

№ 198.

103 *Прости мне, что Диотима умирает.* — Гёльдерлин как будто забыл, что о могиле Диотимы говорится уже в первом томе «Гипериона», который Сюзетта должна была знать.

СЮЗЕТТА ГОНТАР

ПИСЬМА ДИОТИМЫ

Сентябрь 1798 — май 1800

Сюзетта Гонтар происходила из гамбургской семьи; ее отец — тот самый драматург Хинрих Боркенштейн, чья комедия «Bookesbeutel» пользовалась в Гамбурге большим успехом; в 1745 г. он покинул Гамбург и уехал в Испанию, откуда возвратился через 20 лет богатым человеком, получил звание коммерции советника Датского королевства, поселился в доме на знаменитой Юнгфернштейг и 16 мая 1768 г. (в 63 года) женился на Сусанне Брюгье, происходившей из семьи старых эмигрантов из Франции (после Нантского эдикта 1683 г.). Сюзетта родилась в 1769 г.; затем друг за другом появились на свет две ее сестры и брат. В 1777 г. отец семейства умер и вдова с детьми перебралась в дом поскромнее. Сюзетта получила очень хорошее домашнее воспитание. Ее мать была лично знакома с Клопштоком. В 1784 г. в Гамбурге проездом в Лондон был Якоб Фридрих Гонтар,

дальний родственник из Франкфурта, молодой человек, для которого дела были прежде всего. В 1786 г. он сделал предложение Сюзетте и получил согласие, после свадьбы они уехали во Франкфурт. За пять лет Сюзетта родила четверых детей; в 1791 г. к ней переехала мать, но в 1793 г. скончалась. Через два года в ее комнате поселился Гёльдерлин.

Сюзетта Гонтар уже была заочно знакома с поэтом: желая выразить ей свои чувства, ее почитатель, банкир из Берна Людвиг Церледер, переписал для нее из журнала «Новая Талия» «Фрагмент „Гипериона"».

* * *

О существовании писем Сюзетты Гонтар было известно первым биографам и издателям произведений Гёльдерлина — они были обнаружены после его смерти в 1843 г., но остались в семье его брата. Только в 1921 г. внучатая племянница поэта Фрида Арнольд передала их для публикации Карлу Виетору. При первой публикации естественный порядок писем был нарушен; новое издание 1934 г., которому следуют все последующие, установило новый, по-видимому окончательный. Предположительно утрачено из текста совсем немного.

Перевод осуществлен по изданию: *Hölderlin F., Gontard S.* Hölderlin und Diotima: Dichtungen und Briefe der Liebe. Zürich, 1957.

1 *Фельдберг* — Хомбург-фор-дер-Хёэ лежит у подножия Фельдберга примерно в трех часах пути (пешком) от Франкфурта. О характере местности можно судить по описанию Генриха Себастьяна Хюсгена (1776 г.):

«...после отдыха все наше общество при ясном свете месяца отправилось на расположенный в полутора часах пути от Рейфенбурга Фельдберг. Когда мы по полуночному склону без особого труда достигли вершины вышеупомянутой весьма высокой горы, то не нашли на ее верхушке ничего, кроме торчащего куска серой скалы, который, по-

видимому, часто становится объектом игры непогоды, которая мощными ударами раскалывает его вдоль и поперек. Древние, должно быть, приносили здесь жертвы своей возлюбленной Венере, в память о чем еще сегодня эту скалу называют Венериным камнем. Скала эта, кроме того, служит защитой от сильного и холодного ветра 〈...〉.

На этой высоте не растет ни единого дерева, только низкорослые травы, среди которых попадается и хорошо известная знатокам Vaccinium vitis idaea (L), иными словами брусника. Простые люди называют ее диким самшитом; она как раз зацвела, и на ней показались бледные лиловые цветочки. Впрочем, верх горы представляет собой такое широкое и длинное пространство, что его с полным правом можно назвать площадью или полем (Feld), откуда и могло пойти его название Фельдберг» (цит. по кн.: Frankfurt. Stadt und Landschaft/Hrsg. Johann Jakob Hässlin. 2. Aufl. München: Prestel-Verlag, 1955. S. 208—209).

2 *дети* — Анри (1787—1816), Анриетта (1789—1830), Елена (1790—1820), Амалия (1791—1832).

3 *...отворила окно...* — Гонтары жили тогда в доме под названием «Белый олень», он стоял на той же стороне, но ниже, что и дом Гёте, на улице Гроссе Хиршграбен («Большие оленьи рвы»).

Сохранилось его изображение (см. вклейку).

4 *...послать Анри к Г[егелю]...* — Гегель жил в доме Гогелей на Росмаркт, совсем рядом.

5 *Синклер* — см. примеч. 89 на с. 696.

6 *...передать для меня «Гипериона»...* — Предполагается, что речь идет о втором томе романа, который вышел только осенью 1799 г.

7 *...пока будет биться и чувствовать мое сердце.* — Что так оно и было, подтверждает рассказ племянницы Сюзетты — Мари Белли-Гонтар (см. примеч. 47 на с. 713: «...на ней не было никаких драгоценностей»)

8 *в минуту расставания* — Гёльдерлин покинул дом после бурного столкновения с хозяином; детали скандала неясны, однако обстоятельства были та-

ковы, что после отъезда поэт уже не мог переступить порог дома Гонтаров.

9 ...*«Комедию»*...— Франкфуртская «Комедия» известна своими постановками опер Моцарта, причем это были первые постановки на немецком языке.

10 *Я очень переменилась*...— Ср. письмо Диотимы в первой книге второго тома «Гипериона»: «Я и сама уже совсем не та, что прежде...» (с. 194).

11 *Вильгельмина* — экономка.

12 *Один только час, полный блаженства встречи*...— насколько близко к сердцу держал Гёльдерлин эти письма, можно судить из абзаца в письме к матери от 4 сентября 1799 г. (№ 193): «И не беспокойся о моем здоровье! Я знаю, дух отнимает силы у тела, но он и придает их ему, и один только час, проведенный в спокойствии над работой, стоит, быть может, недели, когда что-то не клеится. Впрочем, я сейчас вполне здоров и благодарю небо, сохранившее мне молодые силы среди стольких невзгод». (Подсознательное повторение конструкции.) Следует заметить дату: 5 сентября был день встречи с Диотимой.

13 *Все мои мысли принадлежат тебе одному*...— По-видимому, это ответ на просьбу, высказанную Гёльдерлином. Тогда это должно означать, что текст второго тома еще не был отправлен издателю.

14 «*Религия*...»— Источник цитаты неизвестен. Но сама тема, возможно, говорит о том, что Гёльдерлин сообщал о работе над статьей, которую принято называть «О религии»: отрывки, обнаруженные в его архиве, опубликованы Бёмом в 3-м т. Собр. соч. в 1911 г.

15 *Пожалуйста, делай это всегда, когда возможно.*— В письме Гёльдерлина к сестре, датируемом концом февраля с припиской от 25 марта (№ 174), как будто содержится то, о чем говорит Сюзетта Гонтар: «Мое нынешнее общение ограничивается здесь в основном двумя друзьями, которые, однако, обладая в высочайшей степени умом, знаниями и опытом, обретенными ими в горе и ра-

дости, доставляют столь богатое препровождение времени, что нам часто приходится обходить друг друга стороной, чтобы наши разговоры не превратились в наше главное занятие и не занимали чересчур наши мозги, потому что каждый из нас нуждается в своих мыслительных способностях в полном объеме, не рассеянных и не замутненных другими идеями и интересами, для собственных дел. Один из этих друзей — Синклер, с которым ты познакомишься из письма, которое я отправил нашей милой матушке, другой — профессор Мурбек из Грейфсвальда, который, путешествуя, задержался здесь, чтобы доставить удовольствие Синклеру и мне. Впрочем, мое главное удовольствие составляют красоты здешней местности: городок лежит у подножия гор, окруженный лесами и замечательно устроенными садами; я живу у самой околицы; перед окном начинаются сады, и холм с дубами, и прекрасные луга в долине. Туда я иду гулять, когда утомлен работой, поднимаюсь на холм и сажусь на солнце, и гляжу на прекрасные дали за Франкфуртом, и эти чистые мгновения вновь дают мне силу и мужество, чтобы жить и творить. Милая сестра! Это до того хорошо, как будто побывал в церкви, когда вот так чистым сердцем и открытым взглядом воспринимаешь в себя свет, и воздух, и прекрасную землю...».

Те же места мы узнаем в его стихах:

Я что ни день другою бреду тропой,
Под сень лесов иль к скалам, где розы цвет,
К ручью ль сойду, где ключ хрустальный,
С хóлмов в долину гляжу, но — горе!

Тебя, родная, мне не видать отсель,
И белый свет напрасно сияет мне,
И в ветре глухо гаснет слово...—

написанных в то же время.

В другом письме к сестре (№ 188, июль 1799 г.) он описывает свое жилище: «Что касается моего хозяйства, то для меня тут всего в достатке. Несколько хорошеньких комнаток, из коих одну, в

которой я живу, я украсил картами четырех частей света, мой собственный большой стол в столовой, служащей мне также спальней, а здесь, в кабинете,— письменный стол, где содержится касса, и еще один стол, где лежат книги и бумаги, и еще один, маленький столик у окна, с видом на деревья, где я чувствую себя уютно и занимаюсь делом...».

16 *Для тебя необходимо высказаться...*— Ср. мысль, выраженную Гёльдерлином в письме № 182 (с. 388 наст. изд.).

17 *...к романам господина Лафонтена.*— Речь идет об Августе Лафонтене (1758—1831), немецком писателе, чрезвычайно популярном в свое время в Европе. Пушкин упоминает его в «Евгении Онегине» (глава 4) и снабжает примечанием: «Автор множества семейственных романов». Перу Лафонтена принадлежит более 160 романов; он писал также под псевдонимами Г. Бейер, Мильтенберг, Зельхов. Из романов, написанных до 1799 г., можно назвать: «Естественный человек» («Der Naturmensch», 1792), «Оригинал» («Der Sonderling», 1793), «Клара дю Плесси и Клеран» (1795), «Могущество любви» («Die Gewalt der Liebe», 1797), «Сен-Жюльен» («Saint-Julien», 1798).

18 *Праздник...*— в 1799 г. пасха пришлась на 24 марта.

19 *Анри* — брат Сюзетты.

20 *...подойти к низкой живой изгороди...*— речь идет о доме, в котором Гонтары жили летом, «Адлерфлюхтхоф», в северной части Франкфурта, неподалеку от Эшенхаймерских ворот. На рисунке гуашью, выполненном Иоганном Георгом Мейером в 1779 г. (см. вклейку), хорошо видна и изгородь, и тополя, и дорога на переднем плане, по которой Гёльдерлин приходил в город каждый первый четверг месяца. См.: *Beck A.* Diotima und ihr Haus // Hölderlin-Jahrbuch. 1956/1957. [Bd. 9.]. S. 166.

21 *...читая Тассо...*— Скорее речь идет о драме Гёте (1789 г.), чем об «Освобожденном Иерусалиме»

самого Тассо (хотя был немецкий перевод Гейнзе, изданный в Мангейме в 1781—1783 гг.). В бумагах Гёльдерлина сохранилась такая запись (1800 г.): «Тассо к Леоноре. Прощанье с нею».

Говоря «я узнала с несомненностью твои черты», Сюзетта Гонтар может иметь в виду такие строки:

Он только вскользь на наш взирает мир,
Гармонии природы внемлет он;
Истории уроки, жизни смысл
Ему дано легко воспринимать.
Постиг он духом хаос мировой
И чувством оживляет неживое.
Возносит он, что низменно для нас,
Что ценится — считает ни во что.
И так в кругу волшебном он блуждает,
Волшебник сам, и словно нас зовет
Блуждать с ним вместе, в нем принять участье.
Он близок к нам как будто, но далек,
Он, кажется, глядит на нас, но, странно,
Он духов вместо нас увидеть может.

(Здесь и далее перевод А. Зоргенфрея)

Парадоксальным образом это описание действительно подходит к Гёльдерлину, хотя известно, что эту драму Гёте позднее (в 1827 г.) охарактеризовал как «Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch» («кость от моей кости и плоть от моей плоти»). См.: *Eckermann J. P.* Gespräche mit Goethe. München, 1976. S. 635.

В словах «Перечитай его и ты когда-нибудь» содержится, по-видимому, дополнительное сообщение: монолог принцессы Леоноры, дающей согласие на отъезд Тассо из Феррары, совершенно созвучен мыслям Сюзетты в той же ситуации:

Пусть едет он! Но представляю, как
Я днями буду мучиться, когда
Лишусь того, что было мне отрадой.
Луч солнечный с ресниц моих не сгонит
Видения, навеянного сном,
Надежда с ним увидеться меня

Не оживит мечтой при пробужденьи,
Мой первый взгляд его напрасно будет
Искать в тени садов прохладных наших.
Как дивно утолялась каждый день
Моя мечта — быть вечером с ним вместе!
И как росла от частых встреч потребность
Узнать, понять друг друга до конца!
Как, что ни день, настраивался дух мой
Все выше, гармоничнее, святей...

И конец:

Уныло настоящее мое,
И душу страх грядущего томит.

22 *З[ёммеринг]* — близкая подруга Сюзетты Маргарете Элизабет Зёммеринг, жена Зёммеринга (см. примеч. 95 на с. 700). Она умерла в январе 1802 г., за несколько месяцев до Сюзетты.

23 *...о моем маленьком путешествии...* — путешествие состоялось 20—30 июля, датировка основывается на записях и письмах Гёте, Шиллера и Софи Брентано.

24 *младшая Брентано* — по-видимому, это была не Мелина (которой было тогда одиннадцать лет), а Гундель Брентано (1780—1863).

25 *...директора Тишбейна...* — Имеется в виду художник Иоганн Генрих Вильгельм Тишбейн (1751—1829), друг Гёте, с 1782 г. живший в Италии (в Риме и Неаполе). Весной 1799 г., после того как французы заняли Неаполь, возвратился в Германию и поначалу жил в Касселе.

26 *...Гомером.* — Тишбейну принадлежит труд «Homer nach Antiken gezeichnet von Tischbein» (Göttingen, 1801).

27 *...твои Замечания о Гомере...* — эти Замечания в виде писем предназначались для планировавшегося Гёльдерлином журнала «Идуна»; в его бумагах сохранились в отрывках работы: [«Об Ахилле»] (см. наст. изд., с. 610), «Слово об Илиаде», «О различных родах поэзии». В рукописи статьи «Точка зрения, с которой нам дóлжно рассматри-

вать древность», на полях сделано следующее замечание: «NB. В письмах о Гомере сначала характеры, потом положения, потом действие, которое в драме характеров присутствует лишь ради характера и главного характера, и затем о *смене тонов*».

28 *...в имение Виланда...*— Османштедт под Веймаром.

29 *...с Ларош и ее внукой.*— Софи фон Ларош (и ее внучка Софи Брентано) приехала в июне 1799 г. в гости к Виланду, с которым ее связывали давние отношения. Впечатление от этого путешествия в Тюрингию она описывает в книге «Контуоы покойных часов в Оффенбахе, Веймаре и Шёнбеке в 1799 году» (Schattenrisse abgeschiedner Stunden in Offenbach. Weimar und Schönbeck im Jahre 1799. Leipzig, 1800). Софи фон Ларош (1731—1807) — автор сентиментальных романов; один из самых известных — «История фоейлейн фон Штернгейм» («Die Geschichte Fräulein von Sternheim», 1771).

30 *...к ним на квартиру...*— Ларош остановилась в доме Шарлотты фон Кальб, которая была в отсутствии.

31 *...от Тишбейна к Гердеру...*— Тишбейн познакомился с Гердером в Риме в 1788 г.

32 *...к Меро.*— Речь идет о Софи Меро (1770—1806), позднее, после развода с профессором Меро, вышедшей замуж за поэта Клеменса Брентано. В ее дневнике под датой 27 июля есть запись: «Внезапное появление Б[рентано] и других посторонних. Странный вечер. Приятное впечатление от Б.».

33 *...его облик в памяти.*— Шиллер не обратил внимания на свою вторую посетительницу, и долго считалось, что его запись о посещении «двух дам» относилась к Софи и Гундель Брентано.

34 *...последний день месяца.*— Фраза позволяет датировать письмо: Гёльдерлин думал, что этот четверг — уже первое ноября.

35 *...множество цветов...*— Ср. в «Гиперионе» (с. 111—112).

36 *...совету и суждению Шиллера.*— Шиллер писал Гёльдерлину 24 августа: «Если бы Вы пожелали детальнее ознакомить с Вашим положением, я, быть может, смог бы предложить Вам что-нибудь, отвечающее Вашему желанию».

37 *З[ёммеринг]* — см. примеч. 22.

38 *Ц[ерледер]* — Инициал Z. был расшифрован только в 1954 г. доктором Аллеманном из Цюриха (см.: Hölderlin-Jahrbuch. 1954. [Bd. 8]. S. 124). Людвиг Церледер (1772—1840), сын бернского банкира, познакомился с Сюзеттой Гонтар во время образовательного путешествия в июле 1793 г.

Отрывки из его путевого журнала опубликованы А. Беком в «Hölderlin-Jahrbuch». 1955—1956. [Bd. 9]. («Диотима и ее дом»): «Первый и самый большой [банкирский] дом — без сомнения Бетманы; но общество у них далеко не самое лучшее, по большей части беглые французы или немецкие искатели счастья, каковые ради обеда и ужина делают *Cour* безвкусно одетой хозяйке дома; повсюду *Ostentation* («фальшь, показное».— *Н. Б.*) и тщеславие вместо разумного пользования своим благосостоянием; в том же примерно роде дома Генриха Гонтара и Метцлера. Но как различен образ жизни семейств двух молодых Гонтаров! — Что *M*[me] *Gontard Borckenstein* является подлинным украшением дома, ты легко, мой Хирцель, сможешь догадаться, прочитав мое письмо; ни одна женщина не интересовала меня до сих пор так, как она; ее образ навеки останется для меня идеалом прекрасного пола; кротость, доброта, подлинный ум и разлитая во всем ее существе грация очаровывают и не поддаются описанию. В обществе ей свойствен тот в высшей степени простой, но благородный тон, в котором сказывается союз просвещенного ума и кроткого сердца; в узком семейном кругу, среди своих детей, за фортепьяно она чувствует себя довольнее, нежели в большом свете, которого она всегда старается избежать; в ней есть нечто, располагающее к доверию, что-то дружелюбное; перед ее существом

не устояло бы никакое недоброжелательство, как бы велико оно ни было. Là j'aime Sa grace et là Sa majesté («Мне нравится и Ее прелесть, и Ее величие».— *Н. Б.*). Напрасно продолжал бы я это описание, ты все равно не смог бы ее себе представить; я попытаюсь изобразить ее тебе в следующих письмах путем сравнений, и хотя любое сравнение останется далеко позади, но все-таки это, пожалуй, самый лучший способ передать тебе мои чувства...» (S. 112).

Эти слова были написаны в июле 1793 г. В апреле 1794 г.: «Я снова здесь и вижу ее каждый день в течение часа, а каждый час, как говорит Донамар [ср. с. 520], имеет 23 сестры, что в легком танце воспоминаний светло плывут вокруг тебя в хороводе (по-немецки Stunde «час» женского рода.— *Н. Б.*).— Когда я тронусь дальше, как смогу я снова оставить это Совершенство, не знаю и не думаю о том, и где еще мог бы я найти то, что имею здесь; вблизи ее обитают чистейшие чувства; долгу, и человеколюбию, и самоотречению, и самопожертвованию учишься ты возле нее; я очищаюсь в общении с нею; и если я не преуспею в обогащении житейской мудростью, то во всяком случае ты однажды увидишь своего друга просто более хорошим человеком» (S. 113).

Дальше путь его лежал в Гамбург и Лондон.

«На Рейне между Майнцем и Бингеном 17 мая 1794 года.

Прекраснейший вечер опускается на волшебные берега Рейна, наш челнок скользит легко и мягко по водам роскошной реки, а я уныл и безрадостен: каждый удар весла, мой Хирцель, каждая волна Рейна удаляет меня от Франкфурта...» (Ibid.).

В конце 1794 г. Церледер на обратном пути вновь остановился во Франкфурте, на этот раз на четыре месяца. Именно тогда он преподнес Сюзетте Гонтар собственноручно переписанный из журнала «Фрагмент „Гипериона"».

Однако в апреле 1799 г., продолжая после четырехлетнего перерыва свои записки, Церледер

констатирует, что «головокружение прекратилось», что «спокойное размышление вывело его из мыслей и фантазий, некогда его занимавших».

39 *У тебя в руке была книга!* — Ср. в письме Гёльдерлина: «Вот *наш* Гиперион...» (с. 392).

40 *...они...разошлись со мной во мнении...* — зато удивительно согласен с ней оказался Гёте. Двумя годами раньше, 9 августа 1797 г., он писал из Франкфурта Шиллеру:

«Любопытнейшая вещь бросилась мне в глаза в характере публики большого города. Она живет в беспрестанной толчее добывания и потребления, и то, что мы называем «настроением», здесь невозможно ни возбудить, ни сообщить. Все удовольствия, даже и театр, служат лишь для рассеяния, и великая склонность [здешней] читающей публики к журналам и романам проистекает из того, что первые всегда, а вторые по большей части вносят рассеяние в рассеяние.

Мне даже кажется, я приметил своего рода недоверие к поэтической продукции или по меньшей мере к тому, что́ в ней есть поэтического, каковое также совершенно естественно вытекает из сих причин. Поэзия требует, прямо-таки диктует сосредоточенность, она обособляет человека вопреки его воле, завладевает им снова и снова, и в широком мире (чтобы не сказать — в большом) она так же неудобна, как верная возлюбленная» («Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe». Jena. Diederichs. 1910. S. 407).

41 *...о том, что ты мне пишешь...* — По-видимому, Гёльдерлин написал о слухах, которые связывали его имя с именем Софи Меро.

42 *...в дом одной дамы...* — то есть Шарлотты фон Кальб. Шиллер действительно поселился в этом доме в Виндишгассе и жил там, по-видимому, до 1802 г. С Шарлоттой фон Кальб Гёльдерлина связывали дружеские чувства, но никаких оснований для ревности в них не было.

43 *Пятница, 30 января [1800].* — В 1800 г. пятница была 31 января.

44 *Он...*— Комментаторы расходятся во мнениях. Это может быть и сын ее, Анри, и брат.

45 *...возможна перемена...*— Речь идет о болезни свекрови.

46 *...через господина Ландауэра.*— Кристиан Ландауэр (1769—1845) — штутгартский торговец, друг Гёльдерлина, у которого он жил в 1800 г. На обороте этого письма позднее (предположительно в 1805—1806 гг.) Гёльдерлин написал строфу гимна:

[*Так что ж такое наша жизнь?..*]

Так что ж такое наша жизнь? образ божий.
Под небом бредут чередой земнородные все и смотрят
В него, читая в нем, как в книге, так
Подражая его бесконечности и богатству.
Так что же, богато
Простое небо? Цветами на нем
Серебряные облака. Но дождь оттуда —
Роса и влага. Когда же
Вся синь сотрется, эта простота, проступит
Матово-белое, подобное мрамору, или как металл,
Анонс богатства.

47 [*Начало мая 1800*].— Это письмо последнее; оно написано карандашом и к концу почти не поддается расшифровке. Мы даем перевод по варианту чтения, предложенному А. Беком.

8 мая они виделись последний раз. Гёльдерлин вернулся на родину, затем несколько месяцев был в Швейцарии, потом — во Франции, в Бордо. Когда в июне 1802 г. он возвращается, где-то на дороге его настигает письмо Синклера с сообщением о смерти Диотимы. Она умерла, заразившись корью от своих детей. Но ей и так оставалось жить недолго (у нее был туберкулез). О последних днях ее пишет ее племянница Мари Белли-Гонтар:

«В июне мои родители давали большой званый обед, фрау Гонтар-Боркенштейн, моя тетушка, тоже

на нем присутствовала; никогда не казалась она мне такой прекрасной, как в тот день, я даже помню, как она была одета; на чехле из белого атласа черное тюлевое платье, рукава короткие, а на голове маленькая белая креповая шляпа с пером; шея, руки, грудь и лицо белые как алебастр; на ней не было никаких драгоценностей. Присутствующие господа теснились вокруг нее; граф Шлик, австрийский посланник, господин барон фон Малль, его атташе, господин фон Хирфингер, французский посол, только с ней и разговаривали.

Через несколько дней я сильно простудилась, доктор опасался, что это серьезно. Тетя Сюзетта пришла меня проведать, когда мне стало получше, и как мила, как хороша была она в простом коричневом ситцевом платье, волосы у нее были легонько подколоты; на прощание она дала мне руку и пообещала скоро прийти опять.

А на следующий день у ее детей открылась корь. [...]» (*Belli-Gontard M.* Lebens-Erinnerungen. Frankfurt a. M., 1872. S. 61—62).

ДОПОЛНЕНИЯ

ГИПЕРИОН

(*Отрывки*)

Перевод Я. Э. Голосовкера. Публикуется впервые. Печатается по тексту ЦГЛА (Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 617—620). Перевод выполнен в 1935 г.

Я. Э. Голосовкеру принадлежат также перевод «Смерти Эмпедокла», вышедший с предисловием А. В. Луначарского в издательстве «Academia» в 1931 г., переводы стихов Гёльдерлина, а также несколько теоретических статей. См., например: *Голосовкер Я. Э.* Поэтика и эстетика Гёльдерлина/Вестник истории мировой культуры. 1961. Ноябрь — декабрь. № 6 (30). С. 163—176 (отсюда взято приводимое нами на с. 514 высказывание).

НА РОДИНЕ

Этот текст с указанием «Из Фридриха Гёльдерлина» опубликован в авторском сборнике поэта Н. И. Познякова «В лучшие годы. Собрание стихотворений» (СПб., 1896) и представляет собой перевод 37—84 ст. элегии «Скиталец» (за пропуском 43—46 и 75—78).

Возможно, это первый русский перевод из Гёльдерлина, выполненный в прошлом веке.

СОДЕРЖАНИЕ



ДОПОЛНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ФРИДРИХ ГЕЛЬДЕРЛИН

ГИПЕРИОН

СТИХИ. ПИСЬМА
СЮЗЕТТА ГОНТАР
ПИСЬМА ДИОТИМЫ

Утверждено к печати
редколлегией
серии «Литературные памятники»
Академии наук СССР

Редактор
Н. Н. Клюев

Редактор издательства
Е. Л. Никифорова

Художник
В. Г. Виноградов

Художественный редактор
Н. Н. Власик

Технические редакторы
Н. П. Кузнецова, Т. П. Поленова

Корректоры
Р. С. Алимова, Т. И. Чернышова

ИБ № 35991

Сдано в набор 03.08.87
Подписано к печати 11.07.88
Формат 70×90 1/32
Бумага кн.-журнальная
Гарнитура академическая
Печать высокая
Усл. печ. л. 26,99. Усл. кр. отт. 28,16
Уч.-изд. л. 27,9
Тираж 25000 экз. Тип. зак. 1183
Цена 3 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
117864, ГСП-7, Москва, В-485,
Профсоюзная ул., 90

2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6